

ФЕДОР КРЮКОВ

ФЕДОР
КРЮКОВ



ЗАБЫТАЯ
КНИГА







ЗАБЫТАЯ
КНИГА.

ФЕДОР КРЮКОВ

КАЗАЦКИЕ МОТИВЫ

ПЕТЕРБУРГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖУРНАЛА «РУССКОЕ БОГАТСТВО»

1907

РАССКАЗЫ. ТОМ I

МОСКВА

«КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ»

1914

ФЕДОР КРЮКОВ

КАЗАЦКИЕ МОТИВЫ

Повесть, рассказы, очерки,
воспоминания, стихотворение в прозе



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1993

ББК 84Р1
К 85

*Вступительная статья, составление,
подготовка текста, комментарии*

Геorgia Миронова

Оформление художника

А. Семенова

К $\frac{4702010101-087}{028(01)-93}$ КБ-3-50-1991

ISBN 5-280-02217-9

© Г. М. Миронов: вступительная
статья, составление с подго-
товкой текста, комментарии.
1993.

© А. Семенов: художественное
оформление. 1993.

**Я ЛЮБИЛ РОССИЮ — ВЕЛИКУЮ,
МОГУЧУЮ И БЕССИЛЬНУЮ,
ЛЮБИЛ КАЗАКА-ЗЕМЛЕРОБА**

Едва он достиг полувекового перевала, как его самого смерть настигла. В забитой отступающим войском и горькими таборами беженцев прикубанской станице Новокорсунской ему вроде и места на кладбище не нашлось. Считанные товарищи и спутники по общей беде, узнавшие его за время отступа к Новороссийску, предали тело Федора Дмитриевича земле на сколько-то там верст ближе к заветной цели у Черного моря и на столько же горьких верст подальше от родимой донской стороны. Стреляли в блеклое зимнее небо из карабинов, наганов и плакали пропахшие потом, махоркой и порохом неслезливые фронтовики. «Какой человек ушел!»... «Не сберегли для Дона, для России»... «Прощай, Митрич — светлая душа, пусть будет тебе пухом кубанская земля»...

Мы не знаем даже, нашелся ли гроб или завернули иссохшее от болезни тело в военный брезент, в домотканую полость. К закату шел день 20 февраля 1920 года, кончалась зима, кончалась война, — и вроде бы ничего не изменилось под равнодушными небесами...

А ведь он, Крюков Федор Дмитриевич, был известный на весь Дон, на всю Россию писатель. Книги его издали Петербург, Москва, Ростов. Если б целы были и не в разгоне редакции «Русского богатства», «Речи», «Русских ведомостей», вышли бы они с траурными статьями-некрологами, а братья-писатели, журналистские товарищества помянули бы хорошего писателя, милого человека, «казака», как прозвали его коллеги, «незлым тихим словом».

Хотя подходила к концу гражданская — первая из российских войн, когда счет смертей пошел на миллионы, а в кровавой кутерьме брат ломил на брата и отец, как

во времена Тараса Бульбы, стрелял в сына, — кончина Федора Крюкова не осталась вовсе безвестной и безымянной, как сиротливая его могилка. Той же голодной и стылой весной двадцатого, с крестьянскими восстаниями, заговорами, концлагерями, всесильем Чека, лютой цензурой — не-сентиментальный осмотрительный Петроград в неубитом тощем отважном журнальчике «Вестник литературы» оповестил республику: умер... Интеллигенция, битая, стреляная, не изменившая себе, воздала последнее «прости» автору по-степному душистых, овеванных романтикой надежд донских рассказов и повестей.

Кому вы перешли дорогу, кому застили свет своими вещами, деликатный, ярко талантливый Федор Дмитриевич, — если семьдесят лет ни вашей строки в печати, ни упоминания вашего имени для широких читательских кругов? Вычеркнут из писательских синодиков, национальных мартирологов, изъят из родной литературы, — кому это было нужно? кто ответит? с кого взыщем?!

Братья-писатели! в нашей судьбе
Что-то лежит роковое...

Рукописи не горят — но слишком часто время сжигает их авторов...

Года минули, страсти улеглись, и ныне мы можем, не утаивая и не тасуя факты, оставив и слезный и проклинательный стили, спокойно взглянуть на жизнь и творчество этого подвижника отечественной словесности и рассказать правдиво и честно все, что знаем о Крюкове — писателе, публицисте, политическом деятеле.

Федор Дмитриевич прожил на свете ровно 50 лет. Родился он 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской, что на Верхнем Дону, на самом пограничьи Области Войска Донского и «мужичьих» краев — Воронежского и Царицынского; образование получил в Петербурге, учительствовал в Орле и Нижнем Новгороде; библиотекарем подвизался и журналистом в той же столице, в первую мировую — корреспондентом на фронтах оказался, но где бы ни был, долго или кратковременно, все рвался домой, на Донщину, на берега невидной «раскольниковьей» речонки Медведицы, в свои Глазуны. Трудно найти другого такого писателя, который родной сторонке так бы самозабвенно был предан, посвятил без малого все свое творчество.

Семья была исконно казацкая, всеми корнями связанная с Донским краем. Когда Федор, первенец в семье из четырех детей (два мальчика, две девочки), увидел свет,

отец Дмитрий Иванович был станичным атаманом в Глазунах. Должность была выборно-наказная, без авторитета у казаков человек не то что станичным, а и хуторским атаманом не продержался бы. Старший урядник, простой казак, но «ваше благородие» и другие офицерские права — только на время пребывания в должности. Отца любили и боялись: был честен, семействен, домовит, строг, справедлив.

Умная и сердечная была мать, понимала людей, угадывала их поступки, объясняла все старшенькому чадушке; однажды признался писатель Крюков: за это «мою мать ведьмой называют». А к Крюкову-отцу люди шли даже с семейными тяжбами, и вот мальчуган — сын атамана становился удивленным или восхищенным свидетелем настоящих драм и комедий вовсе не хуторского или станичного масштаба, а подлинно общечеловеческих, и многое из них потом перейдет в его произведения. С местным юмором, присказками, просоленным словом, лукавой полускабрезной песенкой, высоким евангельским речением... А еще отец брал старшенького в свои поездки по округе, — то ли «для кумпанин», то ли по горячим просьбам Феи. Отец, без сомнения, как и мать, был незаурядной личностью. Он и стариков призывал для совета, чтоб помогли в сложном деле отыскать правду — кого усостыжить, кого примирить, кого ободрить. Из детства осталось в мальчишке: редки у отца случаи наложения штрафа на непослушного, все больше на совесть упирал. У Дмитрия Ивановича не часто дело переправлялось в суд — решалось в правлении, хуторском или станичном, и только по справедливости. Добротой и умом Федя и в отца, и в мать пошел. Очень любил их и ценил, малограмотных, интеллигентных, мудрых. От них перенял ненасытное стремление все делать «по правде», «по-человечески».

Возможно, что, не пойдя он в историки, выбрал бы карьеру юриста, очень популярную в ту пору. Недаром дебютирует (в 22 года) ярким очерком «Казачьи станичные суды» (1892), недаром в пору каникулярных приездов собирались к юному станичному «аблакату» за советом обойденные справедливостью казаки и казачки (отец к той поре уже успокоился на местном кладбище, вскоре за ним последовала и особенно горячо любимая мать). Как и на протяжении всего творческого пути, автор очерка о казачьем суде далек был от одностороннего «народнического» любования общинными порядками. Для молодого писате-

ля жизнь земледельцев-казаков, привязанности к которой он не скрывает, «подвержена» не только любованию, но и критическому осмыслению. А сильнейшее крюковское орудие борьбы с несимпатичными явлениями жизни — это его юмор. И вот рядом с глубоким и серьезным описанием разных сторон казачьего бытия, выплескивающегося в суды, непременно соседствует улыбка. Дело о базáх (казачьих дворах) и о «тяжбе огорода», дело о драке (с угрозами судей буянам утихомириться, «а то, ей-Богу, остепенем!»). Читатель окажется вовлечен в самую станичную «подноготную»: узнает, что истец «у чужой бабы был... по ногам бьют, чтоб не ходили»; узнает, отчего крепкие клятвы вроде «лопни мои глаза», «под присягу пойду», «сниму иконы» утратили свое значение; узнает, что и примиренные стороны, и судьи никогда не отказываются «обмыть» мир: «Без магарычей нет у казаков и речей». В многоголосом гуле жизни сосредоточенный исследователь с малых лет оказался готов различать ту хорошую сторону ее, как «полная свобода прений и самая широкая, ничем не стесняемая гласность». Заглядывая и вовсе в святая святых жадно изучаемого им донского быта — в глубину отношений казака с властью, с законом, увидит и другое автор «Станичных судов». Увы, «сознательное и независимое пользование обычаем» редко, и носители справедливости, как отец, происходившие из неученых казаков, отчуждаются от закона, от защиты и охраны народных прав, а встречаются лишь с тем законом, который требует от них только *уступать*.

Вера отцов требовала уступать, сыновья не очень с этим мирились. Несправедливость общественного строя для пытливых, несогласных, как Федор, желающих думать по-своему, по-новому стала очевидной уже в гимназии. Не от этих ли своих собственных неуступчивых юношеских порывов к правде и справедливости явятся у писателя характеры гимназистов-протестантов в ранних и зрелых рассказах и повестях: «Из дневника учителя Васюхина» (1903), «Картинки школьной жизни» (1904), «Неопалимая купина» (1912) и др. «Бунташная» казачья разинская или булавинская старина лишь краем заденет душу писателя, ей он отдаст малую толику таланта в ранних исторических рассказах, таких, как «Гулебщики» (1892), «Шульгинская расправа» (1894). Главное внимание будет сосредоточено на временах сегодняшних, противоречивых, зовущих, порой очень смутно связанных с будущим.

Если уж «по порядку», то было у Федора так: двухлетнее приходское училище в Глазунах, восьмилетняя гимназическая пора (1880—1888) в окружной Усть-Медведицкой гимназии (здесь познакомился и сошелся с Сашей Поповым, тоже будущим писателем А. С. Серафимовичем); после гимназии встал вопрос, как быть дальше? Уже не молодые и не шибко здоровые, малообразованные мудрые родители согласно решили: ехать охочему до знаний первенцу в столицу за высшим образованием, выдюжим еще четыре — 1888—1892 — годочка (по традиции семьи, Федор станет помогать младшим — брату и сестрам, опекаль и заботиться всячески — до самой кончины своей). Учиться пошел не в престижный университет, а в демократичный, готовящий учителей Петербургский историко-филологический институт. И не промахнулся. Сынов казачьих в этом детище великих реформ было не много, в основном учились отпрыски чиновников невысоких классов, белого духовенства, небогатых служилых дворян. Общественным настроением своим, вобравшим идеи народолюбия «золотых» шестидесятых годов, оказал институт огромное мировоззренческое влияние на Федора, не только расширил кругозор с казачьей, до известной степени сословной вышки всероссийской, но и привил те новые социально-нравственные понятия, которыми была горда отечественная ищущая интеллигенция целое полустолетие, органично пройденное ею под стягами народничества.

Поэтика произведений Федора Крюкова оказывалась непредставима без милого образа родной донской стороны с ее синими неспешными реками, полынной степью с бегущими под ветром шарами перекасти-поля, желто-серых песчаных бурунов, изумрудных мочежинок...¹ Два образа теперь соединились в молодой, сентиментально-романтической и вместе с тем ищущей новой духовной родины, твердой идейной основы душе: великой, идущей к какому-то большому перелому России и отчего края — «бесхитростной степи, солнцепека и хуторской непосредственности». Исповеднически скажет Крюков на исходе творческого пути в канун революции: «Я любил Россию — всю, в целом, великую, несуразную, богатую противоречиями, непостижимую. «Могучую и бессильную...» Я болел ее болью, радовался ее ред-

¹ Буруны — застывшие песчаные гребни; мочежина, мочаг — мелководное место, ровное, сырое, часто от ключа.

кими радостями, гордился ее гордостью, горел ее жгучим стыдом... Но самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос... Я любил казака-землероба, позинного долгой воинской работе. Я издали угадывал родную фигуру в фуражке блином, в заплатанных шароварах. С лампасами, в чириках¹, и благодушно смеялось мое сердце при звуках простодушной речи казацкой, трепетно отзывалось на тягучий мотив старинной казацкой песни...»²

Кажется, сильнее не сказать о сыновней привязанности к Отечеству. Но здесь Крюков описал начальный, так сказать, «романтический» период становления своего мировоззрения. Одна из высших ступеней этого пути к вершине достигнута им в пору первой революции. Как общественник, и политик, и художник Крюков рос стремительно. Расставание с гимназией произошло после 13-летней педагогической деятельности, когда статским советником он был избран от Области войска донского в депутаты 1-й, самой фрондерствующей, даже самой, пожалуй, мятежной из четырех российских Государственных дум. После ее решительного, хотя и иезуитского, ночного разгона обычно нерешительным, рефлектирующим царем Крюков оказался в числе 169 вольнолюбивых депутатов, подписавших Выборгское воззвание протеста против действий Николая II. Политическая карьера пресеклась на целые десять лет. Писателю, как и его сотоварищам, пришлось выполнить почти неизбежную для российского свободомыслящего интеллигента тюремную подать — отсидеть за Выборг в «Крестах». Потом он окажется высланным с легитимного православного тихого Дона в бушующий разнонаправленными страстями Петербург (случалось в нашем Отечестве и такое). Там он стал — после недолгой «смирной» службы — библиотекарем Горного института — сотрудником «тенденционного» антиправительственного журнала В. Г. Короленко «Русское богатство» и основателем тоже легальной постнароднической партии народных социалистов.

Но еще с институтской и учительской поры осознал «казак», чем ему грозило «выламывание» из сословия, которому он отдал душу, посвятил свой литературный талант.

¹ Чирики, черевики, чувяки — мужская и женская легкая обувь (донской словарь).

² Крюков Ф. Д. Первые выборы. — Русские записки, 1916, № 4, с. 163, 165.

Крюков на родимом тихом Дону видел и смущающее душу: он,— писатель, педагог, интеллигент из простых казаков, в своих желаниях «внести свет» в казацкую среду, чтобы «раздвинуть стиснутую жизнь», отнять у нее «оскудение», отсталость и неизбежное в будущем хозяйственное порабощение»,— он для носящих лампасы станичников «чужак», «скюртук», «интеллихент», «казак наоборот». Не раз испытает на себе цельный, правдивый перед собой и читателем Крюков эту двойственность, «зыбкость» (его любимое слово) своего положения.

Путь к писательству оказался для него не легким и не прямым. В год окончания института, 1892-й, голодный и холерный, картины всеобщего бедствия — что нижегородских сеятелей, что донских хлеборобов-казаков и их соседей «хохликов», — как шутил Крюков, — очень подействовали на 22-летнего выпускника, и он всерьез раздумался: надо идти «в народ» ради реальной ему помощи; а сделать это лучше всего в роли простого и близкого к селянину-хлебопашцу иерея... Время еще дышало могучими народническими порывами, пусть даже воплощающимися в не такую уж худую теорию «малых дел»: истовые хранители наследства еще досиживали свои сроки по тюремным замкам, маялись в архангелогородских или якутских ссылочных тмутараканях, но их идейный и нравственный настрой торжественно и чудно вливался в поколение сыновей и младших братьев, — крюковских ровесников¹, и особенно через журналы и газеты, как тогда говорилось, о п р е д е л е н н о г о н а п р а в л е н и я. Конечно, священником полнокровный, общественно активный и склонный к художественному видению мира Крюков не стал, ему ближе была музыка «мести и печали», нежели духовная проповедь. Однако молодые порывы и симпатии нашли-таки отражение в творчестве и ранних и зрелых лет («К источнику исцелений», 1904, «Воины-черноризцы», 1911, «Без огня», 1912, «Сеть мирская», 1912, «О пастыре добром», 1915, и др.), — и прежде всего в характерах близких к народу, душевно чутких священников, монахов. Один из обаятельных обра-

¹ Г. В. Плеханов глубоко и пронизательно очеркнул различия в мощном полувековом исконно русском движении: «Народничество как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни, — совсем не то, что народничество как социальное учение, указывающее путь «ко всеобщему благополучию» (Избранные философские произведения, т. V. М., 1958, с. 71).

зов — воина-священнослужителя — нарисован Крюковым в последнем очерке-воспоминании: его земляк Филипп Петрович Горбаневский в трудную минуту боя — с крестом в руках — пошел впереди атакующей цепи и пал смертью героя вместе с другими офицерами и солдатами.

Одной из важнейших своих задач беллетриста, и в первую очередь публициста, Крюков считал развенчание легитимистского мифа об однородности казачества, его искренней и полной преданности «престол-отечеству». В некоторых своих вещах поры 1-й русской революции, например в очерках «О казаках» (1907), он касается проблемы, что такое «казак истинный», а кто такие «казаки наизнанку»¹. «До сих пор,— пишет автор,— казачество почиталось... девственным, свободным от политики, от мысли, от рассуждений, послушным и исполнительно преданным. Оно прославлялось и в патриотических стихах, и в патриотической прозе, и в речах высокопоставленных ораторов...

Нам не надо конституций,
Мы республик не хотим,
Не дадим продать Россию,
Царский трон мы защитим!..»

И вот последовало возмущение казачьих станиц из-за использования донских казаков в полицейских целях против восставшего народа,— правительство принуждено было от-

¹ Парадокс истории: когда в первую революцию его клеймили этой кличкой,— Крюков обижался; через десяток лет, уже находясь в белом стане, лепил в донской печати клеймо «пенастоящих», «лжепатриотов» тем казакам, которые отступились от «заветов отцов», «традиций тихого Дона». Крюков же и выказал истинное бесстрашие в отстаивании своих убеждений, его не пугало и самое суровое возмездие за них. В пору «рассказачивания», с жутким институтом заложников, реквизициями, бессудными казнями, оказался в руках своих политических врагов, провел ночь в «тителевке», столь ярко описанной им в эпилоге рассказа «В родных местах». На следующий день его доставили в Усть-Медведицкую, грозя пустить «в расход», по ему повезло — в штабе соединения оказался давний друг, а теперь красный командир Ф. К. Миронов, однако и ему не удалось уговорить Крюкова «остаться писателем», выйти из войны... И хотя ответил отказом, его отпустили, и он продолжил борьбу. Как трагически развела давних друзей классовая война, свидетельствует эпизод их дружбы: в конце 1906 года подъесаул Миронов дарит фотографию свою Крюкову: «Дорогому борцу за счастье и светлую долю русского народа... Автономия донских казаков будет нашим девизом, и на этой платформе лягут наши головы». Трагизм этих двух судеб превосходит романтические придумки: воевали в разных странах — но равно настигла трагедия сурового времени.

казаться от своих планов. И с ликованием отмечал Крюков: все станицы *просили* — Усть-Медведица *требовала*. С болью пишет очеркист о «расслоении казачьей массы»; а что объединяет ее, в чем суть «казарменно-полицейской спайки»? Неужто красные лампасы? Так они для одних «источник выгод, почестей, доходов», для других — «тяжкое иго и бремя неудобноносимое».

Социальная поляризация достигла своего апогея: чиновничьи должности заняли «хозяйственные мужички», расплодилось торговцы, кулаки, ростовщики — и все в лампасах, есть и безлошадный опустившийся казак, нравственно раздавленный нищетой своей: он мечтает о службе в полицейских стражниках «как о кладе»¹. И есть группа людей, казаков, не носящих лампасы, — «ряженных», по терминологии старых урядников: учителя, юристы, врачи, интеллигентные офицеры и священники. Они особенно близки по духу автору, и прежде всего тем, что он как народный социалист стоит на позиции отнятия земли у помещиков и крупных землевладельцев и — непременно без выкупа².

Вообще для личности Крюкова характерно полное отсутствие двойственности — натура прямая, искренняя, художническая, человек исполненный безграничного доброжелательства. И когда в 1906 году он выступил одним из создателей легальной партии народных социалистов, ее политическая программа и идейно-нравственная направленность творчества писателя явили полное единство.

«Народное благо — такова цель, к которой мы стремимся», — заявляла партия энесов. Путь к нему пролегает через общий труд — он и является гарантией прав личности, общества, всего народа от посягательств со стороны и классов и индивидуумов. Народное государство должно быть трудовым, и сплочение всех трудящихся в одно солидарное целое может произойти только в государстве социалистическом. Самоценность и верховенство личности требуют равенства в обществе. Частная собственность на землю и богатства природы представляется недопустимой, нравственно неприемлемой: лишь сделав всю землю, все орудия и материалы, все средства производства общим достоянием, это государство излечится от язв безработицы, рантье-ров.

¹ Такого вывел Крюков в ярком рассказе «На речке лазоревой».

² Цит. по: Крюков Ф. Д. О казаках. — Русское богатство, 1908, № 4, с. 25—47.

Кроме классовой борьбы партия не вправе игнорировать другие виды борьбы. Нельзя придавать программе классовый характер. Лишь объединив все трудящиеся массы в одном властном стремлении, можно осуществить свои идеи. Интеллигенция должна считать себя неоплатным должником народа. Рожденная пятым годом Программа решительно заявляла: «Ни одна еще революция не проходила под знаменем таких высоких идеалов, как русская. Еще не было случая, чтобы такой высокий подъем революционной энергии трудового народа совпадал с таким широким распространением в его среде сознательной мысли». Будущая же революция, вопреки утверждениям политических оппонентов, будто она совершится в пользу капитализма, который был верным союзником самодержавия и теперь не решится изменить ему,— произойдет под знаменем социализма; для нее есть лишь один выход: восстановить права личности и обеспечить интересы трудового народа. Это и будет главной задачей будущей революции¹.

Беллетрист, публицист, общественник Крюков всю жизнь служил этим идеям: труд, народное государство, социалистические идеалы, частная собственность на землю отрицается. Чего же — привычного — здесь нет? Да отсутствует классовая ненависть — ее круг единомышленников Крюкова не принимал решительно: на первом месте — личность, а не класс...

Социальные проблемы возникали у Крюкова-очеркиста, а затем и беллетриста под значительным влиянием «беспартийного социалиста» Короленко (так тот себя называл) и других писателей и общественных деятелей «Русского богатства», где он стал сотрудничать с конца 90-х годов. Очень характерным окажется для мировоззренческих позиций автора очерков «На тихом Дону» (1898) признание — ему трудно рвать «корни», связывающие его с родным углом: «С глубокой скорбью я менял эту беззвучную тишину поросших травой улиц на грохот мостовой, на фабричные гудки, грязные и пыльные улицы и каменные высокие дома с вонючими дворами». Но сие отнюдь не «народническое» неприятие «язывы пролетариата», в чем новоявленные «ученики» обвиняли «хранителей наследства», — демократические и социалистические идеи Крюкова сильнее, дальновиднее сиюминутных схваток. «И здесь, в

¹ Пешехонов А. В. Исторические предпосылки к нашей платформе. — Русское богатство, 1906, № 6, с. 165—166.

этой тишине,— продолжает мысль очеркист,— бывают, я знаю, потрясающие драмы, произвол так же безвозбранно подвизается тут, горькая нужда бьется, и плачет, и не находит помощи; подлость и ненависть к свету свили и себе прочнейшее гнездо». Совсем по Глебу Успенскому: «власть земли» и власть «разбитных слуг господина Купона»... А «крик боли» и бессилия среди родной прекрасной природы смолкает или пропадает бесследно. Выход из сложностей жизни молодой писатель отыщет, как и его учителя из «Русского богатства», на путях не классовой, а общедемократической борьбы.

В добрых традициях демократической беллетристики будет отстаивать Крюков интересы казачьего сословия. Нам для понимания позиции автора очерков и его творческого метода — активного вмешательства в жизнь — очень интересен отраженный в очерках спор, разгоревшийся на борту парохода «Есаул»,— в сражение с товарищем прокурора ринулся наш писатель. Казаки-рантье, говорите вы, юрист. Полноте, давайте с цифрами и фактами в руках. Итак, казак-хлебороб, труженик, на пяти-шести десятинах пая («пайка») кормит семью. А кто скажет, достаточно ли трех сотен на коня и справку, когда он идет на царскую службу? Нет, конечно! Невежество? Но на всю Донскую область нынче одна гимназия в Новочеркасске, а в трех окружных центрах — Усть-Медведицкой, Нижне-Чирской, Каменской — вместо них открыты низшие военно-ремесленные училища, мальчиков обучают делать седла, плети... А в казачьей столице 10-летнему казачонку трудно пробиться к учебе. Вот вам и льготное «странное сословие», чья кровь во имя Отечества густо пролита в Европе и особенно в Азии...¹ Крюкову, прекрасно знающему заботы донского труженика, воспитанному на традициях святых 60-х, близки мотивы русской поэзии Некрасовской школы:

Стоянут Польша, казаки, забитый еврей,
Стонет пахарь наш многострадальный...

И не на зажиточного — на рядового казака-землероба ориентируется писатель, не на щеголеватого, для смотров, воина с пикой и чубом. Для Крюкова, привычно глядящего «в корень», казак — это «тот загорелый, заветренный, мазаный человек, над которым неизменно тяготеет суровая власть земли, нужды и вечная необходимость неустанного

¹ См.: Крюков Ф. Д. На диком Дону. — Русское богатство, 1898, № 8, с. 59; № 9, с. 122.

труда, чтобы не умереть с голоду. Кроме всего этого, на нем давящим бременем лежит — даже в домашней жизни — обязанность быть каждую минуту готовым выступить в полном вооружении и на своем собственном коне против врагов отечества»¹.

Совершенно ясно, что Крюков органически не мог защищать интересы нетрудовых слоев казачества. Как один из литераторов *школы Короленко*, один из учеников писателя-демократа, писателя-гуманиста, быть может, самый яркий и талантливый, он в этой школе унаследовал от великой классической литературы «золотого» XIX века неколебимую верность идеям служения народу, соединенную с готовностью сражения за свои идеалы повсюду, нравственную чистоту и такое же высокое бесстрашие в борьбе с любыми проявлениями деспотизма, шовинизма, национальной нетерпимости. Эта всегдашняя, унаследованная от «хранителей наследства» «тенденциозность» позиции — только на стороне народа — сочеталась с готовностью сражаться в этой общедемократической борьбе в союзе с любыми партиями, с главным противником — самодержавным режимом. Оттого-то в «Русском богатстве», во главе которого с начала 900-х годов стоял наследник лучших традиций народничества Владимир Галактионович Короленко, были люди, находившиеся и вне партии и примыкавшие к народным социалистам, трудовикам, близкие к эсерам, социал-демократам, — всех объединяло неприятие режима, постоянная — по всему фронту — борьба с ним.

Влияние Короленко на молодых писателей было значительным — идейное, нравственное, художественное, авторитет его как совести нации, публициста, беллетриста, общественного деятеля необыкновенно высок в глазах последователей и учеников. С. Я. Ельпатыевский — продолжатель традиций Короленко в раскрытии сибирской тематики, автор очерков и рассказов о Сибири, публицист, мемуарист; С. С. Кондурушкин — автор очерков и рассказов о Сирии и Сибири, о духовенстве, о рабочих, корреспонденций о деле Бейлиса; С. Н. Елеонский (Миловский), разрабатывавший тему русского духовенства; Д. Я. Айзман — прозаик, драматург; А. В. Пешехонов и В. А. Мякотин, А. Г. Горнфельд — публицисты, историки литературы, критики — из тесного круга редакции «Русского богатства».

¹ Крюков Ф. Д. На тихом Дону. — Русское богатство, 1898, № 9, с. 124.

Крюков был и лично, и идейно, и творчески привязан к «школе Короленко» — Владимир Галактионович в недолгую, но плодотворную пору ученичества внимательно пестовал, заботливой рукой направлял в литературе, печатал едва ли не все, что с 1896 года, с прелестной романтической «Казачки», приносил Крюков в журнал. Короленко ценил в Крюкове его неподдельный, прирожденный демократизм, любовное и талантливое отображение «известного ему быта», приверженцем которого он показал себя с первых вещей у «богачей», умение учиться на лучших традициях родной литературы, особенно — быть верным реалистическому направлению. «Нужно искать красоты и жизненной правды вместе, — учил начинающих литераторов Короленко. — Жизненная правда проста, сурова, иной раз непривлекательна, но если сумеешь овладеть ею, то с нею и красота прочнее... Это трудно, именно это ценно»¹. Короленко очень импонировало в Крюкове стремление исходить родную землю «апостольским способом». Руководитель «Русского богатства» назвал такую манеру писательского «хождения в народ» — «с котомкой за плечами», когда возвращаются, «не потеряв молодости и с опытом зрелых людей». От Короленко получил Крюков первые серьезные уроки политологии, требующие от прозелита отрешения от «устойчивого равновесия совести» отцов и умения соединять свое мировосприятие народолюбца с прямой личной ответственностью за очевидно неправый «весь порядок вещей»². Короленко больно ударила гибель сотоварища и ученика, он отозвался на нее горестными строками: «Получил от Горнфельда известие о смерти Ф. Д. Крюкова. Очень жалею об этом человеке. Отличный был человек и даровитый писатель. Умер и И. Шмелев. Как подумаешь, — так еще недавно оба начинали свою литературную карьеру»³.

Как беллетрист он начал ее в «Русском богатстве» — автору «Казачки» было 26 лет. Чем очаровывает рассказ? Конечно, прежде всего обаятельным образом Натальи Не-

¹ Короленко В. Г. Избранные письма, т. III. М., 1936, с. 179—180.

² Короленко В. Г. История моего современника. — Собр. соч. в 10-ти томах, т. 5. М., ГИХЛ, 1954, с. 22.

³ Письмо к С. Протопопову от 25. VIII. 1920 г. — Былое, 1922, № 20, с. 26. Известие о смерти Шмелева оказалось ложным, время его помпловало, он жил и творил еще 30 лет. Крюков погибал дважды — еще и как писатель, 70 лет ждал он воскрешения; дождался.

чаевой, «Наташки» по-станичному, смуглой южной горькой красавицы, сдержанно-страстной, сильной и вместе беззащитной юной женщины, настоящей казачки, по которой жизнь прошла так безжалостно, вместо счастья подсушила одни страдания.

Простенькая вроде история, и далек Крюков от широких обобщений, и вселенским протестом смерть героини не прозвучала, возможно, молодому автору дыхания не хватило,— но сумел он создать рассказом своеобразный реквием по загубленной казачьей мадонне, и таким искренним,— негромким, но сильным, как все у Крюкова,— протестующим аккордом прозвучал он, такое грустно-светлое ответное чувство в читательской душе заставил отозваться. И впредь лучшие произведения Крюкова бередили сердца, очищали души от скверны, звали к нравственной устойчивости, к глубоким и ясным раздумьям над смыслом бытия и желанию устроить его добрым и мудрым образом. То есть вершили то свое, *главное*, что может желать для себя классическая литература, особенно — русская, изболевшаяся несчетными страданиями и бедами своего народа, радующаяся немногими скупыми радостями его. Будут у писателя произведения не менее талантливые, тоже исконно казачьи и тоже уникально крюковские,— но печальный и светлый рассказ «Казачка» останется живой особой вехой на художническом его пути.

Уже в «Казачке» заложено то неповторимое, своеобразное очарование Донщины, которое будет раскрываться в последующих и позднейших рассказах и повестях Крюкова; совсем «чеховское», а то и «бунинское» умение найти тот впечатляющий образ, который так много скажет о персонаже: «смелая и влекущая» улыбка у Натальи, «легкая шеголеватая походка», «странная усмешка», «сердце непокоренное».

Реалист по самой сути своей, Крюков с первых шагов в литературе выступил как большой мастер психологического и словесного портрета. Его персонажи проступают в своих характеристических чертах чаще всего через передачу каких-то сторон их внешнего облика, связанных с поступками, выразительной местной речью их самих и окружающих, ярко запоминающимися картинками быта и природы. Особенность Крюкова-художника в этом слитном, синтетическом раскрытии социальной, нравственной, духовной сущности его героев.

Вот Кондрат Чекушев, самый несимпатичный, но и самый колоритный, самый значительный персонаж из чудесного рассказа «На речке лазоревой» (1911). Сколько лютой силы и сколько мелкой ничтожности в нем, он умеет пресмыкаться, научен подавлять, втаптывать в грязь, ломать. Настоящий сын своего времени — эпоха все «негодяйское» свое отдала ему. Чекушев у Крюкова дюжий, широкоплечий, в фуражке не казачьего образца (с алым околышем), а в синей, похожей на жандармскую. Рубаха на казаке разорвана, штаны в неимоверных заплатах, ноги украсили «желтые туфли — очевидная претензия на моду». У него «квадратное костлявое лицо... с грушевидным носом и клочками бороды», он излучает «гипноз умелой наглости и самоуверенности», сковывающий чужую волю. Его речь точно воспроизведена автором — она выдает человека, потерпевшего возле начальства, вкусившего власть, — наглого и с претензиями на «культурность». Критики, столкнувшиеся в лице Крюкова с художником малоизвестной российской читателю Донской стороны, единодушно отмечали: очень трудна в передаче своеобычность местного говора, — и писатель это делает мастерски... Вот как у него изъясняется Чекушев. «Взялся кучером, то и правь форменно, — выговаривает он мальчонке, — чтобы видно было, что ты есть кучер с мозгами... Дилижан должен идти у тебя, как на лесорах»; и все-то он в бытность полицейским едал: «Коклеты, минигреты, биштеки», «по-нашему — жидкая каша, по-ихнему — суп».

Этот «внешний» портрет героя для Крюкова — только этап в создании психологического портрета, невозможного без показа того же Чекушева через отношение к нему окружающих. Бывший полицейский последовательно высвечивается в социальном отношении, бытовом, семейном, но главное — в нравственном. Недаром последний, высший суд произнес над ним не одностаничник, и не восставший на него сын, и не лишенная им человеческого подобия жена — он сам, и это всего важнее для никогда не торопящегося конечным осуждением писателя-гуманиста, ученика короленьковской школы. Характеристику автора всегда дополняют симпатичные ему персонажи: «Кондрат? Человек городской, продиктованный... ндравный... Начальник строгий, а подчиненных мало — баба да малый мальчонка... над ними и мудрует... Как придет, сейчас ее на коленки! «Прости прощений, стерва!» Кланяется она, кланяется ему в ноги, а за что — неизвестно!.. Калекой совсем сделал...

Ногой топнет: «Смир-но!.. Играй песни, стерва!» Стоит она на коленях, играет...»¹

Конечно, настрой задает автор: «Я представил себе эти кулаки,— широкие руки Чекушева с крючковатыми пальцами, как бы застывшими в полусогнутом положении, выработанном привычкою хватать и тащить... я перенесся медленно в положение тех российских обывателей, над которыми стоял он несколько лет водворителем порядка,— и не позавидовал им...»² Для нас бесценно заключительное признание автора, всегда далекого от «конечного» приговора. «Лицо, правда, тупое, квадратное, но как будто не очень зверское, скорее простодушное с своим грушевидным носом и старательно преданными глазами оберегателя порядка. Поглядел и подумал: это скорей рядовой исполнитель «долга», чем вдохновенный артист успокоительной деятельности... выбьет зубы, сломает ребра, вывернет руки, но все согласно указанию, самостоятельность же и инициативу едва ли сумеет призвать». И все-таки писатель не спешит осудить такого — он предоставляет самой жизни это сделать. Так оно в лучших его произведениях и происходит.

Одна из ярких повестей — «Неопалимая купина» — самое, быть может, тревожное произведение писателя. Здесь у Крюкова, обычно склонного к незамысловатому сюжету, сюжет «играет»: в ярко расцвеченном эпилоге учитель Мамалыга — погромщик, душитель живой мысли, объект единодушной ненависти городской учащейся молодежи, — совершенно уничтожается, раздавливается в злой для него, нелепейшей ситуации, когда господин наставник оказывается схвачен как красный крамольник чинами полиции, до того почтительной и уважительной к нему как к «союзнику». Как и в «Речке лазоревой», на первый план выдвигается образ исполнителя долга, но уже пострашнее — самостоятельного инициативного идеолога консерватизма, застоя, который для воплощения своих злых планов не пожалеет никого и ничего.

С первых своих произведений Крюков заявил себя мастером пейзажа. Охотно и подробно брался он живописать родную сторонку — точно она давала силы в борьбе

¹ На Дону говорят: песню не поет, а *играет*.

² Как здесь ясно проступают знаменитые мотивы того же любимого Крюковым Глеба Успенского, автора «Будки» с Мырцецовым в ней и его зловещим лозунгом «*тащить и не пущать*».

с Чекушевыми, Мамалыгами, и делал это столь жадно и постоянно, что не пустой покажется мысль: как художник Крюков начинался с пейзажа. Охотно и густо кладет он сочные цветные акварели на полотно, вобравшее Донщину, ее природа у писателя многокрасочная, живая, дышащая, меняющаяся, вплотную придвинувшаяся к доброй душе. Без такой палитры донской писатель вообще невозможен, но Крюков — один из самых прикипевших к своему краю щедрых на краски мастеров слова.

В чем секрет этого художнического обаяния? В том ли, что вы с первых строк начинаете чувствовать жаркое биение пульса здешней особенной жизни; у автора как будто привычный набор слов, спокойно и плавно ведет речь свою, как вдруг — цветным селезнем над плавнями, серебристочешуйчатой рыбицей над лазоревым стеклом речушки — взовьется неожиданно, нигде не слыханное, «крюковское» словцо, для сего случая найденное, на свое место поставленное. «Простор и дали под ярким, знойным небом *глотают* бесследно голоса людей, стук телег, конский топот. *Высок шатер и необъятен*, и все на жаждущей земле под ним *глядит* таким *игрушечным и маленьким*: и яблоньки, и лес далекий, и хуторские домики в садах, овраги на горе, болотца с узкой каймой зелени и хохлатыми чибисками, табун овец и крылья мельниц. Все крошечное в знойном сиянии дня — томно неподвижное, почти застывшее»¹. Этот пейзаж из «Речки лазоревой» очень характерен для Крюкова-живописца: отчая сторонка «плотно заселена», и жизнь здесь неумна в своих проявлениях. Для «первобытной, раскольничьей» реки автор не подыщет иного эпитета, как *милая*, а тишь над нею, конечно же, *кроткая*, и если над Медведицей понесутся звуки гармоники, то печаль нашего автора-рассказчика будет *чуждая, красивая*, а жалоба — *нарядная, выплаканная в мелодии вальса*.

Однако писатель далек от одного только любования этой жизнью. Казаки у него участвуют в рыбалке жадно и азартно, *гомят* (гомонят; местные слова сравнительно редки и в контексте обычно понятны), веселятся на этой праздничной забаве, сменившей тяжелую и скучную повседневность; но Крюкову видится еще и неприметное другим: над «рыбьей тоской и немим страданием» — хищ-

¹ Своёобычное, как нам кажется, выделяем всюду курсивом.

ное торжество и буйная радость победителя-человека. И только мальчонка у него — из забавы, не из жалости — станет выпускать пленных рыбешек на свободу.

Присутствие автора всегда ненавязчиво, а главное оправдано — и не только сюжетно, композиционно, но нравственно: Крюков вносит в народную казачью среду определенный высокий духовный, интеллигентский настрой, — в этом писатель — преданный последователь лучших литературных традиций демократического, народнического полустолетия (1860—1900-х годов, т. е. от крымского разгрома и Освобождения до 1-й революции). Крюкова обычно мало интересуют фабульные изыски (да и не силен он в них), его сюжет всегда прост, «однолинеен», не в его извивах сила литератора. Ему гораздо ближе, важнее то нравственное состояние, какое должны сообщить читателю его произведения. Вот очень «крюковский» фрагмент, где автор не станет рассказывать о своем настроении, а рассчитанно положится на краски, набросанные им на полотно, краски — мягкие, приглушенного тона, начисто лишенные экспрессии. «Я встал и отошел на косу, — песня всегда красивее и мягче на расстоянии, чем вблизи¹. Матовым, изогнутым зеркалом лежала река, зелено-синяя, у берегов темная, закутанная теньями... за холмами, за хутором Чигонацким садилось солнце, — не видать его было, но горело розовым золотом белое облако на востоке... Еще душновато было и тихо. Когда обрывалась песня, слышно было, как в подмытом, свалившемся в воду дубовом кусту тихо побряхтывала лягушка, стонала страстным звуком».

Мир у Крюкова всегда яркий, живой, многоцветный и многолюдный, неостановимо думающий, глубокий. гораздо более сложный, чем помышляют те, кому он видится в «первородной» примитивности и простоте. И еще этот мир очень цельный. Вот, к примеру, как его краса и полнота раскрываются в повести «Зыбь». Гагаканье гусей отзывает *медным звоном*, а овцы и ягнята напоминают своим блеянием школьников *нестройным, но старательным хором поющих утреннюю молитву*; бороны, что тряслись на арбах уткнувшись в сено, сердито ощерялись зубьями, но *ехидно-цепкими* становятся они, когда лезут

¹ Известно, что сам Крюков имел хороший голос, прекрасно пел — особенно любимые им старинные казачьи и русские народные песни.

в землю; у серой кобылы Корсачной, не ждущей понуканий, трудолюбивой старухи с отвисшей нижней губой и слабыми, уже согнутыми коленями — разглядит писатель — умные глаза и острую, точно пила, от старости спину. И арба у него, прежде чем двинуться, закричит и встрепенется, потом уже станет качать трехлетнего казачонка, как в зыбке. Эти образы даются только наблюдательному глазу и отзывчивому, глубоко знающему и навсегда любящему весь этот немудреный и вечный быт исконных землеробов.

Вместе с тем казачья сторона для Крюкова вовсе не земля единственная — чем дальше, тем сильнее осознает он себя не только донским, но и российским писателем, для которого боль за судьбу русского или малороссийского пахаря идет рядом со скорбью за судьбу милого его сердцу станичника-горемыки. Хотя бы уже потому, что этот последний хоть чуточку лучше живет со своими казачьими сословными привилегиями, чем орловский земледелец, калужский мещанин или новгородский речник.

Вот одно из приметных признаний автора очерков «На тихом Дону»: «Есть что-то непонятно-влекущее, безотчетно-чарующее в чувстве родины. Как бы неприветливо ни взглянула на меня родная действительность, какими бы огорчениями ни преисполнилось мое сердце, — издали, с чужбины, как-то все в ней кажется мне краше и приветливей, чем оно есть на самом деле. Иногда... я даже ощущаю до некоторой степени эгоистическую гордость: мой сородич казак, как бы он беден ни был, все-таки живет лучше русского мужика. Такой поразительной нищеты и забитости, какую на каждом шагу можно встретить в русской деревне, на Дону пока не найдешь. Казак не знал крепостной зависимости, сознание собственного достоинства еще не умерло в нем. Это-то сознание, хоть изредка проявляющееся, и привлекает к нему наиболее мое сердце...»¹

Так вступила в действие живая формула творчества Крюкова — очеркиста и беллетриста, которой он останется верен до конца дней своих: казак-хлебороб и вслед российский мужик-земледелец, русский обыватель — учитель, священник, воин, монах, фабричный; женщины все больше простого звания: казачки-жалмерки, матери часто непутевых, несчастных сыновей, — вот герои и героини его прозы,

¹ Крюков Ф. Д. На тихом Дону. — Русское богатство, 1898, № 10, с. 154.

им он будет как писатель верен до гроба. Крюков — один из тех самобытных русских литераторов, у которых вся жизнь — в их творениях¹.

Новый период творчества — после разгрома первой революции и кануна первой мировой войны — пронизан у Федора Дмитриевича двумя сопутствующими ощущениями — *счастья и зыбкости* этой жизни.

Поведенческой нормой своей писателя и общественника ставил желание «жить широко, вольно и смело»². В эту пору он сознается, что для него «есть какое-то обаяние в движении и шуме толпы»³, доносящем тот особенный *гул жизни* — и его земляков, и столичных обитателей (можем проследить это, например, в рассказах «Без огня», очерке «Угловые жильцы», 1911, и др.), который художник отчетливо расслышал в лучшие свои последние творческие зрелые годы. А проблема поисков счастья среди зыбей жизни особенно интересно раскрывается в повестях «Счастье» (1911) и «Зыбь».

В первой вещи дерзкие поиски казачком Сергунькою путей к «чудесной жизни», к которой книга поднимает душу над тяжелой обыденщиной, отупляющим трудом, страхом за будущий день семьи, приводят к тому, что *станичного социалиста* трусливый начальствлюбивый атаман тащит к тупому, *но дерзкому на руку* заезжему генералу, и последний пресекает мечты молодого казака о жизни заманчивой, счастливой.

Другое произведение — «Зыбь» можно было бы назвать повестью-предупреждением: «ненависть вошла в мир...» — если бы вслед за ним не прозвучало: «придет и наш день». Какой он будет? — задается мучительным вопросом художник, — *нарядный, убогий, страшный?* Ведь у жизни «ужасное безрадостное лицо»... Но — вперевив этому — полная света и радости картина писателя-гуманиста, умеющего истово верить в «хорошее будущее», в добрые перемены: степь в багрянце заката, едет на рыжем коне и поет юная казачка. «И было какое-то особенное

¹ Он очень интересен и сегодня, хотя... нет у его произведений о казаках тайной магии «Тихого Дона», который можно перечитывать много раз и с любого места.

² Повесть о личных переживаниях в Орле. Отдел рукописей Библиотеки им. Ленина (ОР ГБЛ), ф. 654, картон 2, ед. хр. 23.

³ Записная книжка с литературными набросками. ОР ГБЛ, ф. 654, к. 2, ед. хр. 19.

обаяние в этом одиноком молодом голосе, который так сладко тужил и грустил о смутном счастье...» Не отпускает Крюков читателя унылым, безрадостным,— всегда у него, даже в мрачные, зыбистые эпохи, как у его учителя Короленко,— «все-таки, все-таки впереди огни».

Многие вещи «казака» притягивают к себе внутренним оптимизмом, афористичностью, земной надежностью, что ли. Возьмите ту же «Зыбь», так пришедшуюся по душе в ту пору жизнелюбцу, оптимисту Горькому. Крюков сказал так свежо и сильно о земле, о власти ее, подлинный гимн вознес вечной людской привязанности: «Что-то могущественное, почти неодолимое было в этих трех десятинах взрытой, истощенной земли». Каким древним нестареющим колдовством сыновней ласки, любви отдают строки о том, что «буро-черные комья земли лежат, словно притаились, как насторожившаяся темная, несметная стая», или с тенями облаков «черный ковер взрытой земли», «с мертвым, потускневшим золотом прошлогоднего жнивья» с голыми, красными, словно озябшие пальцы, ветвями кучерявых степных яблонек, косичками нежной зелени над балками, вихрями старника, торчащими «как редкие чалые волосы на изрытом оспой лице», или залегший длинной сигаркой во впадине, между голыми кустами, исчерченный пыльными серыми бороздами запоздалый сугроб, а вокруг него уже ошетинилась молодая трава, голубели подснежнички на своих нежных, зелено-коричневых стебельках и развертывались золотые бутоны бузулукчиков.

С неслабеющим художническим азартом воссоздает Крюков и в войну это могущество жизни, великую силу земли, неуклонную тягу человеческой души к счастью. Эти чувства у него в прочной связи жизнью его героев с *нарядными* днями расцвета природы, бытия, с кажущейся мертвой зимней их неподвижностью, в смене одного состояния другим, когда все-таки, все-таки впереди человека должно ждать счастье.

В войну «оборонец» Крюков не утратил веры в народ, в счастье России. Из короленьковского в нем остался высокий нравственный «метроном» — никак нельзя дать «замерзнуть» совести¹.

«Краевые» ситуации по-прежнему не по Крюкову и не для Крюкова — ему чужды и классовые и партийные эго-

¹ Очерк-воспоминание «Сестра Ольшвангер» (1915).

измы, ему по душе бытовые конфликты, пусть и с трагическим исходом, однако кровавые военные, государственные противостояния под перо его не идут. Недаром в его произведениях о германской войне почти нет боев, схваток — им он предпочитает нравственное, духовное противоборство, чурается патриотического экстаза, душевного надрыва, кровавых картин, смертей даже врагов,— война для него — нежелательная неизбежность, чего уж тут надрываться.

Деловито, трудолюбиво, настойчиво служит он пером не великой войне, а скромному, рядовому российскому человеку на ней. Кавказский фронт, Юго-Западный. Вот уж когда истый гуманизм, интернационализм раскрылись в Крюкове-очеркисте, беллетристе,— возьмем для примера прелестный рассказ «Четверо» (1915).

По фронтовой дороге идет в тыл раненый солдат Семен Уласенков, горит рана, ковылять далеко. В ноге осталась пуля, ее не вытащить. Фельдшер сказал, потому что «раскудрявилась», в лазарет к врачам надо. «Шоссе было прижато к отвесной каменной стене, рябой, морщинистой, как выростковая юфть... отвесные горы, скалы и каменные глыбы, разорванные темными щелями. Ничего хорошего, жуть одна». Для Семена только что отгрохотавший бой — не «жуть»: ему *одному* сиро, неудобно. Непривычно и автору на войне. Он в полстраницы покончит с описанием кровавой схватки, с войной, ему много интереснее то, что вокруг. И вот уже вчерашний плотник нагоняет вчерашнего приказчика, солдата помороженного и хворого — Арона Переса, из инородцев. Идут уже вместе, по-доброму беседуют. Где-то у Ардагана стреляют пушки. «В тихих сумерках, среди векового мудрого молчания гор,— скажет писатель,— эти далекие звуки людской вражды кровавой казались такими непостижимо ненужными, невероятными, нарушающими торжественную немую красоту и величавую гармонию мира божьего...» Но у войны не гармония, о которой печалится автор,— тут кровь, и вражда, и зверство. На дороге арба, убитый отец, мать уведена, и армянский мальчонка жалобно воет от ужаса и отчаяния. Но и этого мало Крюкову — компания была бы неполна без турецкого солдата, голодного и жалкого, отбившегося от части. И Федор Дмитриевич «выделит» этим четверым одну ложку — и станут есть ею по подсказке Семена из котелка русскую кашу с салом по очереди...

Так видится писателю-демократу подлинное братство

людей разных, которые и в краевых обстоятельствах призваны людьми оставаться; простая и правдивая история ничем не кончается, жизнь идет, война продолжается; незамысловатый, из очерка выросший сюжет, а сколько лиричности, сердечности, теплоты в этом рассказе. Присмотримся: у автора от русского солдата-богатыря исходит тепло и сердечность, послушайте, как адресуется он к спутнику: «товарищ»¹, «милый, друг», «брат». «Ты — Арон, а я Семен, два сапога — пара»; а вот как обращается к несчастному мальчонке: «чадушка», «болезный», «родимый», «сыночек»; с пленным турком спокоен, участлив, беззлобен. И во всех вещах у Крюкова человек на войне — страдалец, оторван от главного своего дела — мирного труда, но он и уводится автором от ответа на главный вопрос времени: зачем эта война?.. Позиция оборончества как будто уводила Крюкова в никуда. Но так ли это? Не забываем ли мы о позиции гуманизма, столь важной для характеристики личности писателя. Когда-то он обмолвился: таких-то Толкачевых — ухарей, воров, лишенных нравственных тормозов («В родных местах») да на войну — чудесов бы натворили». Но вот война — и писатель-гуманист на ней видит и отображает людей добрых, ситуации братства, он знает, что за горами грозят смертью пушки, но здесь, на «отвоеванной позиции» (Короленко), четверо справляют у Крюкова праздник мира и братства. Кровь, вражда, национальная ненависть — не для нашего писателя, нет, не для его музы².

¹ Сам Крюков любил слово «товарищ», имевшее хождение в кругу «Русского богатства».

² Повторимся: этика Крюкова непредставима без образа вечной труженицы, неистощимой заботницы о своем «чадушке», как и без образа родных мочежпнок и голубых неспешных рек. Как часты у Крюкова образы матерей, женщины у него почти сплошь несчастны, маются бедой своих непутевых сыновей, оттого и родина для писателя — «милая и несчастная»: «настоящий сын тихого Дона», считает он, должен быть добр и жалостлив к женщине, к отчему краю. У Крюкова-беллетриста, решительного противника всякого насилия, в том числе революционного, мы не отыщем жестких ритмов «Тихого Дона», — он «мягкий», «округлый», не приемлющий жестокости. Для его поэтики совершенно неприемлем жуткий эпизод распятия казачьим взводом несчастной польки Франи, он никогда не напишет сцену убийства Подтелковым — Чернецова или казни подтелковцев — станичникам, не бросит своего героя рубить молодых матросов, как это сделал Гришка Мелехов, не для него заеденный, обсыпанный отвратительными насекомыми Пантелей Прокофьевич...

Крюков по-прежнему в редакционном комитете «Русского богатства», много пишет — в основном это путевые очерки, корреспонденции, воспоминания — для родного журнала, «профессорской» последовательно либеральной газеты «Русские ведомости» (Москва). В действующей армии он при разных санитарных отрядах Государственной думы, большой крест на погонах, должность — контролер отряда, а по сути фронтовой корреспондент, в этом амплуа Крюков и прошел войну.

Февраль, свержение самодержавия, которое он предрекал в своих очерках кануна революции, писатель встретил восторженно. Он целиком окунулся уже с весны семнадцатого в бурную переворачивающуюся жизнь, связанную с родным Доном. В Петроград, Москву Крюков после лета 1917-го не приезжал; в 18-м, когда были закрыты «Русское богатство», «Русские ведомости», — ему тут уже и негде было печататься. Исчерпан ли был его творческий потенциал художника-беллетриста и доставало сил лишь на текущую публицистику? В столичных органах после насильственной «унификации» прессы в 1918 году он ничего не печатал. Еще осенью шестнадцатого в письме к сестре Марии беспокоился о судьбе обеих сестер и приемного сына, жаловался: «Работоспособность идет на убыль, года уже сказываются... попаду я завтра в «тираж погашения» — вы беспомощны в борьбе за жизнь»¹. Думается, здесь проявился «поздний» Крюков: с повышенной к себе требовательностью, постоянно рефлектирующий, сомневающийся в таланте своем, в силах своих, порою даже мнительный и... не очень счастливый в личной жизни. «Самоуправный народ русские», — повторял он с не оставляющим его юмором — применительно к себе: умел справляться со «слабостями», в их числе был у него и «сладкий яд исканий»². А работал напряженно, плодотворно — недаром в том же революционном 17-м не только активно трудится, но и много печатается. Нет, не иссяк его талант, недаром, даже при отсутствии у исследователей архива писателя последних лет его жизни, какие-то сведения о большой вещи, над которой Федор Дмитриевич работал уже в пору гражданской войны, стали достоянием общественности...

¹ Письмо от 30. X. 1916 г. ОР ГБЛ, ф. 654, к. 3, ед. хр. 3.

² См. автобиографический очерк «У окна», рассказ «Мечты» в его сборнике «Рассказы» (т. I. М., 1914).

Как бы то ни было, поздней осенью 1918 года в Усть-Медведицкой вышел уже упоминавшийся сборник «Родимый край», целиком посвященный 25-летию его творческой деятельности. Книга включала фрагменты из произведений и публичных выступлений писателя, крюковские письма к Короленко, критические работы о творчестве, воспоминания о нем «мирном» и воюющем. В целом же в сборнике отразился образ не «юбилейного», а действующего, способного к творческой и политической деятельности художника, общественника, борца. Да, Крюков к этой поре уже был в другом лагере: восторженный прием Февраля — и враждебное неприятие Октября. Пренебрег примером Учителя: оба желали революции, теперь Короленко вне сражающихся лагерей, он против крайностей борьбы, жестокостей данной минуты, ждет просвета «не от торжества того или другого оружия, а от просветления общего сознания»¹. Крюков же стал не над схваткой — его место оказалось в эпицентре ее. «Сознательная работа будущего»², о котором он мечтал годами, в эту отведенную ему короткую жизнь не включалась — перечеркнута оказалась двумя жестокими войнами.

В гражданскую сказался прямой, негиббемый характер «казака»: никогда не искал компромиссов, был до конца правдив в жизни, в творчестве, как теперь в общественной борьбе. По таланту и место в схватке оказалось значительным: кандидат в Учредительное собрание от Войска Донского, секретарь Большого войскового круга (местного парламента), редактор «Донских ведомостей» — официоза Донского правительства, активный публицист ряда изданий юга России, а в пору белого исхода «пошел в ряды войск... Ф. Д. не пожелал остаться в тылу. — «Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь звали на бой, а сами остаемся в тылу», — говорил он. — Ф. Д. не покинул рядов армии и в тяжкую эпоху отхода с родной территории Дона»³. Что ж, образ этого человека, если смотреть без предвзятости, без шор, выигрывает в главном: остался патриотом родного Дона — он так понимал

¹ Короленко В. Г. Письмо к С. Д. Протопопову от 22. II. 1919. — Былое, 1922, № 20, с. 16.

² Первые выборы. — Русские записки, 1916, № 4, с. 164.

³ Сватиков С. Ф. Д. Крюков. — Газета «Утро Юга», 1920, 25. II, № 44. Цит. по статье В. Проскурина «К характеристике творчества и личности Ф. Д. Крюкова» (журнал «Русская литература» (Ленинград, 1966, № 4, с. 183).

свой долг перед мятущимся среди зыбей российской революции казачеством, исполнил этот долг до конца, и не нам ныне, через 70 лет, хулить или хвалить его за это.

Обнаженная, незамутненно чистая правда у Крюкова часто сурова, но никогда не жестока: он «не дотягивает» или сознательно, или по сути своей душевного человека до жесточи в своих вещах: «Доброта спасет мир». «Век-волкодав» обойдется с ним гораздо круче. Но — через 70 лет мы сумеем разыскать его вещи в библиотеках и архивах и, счастливые обладатели несгоревших рукописей, нерастерзанных книг и журналов, принесем их людям. И окажется так много о любви и добре, так нам недостававших, в этих повестях и рассказах.

Ему ты песен наших спой,—
Когда ж на песнь не отзовется,—
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернется.

Из своих «окаянных дней», от «несвоевременных мыслей» еще один писатель воротился к нам, в свою родную литературу, где упрямое российское Время оставило незаполненным законное место его. Вовеки здравствуйте, Федор Дмитриевич, «живите на свете» — как вы любили повторять.

Георгий Миронов

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

ВОСПОМИНАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЕ
В ПРОЗЕ

ИЗ КНИГИ „КАЗАЦКИЕ МОТИВЫ“

Казачка

Из станичного быта

Повесть

I

В маленькой комнатке с низким потолком, с потемпевшими, старинного письма, деревянными иконами в переднем углу, с оружием и дешевыми олеографиями по стенам находилось два лица: студент в старом форменном сюртуке и молодая казачка. Студент стоял на коленях среди комнаты перед большим раскрытым чемоданом и вынимал из него книги, разные свертки и — больше всего — кипы литографированных лекций и исписанной бумаги. Русые волосы его, подстриженные в кружок и слегка выющиеся, в беспорядке падали ему на лоб; он беспрестанно поправлял их, то встряхивая головой, то откидывая рукой назад. Молодая собеседница его, которая сидела на сундуке, около двери, с несколько недоумевающим любопытством посматривала на эти груды книг и лекций, расположенных на полу вокруг чемодана.

— Тут тебе гостинцев, не унесешь за один раз, пожалуй, — сказал ей студент.

Она вскинула на него свои карие, блестящие глаза и улыбнулась весело и недоверчиво. Смуглое лицо ее, продолговатое, южного типа, с тонким прямым носом, с тонкими черными бровями и глазами, опущенными длинными темными ресницами, было особенно красиво своей улыбкой: что-то вызывающее, смелое и влекущее к себе было в ней, в этой улыбке, и легкое смущение овладевало студентом каждый раз, когда продолговатые глаза его собеседницы, весело прищурившись, останавливались на нем, а на губах ее играла эта странная усмешка.

— Прежде всего — вот, — продолжал студент, с комическою торжественностью извлекая из глубины чемодана один из свертков.

И он развернул перед ней два небольших платка: один шелковый, бледно-голубой, другой — шерстяной, тоже голубой, с яркими цветами на углах.

Студент (его звали Василием Даниловичем Ермаковым) приехал два дня назад из Петербурга на каникулы и привез, между прочим, письма и посылки от своих станичников, казаков Атаманского полка, к их родственникам. Два дня пришлось ему раздавать эти письма и посылки, пить водку, беседовать со стариками, утешать старух, разливавшихся в слезах по своим родимым сынкам, несмотря на его уверения, что все они живы и здоровы и все благополучно, слава Богу. Но что было всего труднее, это удовлетворять расспросы казачьих жен — «односумок»¹, приходивших отдельно от стариков и старух и спрашивавших о своих мужьях с такими непредвиденными подробностями, на которые растерявшийся студент или ничего не мог сказать, или, отчаявшись, немилосердно врал. Теперь он разговаривал тоже с одною из таких «односумок»: это была жена его приятеля, казака Петра Нечаева, — Наталья. Она пришла после всех, уже под вечер второго дня.

— Это тебе, — сказал студент, подавая ей шелковый платок, — это матери передай.

— Ну, спаси его Христос, — проговорила она, взявши платки и окидывая их опытным оценивающим взглядом.

— А деньжонки-то, верно, еще держатся, не все пропил? — заметила она с улыбкой.

— Да он и не пьет, — возразил студент.

Она недоверчиво покачала головой и сказала:

— Как же! Так я и поверила... Все они там пьют, а после говорят, что там, дескать, сторона холодная: ежели не пить — пропадешь.

Студент, продолжая рыться в чемодане, очевидно, плохо вслушивался в то, что она говорила, и ничего не возразил.

¹ «Односумами» называют друг друга казаки, служившие в одном полку и, следовательно, имевшие общие седельные сумы; жены их кличут одна другую «односумками».

— Да это не беда,— прибавила Наталья, помолчавши с минуту,— а вот лишь бы... Это я даже не люблю!

Студент поднял голову и рассмеялся. Она произнесла щекотливый вопрос спокойно, без малейшей тени конфузливости и затруднения, как вещь самую обычную, а он между тем несколько смутился и покраснел.

— Вот и письмо, наконец,— проговорил он поспешно, подавая ей большой и толстый конверт,— написал чего-то много...

— Письмо-то я после прочитаю,— спокойно и неторопливо сказала она,— а ты мне Расскажи на словах... Живое письмо — лучше.

— Да я что же на словах могу сказать? — заговорил студент, вставая с места и покоряясь необходимости повторить в двадцатый раз одно и то же, что он говорил всем односумкам об их мужьях в эти два дня:

— Жив и здоров, конь тоже здравствует, служба идет ничего себе, хорошо, скучает немного по родине... по жене главным образом,— засмеявшись, прибавил он.

— Как же! — весело усмехнулась она,— нет, ты Расскажи, Василий Данилович, мне по правде, не скрывай...

И она повторила прежний вопрос.

Он опять взглянул не без смущения на ее красивое, несколько загорелое лицо. Карие глаза ее глядели на него весело и наивно.

— Об этом я ничего не могу сказать не знаю,— уклончиво ответил он,— только, кажется, он не из таких, чтобы...

Веселый взгляд ее карих глаз перешел в недоверчиво-насмешливый и тонко-лукавый. «Знаю я вашего брата!» — как будто говорила она, хитро улыбнувшись.

— Да ты правду говори! — с деланной строгостью воскликнула Наталья.

— Я правду и говорю...

— Ну, а из себя как он стал: худой? гладкий?

— Да ничего себе, молодцом!

— Кормят их хорошо? Как их жизнь-то там протекает? Ты мне все Расскажи!

— Все, что знаю, Расскажу,— покорно отвечал засыпанный этими быстрыми вопросами студент. — Я у него раз почевал в казармах, видел, как они там жи-

вут...— ничего, не скучно. И он ко мне приходил с товарищами. Играли песни, вспоминали про вас, пиво пили...

Он остановился, придумывая, что бы еще сказать Наталье об ее муже. Все это, почти в одних и тех выражениях, он говорил уже несколько раз другим односумкам, и все они глядели на него так же вот, как и она, не сводя глаз, с жадным любопытством, и слушали эти общие, почти ничего не говорящие фразы с величайшим интересом.

— Не хворает он там? — помогла она ему вопросом, видя его затруднение.

— Говорю — здоров. Отчего же там хворать?

— А вот вы-то какой худой стали...— заметила она со вздохом сожаления.— Прежде покрасней были, полнеликие...

Он ничего не сказал на это.

— Ну, а мне ничего Петро не наказывал? не говорил? — понижая голос, с какой-то таинственностью, тихо и осторожно спросила Наталья.

Студент несколько замялся, задумался и не тотчас ответил. После некоторого колебания, поглядывая в сторону и избегая ее пытливого взгляда, он нерешительно заговорил:

— Особенного как будто ничего... Только,— буду уж говорить откровенно (он начал нервно пощипывать чуть пробившийся пушок своей бородки),— толковал он о каком-то неприятном письме, о каких-то слухах... Даже плакал один раз — пьяный. Одним словом, просил меня разузнать тут — как-нибудь стороной... об тебе, собственно...

Он окончательно смутился, спутался, покраснел и замолчал.

— Я так и знала,— заговорила она спокойно и равнодушно,— напрасно он только собирает эти глупости!.. Писала ведь я ему, чтобы плюнул в глаза тому человеку, кто набрехал про все про это! Знаю ведь я, от кого это ползет, и письмо знаю, кто писал... Говорить противно даже про такую низкость, а он верит...

Лицо ее приняло строгое, молчаливо-суровое выражение. Гордая печаль придавала ему особенную красоту грусти, и студент украдкой долго любовался ею.

— Я тоже его разубеждал,— начал он, оправляясь от своего смущения,— и он сам почти не верит... Но

пной раз сомнения мучат, червяк какой-то гложет, особенно когда подвыпьет.

— Глупость все это одна! — сердито нахмурившись, заговорила она. — Так и напиши ему мои слова. Он писал мне в письме, угрожал... Да я и не побоюсь, — он сам знает, что я не из таких, чтобы испугаться. А захочу сделать чего, сделаю и скажу прямо... Не побоюсь!

Она сделала рукой красивый, решительный жест и сердито отвернулась. Ее молодому собеседнику все в ней казалось необыкновенно красивым, оригинальным и привлекательным; он тайком любовался ею и глядел на нее, хотя больше украдкой, с несколько робким, но жадным любопытством молодости. Что-то смелое, решительное, вызывающее было в ее сверкнувших на минуту глазах... Она сама, видимо, сознавала свою красоту, и быстрый взгляд ее карих блестящих глаз, который она исподлобья кинула на студента, самодовольно и хитро улыбнулся...

Они долго молчали. В окна смотрели уже первые сумерки, голубое небо начало бледнеть; отблеск зари заиграл на краях длинной одинокой тучки алыми, лиловыми и золотистыми цветами; с улицы доносились смешанные, оживленные звуки весеннего вечера.

— Ну, прощай, односум, — сказала Наталья, вставая (она говорила студенту сначала «вы», а потом перешла незаметно на «ты»); — извиняй, если надоела. А все-таки еще повижу тебя, порасспрошу кой об чем. Благодарю!

— Не за что, — сказал студент. — Я бы и сейчас рассказал побольше, да не припомню: как-то все перепуталось, смешалось... Столько нового перед глазами, оглядеться не успел... Заходи как-нибудь, поговорим. Я буду очень рад.

— Я и других односумок приведу...

— Пожалуйста! Я буду рад.

— Мы все как-то стесняемся тебя, — улыбаясь и показывая свои ровные белые зубы, сказала она, — ты ученый, а мы простые, Бог знает как заговорить... Либо чем не потрафишь... Ведь мы все спроста...

Но насмешливо-веселый взгляд ее, перед которым ее собеседник чувствовал какую-то странную неловкость, говорил совсем другое...

— А я, может быть, сам больше вашего стесня-

юсь,— сказал студент, засмеявшись, и сам немного покраснел от своего признания.

— Как хорошо у нас на родине, право! — прибавил он, смотря в окно, через густую зелень ясеней и кленов, росших в палисаднике, на бледно-голубое небо.

— Хорошо? — переспросила она; ей, видимо, еще хотелось несколько продлить беседу. — А там, в Петербурге-то, ужели хуже?

— Хуже.

— Хуже? — недоверчиво повторила она, — в городе-то? Там, гляди, нарядов этих? мамзели небось в шляпках?

Он рассмеялся и, встретившись глазами с веселым и наивным взглядом ее красивых продолговатых глаз, уже смелее и дольше посмотрел на нее.

— Ты к нам на улицу приходи когда в праздник, — сказала она, слегка понижая голос, — песни поиграем... На улице-то развязней, свободней, а тут все как-то стеснительно: то старики твои, то кто посторонний. Приходи!

— Хорошо, приду.

— Ну, прощай! Благодарю за гостинцы, за все!

Она подала ему руку и вышла легкой, щеголеватой походкой. Он проводил ее до крыльца и долго смотрел ей вслед, любясь ее стройной, высокой, сильной фигурой. Она шла быстро, слегка и в такт ходьбе помахивая одной рукой. Белый платок ее долго мелькал в легком сумраке весеннего вечера и затем скрылся из глаз за одним углом длинной улицы... Станица со своими белыми домиками, с зеленью садов постепенно окутывалась туманом сумерек. Ласкающая свежесть, смешанная с слабым запахом грушевого цвета и какой-то душистой травы, приятно щекотала лицо и пропикала в грудь живительными струями... Слышался близко где-то женский голос и шепот, гурьба ребятишек выбежала вдруг с пронзительным и звонким криком из-за угла, поднимая пыль по мягкой дороге, и, словно по команде, разом села в кружок на самом перекрестке; потом все с дружным криком «ура» снялись с места и опять скрылись за углом, как стая воробьев. Жалобно и часто в соседнем переулке мычал потерявшийся теленок, и звуки его голоса резко будили недвижный воздух. В лавочке пиликали на гармонике.

— Как хорошо! — подумал студент, глядя радостным взором в высокое небо.

Наступил Троицын день. Станица загуляла. Яркие, пестрые наряды казачек, белые, красные, голубые фуражки казаков, белые кителя, «тужурки», рубахи самых разнообразных цветов — все это, точно огромный цветник, пестрело по улицам под сверкающим, горячим солнцем, пело, ругалось, орало, смеялось и безостановочно двигалось целый день — до вечера. Дома не сиделось, тянуло на улицу, в лес, в зеленую степь, на простор...

Садилось солнце.

Мягкий, нежно-голубой цвет чистого неба ласкал глаз своей прозрачной глубиной. Длинные сплошные тени потянулись через всю улицу. Красноватый свет последних, прощальных лучей солнца весело заиграл на крестах церкви и на стороне ее, обращенной к закату. Стекла длинных, переплетенных железом церковных окон блестели и горели расплавленным золотом. В воздухе стоял веселый непрерывный шум. В разных местах станицы слышались песни, где-то трубач наигрывал сигналы. С крайней улицы — к степи, так называемой «русской» (где жили иногородние, носившие общее название «русских»), доносился особенно громкий, дружный, многоголосый гам.

Там шел кулачный бой.

Студент Ермаков, стоявший некоторое время в нерешительности среди улицы, пошел туда.

Эти праздники были традиционным временем кулачных боев. Станица исстари делилась на две части (по течению реки): «верховую» и «низовую»; и обыватели этих частей сходились на благородный турнир почти все, начиная с детишек и кончая стариками.

Толпы ребятешек и девчат обгоняли Ермакова, направляясь поспешно и озабоченно туда же, куда и он шел. Молодые казаки, которые попадались ему, одеты были уже не по-праздничному, а в старых поддевках, подпоясанных кушаками, в чириках, в бумажных перчатках. Очевидно было, что праздничный костюм предусмотрительно переменялся перед сражением на расхожий. Лишь казачки, которые встречались с Ермаковым, были нарядны так же, как и днем.

Шум и говор становились явственнее по мере приближения к «русской» улице. Что-то молодое, удалое

и беспечное было в этом шуме, слившемся из детского крика и визга, из девичьего звонкого смеха и песен, из смутного гула разговаривающих и кричащих одновременно голосов. Громкая, веселая или тягучая песня иногда вырывалась из него, точно вспыхивала, и мягко разливалась в чутком воздухе. Иногда взрыв крика дикого, дружного и неистового покрывал вдруг все, и топот, звуки гулких ударов оглашали улицу.

Какое-то странное волнение охватывало Ермакова при этих звуках, и, как на охоте, трепетно и часто стучало его сердце.

Повернувшись за угол большого сада с старыми высокими грушами и яблонями, уже отцветшими, Ермаков вышел на самую «русскую» улицу и увидел пеструю многолюдную толпу, в которой одни кричали или пели, другие бегали и дрались, третьи смеялись, шептались... Трудно было сразу в этой шумной тесноте определить, куда идти, что смотреть, кого слушать.

С краю, в самых безопасных местах, бегали маленькие ребятняшки, гоняясь друг за другом: они пропизительно свистали каким-то особенным посвистом, иногда ныряли в толпу взрослых и исчезали в ней без следа, шмыгая под ногами, толкая с разбегу больших и получая за это шлепки... Несколько стариков в дубленых тулупах, накинутах на плечи, сидели на бревнах и на завалинках и разговаривали, с невозмутимым равнодушием поглядывая на двигавшуюся перед ними молодежь. Ермаков, проходя мимо них, слышал, как один старик говорил внушительно, с расстановкой, дребезжащим голосом, точно сердился на кого:

— То ты теперь-то свинку или баранчика зарежешь, да поешь мяса, а как железная-то дорога пройдет, так все туда перетаскаешь и все-таки ничего не будет... Голодный будешь сидеть!

Ермаков прошел сначала туда, где было всего шумнее и оживленнее: в самом центре улицы дрались молодые казачата — одна партия на другую, «верховые» на «низовых». Здесь публика была самая многолюдная.

— Ну, ну, ребята! смелей, смелей! Та-ак, так, так, так! так, так! бей, бей, бей! бе-е-ей, ребятюшки, бей! — слышались голоса взрослых, бородатых казаков, за которыми малолетних бойцов почти не было видно. Лишь пыль подымалась над ними столбом и долго стояла в воздухе.

Старый огромный казак, по имени Трофимыч, в накинутаой дубленой шубе, в смятой фуражке, выцветшей и промасленной, похожей на блин, усердствовал больше всех, словно честь его зависела от успеха или неуспеха его партии. Он руководил «низовыми», которые довольно-таки часто подавались назад под натиском «верховых».

— Стой, стой, ребята! не бегай! — кричал он на всю улицу своим оглушительным голосом, размахивая руками, пригибаясь вперед и припрыгивая, точно собираясь лететь, — когда «низовые», не выдержав неприятельского натиска, обращались в дружное бегство.

— Стой, стой! куда вы, собачьи дети? не бежи! к-ку-да?!

Но «низовые», несмотря на его неистовые крики, несмотря на изумительно усердные одобрения и поощрения других зрителей, бежали, падали, садились, повергая в глубокое отчаяние своего старого руководителя.

— Ах вы, поганцы, поганцы! — с отчаянием в голосе кричал старик, — ах вы, дьяволы паршивые, а! Хрипка, в рот тебя убить! — с ожесточением хлопнувши фуражку обземь, обращался старик к одному из бойцов, плотному шестнадцатилетнему казачонку с обветренным лицом, одетому в старый отцовский китель, — кидайся прямо! не робей! смело! в морду прямо бей! Ну, ну, ну, ну! дружней, дружней, дружней! вот, вот, вот! бей, наша! бе-ей, бей, бей, бей!.. а-а-та, тата-а!..

Хрипка, после минутного колебания, кидался с видом отчаянной решимости и самоотвержения в самый центрседавших неприятелей. Шапка тотчас же слетала у него с головы далеко в сторону, но и противоборец его немедленно распростирался во прахе. Пример Хрипки заражал всех его товарищей — «низовых», и вдруг, точно хлынувший внезапно дождь, они стремительно кидались на своих временных врагов с озлобленными и отчаянными лицами, били их по «мордам», по «бокам», «по чем попало», сами получали удары, падали, опять вскакивали, кричали и ругались, как взрослые, громко и крепко, и наконец, после отчаянных усилий, достигали того, что неприятель показывал тыл.

Но и со стороны «верховых» не дремали поощрите-

ли и руководители. Точно так же и там, окружив малышей плотной, непроницаемой стеной, за которую нельзя было выбиться, бородачи старики кричали, толкали их насильно вперед, исподтишка помогали им, подставляя ноги «низовым», наседавшим особенно рьяно. И свалка росла. Было шумно, весело, пыльно... Маленькие бойцы кружились, прыгали, бегали с захватывающе дух быстротою и, казалось, не чувствовали усталости.

Ермаков остановился около хоровода, у плетня, и стал слушать песни. Густая толпа молодых казачек и казаков столпилась вокруг самого хоровода. Через головы чуть лишь видны были платки и фуражки певиц и певцов.

Хороводная песня была тягучая и несколько тоскливая. Но и в самой грусти ее, в ее переливах, с особым щегольством и разнообразием исполняемых подголоском, слышалось что-то молодое, зовущее, манящее, — слышалось красивое чувство, которое требовало себе широкой, вольной жизни, беспечной радости и веселья.

Уж ты, батюшка-свет, светел месяц!
Просвети ты, месяц, нам всю поченьку!
Поиграем мы со ребятами,
С молодыми все да с хорошими...

Сначала Ермакову казалось несколько неловким стоять одному: он думал, что все на него смотрят. Но мимо него проходили толпы девчат и казачат, не обращая на него ни малейшего внимания. Его бесцеремонно толкали, изредка кто-нибудь мельком взглядывал на него и, не узнавая в сумеречном свете, проходил мимо. Лишь одна бойкая, любопытная девочка с большими глазами, заглянув ему близко в лицо и остановившись на минуту как раз против него, с очевидным недоумением вслух сказала:

— То ли атаманец, то ли юнкарь какой?..

Ермаков был в белом кителе и летней студенческой фуражке.

Он улыбнулся и погрозил ей пальцем, и она убежала, но скоро потом опять прошла мимо него со своей подругой, упорно и с любопытством всматриваясь в его лицо. Вдруг им обоим стало чрезвычайно весело: они разом фыркнули от смеха и убежали прочь, потонувши в многолюдной толпе.

Стемнело совсем. Стали драться взрослые казаки. Хоровод разошелся, и вся почти улица отошла под арену борьбы. Ермаков очутился как-то неприметно в густой толпе; его толкали, теснили, наступали ему на ноги; он сам толкал, пробираясь поближе к месту сражения, и с удовольствием чувствовал себя равноправным членом этой улицы.

— Односум, никак ты? — раздался около него знакомый голос.

Он оглянулся и увидел свою односумку Наталью: она была в черной короткой кофточке из «нанбоку» и в новом шелковом бледно-голубом платке, подарке мужа. В сумерках, в этой молодой толпе, лицо ее, казавшееся бледным в темноте, опять сразу поразило его своей новой и странной красотой.

— А! — воскликнул радостно Ермаков, протягивая ей руку.

— Мое почтенье, — проговорила Наталья, подойдя к нему почти вплоть и потом толкнувшись об него, притиснутая двигавшеюся толпой, причем Ермаков почувствовал запах простых духов, — на улицу нашу пришли посмотреть?

— Да.

— Ну, а в Питере-то у вас бывают улицы такие? Или ты не ходишь там?

Она говорила ему то «ты», то «вы».

— Нет, ходил, — отвечал Ермаков, — бывают и там «улицы», только не такие.

— Что же, лучше или хуже?

— По-моему — хуже.

— Ну?! — с искренним удивлением воскликнула Наталья. — Народу-то небось там больше? Бабы, девки нарядные небось?

— Народу больше, а веселья настоящего нет...

— А у нас вот весело! И не шла бы домой с улицы... я люблю это!

Улыбающиеся глаза ее близко светились перед Ермаковым и приводили его в невольное, легкое смущение.

— Ну, а как же, односум, например, мадамы там разные? — продолжала она расспрашивать снова, отвлекшись лишь на минуту в сторону кулачного боя.

— Есть и мадамы... — ответил он, не совсем понимая ее вопрос.

— Небось нарядные? в шляпках, под зонтиками?

— Непременно...

— К такой «небось» и подойти-то страшно? Смелости не хватит сказать: «Позвольте, мол, мадам Фуфу, познакомиться...» Как это мой муж там с ними орудует, любопытно бы взглянуть!.. А он на это слаб...

Они оба рассмеялись.

Немного погодя она рассказывала уже Ермакову о нескольких случаях неверности своего мужа — откровенно, просто, весело... Толпа колыхалась, толкала их. Иногда Наталья была к нему близко-близко, почти прижималась: он чувствовал теплоту ее тела, запах ее духов и с удовольствием прикасался к шелковистогладкой поверхности ее кофточки. Ему казалось, что какая-то невольная близость возникает и растет между ними; в груди у него загоралось пока безымянное, неясное и радостное, молодое чувство: кровь закипала; трепетно и часто билось сердце...

III

— Все на всех! — слышались вызывающие крики «верховых» и «низовых» одновременно.

— Зачина-ать! — вышедши на середину улицы между плотными стенами бойцов, закричал молодой казачонок в голубой фуражке, по фамилии Озерков, один из бойцов будущего, подающий пока большие надежды.

Он громко хлопнул ладонями, расставил широко ноги, ставши боком к неприятелям, и крикнул опять:

— Зачина-а-ать! дай бойца!

Вся небольшая, стройная фигурка его была воплощением удали, ловкости и проворства.

Из «верховых» выступил вперед неторопливо и несколько неуклюже молодой казак с кудрявой бородой и крикнул хрипловатым голосом:

— Давай!

— Ну-ка, Левон, давни! — слышались вслед ему поощрительные крики. Левон, малый плотный, широкоплечий и сутуловатый, тоже расставил широко ноги и принял вызывающе воинственный вид.

Озерков в два прыжка очутился около него, изогнулся вдруг почти до земли, крикнул, гикнул что было мо-

чи и ударил Левона в грудь. В то же время Левон тяжело взмахнул кулаком и зацепил по плечу своего противника, но не совсем удачно: вскользь и слабо, потому что Озерков быстро и легко, как резиновый мяч, успел отпрыгнуть назад. Левон погнался было за ним с легкостью, несколько неожиданной для него, в сопровождении еще двух-трех бойцов, но в это время из «низовых» вдруг выскочил высокий безусый казак в атаманской фуражке, статный красавец, и одним ударом «смыл» разбежавшегося Левона, точно он и на ногах не стоял. Громкий крик обеих сторон приветствовал этот удар, а красавец боец выпрыгнул на середину, к самой линии «верховых», громко хлопнул в ладоши и крикнул:

— Ну-ка, пошел!

Ермаков, стоя в толпе рядом со своей односумкой, не успел еще полюбоваться на его статную, красивую фигуру, как огромный казак из «верховых», Ефим Бугор, стремительно и быстро, с развевающейся широкой бородой, с гиком выскочил вперед и сшиб молодого атаманца. Это было сделано быстро, почти неожиданно. Молодой боец чуть было не опрокинулся навзничь, почти присел, сделавши назад несколько произвольных, быстрых шагов, но удержался и кинулся вперед с крепким ругательством. Бугор скоро его подмял под себя и почти беспречаственно ворвался в центр неприятелей, а за ним стремительной лавой — и другие «верховые» бойцы. Несколько минут раздавались среди неистового шума и крика глухие, частые удары, затем «низовые» дрогнули и побежали. Это было не беспорядочное бегство, а правильное, хотя и очень быстрое отступление. Иногда они останавливались стеной на несколько секунд и выдерживали атаки нападающих. Бугор прыгал, как лев, — с развевающейся гривой, с громким, торжествующим, удалым криком.

— Нефед! кинься, пожалуйста! стань! ей-Богу, стань! — убедительно просил приземистый рыжий казак из «низовых» рябого огромного казака, стоявшего у плетня, недалеко от Ермакова, в толпе женщин.

— Нефедка! ты чего же глядишь? — подошедши к нему, быстро заговорил старик Трофимыч, которого видел Ермаков в качестве руководителя ребятишек.

— А ну-ка ушибут? — пробасил глухо Нефед, видимо взволнованный, — их вон какая сила!

— У нас есть кому поддержать! — торопливо и ободряющим тоном говорил Трофимыч, понижая голос до шепота, — там за углом стоят Семен Мишаткин, Лазарь, Фоломка... Поддержат, брат!

— Да, кабы поддержали, — нерешительно говорил Нефед, снимая свою форменную теплушку.

— Эх, подлеца Бугра надо бы ссадить! — огорченным голосом повторял рыжий казак, — ты против него маецию поддержи, а энтих-то молодые наши казаки сшибут, не то что... Ну скорей!

— Ох, ушибут они нас! чует мое сердце — ушибут! — колебался еще Нефед, передавая свою теплушку и фуражку на хранение какой-то казачке и оставшись в одной рубахе.

Трофимыч молча сбросил свой тулуп и фуражку, обнажив свою лысую голову, и они все трое, пригнувшись под плетнем, проворно пошли к «низовым», которых угнали уже довольно далеко.

Через несколько минут до Ермакова донесся новый взрыв неистового крика, и вдруг стук, гам, звуки ударов, которые до этого удалялись, стали быстро приближаться к нему. Вскоре показались быстро несущиеся толпы ребятишек и тех из взрослых, которые не принимали деятельного участия в битве и лишь бегали да кричали. Непосредственно за ними, в облаках пыли, пронеслись самые бойцы — «верховые», а за ними «низовые». Огромный Ефим Бугор быстрее ветра несся в самом центре, но его настигали и били сзади. Ермаков заметил особенно того молодого казака, которого в начале схватки сшиб Бугор: он положительно наседавал на Бугра, убежавшего без оглядки и словно не чувствовавшего ударов. Раз только Бугор попробовал остановиться, гикнул, сцепился с кем-то, но его тотчас же схватили человек шесть, и гулкие удары по его спине и бокам огласили улицу. Несколько «верховых» бойцов кинулись ему на выручку, но сила была на стороне «низовых»: массой нахлынули они на эту горсть и погнали дальше. Бугор все-таки успел вырваться. Длинные волосы его развевались по ветру, как львиная грива, и вся фигура его, огромная, стройная, красивая своей силой, напоминала царственное животное.

На следующем перекрестке «низовые» остановили свое преследование и стали отступать. После неистово-

го крика оживленный, торопливый говор поражал сравнительною тишиной. Усталые бойцы, тяжело дыша, без фуражек, некоторые с засученными рукавами и разорванными рубахами, шли назад, делясь друг с другом впечатлениями. Хвалили большею частью противников или товарищей по бою, о себе лично никто не упоминал: это было не принято и считалось признаком дурного тона...

— Ну, дядя Трофимыч, благодарю! ты меня выручил,— говорил рыжий казак старику Трофимычу, который был уже опять в своем дубленом тулупе,— кабы не ты, ну наклали бы они мне по первое число!

— И ты Бугра славно огрел... у, хорошо! — одобрительно воскликнул Трофимыч.

— Ну да и он, проклятый, цапнул меня вот в это место! Как все равно колобашка какая сидит тут теперь...

— Я бегу и думаю: ну, пропал! — торопливо и громко говорил молодой атаманец в разорванной рубахе, озлобленный противник Бугра, — глядь, Нефедушка наш... Стой, наша!

С полчасца шли оживленные разговоры. Казачата выступали опять далеко за линию и вызывали бойцов от «верховых»!

— Зачинать! — неся громкий вызов с одной стороны.

— Зачинать! — отвечали с другой.

Несколько раз так перекликались, но близко друг к другу не подходили; видно было, что у уставших бойцов пропала охота продолжать сражение. И поздно уже было,

— По домам! — крикнул кто-то в лагере «низовых».

— По домам! — подхватили звонко ребятишки, пронзительно свистя, визжа и крича.

«Как я шел-прошел из неволюшки», — начал читать звонкий баритон в толпе казаков.

«С чуждедаьней я со сторонушки», — подхватили один за другим несколько голосов, и песня помаленьку занялась, полилась и заполнила воздух. Зазвенели женские голоса. Ребятишки продолжали свистеть, гикать, кричать, но их крик не нарушал гармонии громкой песни и тонул в ней слабым диссонансом.

Толпа колыхнулась и тихо двинулась за песенниками, разговаривая, смеясь и толкаясь. Смешавшись с

этой толпой, пошел и Ермаков вместе со своей односумкой. Кругом него молодые казаки бесцеремонно заигрывали с казачками: обнимались, шептались с ними, толкались, иногда схвативши поперек и поднявши на руках, делали вид, что хотят унести их из толпы; казачки отбивались, визжали, громко били ладонями по широким спинам своих кавалеров и все-таки, видимо, ничего не имели против их слишком вольных любезностей. Раза два тот самый молодой атаманец, которым Ермаков любовался во время кулачного боя, проходя мимо, дернул за руку и его односумку. «Да ну тебя! холера!» — вырывая руку, оба раза со смехом крикнула ему Наталья. Ермакову стало вдруг грустно в этой шумной, веселой, беззаботной толпе... Он почувствовал себя здесь чужим, неумелым и ненужным. Он с завистью смотрел на казаков, на их непринужденное, вольное, грубоватое обращение с этими молодыми, красивыми женщинами, близость которых возбуждала в нем самое смутное и сладкое волнение... Он чувствовал постоянное прикосновение плеча своей односумки, запах ее духов, шелест платья, с удовольствием слушал ее голос, мягкий и тихий, несколько таинственный, словно она старалась сказать что-нибудь по секрету. И неясный трепет замирания проникал иногда в его сердце... Но в то же время он ясно сознавал, что не мог бы, при всем своем желании, делать, как они, эта окружающая его молодежь, что он был бы смешон и неуклюж, решившись на такое свободное, непринужденное обращение... Он не знал даже, о чем теперь заговорить со своей односумкой, и молчал. Изредка Наталья быстро взглядывала на него вбок, и ему казалось, что взгляд ее блестел насмешливой, вызывающе веселостью.

— Завидую я тебе, односум! — говорила она.

— Почему? — спросил Ермаков.

— Да так! свободный ты человек: куда захочешь — пойдешь, запрету нет, своя воля...

— Некуда идти-то, — сказал он, слегка вздохнувши, и, немного помолчав, прибавил:

— А я тебе, наоборот, завидую...

— Да в чем?

— А в том, что ты вот здесь не чужая, своя, а я как иностранец... Я родину потерял! — с глубокой грустью вдруг прибавил он.

— Ну, не горюй! — не совсем понимая его, но сочувствуя, сказала она, — проживешь, обвыкнешь, всем станешь свой, родненький...

И затем, наклонившись к нему близко-близко и шаловливо-ласково заглядывая ему в глаза, тихонько прибавила:

— Небось такую сударку подцепишь...

У него на мгновениехватило дух от этой неожиданной, смелой близости; сердце громко и часто забилося, знойно выпыхнула кровь... Он едва удержался, чтобы не обнять ее, а она засмеялась тихим, неслышным смехом и отвернулась...

— Однако дом ваш вот, — продолжала она уже обыкновенным своим голосом, — а мне вон в эту сторону надо идти. Жалко улицу бросать, а нечего делать... Прощай! И так знаю, что свекровь будет ругать: злая да ненавистная!

Ермаков пожал ее протянутую руку и после сильного колебания тихо и смущенно спросил:

— Разве уж проводить?..

Голос его стал вдруг неровен и почти замирал от волнения.

— Нет, не надо, — шепотом отвечала Наталья, и от этого шепота его вдруг охватила нервная дрожь.

— Боюсь... — продолжала она, пристально глядя на него, — народ тут у нас такой хитрый... узнают!..

Но блестящий, вызывающий взгляд ее глаз смеялся и неотразимо манил к себе.

— Если бы я свободная была, — с красивою грустью прибавила она и вздохнула. Потом лукаво улыбнулась, видя, что он упорно, хотя и робко, смотрит на нее исподлобья влюбленными глазами, и тихо прибавила, не глядя на него:

— После, может быть, как-нибудь поговорим... А теперь прощай!..

И она побежала легкой и быстрой побегкой вслед за небольшой толпой, которая отделилась и пошла переулком на другую улицу. Ермаков видел, как она на бегу поправила свой платок и скоро смешалась с толпой, из которой слышался громкий говор и смех.

Он остался один среди улицы.

Неясные чувства, как волны, охватили его и погрузили в свою туманную глубь. Что-то радостное и грустное вместе, неясное, неопределенное, смутное, но моло-

дое и светлое занималось у него в груди... Он улыбался, глядя в небо, усеянное звездами, и хотел плакать, сам не зная о чем...

Станица уже спала. Тишину ее нарушали лишь удалявшиеся звуки песни и говора толпы. Песня, доносившаяся издали, казалась задумчивее и стройнее; звуки смягчались в нежном, молодом воздухе весны, расплывались кругом и тихо замирали в неизвестной дали.

Ермаков вслушивался в песню, различал отдельные голоса и переносился мыслью туда, к этим певцам, в тесно сбившуюся толпу с ее беззаботным смехом, говором, толкотней, свистом и возбуждающим шепотом. Он искренно завидовал им... И грустно ему было, что он стал чужд им всем и стоит теперь одиноко, глядя в глубокий, неясный сумрак звездного неба...

Но эта грусть была легка и сладостна... Смутная надежда на какое-то грядущее, неведомое счастье подымалась в его груди; чей-то красивый, очаровательный образ мелькал в воображении и манил к себе; в таинственной, душистой мгле ночи чей-то робкий шепот слышался ему...

Он долго стоял, размягченный, задумчивый, глядя на роящиеся и мерцающие в бездонной глубине неба звезды, думая об этом небе и о своей жизни, о туманном, далеком городе, об односумке и о родине...

IV

Время шло. Неторопливо убежал день за днем, и незаметно прошел целый месяц. Ермаков помаленьку весь погрузился в станичную жизнь с ее заботами, радостями и горем. Он приобрел значительную популярность среди своих станичников «по юридической части», — как мастер писать прошения и давать советы. Клиентов у него было очень много. С иными он не отказывался «разделить время» за бутылкой вина, умел послушать откровенные излияния подвыпившего собеседника, который принимался пространно рассказывать ему о своих семейных невзгодах; любил старинные казачьи песни, нередко и сам подтягивал в пьяной, разгулявшейся компании; аккуратно бывал на всех

станичных сборах, в станичном суде и в станичном правлении (отец его был атаманом). И внешний вид стал у него совсем почти казацкий: волосы обстриг в кружок, фуражку надевал набекрень, носил короткий китель, широкие шаровары и высокие сапоги; в довершение всего — загорел «как арап». Много стариков и молодых казаков стали ему большими приятелями и нередко даже твердили ему: «Желательно бы нам поглядеть вас в аполетах». К немалому своему удивлению и удовольствию, Ермаков чувствовал теперь себя в станице почти своим человеком и искренно радовался этому.

Поделили лута; наступил покос; кончились веселые игры — «веснянки». Свою односумку Наталью Ермаков мог видеть лишь изредка, больше по праздникам. Короткие, почти мимолетные встречи, веселые, свободные и фамильярные разговоры мимоходом, с недомолвками или неясными намеками, имели в глазах его необыкновенную привлекательность и сделали свое дело: он, как влюбленный, почти постоянно стал думать и мечтать о своей односумке. Красивая, стройная фигура ее, против его воли, часто всплывала перед его мысленным взором и манила к себе своей неведомой ему оригинальной, очаровательной прелестью... И сладкая грусть, смутное, тревожное ожидание чего-то неизвестного, но заманчивого и увлекательного томили его по временам, в часы одиночества и бездействия.

Как-то в будни он зашел от скуки в станичное правление. Безлюдно и тихо было там (летом, в рабочее время, дела сосредоточиваются исключительно по праздникам). В «судейской» комнате, на длинных скамьях, в углу, спал старик Семеныч, соединявший летом в своей особе и полицейского, и огневщика, а старосту, то есть старшего сторожа правления, в ведении которого находились: архив, лампы, углерод для истребления сусликов и прочий инвентарь. В канцелярии атамана дремал у денежного сундука часовой. Из комнаты писарей доносился тихий, ленивый говор.

— Она была родом из прусских полячек, — слышал голос, — хорошая девчонка была, беленькая, нежная, ласковая такая... Что ж ты думаешь? ведь я чуть на ней не женился!.. Люцией звали...

Ермаков по голосу узнал рассказчика, военного писаря Антона Курносова, и вошел в «писарскую» комнату. В ней находилось только два лица: военный писарь Курносов и «гражданский» писарь Артем Сыроватый, бывший когда-то товарищем Ермакова по гимназии, но «убоявшийся бездны премудрости». Это были люди молодые, веселые, не дураки выпить и любители прекрасного пола, хотя были оба женаты и имели уже детей.

Ермаков поздоровался с ними и присел к столу, взявши последний номер местной газеты.

— О чем вы рассказывали? — спросил он у Курносова, видя, что тот не решается продолжать прерванный разговор.

— Да про девчонку про одну, — ухмыляясь, ответил Курносов и, несколько смутившись, устремил вдруг внимательный взор на один из списков, лежавших перед ним на столе.

— Как он в Польше проникал насчет бабьего полу, — прибавил Артем Сыроватый, крутя папиросу. — Заразительный человек насчет любви этот Антон!

— Ну и ты, брат, тоже... теплый малый, — возразил не без самодовольства «заразительный человек».

— Я-то ничего! Я помаду да монпасе не покупаю...

— Бреши, брат, больше! Все равно заборы осаживаешь...

Артем Сыроватый залился вдруг хрипящим смехом и закрутил головой. Курносов обиделся и, низко наклонившись, начал усердно выводить фамилии в арматурных списках.

Прятели часто пикировались друг с другом от скуки, но это не нарушало их добрых отношений.

Наступила пауза. Было слышно только, как мухи с однообразным жужжаньем бились на окне. Сквозь дыру трехцветного национального флага, которым было завешено окно, бил горячий сноп солнечных лучей и ярким пятном играл на пыльном, темном полу. Было томительно и скучно.

— Что новенького у вас? — спросил Ермаков, прерывая молчание.

— Новенького? — подхватил Сыроватый, по лицу которого было видно, что он готов опять прыснуть со

смеху, — новенького ждем; пока все старое... Впрочем, есть: говорят, одной жалмерке ¹ ворота вымазали дегтем!

— Какой же?

— Нечаевой Наталье... Хорошая жалмерка!

Ермаков вдруг смутился, сам не зная отчего, и погрузился на некоторое время в газету. Образ его красавицы односумки, такой гордой и, как ему казалось, недосыгаемой, и вдруг ворота, вымазанные дегтем, — это так не мирилось одно с другим в его душе, так было неожиданно, странно и маловероятно, что он не знал, что думать...

— Деготь, конечно, материал дешевый, — продолжал Сыроватый, принимая вдруг рассудительный и серьезный тон, — лей, сколько влезет. Только поганый обычай у нас, считаю я: как побранились бабы между собой или заметили за какой провинку, сейчас ворота мазать... А напрасно!

— Да, народ ныне скандальный стал, — прибавил Курносов, отрываясь от своих списков, — ну, однако...

— Нет, в самом деле, — возразил Сыроватый, — разве Наталья роскошной жизни баба?

— А ты думаешь, она за все три года так и держится?

Сыроватый пристально посмотрел на своего приятеля сбоку и, поколебленный его полным убеждением тоном, спросил недоверчиво:

— На кого же говорят?

— На кого — это вопрос особый... Спроси вон атаманда Стрелкова, — на часах вон он стоит.

— Неужели он? — понижая голос до шепота и широко раскрывая глаза и рот от удивления, спросил Сыроватый.

Курносов, вместо ответа, громко крикнул:

— Стрелков!

— Чего изволите, господа писаря? — отозвался ленивый голос из атаманской канцелярии.

— Шагай сюда!

— Чего изволите? — остановившись в дверях, сказал Стрелков.

¹ Переименованное на донской манер от польского слова «жолнеж» — солдат, — ожидающая из армии мужа казачка; выражение несколько иронично, исполнено недоверия к женской верности.

Ермаков с особенным вниманием осмотрел его молодцевскую фигуру. Загорелое, смуглое лицо казака с тонкими красивыми чертами, с черными наивными глазами глядело открыто и добродушно; сдвинутая на затылок голубая фуражка, из-под которой выбивались кудрявые, густые волосы, придавала ему оттенок беспечности, лени и вместе самой горячей удалости. Неуклюже сшитая, широкая гимнастическая рубаша из грубой парусины, перехваченная черным ремнем, не портила его стройной фигуры с высокою грудью и лежала красивыми складками. Ермаков вспомнил, что он любовался этим атаманцем в кулачном бою на Троицын день.

— Стрелков, говори, как на духу,— начал Антон Курносков, изображая собою некоторым образом начальство.— Кто у Натальи Нечаевой ворота мазал?

Стрелков удивленно поднял брови, потом широко улыбнулся, показав свои ровные, белые зубы, и весело ответил:

— Не могу знать!

— Бреешь!

— Никак нет, не брешу...

— Побожись детьми!

— Хотя под присягу сейчас, истинное слово — не знаю!

— Да ведь ты к ней ходил?

— Никак нет... Это вы напрасно!

— Толкуй!

— Ей-Богу, напрасно! Говорить все можно, а грешить нельзя... Я бы заператься не стал, ежели бы что было. Чего не было, того не было, и похвалиться нечем...

— А помнишь, на Егория-то мы с тобой шли?

Стрелков несколько смутился.

— Ну что же такое? — обращаясь больше к Ермакову и Сыроватому, начал он оправдываться, — по пьяному делу... Шли мы действительно с ним ночью, и вздумалось мне шибнуть комком земли к ним на двор (она иной раз на дворе спит, в арбе). Ну и шибнул... Попал — точно — в арбу, да только в ту пору не она там спала-то, а свекор ее со своей старухой. Как шумит! Ну, мы с Антоном Тимофеевичем тут действительно летели!.. где — на лошади, машина бы и то, думаю, не догнала!

— А смелый малый этот Антон! — сказал Сыроватый, искоса поглядывая на своего коллегу. «Смелый малый» лишь сердито повел носом в сторону остряка, но ничего не возразил.

— Крутиться-то я крутился около ней, — продолжал неторопливо Стрелков, помолчавши с минуту, — это греха нечего таить... да не выходило дело!

— А славная бабенка! — с восхищенным видом тонкого знатока отозвался Сыроватый.

— Баба действительно куда! — согласился Стрелков, — у нас супротив нее не много найдется...

— Да неужели же она за все три года так-таки и держалась? Ни в жизнь не поверю! — воскликнул Антон Курносов голосом, полным глубочайшего сомнения и недоверия.

Стрелков пожал плечами. Не отвергая законности сомнения, он, однако, сказал тоном защиты:

— Не могу знать! Только народ-то у нас какой? Язычник! Ежели кого не оговорят, не они и будут! Брешут, как собаки! Есть охотники такие: мужу расписали про нее разные неподобные, а он оттоль письмами ее бандирует. В семье через это расстройство... Тут свекровь донимает: такая поганая старушонка, что беда!..

Из судейской комнаты донеслись звуки шагов. Стрелков вдруг быстро повернулся, проворно поправил пашку и отбежал на свое место, к денежному сундуку. Писаря принялись старательно за свои списки. Водворилась полная тишина. Вошел атаман в свою канцелярию и, погромевши многочисленными ключами, бывшими у него в кармане, запер шкафы, Ермакову из комнаты писарей слышно было, как он перекидывался короткими фразами со Стрелковым.

— Ну что, братец, как дела? — спрашивал атаман.

— Ничего, вашбродь! — бойко, по-военному, отвечал Стрелков.

— Жарко?

— Так точно, вашбродь!

— Ты обедал?

— Никак нет, вашбродь! Ишшо рано...

Ермаков ушел домой. Невесело ему было. Горькие сомнения, против его воли, заползли и в его душу, и потускнел в его воображении очаровательный образ красивой односумки... Мелкое, ревнивое чувство доса-

ды внушало ему разные дурные мысли о Наталье. Он испустил даже вздох сожаления об ее «обманутом» муже... Но потом, слегка успокоившись и беспристрастно взвесив все обстоятельства, он и над самим собою горьким смехом посмеялся...

V

— А я с горем к тебе, односум...

С такими словами обратилась к Ермакову Наталья спустя недели три после разговора, слышанного им в станционном правлении.

Был праздничный, жаркий, скучный день. Стояла самая горячая рабочая пора. Станица опустела, почти все население ее перекочевало в степь, в поля. Безлюдно и тихо было на улицах. На загорелых лицах редких прохожих лежало глубокое утомление. Скучно... Изредка лишь пьяный мужичок, поставивший весь свой заработок ребром, для развлечения малочисленной праздной публики проковыляет по улице, рассуждая руками и гаркая по временам отрывки какой-то непонятной песни. Промчится верхом казак «с бумагами»; чиновник проедет на тройке с колокольчиками. И затем все снова погружается в тишину и вялый сон... Зной недвижно висит над истомленной землей; синее, яркое небо играет своею глубокой лазурью... И тишина мертвая кругом...

— С каким же горем? — спросил Ермаков у своей односумки, когда она села около него на крыльце, закрытом тенью ясеня и дикого винограда.

Он за все это время ни разу не встречал Наталью, и резкая перемена в ней бросилась ему в глаза. На лице ее, загоревшем и слегка осунувшемся, обозначилась какая-то горькая складка глубокой грусти и сердечной боли. Усталое выражение какого-то тупого равнодушия и полного безучастия ко всему сменило прежнюю веселую, задорную живость и насмешливую кокетливость...

— Вот на-ка, почитай, — доставши из кармана сложенные втрое несколько листов почтовой бумаги, тихо, почти шепотом сказала она.

— От мужа? — спросил Ермаков.

— Да читай, там увидишь,— с нервным нетерпением проговорила она.— От кого же, как не от мужа? Не от друга же!..

Он искоса, быстро взглянул на нее и встретил ее почти враждебный взгляд из-под сердито нахмурившихся бровей.

— Прочитаем,— неторопливо и с комическою важностью произнес он, развертывая листки, исписанные крупным и довольно красивым почерком.

«Дорогие мои родители, батюня Никита Степанович, а равно мамуня Марина Петровна! — начал Ермаков вполголоса и с расстановкой.— С получением от вас приятного письма, которое было пущено 5-го июня и из которого я увидел ваше полное здравие и благополучие, я благодарю Господа за сохранение вашей жизни, и, припадая к стопам ног ваших, прошу я на себя вашего родительского прощения и благословения, которое будет существовать по гроб моей жизни вовеки нерушимо. Я, по милости Господа Бога, нахожусь жив и совершенно здоров и во всем благополучен. Затем, милые родители, примите от меня по низкому и усердному поклону. Премного милой сестрице Ольгуне низкий поклон посылаю и заочно целую 1000 раз. Безумной моей супруге — огонь неутолимый! Слышу я, дорогие мои родители, дурные вести об ней, доходят до меня письма, от которых стыдно мне глядеть на белый свет, и товарищи надо мной смеются. Как я уже ей писал раз несколько и ничего не действует, то теперь вам напишу про свое неудовольствие, хотите — обижайтесь, хотите — нет, и прошу вас, дорогие родители, прочитать со вниманием главу 8-ю...»

Дальше крупно и отчетливо выведено было: «Глава 8-я».

— Почему же восьмая? а где предыдущие семь глав? — спросил, остановившись на минутку, Ермаков, но, не получив ответа и сам не придя ни к каким удовлетворительным результатам, приступил к чтению «восьмой главы».

«Дорогие мои родители, батюня и мамуня! — так начиналась «восьмая глава». — Рос у вас в саду молодой купырик, на который сердце ваше радовалось; через несколько лет понравился вам в чужом саду другой купырик, и вы купили его, так как рассчитывали, что он будет приносить вам плоды... Но прошло еще не-

сколько лет, и родной ваш купырик, с которого вы надеялись снимать плоды, невольно у вас отобрали — самый источник вашей жизни... И не хотелось вам отдавать его этому садовнику, — в чужую сторону, на царскую службу, — но он брал не на долгое время, только на три года с лишним; когда у вас брали вашу дорогую садовинку, горько было вам отдавать ее, но делать нечего, так что сердца ваши обливались кровью... И взяли ту садовинку невольно и посадили в глушь старых деревьев; когда была она у вас, то расцветала, но теперь не только не расцветает, но едва листья пускает... А то деревцо купленное, которое у вас осталось, то вы за ней ухаживаете и она у вас расцветает, но плода очень мало приносит, потому что соседи снимают... Не надо бы так хорошо за тем деревом ухаживать, простору ему давать, а надо бы пересадить его в глушь старых деревьев, чтобы оно не могло расцветать. Это я виню садовников, то есть вас, а то собственно через это дерево и скорбит то дерево, которое отобрали у вас. А собственно, почему? Потому что, когда вырывали отобранное дерево, то корни остались там, и оно из них вытягивает сок; и еще летят листья, так что падают — который на голову, который — на сердце, который — на глаза; который падает на голову, то голова болит, который — на сердце, то сердце ноет, который — на глаза, то не вижу света белого! Так прошу вас сделать иначе: пересадить ее в глушь старых деревьев, чтобы они заглушили ее, потому что для вас будет легче и для этого дерева; сейчас оно на хорошем месте и хорошо расцветает, а когда назад отдадут ваше дерево занужденное и вы посадите возле этого дерева, то тогда я сделаю так, что совсем оно может засохнуть и не будет приносить вам плода... Цвети, цвет, пока морозу нет, но мороз придет — и цвет опадет! Подлинно расписываюсь казак Петр Нечаев».

Прочитавши письмо, Ермаков не знал, что сказать. Наталья не глядела на него, но он чувствовал, что она ждет услышать от него что-нибудь по поводу прочитанного: за этим она и пришла, конечно... Он медленно сложил письмо так, как оно было раньше сложено, старательно разгладил смятые листки на коленке, вздохнул и сочувственно произнес:

— Да-а...

Потом, сообразивши, что такое выражение сочувствия не особенно ценно, он смутился и торопливо спросил:

— Давно прислал?

— Да с неделю будет,— заговорила Наталья каким-то сдавленным голосом.— Отец прочел и положил в святцы. Спрашиваю, чего пишет, а он мне: поди ты к черту, такая-сякая! И все это время прятал в святцы в сундук, да уж нынче как-то забыл на столе. Я вынула и прочла. Назад не положила, все одно — отвечать.

Она нахмурилась, отвернулась, сморщила глаза, как будто от яркого света, но непослушные, с трудом сдерживаемые слезинки чуть заметно заблестели на них.

В усталом, казавшемся равнодушным и спокойным тоне ее медленной речи слышалась горькая и безнадежная тоска. Ермаков видел, что она не столько испугана, сколько глубоко оскорблена и озлоблена этим письмом, и ему жалко стало ее. Но он не знал, чем ее успокоить и утешить.

— Опять, вероятно, кто-нибудь написал,— уныло проговорил он после долгого безмолвия.

— Не иначе,— подтвердила она.— Да я знаю, кто это старается! Он ко мне подкатывал, рябой дьявол, да я утерла его хорошенько... Вот он теперь, по ненависти, и бормочет не тем, так другим донечь...

Она злобно вдруг сжала зубы, и правая щека ее нервно задрожала.

— Кабы захотела, одно слово бы сказала — и всему конец! — глухим и осиплым голосом заговорила она.— Ну не буду с низкостью с такой связываться... тьфу! Пускай он верит, пускай грозит... небось не загрозит! Дурное видели, хорошее увидим, нет ли — Бог знает, а как чему быть, так и быть! Одной смерти не миновать стать...

Она низко наклонила вперед голову, и долго сдерживаемые, горячие слезы, слезы горькой обиды и озлобления вдруг быстро и дружно закапали на ее белый, вышитый передник. Ермаков совсем растерялся и действительно не знал, что делать, что сказать ей в утешение.

— Я напишу ему, чтобы не верил этим пустякам,— начал он наконец.— Меня он послушает, наверно: мы приятели с ним были...

Она ничего на это не сказала, лишь махнула рукой, не поднимая головы.

— А сокрушаться особенно нечего из-за таких пустяков,— продолжал он уже бодрее и увереннее.— Напишу, и — дело в шляпе! ничего не будет...

— Не надо! черт с ним, пускай думает...— проговорила она сквозь слезы.

— Зачем же? Ведь ему и самому тоже было бы легче, если бы он уверен был, что все это неправда... Я знаю: он рад будет, когда получит мое письмо...

— Да ты заверишь? — спросила она с разгоревшимися вдруг глазами и странным, грубым, почти озлобленным голосом.

— Что «заверишь?» — не понимая, спросил Ермаков.

— Ты заверишь, что за мной нет этого... ничего такого?

Он посмотрел на нее удивленными глазами. Когда он понял, что хотела она сказать, сердце его как-то болезненно сжалось. Ему вдруг и досадно на нее стало, и горько, и еще больше жалко ее: очевидно было, что нелегкое бремя лежит на ее совести и мучит ее.

— Отчего же не заверить? — сказал он, наконец, спокойно и просто, делая вид, что ничего не понимает.

— Эх ты, односум! — сказала она, усмехнувшись горькой и снисходительной усмешкой, и потом грустно прибавила: — Хорошая совесть у тебя, простая...

Она отерла слезы концом передника и глубоко задумалась.

— Ну, ежели хочешь, пиши,— заговорила она после продолжительного молчания,— а то и брось... Я не за тем пришла, чтобы просить об этом, а так... даже уж горе за сердце взяло! Думаю: пойду хоть поговорю с кем-нибудь, авось полегче станет... Вот к тебе и пришла...

Она остановилась, глядя на него дружелюбно и доверчиво, как ребенок.

— Вот и спасибо,— сказал он весело и с небольшим смущением.

— И-и, милый мой односум, голубчик! — воскликнула она вдруг с страстным порывом, схватив его за руку обеими руками и заплакавши опять.— Только не смейся надо мной, а ты мне всех родней стал... Ты меня жалеешь... Журить-бранить есть кому, а пожалеть никто не пожалеет...

Что-то глубоко трогательное и жалостное было в ее склоненной, плачущей фигуре. Ермаков почувствовал, как громко застучало и заныло сладкой болью его сердце.

— Напишу, напишу, голубушка! — говорил он нежно, отеческим тоном, с любовью глядя на нее. — Это все пустое, перемелется — мука будет... головы тебе он не снесет, во всяком случае.

— Пускай голову снесет: мне все равно! — проговорила она с отчаянием.

— Ну, нет!

— Я ему виновата, — заговорила она торопливо и сквозь слезы, не поднимая головы, — да он сам причинен всему, он довел... Как начал собирать все эти неподобные, да письмами оттуда попрекать, да грозить... А сам-то какой был? Горе взяло меня, сердце закипело! Коль так — и пускай будет так!..

— Все это дело поправимое, — успокоительно проговорил Ермаков, хотя в душе плохо верил своим словам.

— Голову снесет? — продолжала она с увлечением, словно упоиваясь своим отчаянием. — Пускай! Лучше, не будет измываться надо мной... Сердце истосковалось! Иной раз так заломит, заболит, что тошно на белый свет глядеть... Плачешь, плачешь...

— Напрасно... Наплакаться всегда успеем! «Не горюй, не тоскуй, моя раздупечка...» Знаешь песню-то? — стараясь быть развязным, утешал ее Ермаков.

— То песня, — с грустной улыбкой промолвила Наталья, — а тут другая... День при дне ругают да попрекают свекор со свекровью, из дому грозят выгнать... Ишь, не покоряюсь им, дескать, дюже роскошно будто веду сама себя... А там муж письмами притешает... Хоть топись! Такая уж, видно, доля моя бесталанная!.. Вон односумки мои, подруги — им житье! Гуляют себе — горя мало! «Лишь бы, — говорят, — не промахнуть, не родить, а то все поплывет под воду...» Ей-Богу, зависть берет, глядя на них, а я... эх!..

Она махнула безнадежно рукой и отвернулась. Но слезы уже смыли ее тоску, облегчили бремя. Через минуту она точно встряхнулась, качнула задорно головой и, весело блеснув глазами, заговорила:

— Так не тужить, говоришь?

— Не тужить, — подтвердил Ермаков, улыбаясь широко и ободрительно. Прежняя односумка опять была перед ним с своею загадочной улыбкой, с веселым, манящим взглядом карих глаз.

— Ну, так-так! — уже совсем весело воскликнула она и насмешливо прибавила: — Теперь горе побоку, буду гулять! Осенью муж придет, плеть принесет, тогда уж не до гульбы...

Она посидела с Ермаковым еще немного, спокойно разговаривая уже не о себе, а о самых обыденных вещах. Наконец, встала и сказала, вздохнувши:

— Ну, спасибо, односумчик мой миленький! Все-таки утешил, разговорил мало-мальски... А не быть мне на воскресе, чует мое сердце! Ну, да все равно... Прощай...

Он проводил ее глазами, пока она скрылась за углом, и задумался. Мысли беспокойные и смутные бродили в его голове; он не сумел бы высказать их словами... Вспомнил он почему-то свое детство, то золотое время, когда он вместе с Натальей бегал по улицам, играл в кони и... дрался; раз, уже будучи во втором отделении приходского училища, он был поставлен на коленки за то, что навел ей углем усы и брови... Как будто все это и недавно было...

VI

Лунная ночь была мечтательно безмолвна и красива. Сонная улица тянулась и терялась в тонком, золотистом тумане. Белые стены хат на лунной стороне казались мраморными и смутно синели в черной тени. Небо, светлое, глубокое, с редкими и неяркими звездами, широко раскинулось и обняло землю своей неясной синевой, на которой отчетливо вырисовывались купы неподвижных верб и тополей.

Ермаков любил ходить по станице в такие ночи. Шагая по улицам из конца в конец, в своем белом кителе и белой фуражке, в этом таинственном, серебристом свете луны, он был похож издали на привидение. Не колыхнет ветерок, ни один лист не дрогнет. Нога неслышно ступает по мягкой, пыльной дороге или плавно шуршит по траве с круглыми листочками, обильно растущей на всех станичных улицах. Раскры-

тые окошки хат блестят жидким блеском на лунном свете.

Одиноким чувствовал себя Ермаков среди этого сонного безмолвия и... грустил, глядя на ясное небо, на крохотные звезды... Он подходил к садам, откуда струился свежий, сыроватый воздух, где все было молчаливо и темно; сосредоточенно и жадно вслушивался в эту тишину, стараясь уловить какие-нибудь звуки ночи, и... одиноко мечтал, мечтал без конца. Куда не уносился он в своих мечтах!

На соседней улице слышался стук ночных карульщиков, или «обходчиков». В рабочее время в обходе бывают только старики да старухи. Ермаков любил иногда побеседовать с каким-нибудь дряхлым кавказским героем или со старухой, державшей в своей памяти подробную историю станицы за последнее столетие, не раз, может быть, самолично сражавшейся с метелкой или кочергой в руках против ветеринаров, являвшихся истреблять зараженный чумой скот, против землемеров, «резавших» лес, против атаманов, особенно усердно взыскивавших земские деньги, и т. п.

Заслышав стук, Ермаков повернул по его направлению. Вдруг до слуха его донеслись тихие, нежные, робкие звуки песни, и он остановился от неожиданности, жадно и изумленно вслушиваясь в них. Пели два женских голоса — контральто и сопрано — неизвестную ему песню:

Уж вы, куры мои, кочеточки!
Не кричите рано с вечера,
Не будите милого дружка...

Мотив песни был не богатый, как большая часть мотивов казачьих песен, а ровный и грустный, но в таинственной, прислушивающейся тишине ночи, в этом серебристом блеске лунного света негромкие, несколько однообразные звуки песни звенели нежной грустью, увлекательною и задумчивою, манили к себе с какою-то неотразимой силою и заставляли дрожать самые сокровенные струны сердца...

Певицы пели не спеша, лениво, с большими паузами; запевало каждый раз контральто, а сопрано было на «подголосках». Наконец одна особенно грустная, щемящая нота, долго звеневшая в воздухе, упала, и песня замерла окончательно.

— Не Наталья ли это? — подумал Ермаков, определяя на глазомер расстояние до певиц.

Он знал, что она жила на этой улице, и часто ходил здесь ночью, хотя ни разу не встречал и не видел ее за последнее время: она была почти постоянно в поле. Держась в тени, он не спеша пошел к певицам. Ему очень хотелось встретиться теперь со своей однодумкой; обаяние ее, которое он раньше испытал, все еще не потеряло своей силы; он по-прежнему изредка грустил и вздыхал о ней, теряясь в ревнивых предположениях о том счастливце, которого обнимали ее сильные руки и горячо целовали красивые своей горькой усмешкой уста.

Но непонятное смущение невольно овладевало им. Он уже намеревался остановиться, как вдруг, недалеко от него, старушечий грубый голос окликнул его:

— Кто идет?

Ермаков даже вздрогнул от неожиданности и, взглядевшись, увидел небольшую, закутанную в теплый платок фигурку, сидевшую в тени, около сваленных на улице бревен. Фигурка сидела, не шевелясь, и ее можно было принять за пень.

— Кто идет? — повторила она свой оклик.

— Казак, — ответил Ермаков обычным в таких случаях способом.

— Почему так поздно? — сердито продолжала опрос неподвижная фигурка.

— По своим делам.

— Какие дела по ночам? Спать надо! Кабы на мне не обязанность, я бы теперь второй сон видела...

Когда Ермаков подошел ближе к старухе и стал всматриваться в ее сморщенное лицо с крупными чертами, она, узнавши его, добродушно рассмеялась и воскликнула:

— А я подумала, из портных кто: они тут часто шлындают с русской улицы... Вы уж извиняйте меня, старуху, по случаю ночи не угадала...

— Ты чья, бабушка? — спросил Ермаков.

— Савелия Микуличева, пастухова жена. Вряд вы его знаете.

Располагая поболтать с ней, Ермаков сел на бревнах около нее, очень довольный встречей, и спросил:

— Ты с кем в обход?

— А с Наташкой, — отвечала старуха.

— С какой?

— Да вот, с соседкой своей, Нечаевой! Она зараз побегла домой, напиться, говорит, да застряла чего-то.

— Это вы с ней сейчас песни пели? — быстро спросил Ермаков, с особенным интересом всматриваясь в старуху.

— А гораздо слышно? — с удивлением воскликнула она, — ах ты Господи!.. Я-то, я-то на старости лет, в Спасовку, запеснячивать вздумала!.. Это все она меня, будь она неладна... «Давай да давай сыграем, скуку разгоним, никто не услышит». Вот старая дура!..

— А хорошо пели! — с искренним восхищением отзывался Ермаков.

— Да! — недоверчиво и укоризненно подхватила старуха, — играли хорошо, а замолчали еще лучше... Мне-то, старухе, уж вовсе не пристало в пост песни распевать... Все через нее: скучно, дескать, ей... Думаю: и вправду тоскует чего-то баба, нудится...

— Отчего же? — спросил Ермаков, видя, что она как будто не договорила и остановилась.

— А кто ж ее знает! Может — напущено, а может — так сердце болит об чем...

— Как «напущено»?

— Как напущают тоску-то? — с некоторым пренебрежением к простоте и неведению своего собеседника воскликнула старуха. — Есть такие знатники-злодеи, чтобы им на том свете в огне неутолимом гореть!.. Исхудала наша баба, а по замечанию, не с чего больше, как с тоски... Скорбь такая бывает...

Старуха глубоко вздохнула, покряхтела и покачала сокрушенно головой.

— А то бывает и так, — продолжала она после минутного молчания, — промашку сделает ихняя сестра жалмерка... Не удержится, забалуется, заведет дружка, а там — глядь — вот и прибавка... А уж это последнее дело: и перед людьми срамota на весь век, и муж истиранит до конца... Вот она и скорбь.

«Вот оно, вот», — подумал Ермаков, мысли которого склонялись больше в сторону последнего предположения.

— Замечаю я, — снова заговорила словоохотливая старуха, — стала ходить она к Сизоворонке, а энта ведь знахарка!.. Лечится, должно быть... муж ведь вот скоро придет из полка... А грех это, смертный грех! Все про

железные капли меня тут расспрашивала да про семи-братскую кровь... Жалко бабу, хорошая баба!..

В соседнем дворе стукнула калитка. Через минуту Наталья в темной кофточке и в белом платке медленно подошла к ним.

— Это ты с кем, Артемьевна? — спросила она, наклоняясь в сторону Ермакова и пристально всматриваясь в его лицо.

— Это вы, односум? — воскликнула она с некоторым удивлением, но с видимым удовольствием. — Как это вы к нам сюда попали, на нашу улицу?..

— Песни услышал и пришел, — сказал Ермаков, внимательно присматриваясь к ней. — Как вы хорошо пели!

— Да неужели у вас там слышно?

— Я думаю, по всей станице слышно... — пошутил он.

— Ну, как же! — воскликнула она, недоверчиво улыбаясь.

— И меня-то во грех ввела, — заговорила старуха, — чтоб тебя болячка задавила!

— Да давай еще, тетушка, сыграем, — с живостью и подкупающею веселостью обратилась к ней Наталья. — Охота пришла такая, всю бы ночь прогуляла, песни играла, голосу бы не сводила!

— Ну тебя! — сердито крикнула старуха, — играй сама, а я спать пойду... Тебе не болячку делать-то, а я за день умаялась...

— Ну, тетушка, миленькая! а я-то разве не устала? сама с поля нынче приехала... В ножки поклонюсь, тетушка!.. — горячо и смешливо уговаривала Наталья, стоя перед старухой и тормоша ее за рукава ее старой кофты на вате.

— Да ну тебя! — отмахивалась старуха сердито и шутливо. Наконец, она встала и, слегка прихрамывая и кряхтя, пошла домой.

— В Спасовку-то люди Богу молятся, а я песни буду играть, — ворчала она уже в своих воротах.

— Эх, а сыграла бы еще песенку! — воскликнула с увлечением Наталья.

— Ты нынче весела, — заметил осторожно Ермаков, — это хорошо.

— Весела? — переспросила она, усмехнувшись. — Да, разошлась... Не к добру, знать...

И, точно грусть сразу охватила ее, она вздохнула и примолкла, устремив в неясную даль сосредоточенный, задумчивый взгляд.

— Эх, кабы нашелся такой человек, чтобы распо-рол мою грудь да заглянул, что там есть! — воскликнула она вдруг после продолжительного молчания, с безнадежной тоской в голосе. — Да нет, верно, такого человека не найдется: никому падобности нет...

Ермаков был изумлен таким неожиданным переходом.

— А я не понимаю сейчас этого, — заговорил он после короткой паузы, — так хорошо теперь кругом, жить так хочется, радоваться, любить... Зачем горевать? о чем тосковать? — восклицал он с ораторскими жестами, не без удовольствия слушая самого себя.

— И то, не от чего, — с печальной улыбкой сказала Наталья, — а сердце болит...

— Да отчего ему болеть-то? — с наивным недоумением спросил Ермаков.

— Есть, стало быть, причина.. Эх, односумчик ты мой, чудачок этакий! — глубоко вздохнувши, прибавила Наталья. — Славный ты человек, простой, откровенной души, а нашего дела не знаешь и не поймешь... А все-таки, — понизив вдруг голос и с ласковой, кокетливой улыбкой заглядывая ему в глаза, сказала она, — ни с кем так-то не люблю разговаривать, как с тобой, ни к кому у меня такого откровения нет... Ученый ты человек, а не гордый...

— Какой я ученый! — возразил в смущении Ермаков, с мучительным недоумением всматриваясь в ее бледное при лунном свете лицо и в прекрасные глаза, светившиеся теперь глубокой грустью. Загадкой стала для него эта красивая односумка.

— А что я у вас спрошу, односум? — заговорила она после долгого молчания тихим и таинственным голосом. — Бывают ведьмы на свете или нет?

— Не думаю, — засмеявшись, ответил Ермаков.

— Я тоже не верю!.. Вот есть тут у нас старуха соседка, Сизоворонка под названием, на нее говорят, что ведьма она. Зря болтают, так думаю. А что знает она, это верно! Колдунья!

— Неужели? — улыбнулся Ермаков.

— Верно! Увидала меня раз и говорит: «Чего сох-нешь? приди, полечу... Откройся, легче будет...» Что

же? Ходила ведь я! Всю мне жизнь мою рассказала... «Через сердце, говорит, свое непокорное ты пропадешь...»

— И лечила?

— Питье какое-то дала,— с неохотою и не тотчас ответила на этот вопрос Наталья,— мутит с него, голова болит, а легче нет...

— Ерунда все это! — с горячим и глубоким убеждением сказал Ермаков.

— Нет, верно! — так же горячо и убежденно возразила Наталья,— все истинно! Я знаю, за что пропадаю: за свою гордость я пропадаю... Все такие же, как я, да ничего, горя мало: перенесли, покорились... А я не могу покориться... Перенести не могу, ежели кто попрекнет мне, или посмеется, или страмить станет! Муж бить будет, это куда ни шло — переносно, а ежели кто со стороны ширнет в глаза, легче помереть!

Она вдруг смолкла, точно голос у нее разом оборвался. Ермаков не прерывал молчания. Невеселые думы бродили и в его голове. Он не понимал всей тяжести ее мучений и терзаний, но чувствовал к ней глубокую жалость, несмотря на некоторую ревнивую досаду, которую никак не мог выкинуть из сердца. Он спрашивал самого себя: совесть ли ее упрекает так, что она не хочет скрыть своей супружеской неверности (самого обыкновенного явления в казачьей среде), или потому она так и сокрушается, что нельзя уже скрыть проступка и предположения старухи об ее беременности справедливы? Но вопросы эти так и остались для него открытыми.

— А за чем гналась? — печально, унылым голосом заговорила снова Наталья.— И глупа же, неразумна я была!.. думала счастьеце найти, сердце потешить!.. Слова не с кем было сказать... все ночи одна просижу, все думушки одна передумаю... Вот и налетела!.. Вашему брату что: сорвал да удрал... Да еще славу проложит, подлец! А нашей сестре — слезы... наплачешься, нарыдаешься!..

— Ну, да теперь тужить нечего,— встряхнувши решительно головой, сказала она.— Кутнула раз — и рога в землю! Двум смертям не бывать, одной — не миновать! Так, что ли, односум? — задорно улыбаясь и близко наклонясь к нему, воскликнула она.— Лучше не думать! Пусть будет, что будет, а будет, что Бог

даст... Придут служивые через месяц, и мой мужешек на машине прилетит... Выйду на степь, встречу, в ножки ему поклонюсь... Либо уж скажу ему все, пу-скай из пистоля застрелит... пропадай ты, жизнь! Что-бы сразу, а?.. А то летось Рудин, казак, пришел из полка, а жена тяжелая... До полусмерти засек плетью, и никто не заступился!.. Да толку-то! Не все ли одно? Эх, жалко, тетка Артемьевна ушла: еще бы песню сыграли! Учила раз она меня старинной песне.

Кто бы из вострой сабли ржавчину вывел,
Кто бы из мово сердечушка кручинушку выпул...

— Ну, и наплакалась же я в ту пору!.. А она хо-рошо песни играет!.. Ты не задремал?

— Нет,— тихо отозвался Ермаков, хранивший все время глубокое молчание.

— Ну, посидим еще. Я все равно не усну скоро... за ночь-то каких мыслей не передумаешь! Сколько слез прольешь... Да и сны какие-то все страшные снятся: то в пропасть в черную-черную летишь — и дна нет, ух, аж сердце замирает!.. то цыгане с ножами при-снутся, резать кидаются... Иной раз просто совсем без ума станешь... И наяву-то все какая-то ала-ла¹ в глаза лезет...

— Нервы! — мрачно буркнул Ермаков.

Своей грустной повестью Наталья привела его в окончательное уныние. Он угрюмо молчал, не зная, о чем говорить, хотя тайный голос внутри его сильно бунтовал против всех доводов, которые навевали на него грусть.

Когда Наталья начала вдруг, без всякого видимого повода, говорить о загробной жизни, расспрашивая, правда ли, что там жгут грешников в огне неугасимом, он, наконец, заговорил с комическим озлоблением:

— Ерунда все это!

— А слышал, чего поп в церкви говорил? — возра-зила она с недоверием.

Ермаков махнул рукой.

— Все это чепуха — муки вечные на том свете! — сердито заговорил он. — Муки вечные для многих — здесь, на земле, в этой прекрасной жизни, которая, думаю, не для терзаний всевозможных создана, а для

¹ А ла ла — чепуха.

радости, для счастья... Мы сами себе иногда создаем муки, вместо того, чтобы брать от жизни, не задумываясь, все светлое и радостное, что она дает... Иных людей другие терзают, а иные сами себя терзают... Зачем? Разве это нужно кому? Это — жизнь?!

Он говорил с жаром, отчаянно жестикулируя и размахивая руками. Все, что он говорил, казалось ему несомненным и истинным, и он даже сам несколько удивлялся, как это раньше ему никогда так ясно и отчетливо не представлялось все, что он теперь высказывал... Точно вдохновение осенило его в эту чудную ночь. Наталья плохо понимала его горячую речь, но чувствовала и угадывала ее смысл; не находя ей сильных возражений, она помаленьку подчинялась ей, и как будто легче стало у ней на измученной душе... Лицо ее, казавшееся таким красиво-бледным при лунном свете, глубокие, темные, грустные глаза, внимательно и с наивной доверчивостью устремленные на увлекшегося оратора, самая близость ее, о которой он так часто и безнадежно мечтал, действовали на него возбуждающим образом. Взволнованный, охваченный весь каким-то неясным, сладким и трепетным увлечением, он продолжал говорить о непреодолимой жажде, всеми испытанной, всех увлекавшей жажде жизни, любви, наслаждений; утешал ее, убеждал не особенно мучиться и терзаться совестью за увлечения, так как это не смертный, а самый обыкновенный, простительный грех... Говоря о любви, он хотел было высказать ей и свои собственные чувства, но некоторая робость и сознание неуместности останавливали его. Устремивши глаза в высоту, в глубокий сумрак неба, где горели неяркие, но ласково мигавшие звезды, он цел соловьем и остановился только тогда, когда услышал вдруг около себя тихое, неясное всхлипывание. Он оглянулся с удивлением. Наталья, закрывши лицо концом своего белого платка, тихо плакала и вздрагивала плечами.

— О чем же? — с недоумением спросил растерявшийся оратор.

Она не отвечала и продолжала всхлипывать.

Он долго смотрел на нее растерянно, смущенно, молча. Мысли стали путаться у него, лицо горело, и сердце часто и громко стучало... Наконец он близко нагнулся к Наталье и обнял ее... Она не уклонялась и не отталкивала его, но все еще продолжала плакать....

Торжественный трезвон только что смолк на станичной колокольне. Это был мастерской, отчетливый, веселый трезвон, исполненный руками художника по этой части купеческого сына Петра Пихаева. На этот раз он особенно постарался для праздника Успения Пресвятой Богородицы. Под его волшебной рукой маленькие колокольчики просто смеялись серебристым, дробным смехом; большие чуть не выговаривали что-то благочестивое, глубоко серьезное, но не лишнее ликования и жизнерадостности. Народ толпами шел в церковь. Солнце только что поднялось над вербами. Веселые теплые лучи заиграли на соломенных крышах и заблестели на листьях высоких груш и тополей. Тонкий сизый туман еще вился над станицей, пахло кизячным дымом. Тени были длинные и прохладны. Весело начинался день...

Ермаков, только что вставший и умывшийся, чувствуя бодрость во всем теле, крепость в мускулах и потребность двигаться, работать, с особенным удовольствием черпал воду из колодца для лошадей. С мокрыми волосами, без фуражки, в серой блузе, он напевал и насвистывал веселые мотивы, подчиняясь безотчетному чувству радости и молодости. Пробуя развившиеся и окрепшие за лето мускулы, он поднимал на вытянутой руке ведро с водой, затем делал всевозможные приемы на «турнике», которым служила толстая, далеко вытянутая, сухая ветка старой груши, приготовился было уже выполнить с разбегу «гоп на воздухе», как вдруг сзади его раздался голос:

— Здравия желаю, Василий Данилыч!

Ермаков оглянулся и увидел в воротах сада полицейского казака Гаврилу с большой медалью на груди.

— Мое почтение, Гаврила, — весело отозвался Ермаков, не замечая его встревоженного вида.

— Папаша дома будут али в церкви? — спросил Гаврила, дышавший тяжело и устало.

— В церкви. А что? Ты бежал как будто? — спросил в свою очередь Ермаков, обращая внимание на встревоженное его лицо.

— Так точно. Происшествие случилось.

— Какое? драка или кража?

Ермаков спрашивал довольно равнодушно и спокойно, привыкши постоянно слышать о подобных мелких происшествиях в станице.

— Нечаева Никиты сноха удушилась... — сказал Гаврила.

— Да ну?! — воскликнул, вдруг бледнея, Ермаков.

— Так точно.

— Наталья? Не может быть! Почему? с чего?

Гаврила недоумевающе пожал плечами.

— Господь ее знает, — сказал он своим ровным, глухим, замогильным голосом, — сейчас с петли сняли. Помощник атамана пошел составлять протокол, папаше вашему велели доложить...

Всевозможные мысли вихрем понеслись в изумленной голове Ермакова. Вопрос возникал за вопросом быстро, стремительно, и ни на один не нашлось ответа.

Это происшествие было так неожиданно и дико, так ни с чем не сообразно, не нужно, так поразительно и ужасно!..

— Никиты-то Степаныча самого дома нет, — продолжал Гаврила тоном в высшей степени равнодушным, — уехал со старухой на ярмарку. Удивила баба, нечего сказать! Никто от нее не думал. Такая хорошая, молодецкая женщина, красивая... Ведь, рассказывают, коров сама прогоняла, как к утрени звонили, а через какой-нибудь час с петли сняли! Теплая еще была, говорят... Кабы на этот случай кто кровь мог пустить, может быть, и опользовали бы... а то народ-то все несообразный случился... Так в церкви, говорите, папаша-то? — поспешно спросил он деловым тоном, — пойду доложу. Счастливо оставаться!

Ермаков оделся и отправился туда, на место происшествия. Недавней бодрости его как не бывало... Ноги как-то вяло двигались, и сознание какой-то беспомощности проникало все существо, точно чем-то тяжелым и огромным придавили его. Маленьким, слабым и бессильным почувствовал он себя теперь. Сердце сжалось и заныло тупою, неосмысленною болью, но ни слез, ни сожалений не нашел он в себе...

Около дома и в воротах Никиты Нечаева, с улицы, столпилась гурьба босоногих ребятишек, которых выгнали, очевидно, со двора. На дворе около кухни толпились взрослые... В центре этой толпы, за небольшим столиком, на некрашеном табурете, восседал помощник

станичного атамана, старый урядник с длинными усами, и рядом с ним писарь Артем Сыроватый.

— Так ты чего же, старая ведьма, не смотрела за ней? — допрашивал помощник атамана маленькую, сморщенную, согнутую старушонку, стоявшую перед ним с таким угнетенным видом, точно она была уже приговорена к смерти.

Старушонка эта, как оказалось, ночевала в минувшую ночь у Нечаевых вместе с Натальей. Это была та самая знахарка Сизоворонка, про которую Наталья недавно еще рассказывала Ермакову.

— Да кабы знатье, кормилец ты мой! — говорила она дрожащим, испуганным голосом, обнаруживая два желтых зуба, — а то кто же от нее думал этого? Я разбудила ее: «Вставай, говорю, Наташка, коров прогоняй», а сама пошла по дому, у меня своя какая ни есть домашность... И ведь ничего-то, ничего этакое неприметно было! Вставала, коров прогоняла, печь затопила... Ах ты Господи, Господи, Царь Небесный!.. — вдруг залилась она разбитым, дребезжащим голосом.

— Ну, ну, ну! — крикнул помощник атамана и грозно зашевелил усами. — Завыла! Дальше говори!..

Старуха тотчас же примолкла и проворно отерла свои красноватые глазки краем холстинной занавески.

— Да чего дальше-то? — слезливым голосом продолжала она. — От утрени уж народ стал идтить, а я вспомнила, что рубаху блошную тут забыла. Пошла за рубахой... вот она, вот рубаха-то!..

Старуха показала из-под занавески какой-то холстинный сверток...

— Да ну тебя к черту, не показывай! — с брезгливым видом крикнул помощник атамана, — не видал я рубах, что ль!..

— Пошла я за рубахой-то, — продолжала старуха, быстро спрятавши сверток опять под занавеску, — в курень вхожу — никого нет. Кликнула — никто не отзывается... Ну, в кухне, должно быть, думаю... Вышла из куреня-то, гляжу: телята спущены с базу, а нет никого и кухня топится... Глянула я, кормильцы мои, в амбарчик-то, зачем он, думаю, растворен, а она... висит... моя голубушка...

Сморщенное, коричневое лицо старухи перекосилось и сморщилось еще больше; она готова была опять залиться неудержимыми слезами, но помощник атамана

на снова зашевелил усами, и она продолжала еще более слезливым тоном:

— Ноги у меня подкосились, с места не сойду... Кой-как за ворота выползла; идут казаки, а я слова не выговорю, кричу, руками махаю: «Какая уж беда-то, какая уж беда-то!» Прибегли они, сняли ее, любушку, с петли, теплая ишшо была... Ах, Мати Божия, Царица ты моя Небесная! Да чего она, любушка, задумала-то! Да как это она могла принять на себя! О-о-ой-ой-ой-ой-ой!

Старуха уж не в состоянии была удержаться от слез, несмотря на грозный вид начальства, и вдруг залилась, сокрушенно качая головой.

— Ну, завывала, ведьма! — уже значительно мягче сказал помощник атамана. — Говори, кто снимал ее?

Ермаков протеснился через толпу, состоявшую больше из женщин, к амбару и глянул в его раскрытую дверь. На полу лежал труп Натальи. Тяжелое, гнетущее было зрелище. Молодая, недавно еще полная жизни и обаятельной красоты, она лежала теперь неподвижно, бездыханною, чуждою всего, что ее окружало. Лицо ее слегка потемнело, но не обезобразилось страшной смертью. Белый лоб резко отделялся своей нежной белизной от нижней, загоревшей и смуглой части лица. Чья-то заботливая рука закрыла ей глаза, руки сложила на высокой груди и расплела ее роскошные косы. Выражение какого-то удивления и вместе глубокого покоя легло на лицо. Босые загорелые ноги были вытянуты. Красота ее тела, форм, лица теперь поражала еще больше и вызывала во всех глубокую жалость...

Раздирающие душу вопли послышались вдруг сзади Ермакова, и старая казачка, быстро протеснившись через толпу, упала над трупом. «Мать», — пронеслось по толпе.

Ермаков ушел.

— И чего удумала, Наташка, Наташка! — послышался сзади его знакомый грубоватый, исполненный скорби голос. — И кто от тебя, моя болезная, этого думал-гадал? Никому не сказала, никого не спросилась...

Ермаков оглянулся. Маленькая старушонка, та самая, которую он видел с неделю назад, когда она была в ночном обходе вместе с Натальей, глядела на него

скорбными, заплаканными глазами. Горькое недоумение выражалось на ее лице.

— Не думамши, не гадамши! — заговорила она, подходя к Ермакову и сокрушенно покачивая головой. — Измучилась, знато, моя сердечная... Все дни томилась, ягодка! Надясь, в праздник, казаки гуляли ночью, раза три проходили тут, по нашей улице с песнями. Таково-то хорошо играли! Она сидит, моя ягодка, под окном, пригорюнилась, и мне сна нет, глядя на нее. Подошла к ней, разговорить хотела ее, а она и того хуже — всплакнула... «Иди, — говорит, тетка, спать, и я ляжу». Пошла я спать, не усну никак! Опять кто-то песню проиграл на улице — один... «Кабы можно иметь сизы крылышки, возвился бы, полетел...» Приподнялась я к окну, — дюже славно, шельмец, играл он ее, просто — говорил... Зашел он насупротив их куреня и играет: «На том месте опустилсЯ бы, где раздушечка моя живет, сел бы, сел бы к своей сударушке я на правое плечо, поглядел бы, посмотрел в ее белое лицо...» Слышу, хлопнуло окошко (стариков-то тоже дома не было, к дочери в гости ездили), — она одна была. Зараз он к окну... долго говорили... Слышу, напоследок она говорит: «И не думай, грози не грози, проси не проси, не будет по-твоему!..» И опять через малое время пошел он, песню заиграл. «Замечали злые люди, что хорошую люблю...» Так и понеслась по станице, как он ее голосом-то своим повел. Узнала я казака-то: Стрелков, атаманец молодой. Похвалила я в ту пору ее: «Молодец, думаю, Натанька, до слабости себя не допустила. А то свяжись, мол, с ними, они доведут до дела...» Ах вот какое дело подстигло... И как это она, глупуша, не побоялась, не устрашилась! Чего она и думала? Мужа боялась? Да он, глядишь, не зверь... Ну, где побил бы, а где бы и пожалел... Жизнь не радость, да и в смерти нет находки...

А день сиял веселый, яркий. Горячие лучи солнца начинали уже томить, тень манила к себе. Небо, чистое, нежно-голубое, высокое, безмятежно сияло своей лазурью, раскинувшись далеко-далеко. Веселые, пестрые, нарядные толпы шли от обедни. Свет Божий был так хорош, а безмолвная, вечная темнота могилы казалась Ермакову такою ужасною, что он чувствовал, при одной мысли об ней, как холодела в нем кровь и трепетно замирало сердце...

Ссылный поселенец Енисейского уезда, из донских казаков, Ефим Толкачев истосковался по родине, которой он не видел двадцать лет, и ушел на Дон.

Когда его отправляли в Сибирь, дома у него оставалась жена и пять сынов. Из них за этот срок трое старших попали на каторгу, а жена с двумя младшими пришла, три года назад, к нему на поселение. Но в Сибири она зачахла и скоро умерла. Она все тосковала по родине, вспоминая о ней ежедневно, а перед смертью, в бреду говорила про свои пашни и про гумно у часовенки, там — под хутором...

Не очень любил ее Ефим в молодых годах, изменял ей постоянно: женили его на семнадцатом году (он был раскольник), «отдали в зятя», но он прожил в семье тестя только три года, а потом «за неповиновение родительской воле» был прогнан вместе с женой. Тесть Ефима был человек неглупый и убивал этим сразу двух зайцев: избавлялся от затрат на снаряжение зятя в военную службу и сплавливал беспокойного члена семьи, который пьянствовал, играл в карты и «в орла», приворовывал хлеб из тестевых же амбаров, а самого тестя несколько раз «брал за грудки» и таскал за бороду.

За семнадцать лет разлуки с семьей Ефим совсем было привык жить бобылем и не часто вспоминал о ней. Но вот они пришли к нему все трое: жена, старая, высокая и суровая казачка, и два сына, два рослых, красивых молодца. Они принесли с собой, вместе с пучками степных трав, аромат далекой родины, ее землю в ладонках, ее песни и живые вести о ней. И как трепетно, и сладко, и больно забилося сердце старого поселенца... В его уютной и голой избе вдруг стало тепло, шумно, бодро... Жизнь как будто осветилась, улыбнулась, стала просторнее... Даже какие-то надежды замелькали впереди. Ефим и сам не мог бы сказать, какие перспективы вдруг открыло ему будущее, но прибодрился и перестал думать, что за плечами у него без малого шестьдесят лет.

Старуха на первых же порах заскучала о хозяйстве, ребятам тоже некуда было силы девать, и Ефим решил

сесть на землю. До прихода семьи он жил без определенных занятий и состоял под надзором. Он подался поближе к Красноярску, заарендовал небольшой участок земли, купил трех лошадей и начал обстраиваться. В молодости он работал мало и редко, зато если работал, то — «как огнем жег»: человек был сильный, ловкий и умелый. Но всякой мирной, кропотливой работе, уплачивавшей за труд медленно и скупо, он предпочитал какой-нибудь рискованный подвиг, который мог вознаградить быстро и щедро, который давал возможность пожить хоть несколько дней широко, разгульно, громко, а потом, чаще всего, приводил в тюрьму. Тюремной Ефим как-то не особенно стеснялся, хотя все-таки недолюбливал ее и убегал на своем веку семнадцать раз из мест заключения.

Однако на все свое время. Недаром судьба так часто и старательно сбивала Ефима с ног. Лет двадцать назад он боролся с ней бодро, уверенно и даже лихо, с удовольствием... Но потом он начал уставать, задумываться и чувствовать неохоту к этой надоедливой борьбе: удачи стали редки и непрочны, а риск и голод были неразлучны. Теперь он с удовольствием мечтал о мирной хозяйственной обстановке, про которую так настойчиво твердила старуха, рассказывая о хозяйстве его брата Спиридона, об его лошадях, быках, овцах, об амбарах с хлебом, об его сынах и внуках, о том, как все они хорошо живут: сыто, весело, нарядно...

— Спиридон с чего поднялся? С моих денег поднялся Спиридон, — говорил ей Ефим, — я дал ему сто золотых... крестовиков... Дудаковские деньги... Мы тогда на Кумылге Дудака ошупали. Вот с каких денег Спиридон пошел. Он меня по гроб жизни не должен забывать — Спиридон... да!.. А вас проводил — одну десятку дал...

И вот Толкачевы деятельно занялись устройством своего участка. Ефим сам срубил хату, сам начал класть печи. Сыны работали в поле. Работа кипела... Хлопот было много, но было весело и как-то особенно легко на душе. Даже то обстоятельство, что деньги, которые привезла с собой жена Ефима, были уже на исходе, никого особенно не смущало: деньги дело наживное...

Приехал как-то знакомый киргиз и предложил поменяться лошадьми: за одну двух предлагал. В преж-

нее время Ефим непременно занялся бы этой выгодной операцией, потому что лошади у киргиза — явное дело, краденые; можно сбыть с хорошим барышом... Конечно, дело не без риска, но этим Ефим никогда не смущался. Теперь же он посмотрел на предложение киргиза, как настоящий, серьезный хозяин, которому некогда заниматься пустяками, и меняться лошадьми отказался. Киргиз уехал. Недели через три приехал его брат, другой киргиз, спрашивает:

— Был Мурадбай?

— Был.

— Куда делся?

— А почему же я знаю? — сказал Ефим, — быть был, менять лошадей навязывался. Я печь мазал — не до него было... Провожать его не выходил, — не знаю, куда и от ворот поехал...

— Пропал брат...

Еще через неделю Ефим, его жена и сыны были арестованы по подозрению в убийстве киргиза Мурадбая, без вести пропавшего. Имение их было отдано на поруки, а самих отправили в острог.

Никогда еще судьба так зло не издевалась над Ефимом. Много было грехов на его душе, но он не мог предполагать, что расплата за них потребуется в такой неожиданной и тяжелой форме. Он обижал многих, это — правда, но за обиды он всегда и отвечал. Про него сложилось мнение, что он всю жизнь свою воровал, грабил, может быть, убивал... А он нередко думал, что всю жизнь не он, а его грабили, преследовали, ловили, секли, гноили тюрьмой, сушили тоской по воле и широкому разгулу... О, много обид вынесло его сердце... И теперь, когда по неосновательному подозрению арестовали не только его самого, но и его семью, он окончательно решил, что нет правды ни на земле, ни выше...

В остроге сидели они десять месяцев. Тут-то старуха и захворала. Затосковали и ребята. Они мало говорили с отцом, но он чувствовал, что на душе у них нехорошо, темно, и смутно сознавал за собой какую-то вину перед ними. А следствие все еще тянулось. Наконец, Ефим обратился как-то к прокурору, посетившему острог:

— Ваше высокородие, когда же наше дело будет решаться?

Прокурор, добродушный человек, шутник, земляк Ефима, тоже с Дону, ответил:

— Да ты чего спешить, Толкачев? Ведь не к свадьбе... Думаю, что скоро теперь... Так, лет шестнадцать каторги на твою долю, должно быть, придется...

— Да за что же, ваше высокородие?

— Как за что? Спрятал человека куда-то, да еще и спрашиваешь: за что?

— Как перед истинным Богом, ваше высокородие, ни синь-пороху не виноват я в этом киргизе... Только и вины моей, что подозрительный я человек...

— Рассказывай там... А человека-то нет все-таки... И свидетели твои — ни один не показал в твою пользу.

— Позвольте дело для просмотра, ваше высокородие... А также — очную ставку...

— Ну вот еще... к чему? Хочешь, чтобы дело скорей разобрали, а сам затягиваешь...

Однако через три дня прокурор опять явился в острог и приказал немедленно освободить Толкачевых.

— Извините, господа, — говорил он не без смущения, — вышла ошибочка... совершенно невольная, конечно... Получено заявление, что пропавший тот киргиз заказное письмо прислал брату из Семипалатинска. Жаль, поздно догадался, шельмец...

— А как же вы, ваше высокородие, шестнадцать лет каторги мне посулили? — сказал Ефим самым почтительным тоном.

Но прокурор строго посмотрел на него и ответом не удостоил.

Пришел Ефим к своему участку — и лишь руками развел: все было растаскано, разорено, даже двух оконных рам в избе не хватало. Лошадей не оказалось: сказано было, что с голоду поколели. Искать не с кого, — обделано было все чисто, по форме. Старуха долго надрывалась-плакала. Потом слегла совсем. Ребята отбились от дому и пропадали по неделям Бог знает где. Являлись домой, по большей части, хмельными, иногда с деньгами, которые отдавали матери. К отцу они относились теперь с каким-то пренебрежительным добродушием, и когда он, старый, опытный вор, давал им совет об осторожности, они смеялись и говорили, что чем жить да век плакать, лучше спеть да умереть... И опять уходили из дома. Несколько раз Ефим и сам порывался с ними пойти, но не на кого было бросить

большую старуху. Чтобы поддержать ее и свое незавидное существование, он начал было портняжить,— в тюрьмах он научился кое-как ковырять иглой. Но тут старуха догадалась умереть...

Умерла старуха. И стало совсем пусто в разоренной хате Ефима, пусто, сиротливо и жутко, словно смерть притаилась где-то тут и за всем следила своим ледяным взглядом. Темно и скучно стало и на душе у Ефима. Он бросил работу,— не к чему было работать теперь. Вот если бы теперь ему попался киргиз Мурадбай или хоть сам прокурор, то он «пришил бы» каждого из них без всяких колебаний. Сынам он теперь ничего не говорил уже об осторожности и с удовольствием напивался с ними, когда они изредка являлись к нему домой со своими приятелями. Они приезжали каждый раз на переменных лошадях, кутили, шумели, пели песни,— милые, славные песни родины,— бранили Сибирь, и отца иной раз бранили, говорили, что уйдут они из этой проклятой Азии, непременно уйдут назад, домой, на тихий Дон, по которому, наверно, даже кости их матери тоскуют...

Родион, старший сын, подвыпивши, всякий раз начинал плакать пьяными слезами и говорил отцу:

— Не робей, батюня! Земля — наша, облака — Божии: чего же нам еще надо?.. Продавай это гунье все паршивое, пойдем на Дон... пра, пойдем!.. На чужой стороне и весна не красна, знаешь... Дядя Спиридон обхлопочет тебе приговор от станицы,— денег у него много, пропасть денег у старого черта!.. Подашь ты царю прошение, напишешь, что было у тебя за Турцию два Егория,— царь вернет тебя, пра, вернет!.. За ним служба непропадая. Вон урядника Каханова Терской области ведь вернул... И станица приняла. А тут, на этой проклятой стороне, как в домовине: холодно... немо...

И когда ребята уезжали, а Ефим оставался один среди хмурой и безучастной тишины в своей осиротелой хате, он предавался мечтам о родине, вспоминал о своей далекой молодости, мысленным оком озираал свою неутомимую жизнь... И во сне часто он видел себя там, среди зеленого простора родных степей с их бездонным и ярким небом. Рассыпались, сверкали и трепетали песни жаворонков... Безбрежный стрекот кузнечиков разлит был кругом... Волнистое море хле-

бов плавно колыхалось и тихо шептало что-то приветливое и ласковое... Синеватые балки жмурились в переливающихся струях горячего воздуха... И сердце Ефима при этом билось трепетно, смеялось и плакало и пело чудные песни восторга и счастья...

Но, просыпаясь, он с ужасом и тоской чувствовал вокруг себя темную, притаившуюся, насмешливо следившую за ним тишину убогой хаты, сумрачное молчание голых стен и сердитые вздохи холодного ветра за окном. И он думал: «Родион прав. Уходить надо отсюда, из этой проклятой Азии. Горем посеяна эта сторона и тоскою покрыта... Ребят увести надо, а то пропадут: обтолкнут им тут бока... жестоко обтолкнут!.. Мне — все равно: моя жизнь истухает... А им надо бы пожить, падо... Уходить — не миновать...»

Но пока он, собираясь уйти на Дон, искал покупателя на свою хату, случилась новая неприятность: сыны попались с краденными лошадьми. Их подвергли предварительному тюремному заключению. Устина в остроге увидел губернатор и взял к себе в лакеи. Родион при свидании с отцом в тюрьме говорил онять, чтобы он шел на Дон и хлопотал о возвращении в свою станицу, а за ним тогда и они вернутся, как только освободятся от тюрьмы...

II

Оставшись один, как перст, почувствовав вокруг себя полную пустоту и неприютность, Ефим перекрестился и махнул на Дон. По железной дороге проехал «зайцем», — дело привычное и удобное, главным образом в смысле дешевизны.

Неудержимый трепет волнения, робости и надежд охватил его, когда он стал выезжать в родные места. Как-то его встретит родина?..

Он сошел с поезда на Себряковском вокзале и вошел в слободу Михайловку. До родного хутора оставалось верст семнадцать, до станицы — сорок. За двадцать лет слобода изменилась до неузнаваемости. Вместо хохлацких мазанок — большие, железом крытые дома, магазины с зеркальными окнами, многоэтажные заводские корпуса. И много народу...

Ефим нанял хохла-извозчика съездить за братом

своим Спиридоном, — самому ему являться в родной хутор и в станицу было пока рискованно. Спиридон приехал вместе с сестрой. Свидание было очень трогательное и обильное слезами. Плакал Ефим, причитала сестра, хныкал и Спиридон, повторяя:

— Милый мой братушка... родимый ты мой... И как ты это удумал?..

Когда Ефим рассказывал о невзгодах своей жизни и своих злоключениях, и брат, и сестра сочувственно и сокрушенно качали головами, вздыхали и плакали. Он всегда умел говорить. Он, издевавший и испытывавший на своем веку столько тревожений, сидевший раз двадцать на скамье подсудимых, потершийся среди умных людей и в острогах, и на свободе, — казался среди них положительно интеллигентным человеком. И они с почтительным удивлением прислушивались к его трогательному рассказу, перемешанному с оригинальными и уверенными суждениями о жизни.

Но когда он заговорил о своей нужде и о помощи, на которую рассчитывал, то Спиридон замялся, закашлялся и начал усиленно сморкаться.

— И как ты это удумал, — пробормотал он, — труды-то... такие труды-то на себя принять...

Ефим почувствовал, что брат хочет замять речь о деньгах, и сказал грустно:

— Хотел остальной раз взглянуть на тихий Дон... И вас, моих родненьких, не мог из сердца выкинуть. Бывало, об вас вздумаю... верите ли, мои болезные?.. Кровью сердце аж подплывает!..

— Сыны у меня, — заговорил Спиридон смущенно, после долгой паузы, — им хозяйство передал...

Ефим ничего не возразил. Он хотел было кое-что напомнить Спиридону, но промолчал. Ссориться с братом в теперешнем положении было не совсем удобно: маленькая надежда, что Спиридон может как-нибудь выхлопотать ему у станицы приговор, все-таки поддерживала Ефима.

— Я поговорю с ребятами, Ефимушка, — продолжал Спиридон неуверенно, — они не должны оставить дядю... Грех им будет, коли того... Вот тебе сальца кусок... покель что... А деньжонок зараз — извини: негде взять. Из пальца их не высосешь... Обмолотимся вот, быков в Арчаду погоню, — может, цену дадут... А покель обойдись... как-нибудь уж...

Ефим приуныл. Обходиться... чем же? Надо добывать, а добывать в его положении один способ — украсть или ограбить. Старый, много раз испытанный им способ. Но надоело это ремесло. Когда человеку под шестьдесят лет, так оно даже немножко конфузно как-то и неприлично...

И ему стало грустно-грустно... Родина показалась ему теперь чужой, неласковой, черствой стороной...

— Как ты под старость-то будешь жить, Ефимушка? — говорила сестра, причитая.

Эти слова и заунывное причитание сестры всколыхнули в душе Ефима всю горькую горечь безнадежности и темной безжалостной неизвестности будущего.

— Таков, видно, рок моей жизни, — сказал он грустно и вздохнул, — волчья жизнь... А волка, говорят, ноги кормят...

Он с благодушной иронией поблагодарил Спиридона за кусок сала и просил его похлопотать всеми мерами о приговоре. Спиридон так божился, так уверял брата в своей полной готовности послужить его интересам, что Ефим и впрямь поверил в возможность благополучного исхода своих скитаний.

Он отправился искать старых друзей по окрестным станциям.

Прошел месяц. Ефим перебивался кое-как. Из старых приятелей его уцелели очень немногие, но и те не годились для прежних подвигов: не было у них теперь ни смелости, ни изобретательности, ни даже настоящего, серьезного стремления к более приличной жизни, а жили они все из рук вон плохо, бедно, грязно, уныло и презренно.

От Спиридона не было никаких известий.

Посылал Ефим несколько писем ему, но ни на одно из них не получил ответа. Он начал озлобляться и терять надежду. В последнем письме своем он напоминал брату об его долге и вместе с тем прибавлял, что он сумеет взять свое, если Спиридон не постарается отплатить за этот долг.

В июле Ефиму удалось угнать трех лошадей из Царицынского уезда. Он явился с ними к Ильинской ярмарке в Распопинскую станицу. С ним было два товарища. Один из них — Яков Шумов, давний его приятель, хорошо знакомый ему еще до ссылки, — пьяница, драчун, веселый и беззаботный забулдыга; дру-

гой помоложе, урядник Кочетков, содержатель двух почтовых станций, тонкая и темная бестия, мастер сбывать с рук краденых лошадей и, как человек богатый, стоявший вне всяких подозрений.

Атмосфера ярмарочной жизни, давно знакомая, но на время позабытая, охватила Ефима, и он чувствовал себя помолодевшим и готовым на прежние рискованные подвиги в этой сутолоке, среди пьяных песен, громкого говора, брани, сделок, ржания лошадей и мычания быков. Опытным глазом знатока он сразу оценил конекский рынок. Пригон был неважный: все больше шершавые рабочие лошаденки; попадались добрые лошадки, годные «под строй», но редко. Два косяка пригнали калмыки.

Своих лошадей Ефим на рынок не выводил. Шумов поставил их на двор у своего родственника, у которого они остановились на квартире.

Присматриваясь к народу, Ефим угадывал, как ему казалось, кое-кого из своих станичников-глазуновцев. Он держался настороже... Но на него никто не обращал внимания. Только какой-то старик, тощий и высокий, с пегим, облупившимся лицом, долго всматривался в него, два раза подходил близко и, видимо, хотел заговорить с ним, но не решался.

Ефим помог ему сам.

— Вы откуда будете, дедушка? — спросил он.

— Я глазуновский.

— А-а... так...

Толкачев быстро и пытливо окинул его глазами и, удивленный, стал усиленно рыться в своей памяти, — старик был ему совсем незнаком, а такое приметное лицо, кажется, трудно забыть.

— Из самой станицы или с хуторов? — спросил он.

— Из станицы.

— Не был я в станице, а по хуторам летось осенью ходил, шитвом занимался, — сказал Толкачев равнодушно, как бы вскользь.

Старик посмотрел на него пристально и недоверчиво и, понизив голос, спросил с хитрою усмешкой:

— Да ты... не Толкачев будешь?

— Нет. Я — Биндусов, — ответил Ефим, не моргнув глазом.

— Откель?

— Шацкого уезда.

— Из солдат?

Ефим был коротко, не по-казацки, острижен, и на голове его можно было видеть рубцы, полученные им от удара бутылкой в одной схватке, еще до ссылки.

— Был и в солдатах,— сказал Ефим,— за Дунай ходил.

— Та-ак. А я вознался было. Взором дюже всхож на нашего станичника, Ефима Толкачева...

Старик отошел. Ефим вmeshался в толпу и, держась в некотором отдалении, не упускал его из виду. Но старик, по-видимому, уже забыл о нем и бродил по конскому рынку, останавливаясь около самых плохих лошадемок. Потом Ефим видел его хлопочущим около какого-то пьяного казака, который потерял пятирублевый золотой и безнадежно разыскивал его, копаясь в серой пыли, запорошенной сеном и сухим навозом. Его окружила толпа.

— Да ты сними сапог-то! Сапог сними! — говорил старик с пегим лицом.

Казак покорно сел наземь и разулся.

— Тряси его!

Казак, с посоловевшими, пьяными, полузакрытыми глазами, с трудом несколько раз медленно и неуклюже встряхнул сапог.

— Нету?

— Нету,— безнадежно бормотал пьяный казак,— семак тут... два полтинника тут... А золотого нет...

— Чулок-то сними! Сними чулок! Тряси его. Ну... нет? Чго-о за дьявол!.. Да у тебя один карман-то? Один... Ну-ка... того... выверни-ка его... встань-ка!.. Тряси штану! штанину... штан тряси!.. Хорошенько тряси ее... Так... Ну?.. Диковинно дело, братцы мои!..

— Да они были у него? — спросил из толпы скептический голос.

— Были, я сам видал,— говорил старик,— при мне получил придачи два золотых, лошадь променял... При моем виде...

— Стало быть, были! — обиженно воскликнул потерпевший казак, бережно держа сапог и чулок под мышкой, — Свирелкин брехать не станет. Вот он — во, этот старичок самый... Он считал. Два десять я пропил, на восемь гривен ребятам гостинцев купил... а один золотой должен остаться... Иде же он?.. Ведь ты считал, дед?..

— Да ты бы Свирелкина-то обыскал,— кинул кто-то из толпы.

— Меня чего обыскивать,— сказал старик обиженно, но кротко,— я свои деньги сам окажу...

И ушел из народа.

Теперь Толкачев вспомнил по фамилии и восстановил перед собою прежние черты этого старика, когда он был моложе и не так обезображен, как теперь. Это был когда-то небезызвестный песенник в станице и конокрад мелкого разбора, сам не воровавший, но передававший краденых лошадей. Он мог быть небесполезен. И Ефим решился заговорить с ним.

— Дюже не признаю,— сказал он, догоняя старика,— боюсь вклепаться... Иван Свирелкин?

— Точно так,— сказал старик, подозрительно взглянувши на него и не останавливаясь.

— Ну, здорово живешь, мой милый! Патрет-то у тебя как изменился...

Старик остановился, пристально посмотрел на Толкачева и сказал:

— Ефим! А ведь, ей-Богу, это ты?

Толкачев протянул ему руку.

— Я говорю: патрет изменился, а то бы я и давно тебя признал.

— Поморозил... Н-ну... как же это ты? откель? давно?.. Ах, ми-и-лый ты мой. Сокол, видно, на одном месте не сидит...

Они отошли к стороне и поговорили. Оказалось, что у Свирелкина было свидетельство от станичного правления, совершенно ему ненужное, а Ефиму очень подходящее. А у Ефима нашлась продажная лошадь, «унесенная», как он выразился, издавека. Они осмотрели эту лошадь, и Свирелкин приобрел ее за десять рублей. Даже заморенная и замученная, она стояла, по крайней мере, в пять раз больше. Но Ефим за большими барышами не гнался. Кроме того, он рассчитывал, что ему удастся сорвать что-нибудь и во время ярмарки.

Решили взбрызнуть покупку. Пришли оба товарища Толкачева и хозяин квартиры. Ефим был всегда широко щедр и купил сразу четверть казенной. Ее выпили. Потом Свирелкин принес бутылку. Но пить уже никому не хотелось: было жарко, душно, всех томила жажда и скука... Когда начинали распивать водку, раз-

говоры были приятные, мирные, все изъяснялись друг другу в расположении и любви. А теперь Шумов за-
теял ссору с Кочетковым.

Свирелкин совсем ослабел, попробовал петь песни, но ничего не вышло, и он лег на полу спать. Было уже поздно. Ефим чувствовал, что его голова совсем отяжелела, и хата, где они сидели, начинала колыхаться и плавать вокруг него вместе с печью, полатями и лавками.

В ушах его рычал голос Шумова, ругавшегося отборно и со вкусом, и звенел голос Кочеткова в ответ на эти ругательства — тонко, метко и язвительно.

— Били тебя всем, Яков: и кольями, и жердями, и шкворнями... И ногами били... А ума тебе не прибавили... Не в то место, знать, попадали... Выросла ду-
бина такая на мочежине... Стоерос!..

Толкачев вышел на двор и улегся под сарасм.

Шумов и Кочетков продолжали шуметь и сквернословить в хате. Потом вышли на двор и подрались, но так как оба еле держались на ногах, то больше махали руками и падали. Ефим боялся, что их шум привлечет внимание полиции, — на ярмарке был сам заседатель, — и вышел их разнять. Кто-то из них ударил его сзади по шее. Тогда он развернулся и ударил Кочеткова. Кочетков как-то особенно быстро и отрывисто мотнул головой и потом, ухватившись за Шумова и увлекая его за собою, мягко уткнулся в землю.

Они поворочались немного и, упираясь руками друг в друга, попробовали встать, но не встали и ограничились несколькими крепкими ругательствами.

Ефим спокойно ушел под сарай и уснул.

Но через час, не больше, его разбудили.

— Этот самый? — говорил над ним громкий, начальственный голос.

— Самый этот, вашбродь... Так точно. Это — первый мошенник по округе! Бежавший из Сибири, например, да еще в морду норовит... Я, по крайней мере, служил и имею галуны, а какая-нибудь т-тварь...

Ефима арестовали. Он показал свидетельство Свирелкина. Но когда разыскивали и растолкали настоящего Свирелкина, то Ефим заявил, что он вытащил документ у пьяного старика, и открыл свое настоящее имя.

Его препроводили к судебному следователю, а следователь, для удостоверения личности, отправил его под сильным конвоем в родную станицу.

Ефим вступил в нее поздно вечером, накануне праздника. Издали, в мечтах, она рисовалась ему прекрасной, уютной и ласковой, и к ней неудержимо рвалось его сердце. Но теперь он предпочел бы очутиться в тайге, чтобы снова мечтать о родине и по-новому предпринять путешествие домой. Не о «каталажке» он мечтал, не о той станичной тюрьме, из которой два раза убегал он еще «малолетком»... Он шел по станичным улицам, мягким, пыльным или поросшим травой, усеянным круглыми пышками коровьего помета. Улицы уже затихли, заснули, и их побеленные домики, облитые светом невысоко поднявшегося месяца, глядели на него, старого, тосковавшего о них станичника, своими раскрытыми окошками удивленно и кротко, а жидкий лунный свет мелькал приветливой улыбкой на их стеклах, когда он оглядывался на них, припоминая и угадывая. Тени от садилов, сараев и низких плетней ползли на середину дороги, смутные, неясно очерченные, кое-где перерезанные золотистыми полосами света.

Он узнавал и не узнавал их, эти тихие улицы, сквозь тяжелый покров своей безнадежной грусти. Как будто их стало больше, как будто они стали длинней, нарядней... Вот тут был в его время один кабак, а на том углу — другой; держал отставной фельдфебель Дуванов. Жив ли он? жива ли его толстая Дуваниха?.. Были эти дома соломой крыты, а теперь вон под железом. А тут вот Дуняшка жила... Цела ли ее удалая башка? Эх, огонь-баба была!..

При каждом воспоминании о прошлом тяжелый камень, который лежал где-то там, в темной глубине его сердца, грузно колыхался и точно гнул его книзу. Но он старался идти бодро, легко, даже щеголевато. Он по движущимся теням видел, как резко и выгодно выделялась его большая и стройная фигура впереди двух низкорослых конвойных. С подстриженной седой бородой, с умным и дерзким взглядом, в картузе набекрень, он казался теперь молодым, сильным и свежим...

В станичном правлении Толкачева приняли очень приветливо и радушно. Лица были все новые и Ефиму неизвестные: и атаман, и писаря, и казначей, и казаки-сидельцы. Только Семеныч, так называемый «староста», то есть старший сторож правления, был тот же, но постарел. Он теплее всех встретил Толкачева, принес ему повечерять и даже чаем напоил.

— Ты помнишь,— говорил Семеныч,— кирпичом-то меня тогда в спину?.. Печку развалил в тюрьме, а я подошел тебя посовестить, а ты... того... в сердцах-то...

Ефима участливо расспрашивали и сожалели, что он попался. И ему было приятно видеть это добродушно-ироническое, но не обидное и, пожалуй, искреннее сожаление. Из этих людей, которые были перед ним такие молодые, веселые, шутивно-добродушные, никто не был свидетелем его прежних подвигов — конокрадства, грабежа и прочего. Помнили его сынов, но и о них говорили с расположением и сожалением. Впрочем, он сам и сыны его не трогали своих станичников и работали преимущественно на стороне. Их побаивались и дома. И дивились им. Удадь, риск, неустрашимость, сила,— все они были силачи,— гордое презрение к обычному порядку жизни внушали к ним вместе с скрытою, боязливою ненавистью и уважительный страх.

Теперь это чувство страха уже забыто, и люди, окружающие Ефима, вспоминают только лучшее, любопытствуют, жалеют и предлагают угощение. Атаман даже полтинник дал,— Ефим рассказал ему кое-что о своих злоключениях. Но когда отвели Ефима под замок, атаман в коридоре строгим голосом говорил десятнику:

— Смотреть хорошенько!..

— Слушаю, вашбродь.

— Знаешь, кто это? Волк травленный...

— Так точно. Слушаю...

Ефим слышал это, и в сердце его тяжело колыхнулась горечь обиды и бессильной злобы.

На другой день к Ефиму приходили его хуторяне,— как раз был на этот день назначен станичный сбор и в станицу съехались из всех хуторов выборные. У всех был самый радужный и приветливый вид.

— Здорово! — говорил обыкновенно каждый новый посетитель, подходя к двери тюрьмы и приятельски улыбаясь.

— Слава Богу! — отвечал Ефим.

— Не узнаешь?

— Ка-быть припоминаю трошки...

— Ну уж... иде!.. Время-то сколько прошло...

— Василий Мироныч?

— Ве-рно! Чего же, на родину-то, звать, хребтит-ся? с чужой стороны-то?..

— Понятное дело.

— Разумно, что свой быт милее. Ну, как же ты там... того... Жизнь твоя как протекала там?

Ефим с добродушной готовностью удовлетворял любопытство каждого посетителя.

Его выпустили из-под замка, и он сидел в казарме, окруженный толпой слушателей. Его обычное ораторское мастерство, бывалость, начитанность, познания в уголовных законах — все это с блеском разворачивалось теперь в его речах, и на лицах всех слушателей было написано почтительное недоумение, почему этого умного и речистого человека они видят именно в таком, не особенно приятном положении? Так, по крайней мере, казалось Ефиму...

К полудню слушатели его поразошлись, и он вернулся в место своего заключения.

Он лег на нары и хотел уснуть. Но воспоминания взволновали его, и вызванные им образы все еще носились перед ним, не давая ему покоя. Они погрузили его в глубь того прошлого, которое всегда казалось ему таким славным, вольным, богатым приключениями и громкими делами. То, что он увидел теперь, после двадцатилетней разлуки с родиной, было ново, не похоже на прежнее, почти чуждо, но тем настойчивее напоминало черты прошлого. И минутами казалось, что воздух тюрьмы, ее смутно улавливаемая душа, это яркое небо, неподвижная зелень, залитая горячим солнцем, эти плетни, сарай, копны сена, даже заботы этих людей, их разговоры, голоса, смех, брань, печаль и веселье, — все это давно-давно знакомо, все — родное... Но люди, которых Ефим как будто вчера еще знал молодыми, свежими, сильными, бодрыми, совсем изменились, и не узнать их лиц — бронзовых, загорелых, с резкими, темными морщинами и с чистыми серебряными нитями в темных бородах.

Он поворочался с боку на бок и закрыл глаза.

И вот опять где-то там, в сокровенных уголках души, зашевелились, встали и тихо поплыли перед глазами волшебные картины молодой жизни, шумного, головокружительного разгула, удалых ночных походов, любовных тревог, рискованных подвигов... Как будто из тумана выступили они, развернулись подробно и ярко, и вот она, прожитая жизнь, вся перед глазами, вся как на ладони...

И сердце так больно и сладко заняло...

Он быстро встал и подошел к двери. Ему хотелось опять говорить, изливать перед кем-нибудь эту светлую грусть, которая сладким ядом воспоминаний бредила раны его сердца. Но в казарме никого не было, кроме двух спавших на нарах казаков да часового с газетой в руках.

Толкачев опять лег. Потом он вспомнил, что хотел написать и послать с хуторянами письмо Спиридону. Писарь вчера дал ему лист бумаги и карандаш. Ефим достал их из кармана пиджака, надел очки, лег животом на нары и на минуту задумался...

Он помочил карандаш языком и, вместо обычного приветствия, написал:

Жизнь в кратцах и стихами,
Как в разлуке жил я с вами...

Стихи о жизни давно уже родились в его голове — печальные и горькие, как горечь и тоска его жизни. На бумаге выходили они бледными и неуклюжими, и это несколько досадовало его, но он с увлечением погрузился в свою работу и писал:

Напишу вам, друзья-братья,
Жизнь прежнюю свою.
Много людей проливают
Слезы на участь на мою...

Уже за вечерело, а он все писал. В казарме и на плацу стало шумнее. С другого конца правления, от «майданной», где шло заседание сбора, по временам доносились бурливые волны отдаленных звуков. Они напоминали глухой, далекий звон больших бубенцов-«глухарей» и смягченное расстоянием тарахтенье и дребезжанье немазаной телеги.

— Полчанин! э-о! х-хе! — раздался оклик в узкое маленькое окошко, прорезанное в двери тюрьмы.

Толкачев быстро и легко вскочил с нар и подошел к окошку. Не снимая очков, в которых он походил на

чернокнижник, он, нагнувшись, всматривался в лицо казака. Из-под широких черных бровей, похожих на волосатых гусениц, на него глядели серые глаза, пристальные, неморгающие, светившиеся лаской. Взор их напоминал что-то знакомое, отдаленное, молодое, только ласковый блеск не шел к этим глазам. Черная борода, длинная, начинавшаяся чуть не из-под самых глаз, с редкой сединой, скрадывала черты лица. Желтые зубы дружелюбно скалились из-под густых усов, которые лезли в рот.

— Не узнаешь, что ль? — спросил грубо-ласковым голосом казак и вошел в тюрьму в сопровождении часового.

Толкачев не переставал пристально глядеть на вошедшего. Это был большой, коренастый человек, — такой же, как и сам Ефим, но отличавшийся той резкою угловатостью спины, плеч и рук, которую налагает тяжелый труд.

— Ваня? — сказал Толкачев неуверенно.

— А то кто же... г-га-га...

Толкачев быстро снял очки, и в его глазах, больших, свинцово-серых, с жестким, хищным, выслеживающим взглядом, заискрилась молодая, нежная радость.

— Милый мой! — воскликнул он, целуясь с вошедшим. — Полчанин!.. Ну, здорово... Господи! Кабы один на один, не узнал бы...

— Досыта набился бы, пожалуй, и не угадал бы?.. А тебя сразу... того... г-га-га... как глянул, без ошибки: Ефим!..

— Ну да, конечно! Потому что сказали?.. А то и я, брат, совсем старый стал... Укатали горки Ефимку...

— Нет. Обличье не переменилось... такой же... По взору сразу можно признать. Ну, как?..

Казак положил на нары узелок в платке, потом арбуз и дыню, которые он держал, прижав к себе левой рукой.

— Живешь на свете? — спросил он, улыбаясь ободряющей улыбкой.

— Да, живу... вот... — говорил Толкачев, улыбаясь и глядя на полчанина тихо-ласковым и смущенным взглядом.

— На-ка вот, поешь.

— Спасибо, сердечный! Ну, ты-то как?

Им обоим хотелось сказать многое, но они не знали, с чего начать, как и о чем вспомнить...

— Да я чего же? Живу,— сказал полчанин, показывая опять из-под усов желтые зубы,— вот старик стал. Ворочаю горбом. Что плечами да спиной поворочаешь, то и барыш. Помаленьку живем... тихо... Ты вот как? Да ты сядь, ешь!..

— Да я не голодный...

Они сели на нары. Ефим запустил руки в карманы и сказал, принимая беззаботный вид:

— Да, брат... живу и я. Плакать не плачу, а слеза иной раз бежит... Вот все в странствиях...

— Докель же?

— Кто ее знает? Рассчитывал, что больше уж не надо бы... устал...

— Устал-таки? Не похоже, чтобы...

— Устал, брат...

Ефим отвел глаза от своего собеседника. Ему хотелось бы говорить с ним, товарищем молодости, так, как говорил он в былые времена,— беспечно-шутливо, бодро, с лихим, вызывающим цинизмом, но, против его воли, грустная, жалующаяся нота зазвучала в его словах.

— Д-да... И сам иной раз не верю, что это — я. Вперед и не думал, что устану когда-нибудь, ан устал... Бывало, мне все — смех, все — шутка. Попался — нужды нет, убегу, и... ищи ветра в поле... А сейчас — кто ее знает, куда все это делось?.. Устал... Думал отдохнуть — не пришлось. Уж как ни хитра, думаю, полиция, а я хитрей ее. Ан она меня подкузьмила, откель и не ждал...

— А сыны где?

— Двое со мной были в Красноярском. Малые, Устин с Родионом.

— А энти?

— Энти в разных местах: Малафей и Ивай в Иркутске, в рудниках.

— Под землей, стало быть?

— И под землей, и над землей, по-всякому. А Абакум на Сахалине. Старуху похоронили...

Молодой казак в синей блузе и в артиллерийской фуражке внес чайник с кипятком и поклонился Ефиму.

— Это сын, что ль? — спросил Толкачев.

— Сын,— отвечал полчанин.— Становь сюда, Самошка!

Казак поставил на нары чайник. Полчанин развязал узелок и достал оттуда сахар, чай в бумаге, чайную чашку с блюдцем, пшеничный хлеб и сливы.

— Садись, мой милый,— говорил ласково Ефим молодому казаку,— садись, посиди у меня в гостях. Не очень у меня тут приятное помещение, но не обессудь... Садись.

Самошка молча присел на краю нар, в отдалении, и с любопытством смотрел на этих двух пожилых, плотных; высоких и таких могучих товарищей. Отец его сидел боком на нарах и смотрел на арестанта. Взор его, который из-под нависших густых бровей казался обыкновенно суровым и тяжелым, теперь светился мягкой, тихой, ласковой грустью. Ефим налил чашку чаю, разложил бережно сахар и сливы и нарезал хлеба.

— Так, говоришь, устал? — спросил Самошкин отец.

— Да, хотелось бы отдохнуть... Ну — не пришлось...

Ефим скрестил на груди руки, помолчал, глядя себе под ноги, и в раздумье продолжал:

— Много в моей жизни, Ванюшка, было разнообразия всякого... И сам небось помнишь?.. Ну, а теперь, как оглянусь назад, пытающим оком кину вперед,— хорошего не видать! Нету хорошего... ничего нет!.. Хотелось бы прибиться куда-нибудь к берегу, отдохнуть, сказать: буде!.. Ну — когда погода все недозволительная. Значит, рок моей жизни таков... Как в Писании сказано: «Звери, говорит, имеют жилища свои, а Сыну Человеческому негде главы преклонить...» Д-да... Главы преклонить негде...

Эти печальные слова тихо и грустно прозвучали в задумчивых вечерних сумерках, и жалко-жалко стало полчанину своего бесприютного старого товарища...

Они помолчали. Полчанин взглянул и сказал:

— Ну, ты расскажи, по крайней мере, где ты проживал? что за места? и вообще... как жизнь протекала?..

Толкачев начал рассказывать о себе подробно, обстоятельно, гладко, как заученное. Он вспоминал попутно и времена своей молодости, спрашивал полчанина об общих их товарищах. И чем больше он говорил, тем рассказ его становился грустнее и интереснее.

— Досадно, главное, вот что, — взволнованно говорил он под конец, — пришел я сюда безо всяких тех... никого не тронул, не обидел... Никто не может сказать, зачем я пришел: убить ли, ограбить ли, отомстить ли... или невтерпех моему сердцу стало, и я взглянуть захотел остальной раз на свой тихий Дон да с тем и помереть?

Он остановился, сделавши красивый ораторский жест и упорно глядя горящими глазами в сторону своего собеседника, но мимо него.

— Так вот нет же... не вникают в это! Схватили, посадили за караул, и по статье такой-то тюремный замок, предварительное заключение до разбора дела месяцев на десять, а то и на весь год, арестантские роты, после разбора, года на полтора... меньше двух лет гнить по тюрьмам и не думай... А там этапным порядком к месту жительства, а в месте жительства — кусать нечего, делать нечего... Сибирь, брат, такая сторона: теперь вот, в рабочую пору, можно еще наняться куда-нибудь, а после — осенью, зимой — и за кусок хлеба никто не возьмет. Чем же оправдаться несчастному поселенцу? Побираться... Так у меня такая совесть: чем под окном стоять, лучше я в окно влезу...

— Это ты правильно, — угрюмо усмехнулся полчанин.

— Вот, Ваня... так подумаешь-подумаешь, и скучно станет... ах, как скучно!.. В жизни, брат, как иной раз в карты, в стучолку, — может, слышал? — поставишь один ремиз да другой, да так застрянешь, что не вывернешься никакими способами... Иной раз идешь на большой риск — удача. А иной раз так, ни за что ни про что влетишь, как кур во щи... просто за «здорово живешь», даже обидно... Вот, например, последние года — три года, тут, можно сказать, рок моей жизни был до конца несчастен и несправедлив...

И Ефим подробно рассказал о том, как несправедливо он с семьей потерпел за пропавшего киргиза Мурдбая.

Дверь опять загремела и отворилась. Часовой ввел женщину лет пятидесяти, с тарелками, прикрытыми платком, с арбузом и дынею.

— Здравствуйте, братец! — сказала она, осторожно освобождаясь от своей ноши с помощью полчанина.

Толкачев встал и молча, пристально смотрел на нее.

— Это кто же? — спросил он тихо, с видимыми усилиями напрягая свою память.

— Не угадаешь!

Женщина улыбнулась, и глаза ее почти спрятались в лучистых морщинах. Несмотря на эти морщины, лицо ее приняло выражение молодое и знакомое Ефиму.

— Дуня?! — воскликнул он.

— Узнал...

— Милая моя, ни за что бы не угадал.

Он протянул ей руку, и они крепко и звучно поцеловались.

— Ведь родня! — сказал Ефим, обращаясь к полчанину.

— Ну, а я не знаю, что ль... — спокойно и равнодушно заметил полчанин, поглядывая на них ласковым, смеющимся взглядом.

— Ну... как же ты поживаешь, моя болезная?

В голосе, во всей сильной фигуре Толкачева, в его глазах был ласкающий и нежный молодой тон, которым он в прежние времена очаровывал жещин.

Она вздохнула, грустно улыбаясь, и певуче-печальным голосом сказала:

— Да вот живу... Осиротела кругом: родителей похоронила. Из родных никого почти не остается. Дочка дюже больна. Так... все горе да горе...

— Муж-то у тебя... я ведь его не знаю...

— Да он у меня смиреннький... Ничего, живет...

Они помолчали и глядели друг на друга.

— Ну, а вы, братуша, как? — спросила она, не сводя с него грустного, умиленного взгляда.

Ефим, улыбаясь, развел руками.

— Да вот, как видишь. Как говорится, живешь — не тужишь, а помрешь — хорони, кто хошь... на захват!.. кругом чист...

Он тряхнул головой и засмеялся.

— Все меня караулят, моя милая, а не я караюлю...

— Что это за диковина, Ваня, — Ефим опять обернулся к своему полчанину, — начальство меня всегда любило, на войне я отличен был, а никогда мне не пришлось караулить кого-нибудь... все меня да меня...

— Что же делать, братец,— сказала Дуня и опять улыбнулась. Когда она говорила с ним и когда он обращался к ней, лицо ее невольно расцветало улыбкой — улыбкой милого воспоминания о давнем хорошем, светлом и счастливом времени. И Ефиму вспоминалось в этой улыбке то лучшее прошлое, от чего и теперь еще сладкою и безнадежною болью ноет сердце, — беспечный широкий разгул, веселый и головокружительный дым его молодости.

Его любили женщины, и он их любил любовью пылкой, пьяной и опьяняющей, короткой и своенравной. Он был красив, силен, отважен, любил риск и сорил деньгами. Многие мужья потерпели обиды от него, потерпел и он от них: и сейчас рубцы видны на его коротко остриженной голове, а в спине, около лопаток, сидит добрый заряд дробы.

Да, было время... Когда, бывало, ночью несется его песня, по станице или по хутору, не в одной хате хлопало тихо окошко и слышалось осторожное покашливание. Он любил связь громкую, скандальную, заходил к своим любовницам вместе с товарищами, пил, гулял, пел песни, буянил... А они расплачивались после перед своими мужьями дорогой ценой. И тем не менее всякий раз он видел, что его посещения волнуют их радостью, счастьем и они готовы за мимолетные его ласки и от него, и за него терпеть какие угодно побои и терзания.

— А ты, сестра, все такая же... как молодая,— сказал Ефим с улыбкой.

— Ну уж... где уж...

Он стал вспоминать вслух прежних товарищей своей разгульной жизни и характеризовать их метко и остроумно. Она, подперши щеку одной рукой, слушала и глядела на него с грустной и жалостливой улыбкой. Потом он стал рассказывать, как умирала его старуха, и когда Дуня заплакала, он оборвал рассказ.

— Ну, чего там...— сказал он сурово и отвернулся. Они долго молчали.

Вечер уже совсем окутал землю своим синим пологом. Сквозь железный переплет в окне,— рама была выставлена,— видно было, как над черной рощей верб за станицей красным заревом выплывает лупа. Из «майданной» шум доносился сильный. Иногда он был

странно схож со стуком деревянных молоточков о чугун.

— Я все думаю,— заговорил Толкачев с мечтательной и грустной улыбкой,— кабы случилось чудо!.. Кабы со всеми своими сынами-героями я опять жил на тихом Дону... а?... Ну, царь бы, что ль, велел, или там что-нибудь вышло... война, например... а?... А ведь кабы нас допустить на войну, мы бы каких чудесов натворили! Ты знаешь Абакушку? Ведь это что ж такое? Орел... лев!.. Ни перед какую страсть не дрогнет!.. А Малафей? Эх, молодцы, ей-Богу!.. С такими молодцами горы свернуть можно!.. А они в кандалы закованы...

Он помолчал, вздохнул раз-другой и заговорил снова:

— Увел было я Малафея с каторги, да не уберег...

И он начал рассказывать об этом опасном, смелом и грустном своем приключении, увлекаясь воспоминаниями и увлекая ими своих слушателей. Он долго рассказывал.

— Увести увел, да не усмотрел я за ним,— говорил он, вздыхая,— все этот алкоголь проклятый... Кабы не напились мы тогда да не стал бы Малафей для форсу стрелять из левольверта, гулял бы он теперь на свободе...

Он приостановился, вспоминая печальные подробности, и продолжал:

— Выстрелил раз — хорошо показалось... Он — в другой. А едем в товарном вагоне — за два целковых кондуктор посадил. Выстрелил в другой — выпивши мы все были, еще попутчик был с нами, песни играем. Однако я говорю: «Малафей, буде! Неловко это...» А он шумит: «Отец! ты — орел, мы — орлята... собери нас всех под свои крылья, всю Рассею пройдем!..» Ну, уговорил его кой-как, уложил на мешки, он опять в карман за левольвертом и — бац! Выстрелил в кармане у себя — то ли нечаянно, то ли форснуть захотел. Я говорю: «Оставь, Малафей!» А не видать мне, что он ранил себя, а он-то, верно, не чувствует, лежит. «Ничего,— говорит,— отец, не робей! Пей да людей бей, богат не будешь, зато будут знать, чей ты сын...» Повернулся, а у него кровь из штанов капает. Попутчик наш как зашумит: «Да он убил сам себя!» Я — дерг с него штаны, а у него кровь из ноги так дудкой и засвиста-

ла... Мне бы забинтовать ему ногу — у нас в мешках и шелк был (лавку одну там погромили), — а я с испугу-то не догадался. Думаю: пропали! конечно! человек убит... скажут, мы убили... Тут и Малафей... видит, кровь, в голове у него стало мутиться. «Отец, — говорит, — я помираю! спасайся!» Лег на мешки, глаза под лоб закатил, помертвел весь. «Спасайся, отец! — говорит, — иди к матери, к братьям, повидай их, отнеси поклон от Малафея... Скажи, — говорит, — хотел Малафей повидаться, мол, с вами — не пришлось... Значит, не судьба мне на воле погулять...»

— Значит — не судьба! — произнес Толкачев с горьким чувством, и голос его упал.

— Что же, взяли? — спросила женщина, когда рассказчик остановился и опустил голову.

Толкачев махнул рукой и ничего не ответил.

Дуня судорожно вздохнула.

Стало тихо. Светила луна. И свет этот был тихий и грустный. На полу пятна его были белы, как бумага, а на стене — голубые — блестели, как мрамор. И все кругом: нары, печь, стены, решетка — стало незнакомым, странным и таинственным.

— Да, Дунюшка, — печально сказал Толкачев, вздыхая, — всего, моя милая, не расскажешь... Сердце тревожишь, это... того...

Дуня вздохнула. Тихие, стонущие звуки ропота и жалобы вырвались из ее груди и прозвучали в этом вздохе. Полчанин сидел в глубокой задумчивости.

— Вот, братец, рыбки... повечеряй, — сказала женщина, развязывая узелок.

— Ну, спасибо, моя милая! Да я тут — не голодный. Слава Богу, меня не забыли...

— Когда же... командироваться-то будешь? — спросила она с легкой запинкой.

— Должно быть, завтра.

— Ну, завтра зайду... А теперь, извиняйте, бегу домой: дочка-то у меня дюже плоха...

— Ну, прощай, моя милая!

Он поцеловал ее и дрогнувшим голосом сказал:

— Может, не придется видеться больше!..

Она заплакала и быстро скрылась за дверью. Ефим помолчал и вздохнул:

— Молодая была — какая была красивая и веселая. И как изменилась.. Время-то что делает!..

— Чай-то простыл,— сказал полчанин с сожалением.

— Буде. Чай не уйдет. Нынче чай, и завтра будет чай. Давай лучше поговорим. Ты про себя бы что-нибудь сказал... И вообще про все: про станицу, про полчан наших — кто жив, кто помер?

Полчанин тяжело громыхнул сапогами и скрестил на груди руки. Он не привык выражать свои мысли в связном рассказе и затруднялся говорить.

— Про себя чего же говорить? — сказал он медленно и раздумчиво,— живу... Житье стало тесное, народу умножилось. Войнов нет, казачтва лежат пропасть. Все позапахали, позагородили. Скотину выгнать некуда: как в купырь зашла — плати полтинник за голову. Утеснение стало...

— Ну, парень... Я считаю, лучше этой жизни нет, как у нас на Дону,— возразил Толкачев,— и во сне она мне снилась... каждую ночь снилась, бывало!.. Так сердце тосковало по ней, так тосковало... а-а!.. И детей оставил, пошел сюда. В уме держал я одно... И никто, пожалуй, тому не поверит из тех людей, какие судить меня за побег будут... Никто же весть от человека, яже в человеце... Эх, Ваня, Ваня... Кабы кто заглянул в волнующееся мое сердце...

Они долго молчали. Потом полчанин встал и, поставив свой мазаный указательный палец на чайник, спросил:

— Ну, ты будешь еще пить?

— Нет.

— Так вот рыба есть. Вот дыньки, арбузы.

— Это я поем.

— Самошка, ты не спишь? — суровым тоном окликнул полчанин сына.— Пойдем!

Толкачев бережно собрал в бумажку сахар и передал его и чайник Самошке.

— Пока прощай. Я завтра зайду,— сказал полчанин.

— Спаси Христос, мой сердечный

IV

Когда они ушли, Толкачев подошел к окну. Легкая свежесть теплой, светлой, нарядной ночи пахнула на него. На плацу в том месте, где тень от станичного

правления кончалась, лежали на разостланных войлоках казаки. Они ушли из казарм, где было душно и не без клопов. Дальше виднелась роща. Когда-то была тут песчаная коса (Толкачев еще учился на ней «малолетком» джигитовать), а теперь она вся загорожена на далекое пространство и вся заросла садами. Косматые и седые при лунном свете вербы первого плана отделялись от темной зелени груш и яблонь. Там, внизу, под ними черно и таинственно, а сверху жидкий лунный свет весело переплетается в узоры с тенями. Еще дальше, за пересохшей речкой Прорвой, вырисовывается слабой волнистой линией на ясном своде неба ровная стена верб и тополей на левадах.

И все так тихо, неподвижно, очарованно и мечтательно...

Ефим вспомнил тайгу, холод, лишения, нужду и вздохнул. Опять тошная горечь разлилась по его сердцу...

Вошел приземистый курчавый казак с лампой. В каталажке стало светло, но лунный свет, убежав из нее, унес вместе со своими серебряными пятнами и узором решетки всю таинственную красоту этого скучного места.

— Вечерял ай нет? — спросил казак у Толкачева. Это был десятник.

— Может, до ветру сходишь? А то буду замыкать.

— Пожалуй, и повечерять можно, — сказал Толкачев, — зараз, чадушка... я — зараз... Водочки бы теперь выпил, кабы ваканция была. Как ни говори, сердечный мой, а без водки кисло жить на свете. Добра в ней мало, а выпьешь — будто и веселей станешь, и моложе, и богаче, и все у тебя есть... Хе-хе... Диковина, что такое!.. Винополию-то теперь затворили, должно быть?

Десятник ухмыльнулся и сказал:

— Тут без винополии чуть не в каждом дворе. Вот рядом, у Недомолкина, хочь залейся... Всегда имеет... По полтине бутылку жарит, сукин сын.

— А коль такое дело, — сказал Толкачев, запуская руку в карман, — лети!..

Он протянул десятнику на ладони полтинник.

— Мне нельзя, — сказал казак, — кабы не отвечать... Я пошлю. Скачков! — крикнул он.

— А-о! — откликнулся звонкий голос из казармы.

— Ползи сюда!

Вошел молодой казак в голубой фуражке, высокий, смуглый, с чуть пробивающеюся растительностью на лице...

— Чего извольте? — спросил он лениво и небрежно.

— Сбегай-ка, брат, к Степке Недомолкину. Вот дышущка желает...

Скачков молча взял деньги и ушел. Минут через десять он вернулся с бутылкой. Толкачев хлопнул дном бутылки о свою широкую ладонь, и пробка выскочила. Он потянул из горлышка, потом передал бутылку казакам, они тем же порядком приложились к ней, и после все трое стали закусывать рыбой.

— Тошно сердцу моему! — говорил Толкачев через несколько минут, снова держа в руках бутылку, — растревожил я сам себя нынче... Пришел в родные края... на родимую сторонку... и не дали мне взглянуть на нее... обызрить очами... Моментально не дали!.. И вот опять в проклятую Азию... Родина! а? ведь это... что же такое?.. Болезные вы мои чадушки! Эту вот самую голову седую преклонить негде теперь, кроме тюрьмы... Вот этот самый старичишка был когда-то силен, громок и славен, а сейчас — бесприютный бродяга я на белом свете...

И в голосе его звучали искренние, подкупающие своей скорбной жалобой ноты. Казаки сочувственно смотрели на него, с уважением покашливались на бутылку и не знали, что сказать ему в утешение.

— Конечно, на свою родину хребтится, — пробормотал десятник, — как говорится, родная сторона... она... мать... родимая матушка... Как говорится, нет милей той стороны, где пупок резан...

И он забулькал из горлышка и крикнул, передавая бутылку Скачкову.

И так они все трое мирно беседовали. Толкачев, по обыкновению, говорил много и красноречиво; он говорил грустные вещи, но на душе у него от выпитой водки стало легче и светлее. Когда была кончена бутылка и рыба, когда съедены были арбузы и дыни, он, тяготясь оставаться один, начал читать казакам свои стихи, которые написал днем.

Пишу жизнью я стихами,

Как в разлуке жил я с вами,—

размеренным, глухим голосом раскольничьего начетчика возглашал он.

В иных местах он останавливался, пояснял, пускался в новые воспоминания. Пристальное внимание его слушателей подбодряло и увлекало его. Он чувствовал, что вместе с рассказом и чтением облегчалась как будто тяжесть и боль его сердца, расплывалось горе и в темной дали его будущего опять занимался слабый свет какой-то надежды. Его безграмотные, пестройные стихи явно нравились его слушателям; они изумляли их своей незатейливой музыкой и в иных местах глубоко трогали их наивные, молодые сердца. И когда кто-нибудь из них сочувственно качал головой, или сокрушенно причмокивал языком, или тихо восклицал, Толкачеву становилось так приятно-грустно, что голос его дрожал, слабел, почти замирал, и он смущался, чувствуя закипающие в горле слезы.

С малолетства я страдаю
По чужим странам свой век...
Вы взгляните, как на брата,
Я — несчастный человек,—

читал Толкачев протяжно, почти шел,—

Кто мою жизнь рассмотрит,—
Горе, слезы и смешно...
Положа на сердце руку,
Сказать правду не грешно...

Переходя, после длинного введения о своей молодости, к рассказу о ссылке, он вздохнул и прочитал с подавленным чувством:

А в Сибири.— страшный холод:
Вся природа аж дрожит...
Поселенец, как несчастный,
В свою родину бежит...
Двадцать лет и я в Сибири —
Так ужасно я страдал!..
Ни малейшей там отрады
В двадцать лет я не видал...

— Как же, говорят, житье будто хорошее в Сибири? — сказал десятник, — будто простор, всего много?..

— Земли много, — сказал Толкачев, — только какая земля? Глина, ржавь одна... Лесу много, — так и гудет, проклятый... круглый год гудет... Зверя много, а жизнь незавидная. Холод... Печальная жизнь. Все сковано: и земля, и воды, и люди. Лютый холод! Сколько я исходил земли, лучше нашего Дону не видал... Вот...

Он взглянул в лист и прочитал:

Дон, родная сторона!
Всегда снилась мне она...
Как засну и вдруг увижу,
Будто на тихом Дону
И от вас привет я слышу,
Милых сердцу моему...

Голос его стал глуше, точно угасал... Ноты страстной любви к родине бились и дрожали в этом тоскующем признании и рождали в сердцах его слушателей мягкие отзвуки жалости, сочувственной грусти и трепетного интереса к его судьбе.

Вот неутолимая тоска погнала его на свою родную сторону; вот он добрался до нее, увиделся со своими родными.

Не замедлил брат, приехал
С дорогой моей сестрой,
И от радости, в тревоге,
Предо мною стали в строй,—

читал Толкачев, склонив голову набок, не отрывая от листа упорного взгляда через очки:

Я увидел Спиридона
В неутешных слезах,
У меня же от волненья
Потемнело все в глазах.

С непритворной горькой скорбью
Сбоку меня сестра сидит,
Заунывно, с перебором,
Как по мертвому, кричит.

Сестры скорбь та неподдельна...
В слезах она говорит:
«Ах ты, милый, родной братец,
Как под старость будешь жить?»

Я сестре ответил кратко:
«Рок мой видно вам и мне:
Из пяти сынов-героев
Только двое есть при мне...

Остальные, то есть трое,—
За убийства в рудниках...
Про них вспомню, как родитель,
И со вздохом скажу: ах!..»

Голос Ефима дрогнул. Он остановился, глубоко взволнованный, подавленный нахлынувшими на него горькими воспоминаниями, и махнул рукой. Слушатели

его смотрели на него молча и растроганно. Черные красивые глаза Скачкова ласкали его жалостливо и нежно, как объятия ребенка. Ефим резким движением бросил лист на нары, встал и быстро отошел к окну.

Наступила долгая пауза. Старик сморкался. Десятник, чтобы не подать виду, что он заметил его слезы, сказал усталым голосом:

— Кочета, должно быть, скоро будут кричать... Ай уж спать завалиться?..

Ему было жалко теперь замыкать в каталажке этого человека, который так трогательно рассказал о себе, у которого было столько горя в жизни. Пустить бы его теперь на все четыре стороны...

А Толкачев все стоял у окна, пристально смотрел в серебристый сумрак ночи, ничего не видя, и по временам сморкался. Потом он сказал тихим, усталым голосом:

— Ну, ребятушки, на покой так на покой. Пора... Кто со мной — провожайте...

— Скачков, покажи, — сказал десятник.

— Небось и сам найдет, — сказал Скачков.

Он сидел с ногами на нарах, уткнувшись локтями в колени, и неподвижным, задумчивым взглядом глядел на старика, подперши кулаками голову.

— Порядок требует, — сказал нехотя, но с весом десятник.

— Да вы не опасайтесь, ребятушки, — говорил Толкачев, выходя из казармы в сопровождении десятника и Скачкова, — убежь захочу — все равно не удержите... Я — старый арестант! Семнадцать раз бегал из тюрем... Вот из этой самой каталажки два раза уходил малолетком. Но... не опасайтесь, чадушки мои... Убежать вздумаю, я знаю, где это сделать. Тут не побегу, не способно... Меня из Кепинской провожали, дали двух казачат молоденьких, неслужалых, — вовсе ребятишки... Идем по лесу, я и гляжу на них: стража! одного пихнуть, а на другого топнуть — вот и нет их... Чего они со мной могут? котята — ни больше, ни меньше — против меня...

Он договорил уже на ходу. Когда он оглянулся, Скачков стоял на крыльце и глядел в небо своими задумчивыми глазами. Десятник отошел к углу и занялся своим делом. Кругом было тихо, безмятежно и красиво. В водянистой и прозрачной синеве высокого неба

терялись редкие и неяркие звезды, как тоненькие восковые свечки. В воздухе, нежном, ласковом, где-то вдали то дрожала, то угасала песня двух или трех голосов,— разобрать было трудно.

Ефим остановился, вслушиваясь в песню. Она знакома ему. Он подумал с завистью:

— Играют... Счастливые люди... вольные!.. И я когда-то игрывал ее... «Э-э-о-о-й кабы мо-о-жно иметь си-зы кры-и-луш-ки... э-о-ой воз-вил-си-и-и бы да я по-ле-те-е-ал...» — тихо запел он фальцетом, вслушиваясь в виляющие, кудрявые переливы подголоска.

И почувствовал, что снова к глазам подступают слезы и в сердце занимается жгучая тоска и жажда воли. Он оглянулся. На крыльце рядом с Скачковым стоял десятник и говорил дребезжащим сонным голосом:

— Должно быть, Самошка гуляет со степными. Либо пашнями меняются...

Ефим прошел пожарный сарай, вошел в тень, которая густо падала от высокой кучи дров, и подошел к маленькому дощатому строеньицу. За углом сарая ему уже не видно было казаков, но он слышал их голоса.

Он глянул вперед. За узкой прогалиной между дровами и сараем темнели густые рощи садов.

«Кабы можно иметь сизы крылья»,— подумал он словами песни, которая красиво плавала в воздухе, колыхалась и трепетала, рождаясь в одной стороне и умирая в другой.

А ведь несколько прыжков, и он будет там, в этой черной, таинственно-молчаливой гуще... А что дальше?.. Да не все ли равно — хуже не будет!.. Дальше — перебежать поляну и — лес... А там видно будет...

Сердце его забилося часто и громко. Мелкая, мгновенная дрожь волнения пронзила его... Две-три секунды раздумья, и... он хлопнул дверью дощатого строеньица и под стеной сарая пробрался к яру, цепляясь за ветки наваленных в кучу пеньков. С яру он быстро и мягко, по сваленным кучам навоза и золы, спустился вниз, перескочил через низкое старое прясло, которое досадливо крякнуло под ним, и утонул в черной тени старых груш.

Он бежал быстро и легко, как молодой; легко перескакивал через низкие плетни и огорожки, обрывая ногами плети ежевики и ползучих трав, выскакивая

на поляны, засаженные арбузами и капустой, и опять погружаясь в тень, в которой мягкие пятна лунного света были похожи на разбросанные клочки бумаги.

Он взял вправо от дороги и, добежавши по садам до первого озерка, на минуту приостановился, чтобы перевести дух. От станции как будто доносились смутные голоса, а может быть, это только чудилось... И песня как будто все еще плавала в воздухе... Сердце Ефима стучало молотами, и в ушах стоял шинящий звон. Но он не боялся погони. Он знал, что пока казаки сходят к атаману сообщить о побеге арестанта, пока разбудят его, пока он оденется и придет в правление, — пройдет много времени и он будет далеко...

Он думал теперь, какое ему взять направление: в степь ли к своему хутору или к Хопру. Потом он подсушил шаровары, перекрестился, засмеялся тихо и радостно, решив не думать о будущем, и перебрел мелкое озерцо. Он пошел опушкой леса, а вправо от него расстилалась степь, ровная, тихая, звеневшая монотонной трелью кузнечников, залитая прозрачным серебристым туманом лунного света.

И ее простор ласково манил старого арестанта в свои объятия.

Картежки школьной жизни

I

В классе было жарко и душно. Дребезжащий стук проезжавших по мостовой экипажей лился вместе с томительным августовским зноем в раскрытые окна и совершенно заглушал иногда голос экзаменуемого. И тогда курчавый, толстый учитель истории, мокрый от пота, громко сопевший носом и бледный от утомления, волновался, сердился и требовал, чтобы отвечающий говорил громче.

— Не закрыть ли окна? — предложил было раз благодушный старик инспектор, мирно дремавший в председательском кресле.

— Покорно благодарю! воздуху и так нет... Чем же прикажете тогда дышать? — отрывисто, резким тоном возразил историк.

Инспектор побаивался его, этого грузного, грубоватого человека с большими, близорукими глазами, как боялся вообще всего большого, грубого, громко говорящего, как боялся гимназистов старших классов, швейцара, городских, директора и своей жены. Он робко и виновато поглядел на историка, потом на учеников, сидевших в ожидании вызова к ответу, с потными, напряженными лицами, поморгал глазами и вздохнул. Горячая влажная волна проползла по его телу под суконным вицмундиром, жилетом и двумя рубашками.

«Хорошо бы теперь, того... в одном белье... на диване... газетку почитать», — помечтал он и, вздохнувши еще раз тяжело и покорно, снова погрузился в дремоту.

Окна остались открытыми, и в класс бесцеремонно забежали прыгающие, резкие звуки городской трескотни. Иной раз они усиливались положительно до нестерпимости... Казалось, будто кто-то разбойничал на улице, с остервенением схватывал сбежавшиеся со всех углов пролетки, рассыпал их вдребезги и отбрасывал в сторону. И только когда на минуту замолкал этот пестрый, рассыпчатый, неугомонно-наглый грохот, в классе можно было слышать робкий и монотонный голос отвечающего.

— Кривцов! Вы... для безопасности... ступайте к окошку!.. — сказал историк черному красивому гимназисту, который сделал, как ему показалось, попытку подсказать отвечающему.

— Там, кстати, на проходящих гимназисток посмотрите... тогда мне скажете, — добавил он сердито, когда Кривцов, одетый в щегольской мундирчик, в белых воротничках, с независимой усмешкой лениво поднялся и пошел к окну.

Кривцов сел у окна, демонстративно засунул руки в карманы, слегка развалился и, повернувшись затылком к «комиссии», уперся скучающим взглядом в улицу. Яркий свет знойного солнца застыл на облезлых, ржавых крышах домов, на белых и бурых стенах, на пыльной листве тощих, жалких, зеленовато-серых деревьев. Тени были коротки, отчетливы и душны. По истомленной, высушенной и избитой мостовой уныло-покорно рысили вялые, апатичные извозничьи лошадки, глядя перед собой грустно-усталым взглядом. Пе-

пеходы, погруженные в свои неясные, утомительно скучные, как пыльный зной этого дня, мысли, ожесточенно-серьезно скребли ногами разогретые тротуары. Скука и тяжелая истома лежали на всем.

— Ка-кая раз-ни-ца между открытием и изобретением, я вас спрашиваю?! — слышится нетерпеливый, раздраженный голос историка.

Другой голос, робкий и замогильно-глухой, чуть слышно отвечает:

— Открытие... это... когда... какая-нибудь страна... э...

— Без мно-го-сло-вия! К чему это многословие?! Ну, скажите, пожалуйста, к чему?! к чему, я вас спрашиваю?!

Робкий голос виновато и чуть слышно бормочет что-то, чего уж никак нельзя разобрать, и, наконец, угасает совсем.

— Поясните примером!

Томительная пауза...

— Ну.. зашли вы, скажем, к вашему папаше в кабинет... или в комнату, одним словом,— поправился историк, заключая по убогому виду отвечающего еврея о том, что кабинета у его папашки может и не быть,— зашли... и усмотрели в столе, скажем, папиросы... Сейчас их... того... Это будет что такое: открытие или изобретение?

— ...Открытие...

— Верно. Хорошо-с. Теперь такой случай... Не знаете вы каких-нибудь форм аориста, скажем, а вам задано спряжение глаголов. Великолепно-с. Тогда, как образованный молодой человек, вы что делаете? Вы прорезываете перочинным ножиком отверстие в парте, подкладываете вот таким манером этимологию и в случае, если вас не вызывают к доске, преспокойно можете считать или списать... Даже при случае лапку можете поднять: «Я, дескать, знаю...» Это что будет: открытие?... или изобретение?..

— ...Изобретение... — робко и неуверенно отвечает экзаменующийся.

— Прекрасно-с. Вам в соображении отказать нельзя... Теперь говорите дальше о...

Кривцову от окна лучше было видно экзаменуемого еврея-экстерна. Он был жалок со своими пригла-

жепными жидкими волосами, со впалую грудью, с черными, глубоко сидящими глазами, глядевшими робко, боязливо-покорно, с волнением и страхом за исход испытаний. Третий год уже он стучится в двери гимназии, но не может попасть в конкурс и все числится кандидатом. Видно было, что он много работал и, вероятно, работал один,— судя по его поношенной, бедной одежде,— без посторонней компетентной помощи, которая требует оплаты. И не все одолевала его голова. Было жалко глядеть на него, жаждущего образования, загнанного и робкого, с молитвенным выражением во взоре. Суровый историк не любил «жидов», но, должно быть, вид этого бедняка все-таки трогал его: тон его, всегда грубоватый, резкий и отрывистый, звучал теперь как будто мягче и доброжелательнее:

— Го-спо-дин Благово! — с иронией в голосе провозгласил историк, отпустивши экстерна и поставив ему четверку.

Невысокий брюнет в очках, с длинными, беспорядочно торчащими вихрами, вышел из-за парт и почти-тельным баском каплянул в руку. Кривцов поглядел на него сочувственно и подумал: «Срежется! Все каникулы в любительских спектаклях играл... талантливый комик...»

Историк тоже знал его за прекрасного комика и лентяя и изведal много раздражений от его острот и карикатур.

— Вот попрошу вас внимательно прислушаться к ответу сего господина,— сурово сказал он дремавшему инспектору,— это необходимо... на случай оправдания, если вздумает подать попечителю округа...

Благово посмотрел на историка снисходительно-добродушным взглядом. Он часто слышал от него подобные речи и не раз сам в шутку поддерживал опасения этого нервного ворчуна относительно «жалобы попечителю»: получив единицу и уходя на место, он неизменно говорил угрожающим тоном:

— Что ж... Земля наша не бессудна!..

— Может быть, он хорошо знает? — сказал неуверенно инспектор, с усилием стряхивая с себя дремоту.

— Д-да... хорошо-о!.. Вот вы услышите, как он хорошо знает... Состояние Рима во втором столетии до

Рождества Христова! — буркнул историк угрожающе-отрывистым голосом в сторону Благово.

Благово вскинул глаза вверх и пошевелил губами. На лице его появились признаки усиленного соображения, а взор беспокойно обыскал потолок и устремился на улицу.

Пауза тянулась слишком долго даже для начала.

— Н-ну... знаешь или нет? — бросил вопрос историк, упорно уставясь своими бычачьими, близорукими глазами в пробивавшиеся усики Благово.

Благово чувствовал, что земля уходит из-под его ног. Он поглядел на двери, точно ожидая оттуда помощи, — в дверях торчали лица любопытствующих учеников, уже отэкзаменовавшихся, — потом бросил взгляд налево, в сторону Кривцова, и попробовал даже незаметно подмигнуть ему, а затем глухо проговорил:

— Я начать не могу...

Не было слышно, что сказал на это историк, — опять оглушающая трескотня потопила все звуки, ворвавшись весело и нахально в класс, затем убежала, разрастаясь вширь, переходя в ровный, затихающий рокот и утопая в других звуках городской улицы. Звуки эти беспрестанно менялись. Уныло завыл гудок и смолк, точно сконфуженный, и уже веселый, звучно предостерегающий звонок вагона трамвая сменил его, раскатившись по улице звонкой болтовней; заржали подравшиеся лошади, лязгая копытами; прошла на обед толпа штукатуров, и шаги их тяжело и мерно скребли камни тротуара; где-то оторвались мягкие и грустные звуки шарманки и утонули в треску чужей трели городской езды...

Беспокойная, живая, настоящая жизнь бежала мимо классных стен с черными досками, с таблицами и картинами, изображающими голых, мускулистых людей, чужие города, живописные развалины... В классе все было тихо, однообразно, серьезно и скучно...

— Не знаешь, — сказал безапелляционным тоном историк, когда Благово, путаясь и запкаясь, пробормотал несколько слов об оптиматах и пролетариях.

— Перечисли племена, владевшие Италией после падения Западной Римской империи.

Благово опять вскинул глаза в потолок, ища там указания насчет этих племен, потрогал дрожащими пальцами правый ус и неуверенно проговорил:

— Я средней истории не повторил.

— Гм... Почему же?

— Все равно,— она в седьмом классе повторяется...

— Гмм... Так ты, значит, предвещаешь события?.. Какой предусмотрительный молодой человек!

Историк весело улыбнулся, обнаруживая отсутствие нескольких зубов.

— Что же ты повторял?

— Грецию... Я войны знаю...

— Грецию? Заглянем в Грецию... О Перikle говори.

Историк сжал губы и комически изобразил вид самого напряженного внимания. На лице Благово выступила испарина.

— Перикл... украсил город Афины постройками...

— Кто такой был Перикл?

— Один из десяти стратегов.

— Что это такое — стратеги?

— ...Это... судьи...

— Судьи? Гмм...

Красноречивая пауза. Историк искоса смотрит на Благово, Благово исподлобья на историка и нервно ерошит волосы на голове.

— Чей был сын Перикл?

Опять глаза Благово ищут помощи на потолке.

— Не знаешь? Ксантппа... Из какого рода?

Глаза Благово, скользнув грустно по лысине инспектора, опускаются в пол.

— Не знаешь? Алкмеопидов... Чем знаменит Ксантпп?

Слипшиеся губы Благово слятся расклеиться, но звук, который они издают, похож и на осторожный кашель, и на мычание сонного человека.

— Не знаешь? Одержал победу при Микале. В каком году?

— В четыреста семьдесят девятом! — вдруг торопливо, громко и радостно проговорил Благово.

— Как-кая и где еще битва была в тот же день и в том же году? — еще торопливее кинул вопрос историк.

Оживление радости опять потухло в глазах Благово, и он устремил их с тоской на лысину инспектора. Сероватый пушок, торчавший в вершине этой лысины,

придавал ей вид грозный и внушительный, но на унылом, скучающем лице застыло выражение кроткого старого барана.

— Не знаешь? — продолжал кидать вопросы историк. — При Платее!.. Кто с кем сражался?

— ...Афиняне... победили... спартанцев...

— Спартанцев? Так и запишем... На случай жалобы попечителю округа я все запишу, чтобы было на что опереться!..

Он грозно потряс клочком бумажки, на котором неразборчиво были написаны какие-то таинственные нероглифы.

— Я думаю, он обстоятельно показал свои знания? — обратился историк к инспектору.

Инспектор встряхнулся от одолевавшей его дремоты и сказал, сочувственно глядя на Благово — того самого Благово, который достаточно-таки поиздевался и над ним, инспектором:

— Булван!.. ничего не делал... нераха... И волосы... сколько раз говорил: острычь!.. Не разговарывай! Я тебе не товарищ!..

Благово и не пробовал возражать. Он с благодушным презрением глядел на инспектора, в маленьких глазках которого теперь светилась, вместе с робким сочувствием, беспредельная отвага трусливого человека, чувствовавшего себя в безопасности при грозном историке. Он, вероятно, долго еще заседал бы на Благово, но историк бесцеремонно прервал поток его красноречия.

— До приятного свидания! — сказал он, с иронической любезностью кивнув головой в сторону Благово и начертав на лежавшей пред ним бумажке какой-то новый нероглиф.

— Уходи, булван! — с сожалением прибавил инспектор, и серый пушок на его лысине как будто грозно зашевелился.

Благово забрал с парты свои тетради-конспекты и пошел к двери. Около нее он остановился, комически низко отклонялся и вышел, подпрыгавши одной ногой, точно отрясая от нее прах.

— В течение года постоянно отпрашивался с урока и не возвращался, — начал вполголоса историк, придвинувшись к инспектору и загибая один палец, — уклонялся от ответов (он загнул другой палец и по-

багровел), издевался над преподавателем... Грубил... Устраивал каверзы...

Когда все пять пальцев были загнуты и образовали мягкий, толстый кулак, историк, жестикулируя им перед носом инспектора, спросил глухим и шипящим голосом:

— Как же он будет смотреть на преподавателя, если теперь перевести его?

Благодушному и робкому инспектору было немножко жаль Благово, этого остроумного и бойкого лентяя. Он и бранил-то его с тою целью, чтобы смягчить немножко историка. Но возражать этому сердитому человеку было страшно: лицо его теперь было багрово, и он свирепо вращал глазами...

— А я должен перевести его! — придушенно-визгливым голосом заговорил историк, не дождавшись ответа на свой вопрос, — я должен... да! Второгодник-с, видите ли... да-с!.. куда его выкинуть из сего прекрасного заведения?! некуда! да-с!.. И я должен поставить тройку, иначе всякий сукин сын будет тыкать мне в глаза пальцем и называть меня палачом... да!..

Тогда инспектор, принимая вид решительной свирепости, с трусливой радостью в голосе воскликнул:

— Березовой бы каши ему... каналье!..

Историк, взволнованный и покрасневший, молчал несколько минут, тяжело сопя носом и обтирая мокрое лицо и шею платочком, свернутым в правильный квадратик.

— Кого-то сейчас попрет? — подумал Кривцов без тревоги и оглянулся.

Человек пять еще сидело за партами, с потными, напряженными лицами. Погруженные в какие-то свои соображения, они вяло перелистывали книжки и тетрадки конспектов, работали пальцами в волосах и по лицу, воровливо и робко поглядывали на комиссию и изредка незаметно кивали головами по направлению к двери, в которую заглядывали любопытствующие.

— Ну-с... Кривцов, пожалуйста сюда, — усталым голосом сказал историк.

Кривцов вышел и, чтобы скрыть охватившее его невольное волнение, которого он стыдился, с чуть заметной улыбкой поглядел на историка. Он любил этого умного, грубого, безнадёжно раздраженного человека,

любил его брань, острые слова и, в конце концов, самую настоящую, самую ценную доброту, скрывавшуюся за этой шероховатой, колкой оболочкой наружной свирепости. Он знал, что по своему предмету историк никого не оставлял на второй год и ограничивался лишь угрозами. Правда, иногда он доводил до крайней истомы бранью и насмешками, отводя на учениках свою уязвленную безрадостной жизнью душу. Правда, его побаивались и нередко уклонялись от его уроков. Но, оставляя гимназию, никто не уносил о нем враждебного воспоминания, и все считали его самым интересным, самым ценным и самым честным учителем.

— Вы держите в седьмой класс? Болтались целый год и ничего не делали?..— сказал историк, свирепо глядя на изящного, чисто одетого и улыбающегося Кривцова.

— Нет, я... занимался немного...

— Ммм.. немного?.. Поэтому экзамен будет произведен основательно. Людовик XIV?..

Кривцов хотел было сказать, что он провалился уже по-гречески и не претендует на переход в седьмой класс, но вместо этого как-то невольно начал, запинаясь и путаясь, говорить то, что смутно помнил о Людовике XIV.

— Сейчас видно, что вы не готовили! — оборвал его историк с первых же слов.

— Нет, я готовил,— соврал Кривцов почти машинально и сам улыбнулся над своим малодушием.

— Да вы не смейтесь! Вот я засажу вас на второй год.

— Я не смеюсь...

— Дальше!

Кривцов продолжал выкладывать свои скудные сведения, не решаясь сознаться в своей невинности по части истории.

— Вы мне не о Кольбере, а о Людовике рассказываете. Нечего вилить! — прервал его историк с раздражением.

Кривцов сочинил еще фразы две с упоминанием Людовика и остановился. То самое выражение усиленно-напряженного, но безнадежного соображения, которое казалось ему смешным в лице Благово, теперь появилось и на его лице. Он так же шевелил губами и искал помощи на потолке, в углах класса и на улице...

— По чистой совести, Кривцов: раз прочитали? для очистки совести? — сказал историк уже мягче, чем прежде.

— Нет, я раза три, кажется, прочитал, — соврал Кривцов, сам удивляясь бесцельности своего лганья, и добавил: — У меня только конспекта не было, какой вы диктовали...

— Это уже не мое дело, — быстро и с оттенком некоторого злорадства возразил историк, — лишь бы я свое дело сделал, а вы уж как хотите... Не лучше ли вот что — не отнимайте у нас напрасно времени: спустите флаг, ударьте на погребение... а?..

— Да извольте... Я все равно по-гречески срезался, — мужественно сознался, наконец, Кривцов.

— О! — В голосе историка зазвучала неподдельная радость. — Так что же вы давно этого не скажете? Вот человек... Тогда... до приятного свиданья!..

Кривцов поклонился и вышел.

— Вот, — вздыхая с облегчением, сказал историк инспектору, — был какой ученик! любоваться надо было: способен, прилежен, аккуратен... И что это такое?.. Объясните мне, пожалуйста, — вы опытный педагог: как в пятый класс перевалит мальчишка, обзаведется сейчас знакомой гимназисткой, научится «мерзавчика» распечатывать и ничего, ровным счетом ничего не делает!.. Палец о палец не хочет ударить!..

Инспектор глубокомысленно пошевелил бровями, помолчал и сказал, вздохнувши:

— Времена...

II

В результате экзаменов Кривцов остался на второй год в шестом классе.

Он занял место в самом отдаленном углу камчатки, и на стене, как раз над его головою, красовалась крупная надпись чернилами:

СВЕРХЧЕЛОВЕК
ПЕТР ИВАНОВИЧ КРИВЦОВ
ОДИНОКИЙ!

В подражание ему, сосед его по парте над своим местом изобразил:

Надписи эти приводили в негодование инспектора, надзирателей и некоторых преподавателей, особенно батюшку, который возмущался Сверхчеловеком-Одиноким. И Одинокий, и Сикамбр сидели несколько раз под арестом, хотя упорно отрицали свои авторские права на эти надписи. Сами надписи и стирали, и замазывали, но они появлялись снова, в новом блеске, с новыми виньетками. Все дежурные по классу тоже «отсидели» за эти надписи, но никакие драконовские мероприятия не могли уничтожить их.

Класс был большой — пятьдесят два человека, — шумный, шаловливый и очень пестрый по составу. Были в нем мужи, уже носившие бачки, скоблившие усы и подбородки и говорившие солидным басом, но были и совсем еще зеленые мальчики. Первый ученик едва возвышался над партой. Худенький, бледный, тихий, необычайно серьезный, с большими, мечтательными глазами, он говорил чуть слышным детским голосом и был общим — и учителей, и товарищей — любимцем за свою талантливость и конфузливость.

Не менее половины класса имели уже некоторый опыт относительно женщин. Так называемые «кавалеристы», ходившие в узеньких брючках со штрипками и в туго обтянутых куртках, достоверно знали, — кто с кем живет, с какою актрисой близок полицеймейстер, кто назначает офицерам свидания в глухих аллеях сада...

Были добросовестные зубрилы, скромные, тупые и вечно озабоченные. Впрочем, таких было немного.

Были, наконец, артистические натуры — поэты, художники, музыканты, актеры, — самая слабая по успехам категория.

Закрывающей группой являлись мальцы, не вышедшие еще из переходного, детски-шаловливого возраста, вечно ссорившиеся, дравшиеся, получавшие снисходительные шлепки от более солидных товарищей, подымавшие руки «с места», как в младших классах, и даже унижавшиеся до слез при получении единицы.

¹ Принадлежащий к германскому племени сикамбров (скамбров), обитавших между реками Зиг и Рейн.

Из пятидесяти двух человек своего класса Сверхчеловек-Одинокый дружил только с немногими второгодниками, а душою принадлежал прошлогодним своим товарищам, бывшим теперь в седьмом классе. Но и там далеко не все были ему симпатичны. Он примыкал к немногочисленному кружку самообразования, в котором участвовало не более тридцати человек из всей гимназии,— большинство восьмиклассников. Кружок был, так сказать, интернациональный: деятельными членами его состояли также реалисты, гимназистки и семинаристы. Кривцов любил посещать редкие, но увлекательно-интересные собрания этого кружка, любил прислушиваться к горячим и беспорядочным спорам, улавливать в них что-нибудь новое для себя, учиться этому новому, хотя то, чем интересовалось большинство членов кружка,— общественные науки,— не имело такой животрепещущей важности в его глазах: он был главным образом художником, и притом — поклонник чистого искусства, увлекался горячо и страстно его новыми течениями, но скрывал это от других.

Еще в третьем классе он начал читать. Читал запоем и без разбора, тратил на книги все «собственные» деньги, лишая себя завтраков, простаивал по целым часам пред витринами книжных магазинов, менял и продавал книги, разыгрывал даже их в лотерею (в пансионе), пускался и в другие коммерческие предприятия (открывал, например, библиотеку, абонемент — пять копеек в месяц) — все с единою целью, — чтобы изыскать средства на покупку новых книг. В четвертом классе он уже прочитал Тургенева, Достоевского, Л. Толстого, Гончарова, почти всех новых беллетристов. В пятом погрузился в философские сочинения Толстого и, увлекшись его учением, сделался вегетарианцем (только ненадолго), перестал молиться Богу по утрам, как это делал раньше, на уроках закона Божия стал смущать законоучителя казуистическими вопросами. Потом прочитал книгу «Так говорит Заратустра» и, познакоившись одновременно с рассказами М. Горького, решил стать босяком и сверхчеловеком.

Незадолго перед тем он влюбился и начал писать стихи. Одна маленькая, жизнерадостная гимназистка огорчала его своим легкомыслием: книги читала толь-

ко такие, в которых были «разговоры», терпеть не могла «философии», то есть серьезных бесед, к его сверхчеловечеству относилась с веселой и остроумной насмешливостью, никогда не грустила о нем, но любила назначать свидания, на которые выбегала, накрывшись большим теплым платком своей горпичной. Ее хищный, точеный носик мило морщился, глаза искрились плутовством и вызывающим, непобедимым кокетством, а тонкие брови чудно выделялись под тяжелыми складками серого платка, окутывавшего ее до колен. Он терялся перед ней: хотел говорить серьезно, а выходило ужасно глупо; она смеялась, сверкая глазами и зубами, любила нечаянно трогать его своими тонкими руками, задеть плечом, пощекотать волосами его лицо... Сладкий трепет пробегал по его телу от этого шелковистого, нежного, мгновенного прикосновения, и он тогда совсем глупел... Он был влюблен в нее до мая. В мае приехали студенты, и Кривцову в какую-нибудь неделю пришлось убедиться в непостоянстве и коварстве женской натуры...

Еле-еле перелез он в шестой класс. И то, кажется, во внимание к его прежним успехам и примерному поведению, — в младших классах он учился отлично... В шестом классе он уже окончательно забросил гимназические науки и отдался целиком своим литературным опытам. Он долго скрывал их от товарищей, но слава уже стерегла его: меткие эпиграммы его на учителей стали популярны среди гимназистов и даже в городе, а затем получили известность и у гимназического начальства. И конечно, обычная участь русских писателей не обошла и его: он претерпел... С тех пор все мечты его сосредоточились главным образом около гармонии сладких звуков и красивых вымыслов.

Теперь гимназическими науками он уже почти не занимался. Лишь по-русскому языку да по физике, которая его интересовала, он получал пятерки; по другим предметам еле-еле плелся. В нынешнем году «грек» был другой, снисходительный и трусливый; новый математик человек молодой и робевший перед учениками. Тройки обеспечить было легко, но Кривцов ничего не делал и питался лишь кое-какими крохами, приобретенными в младших классах.

На уроках он скучал до отчаяния, зато издавал совместно с некоторыми семиклассниками журнал «Лучи

зарп», а в пансионе выпускал раз в неделю газету «Пансионские известия». Этим литературным опытам он посвящал большую часть своего времени. Гулял мало, перестал ухаживать за гимназистками и позволял себе «развлекаться» только в классе.

Развлечения эти стали носить характер исключительного нарушения порядка и дисциплины. Учителя негодовали, а класс покатывался со смеху, восторгался, удивлялся и долго рассказывал об его остроумных выходках. В кондуитном журнале фамилия Кривцова фигурировала очень часто и на левой стороне — в числе отсутствующих, и на правой, где значились записи проступков.

Весь персонал инспекции и большинство учителей считали теперь Сверхчеловека «заразой» класса и даже всей гимназии. Он, с своей стороны, проклинал это заведение, громил его в своих журнальных статьях, издевался, мечтал, как о высшем празднике, о том дне, когда он расстанется с «мертвым домом».

Эти чувства, конечно, разделялись читателями... Это была изумительная по искренности и единодушию ненависть, прочно установившаяся во всех ученических сердцах. Это общее чувство заставляло радоваться болезни каждого учителя, скорбеть о том, если какой-нибудь праздник падал на воскресенье, с трепетом нетерпения ждать вакаций. Учителя объясняли это тем, что большинство этих юношей интересуется не наукой, а лишь средством получить диплом. Гимназия требует упорного труда, а дети, большинство которых принадлежит к сытым и праздным семействам, склонны к безделью и ненавидят труд. Однако те же дети иногда положительно удивляли их терпением, настойчивостью и усердием, отдаваясь самообразованию по интересующим их предметам, корпя над какими-нибудь опытами или машинами, составляя рефераты, разучивая отрывки для литературных вечеров, музыкальные и драматические пьесы или, наконец, изготовляя самые подробные и усовершенствованные шпаргалки по всем предметам. На изготовление их требовалось времени, во всяком случае, больше, чем на самое добросовестное приготовление уроков, и само пользование ими, обставленное массой затруднений и риска, все-таки не исключало необходимости учить уроки.

Мир гимназии был странный, оригинальный мир...

Казалось иногда, что не только главным признаком, но и всем содержанием его была борьба двух враждующих лагерей. Во имя чего шла эта глухая, беспрестанная, бессмысленная вражда с ее взаимным недоверием, озлоблением, подкапываньем, насмешками и, наконец, ненавистью; какая таинственная, неустрашимая сила постоянно и неуклонно поджигала и раздувала ее — это ни тому, ни другому лагерю не было вполне ясно... Выходило все как-то непроизвольно, почти бессознательно, и закутанные сухими, мутными туманами, наползающими извне, оба лагеря упорно враждовали, даже не пытаясь присмотреться друг к другу.

Один лагерь состоял из людей усталых, невеселых, замкнутых, робких, иногда до крайности смешных.

Им надо было притворяться образованными, развитыми, знающими, но они были, в большинстве, невежественны и тупы, задавленные постоянным трепетом, нуждой и вечной заботой о куске.

Они делали вид, что убеждения их — ясны, тверды и непогрешимы. Но когда в любознательных юных головах рождались интересные вопросы и требовали разъяснения, то на них не было ответа, как на «не относящиеся к делу». Изредка лишь кто-нибудь пробовал разъяснять и наставлять, но выходила из этого только путаница, очевидная для всех, противоречия и трусливое подтасовыванье... На религиозные вопросы, на сомнения молодого духа — следовали сухо формальные ответы. Вопросы гражданской жизни тщательно обходились. Свободнее говорили лишь по вопросам морали. Впрочем, не тогда, когда ученики спрашивали: в вопросах всегда подозревалась какая-нибудь подковырка, и они строго останавливались. Учителя не говорили, не убеждали, а изрекали безусловно авторитетные моральные истины. В младших классах эти поучения сводились к следующим категориям: держи себя смирно, старайся, будь внимателен и послушен, не ковыряй пальцем в носу. В старших: имей страх Божий, ибо он есть начало всякой премудрости; не высокоумствуй и не гордись, памятуя, что выше лба уши не растут и яйца курицу не учат; будь почтителен к начальству, к старшим и к своим наставникам; занимайся только своим делом и исполняй в точности то, что приказывают начальники и наставники, ибо пови-

новение есть высшая власть и победа над самим собой; будь честен, то есть не пользуйся подстрочниками и шпаргалками, не списывай задач и сочинений прошлых годов, не обманывай преподавателей; будь трудолюбив, т. е. аккуратно готовь заданные уроки...

Но, говоря о честности, они сами были не все честны... Говоря о мужестве, почти все были трусы. Страх висел над ними постоянно, испуг и недоумение перед какими-то карающими призраками сквозили в их словах, в их поступках, держали их в безвыходных, удручающих тисках... Они знали, как легко лишить их даже того мизерного положения, при котором они с семьями ведут полусытое, полуголодное существование. Между тем несколько лет этой службы с ее однообразным, бестолковым толчением воды в ступе, с полной изолированностью от остальной жизни делало их решительно непригодными ни к какому другому труду...

И это сознание безвыходного плена, унижающего личность, притупляющего мысль, заполняло все их существование изнурительными мелочами, смирением безнадёжности, рабскими инстинктами... Оно рождало нескончаемую, скрытую душевную боль и тупую злобу ко всей отравленной жизни, диктовало самоограничения всякого рода, вселяло боязнь самостоятельных мнений, искореняло мечту о свободе, о тех порывах души, которые когда-то сладко волновали ее и давали красивый смысл жизни...

Все это видели их ученики,— молодой безжалостный и жестокий в своем суде народ,— и не прощали им ничего, ни единой их слабости.

Не было среди них героев. Героизм в этой среде весь ушел бы на то, чтобы сохранить душу в затхлой атмосфере условностей и показной благонадежности.

Нужна была только изворотливость, чтобы благополучно плавать среди этой массы предписаний и предначертаний, совсем невыполнимых на деле, изгоняющих живую душу из школьного обихода и заражающих его ядом показной добродетели. И в этой изворотливости многие доходили до виртуозности, превосходно применяясь ко вкусам всех лиц, могущих поощрить или погрозить перстом и очами. Эти преуспевали... И хотя этот успех давал не Бог весть какое благополучие, но он вызывал подражание и соревно-

вание у остальных. Гимназическое преподавание было сведено к формам, исключавшим всякий интерес и смысл. И было непонятно ни ученикам, ни учителям, какое значение могут иметь те жалкие, ничем не связанные и беспорядочной кучей сваливавшиеся в ученических головах обрывки знаний, которые вбивались им в гимназии...

Никто из учителей ни разу не мог привлечь одушевленную речь свободного внимания в классе, при котором нет надобности в зорком наблюдении за дисциплиной. Никто не вдохнул возбуждающей искры интереса к предмету, хотя многие умело, даже артистически — с точки зрения программы — вели уроки, умело разучивали их в классе, умело и неуклонно тормозили дремавших учеников, искусственно возбуждая их внимание «летучими» вопросами.

И ученики учились вяло, подгоняемые отметками, накапливая в душе отвращение к труду, теряя интерес к знанию, развращаясь бездельем, плутовством и мелкой борьбой с начальством и учителями. На этой борьбе, на ее перипетиях, на всевозможных уловках, обманах, массовых шалостях, или «бенефисах», и сосредоточивался наиболее живой интерес. И те невеселые, замкнутые, робкие, иногда смешные, скудно одетые и уязвленные жизнью люди, которые поочередно приходили в классы и уходили из них с недоумением, грустью, иногда с отчаянием и злобой, думали и говорили о той «темной силе», которую представляло собой молодое поколение.

При взгляде со стороны, сквозь стеклянные двери класса на эту многолюдную, беспокойную, копающуюся за партами, щебечущую толпу малышей со стриженными головенками, с светлыми, веселыми, плутоватыми глазками, с перепачканными в чернилах руками, которые то толкали в бок соседа, то строили из бумажки петушков, то бросали тихомолком шарики, — становилось весело и забавно... Они сами и их движения напоминали маленьких животных, подвижных, веселых, забавных и невинных.

— Какие милые детишки! — невольно думалось, глядя на них, — надежда родины...

Но тому усталому человеку в очках, который с кафедры обводит строгим взглядом эту милую, слишком многочисленную и тесно посаженную компанию, кото-

рый должен заставить их сидеть смирно, быть внимательными, не вскакивать с места, не отпрашиваться то и дело «выйти», не толкаться, не бросать катышки бумаги, не дразниться и проч.,— этому человеку они уже не кажутся такими милыми. Он знает, как они портят воздух, как нечистоплотны, неряшливы, как большинство из них тупы, лепивы, неугомонны, а иногда зло шаловливы и неуживчивы... И как мало в них мягкости: с какой непонятной злобою эти милые дети щиплют и дразнят каких-нибудь товарищей-неудачников, заморышей, евреев; как часто стараются взвалить собственную вину на другого, тихомолком нагадить, иной раз даже украсть... И часто усталый и озлобленный учитель с грустью думает: «Будущая надежда родины... А сколько из них прохвостов выйдет!..»

Крайнего предела шаловливость достигает в четвертом и пятом классах. Это — переходный, критический возраст, когда детская подвижность сочетается с юношескою амбицией и заносчивостью, с преувеличенным сознанием прав и забвением обязанностей. Этими классами совершенно ниспровергается авторитет надзирателей, появляется особая грубость и дерзость по отношению к преподавателям, устраиваются ехидные и злостные шалости...

В следующих классах начинают держать себя уже более солидно, но тут новое горе: мятежное беспокойство мысли, упорное уклонение от тех обязательных рамок благонравия, которые выработаны так обстоятельно программами и указаны циркулярами. Тут-то и начинается наиболее упорная война между двумя лагерями. Один предлагает обильную и неудобоваримую духовную пищу, уверяя, что она полезна и необходима для жизни, для будущей самостоятельной деятельности. Другой сомневается в этом и увертывается от навязываемых ему даров. Первый лагерь приходит к горькому убеждению, что учащиеся ленивы, что им всякая работа противна, а по душе только безделье, пустословие, повесничанье, грязные удовольствия, всякого рода нарушения порядка... И недоумевают, за что же их, учителей, винят в том, что ученики их выходят безграмотными, невежественными, неразвитыми?

Забитый, усталый, отупевший от однообразной, утомительной, часто лишенной одушевления и смысла работы, учитель приходит к заключению, что материал,

находящийся в его руках, по преимуществу — дешевый материал... Это — булыжник и мусор, в котором дорогие камни теряются по чисто фатальным причинам и, может быть, выкидываются вон вместе с мусором. Когда же они бросаются в глаза, то их все-таки требуется вогнать туда же, куда и булыжник, и придать им окраску и свойства этого прочного и малоценного камня.

Так дело и тянется бессмысленно и вяло, насильственно, бесплодно, однообразно и скучно. И учителя тяготятся своим делом, обманувшим их надежды, и молодое поколение учится без интереса, плутует, остается ленивым и невсестественным. Оно не любит учителей, не желает понять их, бранит, не знает, сколько терзающей боли и недоумений лежит тяжким бременем на их усталых душах, отравленных стыдом бессилия. Оно не понимает и не хочет понять их, да и они сами постепенно теряют чутье и понимание молодежи...

III

15 октября оканчивалась первая четверть. Некоторые учителя приходили в класс с аттестационными списками, на уроках выставляли четвертные отметки, «поправляли» и писали свои отчеты. Эти уроки были не так скучны, даже интересны, потому что каждому можно было заниматься своим делом. Но это было не у всех учителей. Некоторые неуклонно занимались обычным порядком.

В шестом классе шел урок по латинскому языку. Учитель, большой, кудластый, глухой и потому сердитый человек, в темных очках, вел его монотонно, глубоко серьезно, почти с религиозной важностью. Неодолимая дремота овладела всеми в классе. Преподаватель зорко посматривал через темные очки, чтобы ученики не играли в пашки, в карты, не грызли подсолнухов, не болтали... Класс цепенел от скуки, зевал и дремал. Более трудолюбивые ученики готовили уроки к следующему дню. Кривцов занимался своей литературой. Он написал начало стихотворения, которое давно уже слагалось у него в голове. Неясные и легкие образы и мысли мелькали перед ним, как знакомые

прекрасные видения, но на бумагу он не мог их передать так, как они возникали в душе, и выходили они бледные, слишком ординарные, будничные, в убогом наряде изношенных слов, тусклых, потертых, как старая монета.

Он написал заглавие: «Утром». Вывел красиво подзаголовок: «Стихотворение». Первые четыре строки он написал скоро:

Улетают тихие виденья,
Тускло серый день глядит в окно,
На душе моей уныло,
Странно-холодно, печально и темно...

Дальше стихи не давались, выходили неуклюжими, громоздкими и никак не хотели ложиться в размер. Было досадно...

— А поди-ка, брат, вон! — вдруг послышался бас Митрофорова.

— За что, Петр Петрович? — раздался в ответ недоумевающий и запикающийся голос Человека-Сикамбра.

— Ты чего там?.. болтать? разговоры?.. Усы свои вытягиваешь?.. Думаешь, вырастут скорее?..

— Я ничего, Петр Петрович...

— Сам не слушаешь и другим мешаешь сосредоточиться!.. Поди-ка, брат, вон!..

— Я слушаю, Петр Петрович...

— А повтори-ка последнюю фразу!

Сикамбр прежде всего выразительно раза два кашлянул, чтобы выиграть время, а под партой толкнул ногой Кривцова и впереди сидевшего Сахарова. Сахаров приложил ладонь к губам и начал суфлировать, что у тугого на ухо Митрофорова проделывалось всегда не без успеха.

— Итак... царь Дейотар... пришел... — суфлировал Сахаров.

— Итак, царь Дейотар... — неторопливо, с расстановкой, как вдумчиво и сознательно относящийся к делу человек, начал Сикамбр и внушительно кашлянул.

— Пришел... кхм... кхм... — продолжал он.

— В эту несчастную и роковую войну, — прошипел суфлер.

— В эту... несчастную... и роковую... войну... э-кхм... кхм...

В это время скомканная бумажка была всунута в полусжатый кулак Сикамбра доброжелательной рукой соседа, а через мгновение оказалась уже в книге. Расправив ее, Сикамбр также вдумчиво и неторопливо, но уже без покашливания продолжал:

— Приходит... к этому человеку, которому раньше того помогал в справедливых внешних войнах, с которым был соединен не только дружбой, но и родством...

— Что за оборот: *quem-quisum?*¹ — отрывистым и сердитым голосом задал вопрос Митрофоров, когда Сикамбр кончил фразу и поглядел на него торжествующим взглядом.

— Бессоюзие, — проворно прошипел суфлер.

— Эххм... это... без... союзие?

— *Didicisset*² — форма?

— *Plusquamperfectum conjunctivi*³, — эффектно произнес Сикамбр, уже без всякого запятого и покашливая.

— Почему здесь — *conjunctivi*?

— Э... кхм... кхм...

— Побуждение, — доносится авторитетное разъяснение суфлера.

— Означает здесь... кхм... кхм... побудительную причину, — тоном глубокого убеждения отвечает Сикамбр.

— Н-ну, сма-атри ты у меня!.. — сказал угрожающе и не без досады Митрофоров; видя, что Человек-Сикамбр не может скрыть торжествующего и насмешливого блеска в глазах, он грозно крикнул:

— Сядь!!!

Мысли Кривцова теперь получили другой оборот. Он решил закончить давно начатую статью «О реформе средней школы», предназначенную для журнала «Лучи заре». Он отложил стихи и погрузился в публицистику.

«Приступая к учебным занятиям в нынешнем году, — писал он, — большинство учащихся думало, что занятия будут проводиться по новой программе, по усовершенствованному методу, и что школа станет для них не печальной и скучной необходимостью, а опыт-

¹ Кто с кем? (лат.)

² Если бы когда-то раздавался, распространялся (лат.).

³ Сослагательное наклонение преждепрошедшего времени (лат.).

ной и сердечной руководительницей... Но и эти розовые мечтания не сбылись. Классическая система, которую так пышно хоронила русская пресса, опять живет и торжествует...»

Перечитавши это начало, Кривцов с увлечением принялся громить классическую школу и ее деятелей. Он писал об исчезновении веры в добро, в науку, в красоту и радость жизни; ругал начальство, нивелирующее и обезличивающее индивидуальные черты учащихся, всыпал на орехи преподавателям, которые не хотят говорить «живым, человеческим языком, с интересом и убеждением»...

Он с удовольствием стал перечитывать свое произведение, но урок кончился. Еще не вышел Митрофоров, а в классе уже поднялся пестрый и неудержимый гам самых разнородных звуков: захлопали крышки парт, зашаркали ноги, кто-то зашел, кто-то громко зевнул и грубо выбранился, разнообразные голоса пошли перекликаться... Клокочущий, бурливый поток шумных звуков, наполнив длинные, серьезные, полутемные коридоры, выбегал и на улицу, где прохожие с недоумением и любопытством оглядывались, а на лицах у них как будто было написано раздумье: как можно жить и работать взрослым в таком неистовом, оголтелом кипении оглушительных и беспощадных звуков?

Резкий звук колокольчика пронзает этот хаос и шум; медленно колыхнувшись, направляется в обратную сторону, раздробляется, становится глуше и вливается в те душные ящики, которые именуются классами. Здесь он, стиснутый тесною каменной броней, сокращается и, постепенно слабая, наполняет глухим жужжанием каменный ящик и дробно бьется в стены, потолок и окна. Среди громкого говора, перебранки, перекликанний, смеха, искусственного басового гудения и песен, различных звукоподражаний, барабанного боя о парты, хрястенья парт от возни и выпирания друг друга — бессильно и жалко тонет окрик надзирателя... Угрожающая жестикуляция его перста свидетельствует о призыве к порядку, но в усталом и страдальчески озлобленном лице видна безнадежность и неверие в свои силы.

На втором уроке был историк. Его уроки были всегда самые страшные, но в то же время интересные. Легко было схватить единицу, но вместе с тем прият-

но и чрезвычайно любопытно было слушать, как он, рассказывая урок или спрашивая, находил случай остроумно ругать всех и вся. Он ругал полицию, ругал «жидов», немцев и англичан, ругал русские порядки и — что было всего приятнее — ругал гимназию, гимназическое начальство, учителей и гимназистов. Его перзвая, отрывистая речь носила резкий тон всегда, — говорил ли он с учеником или с директором. Он всегда волновался, кипел, сопел, подергивал плечом, сердился, даже когда рассказывал анекдот. Эта одинаковость тона по отношению ко всем без различия привлекала к нему ученические сердца, хотя на него часто злились за его щедрые единицы и еще более за резкую ругань и издевательства.

После него приходил в класс большой и неуклюжий человек с черной повязкой на голове, с желтым болезненным лицом, с роскошной черной бородой и грустными глазами. Это был словесник, по прозванию Черномор, — человек кроткий, смешной и скучный, а учитель совсем архаический. Его даже дразнили редко, — он никому не мешал заниматься чем угодно и ему не мешали говорить что-то быстрое и непонятное, барабанивать кпстями рук по кафедре, вопрошать и не получать ответа.

Его сменил после большой перемены молодой, румяный математик, преподававший первый год. После завтрака, как бы он ни был скуден и малозначителен, всегда особенно одолевала дремота. Математик говорил тихо, объяснял слабо и сбивчиво, краснел. Его не слушали или слушали только те, кому нравилось сбивать его.

— Не так! — слышалось иногда из-за парт, — в книге не так!..

Все знали, что молодой преподаватель пока сам учился и не отступал ни на йоту от учебника.

— Виноват, — конфузливо говорил математик и топропливо вытирал доску — иногда даже не губкой, а прямо рукой.

Он чувствовал ужас перед этими большими классами, в которые он попал, по воле судеб, в первый же год своей службы. Он недоумевал перед этой бездной злорадной наглости, беспощадных и безжалостных насмешек и грубостей, особенно при получении отметок, которые он ставил щедро и за которые чуть не еже-

дневно делал деликатные замечания директор. Два месяца назад он вступал в это шумное заведение румяный, свежий и жизнерадостный, а теперь все больше и больше сжимался, ежился, озлоблялся и худел.

Пятым, и последним уроком был урок греческого языка. Шесть раз в неделю был греческий язык — все на пятых часах, — и никто из учеников шестого класса не тяготился этим: это были самые интересные уроки.

— Марек! — раздавался голос дежурного, стоявшего у дверей класса.

Этот возглас извещал о приближении преподавателя греческого языка. Класс сквозь пестрый гам не слышал его, но когда мелкими шажками вкатывалась фигурка коротенького, аккуратного человечка, с подкрашенной в каштановый цвет квадратной бородкой, и пугливо-растерянно оглядывалась, класс усиливал гудение. Радостные, дружеские возгласы неслись из всех углов к этой чистенькой и робкой фигурке.

— Младочех! как здоровье? — орал один.

Кто-то взвизгивал поросенком; другой кричал: «Тпру!» Слышался короткий, пронзительный свисток и одновременно неприличное пение. Кто-то декламировал диким басом из «Демона».

Фигурка катилась к кафедре, сопровождаемая толпой, растерянная, оглушенная и беспомощная.

— Са-адитесь, пожалуйста, господа! — умоляюще говорит он, — садитесь по местам!

Бедный Марек!.. Он оглянулся кругом и с некоторым опасением поглядел на дверь... Эта дверь со стеклами всегда таила в себе нечто страшное... Как часто через эти стекла глядят строгие, наблюдающие глаза директора, как они угнетают своим молчаливым и бесстрастным контролем... А тут беспорядок... Человек пять стоят около кафедры, улыбаются, что-то говорят одновременно и громко, что нельзя разобрать. Что им нужно? И какие крупные и буйные мальчишки... В глазах у всех огоньки насмешки, злонамеренного лукавства и буйной шалости...

— Уже не шумите! — возвышая свой трескуче-резкий голос, особенного, специально чешского тембра, кричит Марек, сохраняя просительное выражение. — Господа, директор уже ходит! потышите!.. Уже не пойте там так громко басом, господа! можно потышите!.. Кривцов, вы наиболее там шумите...

— Нет, Франц Антоныч, я наименее тут шумлю...

— Уже, господа, садитесь наконец! — еще повышая голос, кричит Марек.

Нарочно спотыкаясь, стуча ногами, толкая друг друга и вскрикивая, толпа удаляется от кафедры. Еврей Штейн все-таки еще раз возвращается и, забирая журнал в руки, говорит:

— Позвольте мне посмотреть, по математике сколько?

— Са-а-дитесь уже! — вырывая журнал и прижимая его к груди, строго кричит Марек.

— Да позво-о-льте... что вам стоит?

— Уже на место!

В резком, пронзительном голосе Марек слышатся, наконец, ноты подлинного негодования. Штейн, демонстративно шатаясь из стороны в сторону, цепляясь за парты и гремя, водворяется на место.

— К следующему разу запишите, — говорит Марек, ныряя носом то в журнал, то в записную книжку, то в лежащего перед ним Ксенофонта, — грамматика... параграфы 32-й, 33-й... перевод параграф 8-й... польовину...

— Мно-о-го! — слышится гудение сперва с камчатки, у которой даже книги не раскрыты, потом, ширясь и распространяясь, захватывает весь класс.

— Всего девять строчек...

— Мно-о-о... о-о-о... у-у-у... э-э... о-о-о... — гудит воздух, потолок, стены класса.

Марек опять бросает боязливый взгляд на дверь. А что, если там директор?! «У вас на уроках никакой дисциплины нет...» Он уже говорил это... и не раз...

— Петров! — произносит Марек решительным тоном, — пожалуйста к доске, запишите слова!

— Ла-ла-ла-ла-ла... — завывает вдруг Кривцов, бессмысленно витаращив свои красивые черные глаза.

Этот однообразный вой выделяется из смутного гомона и реет назойливо и уныло над классом, как испуганный и тоскливый звук отдаленного набата.

— Кривцов!! — пронзительно и сердито выкрикивает Марек и смотрит пристально и долго на Сверхчеловека, который не сразу замолкает и встает, так же бессмысленно выпучивши глаза.

— Уже пьерестаньте!

— Это сзади, Франц Антоныч! — кивает Кривцов на стену.

Слышится взрыв смеха, — класс приветствует остроуму Сверхчеловека громко, намеренно громко и беспощадно-оглушительно, дико... Марек опять с испугом оглядывается на дверь. Слава Богу, как будто там никого не видно...

— У вас уже завернется скоро тут, — с угрожающим сожалением говорит он, адресуясь к Кривцову и вертя пальцем вокруг лба.

И затем весь погружается в диктовку слов, не обращая внимания на продолжающийся шум. Петров старательно выводит буквы, стучит мелом, стирает зачем-то и опять пишет, склонив голову набок. Явственно затягивает время. Его комически серьезная и почтительная физиономия располагает к себе Марека, и он ставит ему в журнал «четыре».

— Кашеев! — вызывает Марек, — возьмите Ксенофонта и пожалуйте к кафедре.

Кашеев лениво поднимается и что-то очень долго копается в парте.

— С места отвечать! — раздается чей-то бас, — к кафедре не пойдет!..

И тотчас же глухой гул дружно начинает расти и перекатываться по классу; парты смыкаются: Кашеев заперт, и его не пускают, хотя он еще и не делал попытки выходить.

— Там уже подсказывают! — строго говорит Марек, стараясь покрыть гудящие голоса, — идите к кафедре!

— «Гу-у... о-о-о... у-у-у...» — слышится в ответ неопределенный гул.

— Будете кричать — хуже будет! Позову директора и... сторожа!..

«Гу-у-у... о-о-о... у-у-у... э-э-э... о-о-о...»

— Ну, хорош-шо... отвечайте уже с места... Н-но... только уже не подсказывать! Хорош-шо, хорош-шо, хуже будет! Отвечайте уже там...

Кашеев начинает с грехом пополам что-то мямлить. Ему отчаянно и неудачно подсказывают: в этом случае наибольшим усердием отличаются те ученики, которые сами почти ничего не знают. Шум стоит в классе и от дружных подсказов, и от разговоров. Марек обводит класс строго недоумевающим взглядом.

— Ничего уже не слышу, господа! — говорит он.

— И я ничего не слышу, — бормочет Кащеев.

— Ну, теперь по грамматике...

И Марек обстоятельно и с знанием дела доезжает Кащеева на грамматике.

— Уже довольно, — произносит он с грустью сожаления и делает быстрое, едва уловимое движение пером, — садитесь...

— Пару? за что же? Я перевод знал!

В тоне Кащеева слышится искреннее недоумение и протест.

— Плохо Лизочке будет, если пары будешь ставить! — раздается чей-то угрожающий бас.

— Кто в четверг дежурный по пансиону? — долетает до Марек новый голос. — Марек? А-га! надо принять к сведению... Бенефис за-да-дим!..

Однако Марек делает вид, что не слышит этих возгласов, и все свое внимание устремляет в записную книжку, изредка, для прочистки своего голоса, покашливая, коротко и пронзительно резко.

— Кривцов! — вызывает он с решительным видом.

— Не могу, Франц Антоныч.

— Почему-у?

— По разным причинам...

— Н-ю... так я вам единичку напиш-шу?..

— Сделайте одолжение. Если вам это доставит удовольствие, — пожалуйста!..

Марек опять устремляет свое внимание в записную книжку и быстро делает в ней какой-то значок.

— Застрелись, брат! — сочувственно говорит Человек-Сикамбр, подавая Кривцову пенал, искусно сделанный в виде револьвера.

Кривцов, включив волосы, берет пенал и с решительным видом идет к кафедре.

— Умереть... уснуть... — говорит он глухим голосом и подносит револьвер-пенал к виску. Несколько человек бросаются к нему и хватают его за руки. Поднимается крик, гвалт, смех, свист... Марек смотрит растерянно, ничего не понимая, и, пугаясь этого неистового гама, не может оторвать глаза от двери.

— Франц Антоныч! ведь дело одного момента... А на вашей душе грех будет, — говорит Человек-Сикамбр очень убедительно.

— Н-ню, хорош-шо! Уже я вычеркну единичку!

Садитесь! пожалуйста, садьте!.. уже я вас очень попрошу!..

— Чем вычеркивать, журнал марасть — лучше переправьте ее на четверку, — дружелюбно советует кто-то.

— Садьте, пожалуйста!

— В таком случае позвольте выйти.

— Извольте...

Выходит один; за ним еще двое, уже не отпрашиваясь. Потом кто-то из них, отворивши дверь, звонко кричит из коридора: ку-ку!

— «Ку-ку! ку-ку!» — сейчас же откликаются ему голоса из класса.

Кто-то хлестнул кого-то по физиономии, и в ответ раздался тоже звонкий шлепок, сопровождаемый поросычьим визгом. Это Штейн визжит — неподражаемо искусно и нагло — и в награду сзади опять получает подзатыльник.

— Не дурачьтесь, господа, — бессильно и жалобно, страдающим и умоляющим голосом кричит Марек, — не ссорьте... Пржеторжевич! вы уже каждый день завтракаете!

Человек-Сикамбр, сосредоточенно уписывающий булку на первой парте, говорит с достоинством:

— Я даже и обедаю каждый день, Франц Антоныч!

Кривцов лежит на парте ничком и снова тянет свою монотонную песню: ла-ла-ла-ла... Раздается благодетельный звонок и прерывает этот веселый урок. Марек быстро выкатывается из класса, окруженный молодой, беспредельно шумной и ужасной толпой.

IV

В воздухе стояла пыль от только что подметенного пола. Пансионеры еще не совсем успокоились после вечерней получасовой рекреации. Несколько керосиновых ламп — давнего, первобытного устройства — льют скудный свет на парты.

Вместе с пылью в воздухе носятся жужжащие звуки, неровно колышется и плещет в стены болтовня, шумно срывается погромохиванье передвигаемой парты, прозвучит быстрым, трепещущим каскадом звонкий смех...

Поток этих звуков, гибких, звонких и кудрявых, сплетающихся между собой и одиноких, безостановочно течет, течет, течет... Проворные и пестрые, они выются столбом мошек, смутно зыбят, как рой мух, мопотонно шлепают, словно плеск речной волны, бунчат подобно расстроенным басам гитары...

Вон ученик мечтатель и лентяй мерно пощелкивает карандашом по листам открытой книги, и в унисон с этим пощелкиванием раздается подзатыльник, данный исподтишка второклассником Мазухиным первокласснику Вертоградову. Вот вполголоса ссорятся между собой малыши-приготовишки. Их голосов почти не слышно, они тонут в общем потоке звуков, но видно, как шевелятся их челюсти; губы закрыты ладонями — из опасения, чтобы не заметил разговора воспитатель (этот народ еще не утратил страха перед воспитателями). Четвероклассник Шляпин доказывает теорему у доски, и его однообразный, мягко настойчивый, добро-совестно зубрящий голос плывет в общий поток и сливается с болтовней театрала Благово и с звуками шагов трудолюбивого и сосредоточенного Повадского. Из угла, с задних парт, где сидят тесно сдвинувшейся группой старшие ученики, несутся волны солидно бунчающих басов и покрывают негромкий, сдержанный смех третьеклассника Плисова, которому удалось попасть бумажной стрелкой в лицо толстого и серьезного поляка Козловского.

Кривцов сидел и переписывал номер «Пансионских известий». Дежурил по пансиону Ной Николаевич Косиди, добродушнейший, толстенький старичок с бритым лицом, круглый, как шар, на коротких ножках. Его день считался самым удобным для выпуска газеты и совместного — всем пансионом — чтения и обсуждения ее.

«Пансионские известия» были органом, по преимуществу, сатирическим, хотя в них иногда попадались и серьезные статьи полемического характера, направленные против «Лучей зари». Самыми обширными отделами «Пансионских известий» были «Смесь» и «Объявления», в которых сотрудничали все пансионеры. Кривцов давал для «Известий» большею частью стихи, редактировал газету и сам же переписывал ее (газета выпускалась в единственном экземпляре), юмористическую же часть главным образом поставлял

Благово. Он же и читал, или, точнее, декламировал перед пансионерами газету, когда Ной Николаевич засыпал.

Ной Николаевич сидел теперь, подперши пухлую, бритую щеку рукой, и дремал. Перед ним лежал старый номер «Московских ведомостей», выписываемых на казенные средства в гимназию. Но строки этой газеты сливались в его глазах, уплывали куда-то в сторону и медленно возвращались назад, когда он, высоко поднявши свои седые, кудрявые брови и напрягая засыпающие глаза, устремлял на них строгий, пристальный взгляд, призывал их к порядку. Но голова тяжелеела, и звуки, которые плавали, колыхались и плескали в нагретом и испорченном воздухе классной комнаты, уходили далеко вместе со строчками газеты.

Для развлечения Ной Николаевич встал и прошелся по классной комнате. Кто-то визгливо смеялся в столовой. Там же басом сердито покрикивал Хмелевич на своего тупого ученика Мазунина, который повторял плаксивым голосом, ошибаясь какие-то мудреные немецкие слова. Ной Николаевич направился было в столовую, но в это время один из приготовишек коротко взвизгнул и Ной Николаевич быстро и строго повернулся к ним, так как для объяснений это была более удобная публика.

— Ной Николаевич, чего Грибовский тут лезет? — подняв ладонь к носу, заговорил один из нарушителей порядка, гипнотизируемый пристальным, строгим взглядом Ноя Николаевича.

— Я ничего! — быстро и звонко говорит Грибовский, вскакивая с места и тоже поднявши к носу лапку с выпачканными в чернилах пальцами. В его лице, веселом, живом и бойком, так и играл с усилием сдерживаемый смех.

— Он все смеется тут... За ухо дергает...

— Я не смеюсь... Он спросил, а я засмеялся...

— Штэ-э он спросил? — строго прошамкал Ной Николаевич.

Грибовский слегка замялся.

— Он спросил... Что бишь?... э... мм... А я ничего... ей-Богу, ничего, Ной Николаевич... Я засмеялся... Я не дергал его за ухо...

— Пар-шивец! — говорит спокойно Ной Николаевич, и звонкий шлепок его мягкой, пухлой ладони коротко и отрывисто запечатлевается на затылке Грибовского.

Грибовский фыркает от смеха, ему вторит его удовлетворенный сосед. Ной Николаевич сам не может сдерживать улыбку удовольствия. Кто-то с задних парт кричит «браво!», и потом раздаются жидкие аплодисменты.

— Ной Николаевич, поговорите по-болгарски! — просит Грибовский, привставши с места и стараясь изобразить на своем плутоватом лице самую почти-тельную мину.

Ной Николаевич вывезен из Болгарии в 1831 году. Когда-то он сам рассказывал об этом гимназистам, — как говорят, в опровержение легенды, гласившей, что он вылупился из яйца.

— Сядь, бэлван! — говорит Ной Николаевич любознательному болгарофилу.

— Это на русский похоже...

Ной Николаевич опять размахивается рукой, но на этот раз Грибовский пригибается и счастливо ускользает от подзатыльника. Зажав нос двумя пальцами, Грибовский силится удержаться от смеха, но прорывается и, открывши парту, ныряет в нее головой, делая вид, что занят разысканием тетради.

Безучастный к этой обычной, надоевшей ему жизни пансиона, Кривцов перечитывает свою рецензию о концерте заезжей певицы. За этот концерт он сидел шесть часов в карцере, ибо ушел не только без разрешения, но даже вопреки прямому запрещению инспектора.

Теперь он читал:

«Она пела о любви, о весне, о прощальной улыбке вечерней зари, о потухающих звездах перед утром, об огоньке, который горит и мерцает во мгле душистой ночи... Она пела, и голос ее свободно и плавно носился над залой, душные стены ее были тесны для него, и казалось, что они раздвигались, а он улетал к далекому, молчаливому небу и звенел там в широком просторе. А вслед за дивными звуками и я уносился в мечтах туда, куда они звали, к тому, о чем они пели...»

Он вздохнул, вспомнив, что, волею судеб, ему пришлось все время прятаться от инспектора, который с непостижимым упрямством разыскивал его в зале Со-

брация, твердо вознамерившись, вероятно, накрыть его на месте преступления. Приходилось сначала улизнуть на хоры, но там увидел его надзиратель и сказал инспектору. Инспектор тоже забрался на хоры и своими близорукими глазами смешно присматривался к публике, пеловко обходя дам и наступая им на ноги. Кривцов был спасен группой реалистов, которые окружили его плотным кольцом, и он, присевши на корточки в их ногах, благополучно миновал ужасную Спиллу...

Задребезжал звонок. В классную внесли подносы, на которых стояли кружки с молоком и блюдо черного хлеба. Пансионеры шумно бросились с мест и окружили стол, толкаясь и напирая друг на друга. Малыши сновали под ногами взрослых, бросались хлебом и расплескивали свои кружки. Ной Николаевич сделал несколько удачных взмахов, но в такой кутерьме порядок установить было очень трудно.

Второй звонок продребезжал — на молитву, и бурливая, коношащаяся, шумная толпа стихла и заняла свои места. Один из старших пансионеров прочитал главу из Евангелия, и затем Благово дал тон:

— До-о-ля-фа...

Малыши — дисканты и альты — с напряженным и боязливым вниманием, полуобернувшись, глянули на руку Благово. Басы и тенора стояли серьезные и сосредоточенные в темном углу, у окна. Благово взмахнул рукой, и стройные звуки молитвенного пения, сначала тихие, робкие, несколько неуверенные, потом постепенно вырастающие, словно издали приближаясь, полились в душный, нагретый и испорченный воздух пансиона.

Шумливая, неугомонная, буйная, непокорная толпа теперь слилась воедино и стала неузнаваемо серьезна, сосредоточенно внимательна и торжественна, без всяких внешних побуждений, инстинктивно покоряясь привычному акту, который требовал стройности, порядка, дисциплины. И вместо диких, разбивающих голову и нервы звуков возни, скаканья, ссор — теперь колыхали воздух гармонические, торжественно-спокойные и светлые, ласкающие слух звуки...

Вертоградов, маленький, хорошенький, склонив голову набок, имел вид скорбного херувима; белокурый и конопатый Гадаев старательно звенел прекрасным альтом, весь уходя в поток звуков; отчаянный Гамов

иногда выделялся своим резким дискантом и тотчас же оглядывался с опасением в сторону Благово. Сдержанно и серьезно гудели басы, переплетаясь с яркими, нежно-грустными струйками теноров, то уходящими ввысь, то широко и красиво покрывающими весь хор.

Звуки наполняли всю эту большую комнату, бились, и звенели, и пели в ней, и, отраженные стенами, долго не умирали, проникая собой весь этот разгоряченный лампами, испорченный испарениями воздух. И казалось иногда, что они не двигались и застывали где-то в далекой высоте... Ною Николаевичу, когда он прислушивался к ним в полудреме усталости, представлялся знойный полдень с горячим сиянием солнца и с застывшим в воздухе звоном, жужжанием и пением невидимых певцов в высокой траве, в цветах, в зеленых ветвях.

Кончилась молитва. Мальпши гурьбой побежали в спальню, старшие опять сели за парты. В классной стало тише, но зато в спальне кипел шумный говор, смех, возня. Маленький Кащеев, переменяя белье, находит, что рубаха ему велика. Согнувши руки и выпустив напоказ длинные рукава, он кричит на дядьку:

— Петр! смотри...

— Эх, господин офицер! чем же я-то виноват? — говорит убедительным голосом юркий дядька.

— Чем! Я тебе покажу чем!..

— А вы станьте хорошенько да вберите ее в штаники, вот она и будет как раз... Рубашка дюже приличная... даже трухмальная!..

Петр потрогал рукава, ощупал спину и живот Кащеева. Новое полотно рубахи торжественно погромыхивало.

— У вас сроду такого свежего белья не было, — продолжал Петр, гипнотизируя Кащеева своим уверенным тоном, — ежели галстучек подвязать, то даже к приличным господам в гости можно в ней пойтить... Просто как менинник на менинах...

Кащеев постоял в раздумье на койке, поглядел на рукава, которые закрывали ему руки совсем с пальцами, вздохнул и лег.

— Петр! это что за носки?! — слышится новый голос. Протестует пригостишка Мореходов.

— Хорошие носки... Носки пре-отличные, просто как сейчас из магазина...

— Все рваные! — негодуяще говорит Мореходов.

— Ваше благородие! где же их крепкие-то взять? — с искренним недоумением разводит Петр руками:

— Я жаловаться буду инспектору!

— Слушаю-с. А я дилектору буду докладывать... Эх, господа, господа! Барчуки,— одно слово...

— Довольно с разговорами! — кричит Ной Николаевич в полутемное пространство спальни, где копошатся с птичьим гамом беспокойные детские фигурки в одном белье.

Он сам устал, и его тянет прилечь на койку. Но эту публику сразу не уложишь. Вон кто-то шлепнул подушкой соседа. Слышится негодующий голос:

— Ушаков! водовозка!..

Гамов изображает собой «человека без костей» и выкидывает на койке какие-то гимнастические фокусы, а койка под ним дребезжит и крихтит.

— Перестать! — грозно кричит Ной Николаевич.

— Водовозка! — опять слышится негодующий обиженный голос из-под подушки.

— А ты кто? купец, что ль? — возражает, по-видимому, «водовозка».

— А ты?.. крестьянин или мещанин?.. — раздается из дальнего угла новый голос.

— Купцом может быть всякий христианин, — докторальным тоном говорит кто-то в противоположном углу.

Маленький Мореходов, который уже стал было дремать, приподнял голову и громко заявил, обращаясь в пространство:

— Все люди могут быть купцами... всякий человек. У нас есть крестьянин — купец первой гильдии.

— Разговоры! — снова крикнул Ной Николаевич.

И его жирный, дребезжащий стариковский голосок сердито прокатился по спальне. Волны разговора понижаются почти до шепота.

— Ты у меня смотри! — слышится угрожающий громкий шепот.

— Смотри сам! — шипит кто-то в ответ вызывающим тоном, — гусь!..

— Сорока!..

— Купчишка...

— Ты у меня...

— Раз-гэ-вэ-ры... — кричит Ной Николаевич и через минуту ложится на койку с газетой в руках, придвинувши к изголовью свечку, поставленную на тумбочку.

Он полежал минут десять, держа перед собою газету. Потом она закрыла его лицо, и те, кто не спал, услышали характерное, скромное посвистывание воспитательского носа.

Из классной по временам доносились взрывы смеха, и затем, когда все затихло, слышался одинокий голос, что-то читавший. Несколько малышей потихоньку сползли с своих коек и пробрались туда, в классную, на звуки этого смеха и чтения.

Тесная группа, — все старшие пансионеры, оставшиеся в классной комнате, — окружала Благово плотным кольцом, а он, сидя высоко на парте, читал номер «Пансионских известий».

— «Раздумье». Стихотворение в прозе Одинокого, — возгласил Благово.

И среди водворившейся глубокой тишины театральный голос его зазвучал грустно, торжественно и красиво:

«Я долго шел дорогою тернистой... Куда? зачем? — не знал я сам... В лицо мне били снег и ветер, туман до сердца проникал... А я все шел, во тьму седую без дум, без целей, без желанья...

Тяжелый мрак окутывал меня; лишь ветра заунывный плач кругом был слышен, и в тон ему душа моя рыдала...

И вот теперь во мраке я наткнулся на стену...»

Малыши, сбившись в тесную кучку в некотором отдалении, с напряжением крайнего любопытства заглядывали в рот Благово и ловили быстро пробежавший свет в его очках. Для них все было непонятно и немножко таинственно, а потому чрезвычайно интересно. Им было холодно стоять босиком, в одном белье, на холодном полу, и они жались друг к другу, согнувшись и дрожа мелкой дрожью, и блестящими, трусливыми глазенками окидывали большую, теперь уже наполовину пустую классную комнату, которая казалась новой и незнакомой от того, что половина ламп была в ней погашена и туда уже прокрался молчаливый и таинственный сумрак.

— Пошли вон! — крикнул на малышей кто-то из старших, проходя из «курилки».

Но они глядели так кротко, трусливо и просительно, что ему стало жалко выгонять их. Он дал покровительственный шлепок Гамову и прошел к остальным.

Приободренные, они пробрались ближе и забрались на парты, чтобы лучше видеть читавшего Благово. Хотя они ничего почти не понимали, но когда поднимался смех среди старших, то они смеялись, звонко и заливисто, громче всех.

— Местная хроника, — торжественно возглашал Благово. — «Поистине чудные делишки совершаются у нас в пансионе: несмотря на частые посещения высшего начальства, молоко почти ежедневно подается кислое».

«С верхнего балкона постоянно свешиваются юбки и тому подобные прелести инспекторской квартиры, и часто случалось, что кому-нибудь на голову сыпались крошки и вообще всякая дрянь».

«Попечитель учебного округа намеревается посетить пансион и гимназию. В особенности он хочет проследить за одним очень умным администратором и полюбоваться на его рукоделие...»

Намек был на благодушного инспектора, который имел слабость хвастать своими техническими изобретениями. Дружный взрыв хохота прервал на минуту чтеца.

— Внешние известия, — снова торжественно провозгласил Благово. — «Ходят слухи, что у учителя французского языка вздувается новая шишка на лбу. Из достоверного источника, однако, нам известно, что, к сожалению, никакой шишки не видно...»

«Во вторник, 5-го ноября, состоится торжественное открытие портерной у г. Гамаюрова. Многие пансионеры получили почетные пригласительные билеты...»

Опять взрыв смеха. Портерная Гамаюрова пользуется большою популярностью среди пансионеров.

Благово выждал, пока смех унялся, и возгласил снова:

— Объявления. «У директора пропала его милая Пашка (корова). Кто приведет ее, — получит «спасибо» от его превосходительства».

«Шью хорошие сапоги за две с половиной бутылки водки. Надзиратель гимназии Птицын».

«Ученик пезуитской школы Симон Шато-де-Флер дает уроки издевательств».

Благово читал с большими паузами, давая возможность своей аудитории оценить меткость остроумия, направленного по адресу неприятелей, всем хорошо знакомых. Даже малыши увлеклись, слыша знакомые фамилии и прозвища, и по временам просто визжали от восторга.

— Ответы редакции, — провозгласил Благово. — «Новосиль. Баклуше-Бею. Советуем оставить вашу страсть к стихотворству, ибо ваши стихи очень похожи на воззвание одного портного к своей возлюбленной: «О ты, которая пришила заплату к сердцу моему...» и т. д.

Гамов фыркнул особенно громко. За ним рассыпался звонким горохом Гадаев и завизжал от восторга Вертоградов.

— Тише вы! дрянь!.. Пошли вон! — опять послышался чей-то строгий голос в сторону малышей, и они, как испуганная стая воробьев, вспорхнули и быстро исчезли в темной столовой.

Старинные пансионские часы пробили одиннадцать. Вошел Петр.

— Тушу, господа, — сказал он.

Группа не сразу стала расходиться. Петр погасил лампы, оставивши только одну маленькую у стены. Пансионеры поболтали еще минут пять, сходили покурить и пошли наверх, в спальни. Кривцов остался. Ему не хотелось идти наверх, слушать обычную болтовню, обмен остротами, иногда сальные рассказы, и он сидел, задумавшись, и смотрел в окно. Свет от лампы жидко падал на поознобленные и бессильно болтавшиеся листья тополей за окном, и они казались кремовыми. Иногда в темноте мелькал фонарик извозчика, с громом прокатывалась его пролетка, какие-то темные силуэты проплывали вместе с ней. Мысль бежала за ними. Кто эти люди? Счастливы ли они? свободны ли? чем озабочены? любят ли, наслаждаются ли? Грустят ли от того, что жизнь тесна? И что такое, вообще, жизнь, их жизнь, его, учителей и всех?..

Длинный, узкогрудый восьмиклассник Кудрин, с редкою, курчавою растительностью на бороде, подсел к лампе и погрузился в чтение книги «Прогресс и бед-

ность». Подошел и остановился поближе к скудному свету лучший математик гимназии — Пехотин. В руках у него было какое-то объемистое руководство по физике, не гимназическое.

Кривцову хотелось задать им беспокоившие его вопросы, но, взглянувши на их лица, сосредоточенно-серьезные, осмысленные, симпатичные, он не решился оторвать их от занятий. Он начал писать свою поэму «Сверхчеловек и люди». Она начиналась так:

«Раскинулось поле. И ветер шумел в нескошенной траве. Волновалась поспевшая рожь. И месяц плыл по небу, ясный, холодный, бесстрастный, и с трепетом билась былинка у пыльной дороги, и в далеком селе чуть мерцал огонек из окраинной хаты... Было тихо, темно и тепло; пахло вечером, свежестью ночи и речным тростником. Он шел... он все шел... Он не видел ни неба, ни тьмы, ни лучей, ни былинки, ни встречающих людей на повозке с снопами, и шел без оглядки в невидную даль, в широкую даль... Он шел от людей, от угла, от покоя... Ему было чуждо их мелкое горе, грошовые радости, совесть... их чуткая совесть и жалость к страдающим, слабым, и страх перед силой, пред смертью и горем... Не понятый ими, он сам их понять не хотел или не мог...»

Его волновала музыка слов, волновало желание выразить в этой музыке то неясное и беспокойное, что бродило в его душе и искало выхода, света, ясных, точных и красивых звуков. Но когда ему казалось, что он уловил уже нить этих смутных грез и темных вопросов, — красивые, гармонические слова как раз ускользали от него и на место их выступал простой и скучный язык знакомой невеселой жизни... И он падал духом, терялся в бесплодных и долгих мечтаниях.

— Ну, хорошо, — задумчиво и не обращаясь ни к кому, сказал он вслух, — жизнь... вот как она есть... что она такое? в чем ее гвоздь?.. И можно ли ее повернуть по-своему и... куда?..

То, что он задал эти вопросы, как бы продолжая начатый разговор или отвечая своим мыслям, не удивило его соседей и даже не сразу оторвало их от чтения.

— Когда наука откроет способ камни обращать в хлеб, жизнь можно будет повернуть в любую сторо-

ну, — сказал наконец Пехотин, не поднимая головы от книги.

Кудрин быстро закрыл свою книжку и, любя поспорить, сейчас же возразил, немного заикаясь:

— Хлеба тебе мало? На всех, брат, хватит!.. Но суть-то самая в том, что у одних переизбыток всех благ земных, а у других — избыток тяжелого труда и темноты... И действительно, иногда — ни крохи хлеба... Кажется, ясно, что не о науке надо мечтать с ее камнями-хлебами, а о другом...

— Разве только в этом вся суть жизни? — возразил Кривцов.

И между ними загорелся спор, не первый и не последний, никогда не приводивший их к согласным выводам, но все-таки занимавший их всех. Голоса их, хотя они говорили негромко, звучно раздавались в пустой классной комнате, звуки бились о стены, гулко звенели и перекликались в углах и забегали даже в нижнюю спальню, где Петр будил Ной Николаевича.

— Вашескобродье! а-а, вашескобродье! — говорил Петр, деликатно тормоша посвистывавшего носом Ной Николаевича; — пожалуйста раздеваться.

— Мм... ммм?..

— Раздеваться извольте. Камашики давайте почистить.

Ной Николаевич поднялся, сел на кровати и с удивлением оглянулся кругом.

— Двенадцатый час, вашескобродье! — почтительно доложил Петр.

— Потушил лампы?

— Так точно.

— Все в порядке?

— Точно так. Легли. Вот Гамов там только, в столовой... «Человека без костей» представляет. Расстелил одеяло на полу... Я их просил: «Ной Николаич», мол... не слушаются... Пожалуйста камашики. Брючки извольте снять.

Ной Николаевич покорно разоблачился, посидел с минуту на койке в раздумье и сказал:

— Дай-ка туфли.

Петр проворно нырнул под койку и извлек оттуда вязаные туфли. Ной Николаевич в одной рубашке, на цыпочках, направился к столовой и, поджавшись к

дверям ее, сделал стойку, как хороший охотничий пес. Из столовой доносился тихий говор детских голосов, осторожных, понижаемых иной раз почти до шепота...

— А то у нас в Трубчевске был цирк...— говорил кто-то, по-видимому, «человек без костей»,— так там один черепаху представлял... вот так...

— Эт-тэштэ тэ-кое?! — строгим, слегка придавленным голосом прикрикнул Ной Николаевич, делая шаг в столовую.

Испуганные фигурки в белых рубашках и подштаниках засеменили было в классную, но в дверях перенял их Петр, и они быстро, как мышенята, затюркали мимо Ноя Николаевича. Он взмахнул ладонью, и звонкие шлепки один за другим пронеслись по столовой. «Человек без костей» попробовал было присесть и увернуться. Ной Николаевич действительно промахнулся в первый раз, но успел сделать второй взмах, взял пониже, и «человеку без костей» за его коварство достался самый звонкий шлепок по мягким частям. Должно быть, было больно, потому что «человек без костей», закрывшись одеялом, чуть слышным, но все-таки протестующим голосом сказал:

— Вы не имеете права драться, Ной Николаевич...

— Бэл-ва-ны! — сказал в пространство Ной Николаевич, укладываясь с кряхтением на койке.

V

За длинным, массивным дубовым столом, покрытым красным сукном с золотой бахромой, заседал педагогический совет.

Участвовало около двадцати человек, но высокая актовая зала в два света казалась пустою, молчаливою и скучною. Народ в ней сидел тихий, усталый, разговаривавший вяло и неохотно. Было похоже, что каждый, точно против воли, вытягивал из себя слова, и почти все говорили нескладно, без всякого ораторского искусства, коротко и нерешительно.

Странное состояние полудремоты и усталого равнодушия было написано на всех лицах, когда классный наставник какого-нибудь класса читал обычный отчет о количестве учеников в начале и в конце четверти, о числе пропущенных уроков по уважительным причи-

нам и по причинам неуважительным, о средней успешности и об успешности по отдельным предметам, о количестве учеников в первом и во втором разряде, о количестве таковых вне разряда и т. п.

При обсуждении поведения класса рассматривались лишь случаи отдельных нарушений дисциплины. Этот вопрос иногда несколько оживлял заседавших людей в синих форменных сюртуках, — схватывались между собою два-три преподавателя или помощники классных наставников, — но и эти схватки были также вялы и неоживленны, если не носили личного характера. Остальные члены совета интересовались ими лишь постольку, поскольку они затягивали время и отдаляли конец заседания.

Эти люди, сидевшие теперь за красным сукном с золотой бахромой, пришли сегодня домой в четвертом часу, усталые, раздраженные и голодные. Пообедали кое-какою дрянью, приправленную размышлениями о дороговизне жизни, и в половине шестого отправились опять в гимназию — на совет, который никому из них не был интересен, ибо нельзя в течение целого ряда годов или десятков лет сохранить интерес к вопросам, которые обсуждать приходилось с оглядкой и с оговорками, соображаясь с обстоятельствами, применяясь к духу руководящих лиц, начальственных распоряжений и проч., и проч.

И вот они сидят здесь, равнодушно-покорные и погруженные в свои скучные мысли, усталые и тупо раздраженные. Все то, что они здесь видят, слышат, говорят, — старо, старо и до последней черточки известно, избито, обсуждено со всех сторон, — все повторяется аккуратно из года в год, даже эти — непонятные на первый взгляд для свежего человека — проступки и шалости учеников... А время уходит, унося с собой редкие и бледные цветы их молодости, и бросает их в сумерках разбитой, безрадостной, неинтересной жизни тупеть, боязливо сжиматься и безжалостно, один за другим, отсекая порывы сердца и запросы ума...

Гимназия была большая — свыше пятисот человек. И хотя директор не затягивал прений по вопросам о мелких поступках, но все-таки на эти вопросы ушло много времени и конец заседания казался далеким.

Около двадцати минут, например, было потеряно на обсуждение проступка первоклассника Игнатьева, который написал на доске «неприлично-похабные слова», как значилось в кондуитном журнале. Устным сообщением классного наставника было выяснено, что Игнатьев, имевший непреодолимую склонность к каллиграфии, написал на доске во время перемены, после урока естественной истории: «лист г...но-фиолетового цвета». Надпись эту усмотрел помощник классных наставников Благоглазов и притянул к ответу дежурного. Дежурный смалодушествовал и выдал Игнатьева. Классный наставник, Митрофоров, по этому вопросу держался того мнения, что Игнатьеву следует сбавить балл по поведению до трех, так как надпись свидетельствует уже о значительной испорченности мальчика. Некоторые преподаватели возражали, что достаточно с него и тех двух часов, которые «отсидел» за свою каллиграфию этот простоватый и добродушный малый. Они вяло пикировались некоторое время. Историк, всегда нервный и как бы обиженный чем-то, сказал с раздражением:

— И охота вам, господа, терять время... Двадцать человек нас, — почти все убежденные сединой, — проводим время... над чем же — над пустым проступком какого-то мальчишки!..

Черномор, сидевший рядом с ним в глубокой задумчивости, грустный и больной, приставил ладонь к уху и спросил потихоньку и робко:

— А о ком это речь-то?.. Извините, я не вслушался...

— Какой-то первоклассник...

— А-а... да, да... Так в чем же дело?

— Да вот... какой балл по поведению поставить: четверку, пятерку или тройку?..

— Так, так...

— А не все ли равно этому ценку, какой у него балл по поведению?

— Совершенно верно! совершенно верно! Нам это безразлично...

— Для него — плевать на это дело! — продолжал историк с раздражением. — А мы через него теряем время... Придешь домой во втором часу, ляжешь спать не в обычную пору... Часа два проворочаешься в постели, пока заснешь, потому что нервы уже ни к черту

не годны... А то иной раз и до утра не заснешь... Потом вставай в половине седьмого, с большой головой иди на пять — на шесть уроков. Кому это нужно, скажите, пожалуйста? кому и для чего?..

— Совершенно верно... совершенно верно... — грустно согласился Черномор, погруженный в свои собственные думы и плохо слышавший раздражительную, нервную, шипящую речь соседа.

И когда директор поставил вопрос об Игнатьеве на баллотировку (голосами), то Черномор уже забыл, о ком шла речь, и удивленно посмотрел на директора, услышавши его вопрос:

— Ваше мнение, Семен Егорыч?

— Э-э... ммм... я согласен с мнением классного паставника, — наудачу сказал он после значительной паузы.

— То есть тройку?

— Как-с?..

— Тройку в поведении Игнатьеву?

— Да, да... совершенно верно... Виноват! а какого класса?..

— Первого.

— Ну, тогда... пусть четверка... Виноват... да, да... совершенно верно: пусть четверка... Первого класса?.. да, конечно... Помню, в Иванове-Вознесенске был такой случай...

Он долго еще бормотал что-то, изредка наклоняясь к соседям то с правой, то с левой стороны, но, заметив, что его никто не слушает, вздохнул и опять грустно опустил глаза на свою роскошную черную бороду.

Затем возник продолжительный обмен мыслей между батюшкой и директором по поводу проступка второклассника Маслакова. Проступок заключался в том, что Маслаков показал «нос» при проезде архиерейской кареты мимо ворот гимназии. Опять-таки тот же всевидящий Благоглаголев усмотрел этот «нос» и притянул Маслакова к ответу. Маслаков уверял, что он сделал этот «нос» кучеру архиерея, которого хорошо знал, живя на архиерейском дворе. Товарищи Маслакова подтверждали на «следствии», что Маслаков раскланялся очень вежливо вместе с другими, когда карета архиерея поравнялась с воротами гимназии, а «нос» показывал, когда карета была еще далеко.

Но батюшка подвергал сомнению все эти дружные показания и настаивал на исключении Маслакова из гимназии, так как из него толку, вероятно, не будет, если уж с такой ранней поры отличается «разнузданностью мыслей и поступков».

Из учителей никто не решался возражать, — предмет был слишком деликатный. Один директор — и то в выражениях очень осторожных — говорил, что нет оснований для таких предположений, какие высказывал батюшка, и что показаниям товарищей Маслакова можно поверить.

— Кучеру... Он говорит: кучеру... — возражал о. протоиерей пронизательно и тонко, как прокурор, — а я достоверно знаю, что у владыки уже несколько кучеров за год переменялось...

— Что ж такое? Он со всеми может быть на короткой ноге, — отвечал директор, — ведь он живет где-то там... близко... Отец его — какой-то консисторский чиновник, кажется.

— Все может быть, — смиренно и покорно вздохнув, сказал батюшка. — Положим, что я — не прав, а Маслаков — чист и непорочен, яко агнец... Я же лгу на него, он же говорит лишь одну правду, — положим... Но как владыка взглянет на это дело?.. Вот, скажет, как религиозно-нравственное воспитание поставлено в классической гимназии...

— Владыка, вероятно, никак не взглянет, потому что «нос» этот был показан издали... Общие показания — и товарищей Маслакова, и помощника классных наставников — единогласно утверждают, что Маслаков показывал «нос», когда карета его преосвященства была еще около коммерческого банка... Расстояние почтенное... Рассмотреть «нос» в толпе мальчиков едва ли можно и на более близком расстоянии. А если его преосвященству угодно будет потребовать объяснений, мы покажем ему наш протокол...

— Итак, — директор обратился ко всем членам совета, — ставится на баллотировку вопрос: исключать ли Маслакова или ограничиться понижением отметки в поведении до «трех» и карцером на десять часов?

Подавляющее большинство голосов высказалось против исключения.

Было уже полчаса двенадцатого, когда дошли до шестого класса. Классный наставник монотонным и

безучастным голосом прочитал обычный отчет и затем сказал:

— Что касается выдающихся проступков в классе, то самый длинный мартиролог их за Кривцовым. За ним шесть записей в кондуите.

— Кривцов!.. да... ммм... высокоумный господин... Сверхчеловек...— сказал дипломатическим тоном батюшка.

— Пожалуйста,— произнес директор, обращаясь к классному наставнику с своей обычной официальной, суховатой манерой,— потрудитесь прочитать.

— Запись о. протоиерея от 23-го августа,— начал классный наставник с некоторой торжественностью.— «Кривцов, спрятавшись за доску, каркал вороной и кудахтал курицей...» Был арестован за это инспектором на три часа.

— Три часа,— смиренно-грустным тоном сказал батюшка, вздыхая,— что такое для Кривцова три часа!.. Эхх-ма-а...

— От 2-го сентября запись г. инспектора: «Кривцов без уважительной причины не явился на уроки. В тот же день отлучился самовольно из пансиона и замечен был катающимся на лодке».

— Нагуливал здоровья, значит,— с мрачной иронией заметил историк.

— Запись преподавателя французского языка от 15-го сентября,— продолжал между тем классный наставник.— «Кривцов принес в класс нюхательного табаку и роздал ученикам, отчего на уроке происходил шум и беспорядок. Во время урока Кривцов кряхтел, мычал и громко кашлял...»

На бесстрастных и усталых лицах некоторых учителей мелькнула было на один момент улыбка, но сразу потухла опять.

— От 16-го сентября запись инспектора: «Кривцов издевался над преподавателем французского языка».

— В чем же, собственно, дело? — спросил директор, обращаясь к преподавателю, молодому человеку с рябым лицом самого настоящего русака, очень обстоятельному и аккуратному.

Склонив голову набок и умеренно жестикулируя одними пальцами, преподаватель сказал:

— Собственно говоря... просто — мальчишество. Но в шестом классе оно имеет... пожалуй... уже злостную

окраску. Да. Я захожу в класс, а Кривцов — у кафедры. В тот момент, как я подошел к кафедре, он становится в театральную позу, руки вверх и деланным басом возглашает: «Помолимся здешним идолам...» Ну... затем кланяется мне в пояс... Класс, конечно, хохочет... Порядок водворить при таких условиях, судите сами, трудно...

— Возможно ли держать такого, Яков Романыч? — заговорил, глядя поверх темных очков, Митрофоров, — ведь он весь класс заражает. В интересах класса следовало бы исключить... Все равно ничего не делает...

— Виноват, я еще не кончил, — сказал классный наставник, — еще есть записи.

— Пожалуйста, — обратился в его сторону директор.

— От 2-го октября запись помощника классных наставников, Степана Иваныча Благоглаголева: «Кривцов с дикою кровожадностью бросался на скамью и кричал: немца не будет! заболел милостию Божией!»

Как ни были серьезно настроены члены совета, но засмеялись — главным образом над редакцией записи.

— С дикой кровожадностью? — переспросил директор, улыбаясь под своими густыми и длинными усами.

— Точно так, Яков Романыч, — сказал, почтительно поднимаясь с места, Благоглаголев, — просто изверски орал!.. До такой степени пронзительно... одним словом... как резаный баран!..

Это был юркий брюнет с проседью и с лысиной, тщательно закрытой уцелевшими волосами, с благообразным, елейным лицом, с черными, масляными, чрезвычайно юркими глазами, постоянно менявшими свое выражение — грозное по отношению к первоклассникам и пригоговишкам, пронзительное и выслеживающее по отношению к начальству. Когда он говорил, то помогал себе глазами, бровями, головой и руками. Очень любил выражения высокого стиля и злоупотреблял ими на потеху ученикам и отчасти даже учителям.

— Наконец, последняя запись от 16-го октября, — сказал классный наставник. — «Кривцов сидел под цартой во время общей молитвы...»

— От какого числа? — спросил директор.

— От 16-го октября.

— Это ко второй четверти относится.

Потом директор помолчал, покрутил свой длинные усы и обратился к Митрофорову:

— Так ваше мнение, Петр Петрович?..

— Я говорю, Яков Романыч, можно ли такого держать? — заговорил Митрофоров своим глухим басом, сильно смягченным при обращении к директору. — Ведь надо принять во внимание интересы не одного, а большинства... Интересы класса... А там есть слабохарактерные ученики, которые всегда потянутся за таким вожаком:

— Да, в интересах класса не мешало бы... — коротко присоединился батюшка.

Он говорил всегда мягким, маслянистым голосом и во взглядах был чрезвычайно дипломатичен, почти неуловим.

— Ведь способен, шельмец!.. Но...

Батюшка развел одними перстами и склонил голову к левому плечу, а взор пустил вправо.

— Эти разные казуистические вопросы его... Конечно, для потехи класса... Насчет Толстого, например. Да, как же!.. Большой почитатель великого таланта!..

— У меня однажды на уроке заявил: «Признавать собственность есть мешанство и пошлость», — мрачно сказал историк.

— А-а,— с изумлением и деланным ужасом прошепел шепотом батюшка, высоко подняв брови и вытягивая шею.

— За такие слова,— говорю ему,— тебе перо следует вставить!.. А он и ухом не повел.

— Да, замысловатый мальчик! — почтительно приподнявшись, опять заметил надзиратель Благоглаголев.

— Замысловатый? — переспросил директор с неопределенным выражением.

— С душком! С ба-а-льшим душком!..

Усы директора зашевелились от усилия сдержать улыбку.

— Не смею... — заговорил Благоглаголев, значительно шевеля бровями, — не смею навязывать своего, так сказать, внутреннего размышления, но... думаю, что он даже в Бога не верит.

Голос Благоглаголева стал при этом таинственным и понизился почти до шепота:

— В церкви, например, когда стоит, то нет того человека, чтобы он, так сказать...

Тут голос и глаза Степана Ивановича приняли вдруг зловеще-грозное выражение.

— ...Не пронзил бы взглядом!.. С насмешкой с такой... с презрением!.. Просто, как говорится, насквозь пронзит взглядом!.. Пропаганду порядочную может развести в гимназии. Под-зе-мельный человек!..

Благоглаголев тонко и хитро прищурил левый глаз и погрозил в пространство указательным перстом.

— А ведь способный юноша,— робко заявил Черномор,— обстоятельные сочинения подает... превосходный слог... ясно, сжато и картинно...

Но он не был поддержан никем.

— Все это так, господа,— сказал директор, помолчав.— Только к каким же мерам мы можем прибегнуть, по вашему мнению?

— Конечно, устранить надо из гимназии,— сказал мрачно Митрофоров.— Ведь это, так сказать, зараза... нельзя же...

— Исключить теперь нельзя,— сказал директор...

— Почему же?

— Да потому, что нет достаточных оснований. Проступки, правда, многочисленные, но вместе с тем — не такие, чтобы они влекли за собой исключение. Округ может сделать нам внушение... и порядочное!.. Как вы думаете?

— А сколько он у нас народу перепортит? Интересы других?..

— Ну... надо как-нибудь парализовать его влияние... Ведь нельзя сказать, чтобы он и злой был мальчик... И неглупый. Я говорил с ним несколько раз. И классный наставник тоже. Даже интересный малый, я вам скажу. Но декадент, по-видимому. «Я,— говорит,— к красоте стремлюсь». А под красотой он другое что-то понимает, чем все мы... понять, впрочем, мудро, что именно. Да. Все-таки потерпим. Учится он не вполне удовлетворительно и к концу учебного года, может быть, под 34-й параграф попадет... За неуспешность... Тогда уж и расстанемся с ним. А теперь... так я полагаю: в поведении ему «три» поставить, засадить на 24 часа в карцер и сделать выговор от имени педагогического совета — перед классом... Нет возражений, господа?

— И родителям предупреждение сделать... поставить ультиматум,— прибавил Митрофоров.

— Можно, пожалуй, и отца вызвать еще раз. Я уж вызывал его как-то...

Был уже второй час ночи, когда учителя расходились из гимназии. Тротуары были мокры и скользкие. Тускло горели редкие керосиновые фонари. Лунная ночь, закутанная тучами, глядела огорченной, больною старухой. В воздухе сырая мгла сеялась с неба, похожего на промасленную бумагу. Усталым, мрачным людям было далеко идти. Почти все жили в глухих, отдаленных улицах города: Мещанских, Пуховых, Пеньковых, Посадских и т. п., а гимназия находилась в центре города. Никто не взял извозчика — из экономии, и все шлепали тяжело и сердито по мокрым камням тротуаров и по лужам перекрестков.

— Да, вот вечный вопрос: отцы и дети,— говорил Черномор, с трудом поспевая в своих высоких калошах за старым математиком и батюшкой, которые не слушали его и вели свой разговор,— вот подите поймите их... Вечный протест — против кого же? Против тех, кто все им отдает, все... Против родителей, учителей, воспитателей, начальства... И ведь уж если бы на своих ногах стояли!.. А то на чужие средства еще живут... на средства тех же отцов... ничего своего еще нет, а какая гордость... какой протест...

— На обещаниях одних пока выезжают... Ну, что ж, смиренно удовольствуемся и этим... Хотя я, за болезнь попадши, завяз на сотню целковых в кассу и никак не могу разделаться... — долетели до Черномора слова батюшки, адресованные не к нему, но он, привыкший со всеми соглашаться, грустно согласился и здесь:

— Да... совершенно верно, со-вер-шенно верно...

И потом все время поддакивал математику, который, сердито отплевываясь и ругаясь, продолжал развивать свои мысли перед батюшкой, закутавшимся в высокий воротник своей ватной ряссы.

Математик умел ругаться крепко и со вкусом, как умел в веселые минуты превосходно рассказывать приятные анекдоты.

— И ведь что обидно? Все знают — эти предначертания там разные невыполнимы и не нужны... Однако когда нужно согнуть нашего брата в бараний рог, то

уж не беспокойтесь: и дисциплина слаба, и единиц много, и пренебрег мерами кротости, и в то же время был слишком снисходителен в требованиях... все, все можно найти, при добром желании...

— Меры кротости... да, это теперь модно... — вздохнул батюшка, — а в прежнее время пучок хорошей лозы... тоже неплохо выходило... Пожалуй, оно бы и теперь... того...

— Да, да... совершенно верно... — поддакнул кроткий Черномор.

— Посидели бы они в нашей шкуре! — продолжал яростно математик, — попробовали бы... Да!.. Возложили вот: «Сделай так, чтобы учащиеся видели, что пища, предлагаемая их уму в стенах заведения, питательнее той, которую они ищут у разных злонамеренных людей...» Ха-ха... Хорошо-с. Я — математик. Что я сделаю с таким, например, сукиным сыном, как Кривцов? Он гораздо развитее меня! Ему есть время и возможность и почитать, и поговорить... Он следит за литературой, за современностью... А я, при восьми душах детей... Ха-ха... Я пачну ему разводить политику... Неумело, грубо, белыми нитками пришью к какому-нибудь вопросику... И он сейчас же, с первого же шагу, уловит эту фальшь, собьет меня, на потеху своим товарищам, и просветит их куда лучше меня... Ибо я как загнанный заяц! Конечно... да... Только о куске и думаешь... Какая уж тут политика, — книжки не на что купить и прочитать ее некогда... Только о прибавке и толкуешь... А о ней лишь поговорили... Тьфу!..

Он крепко выругался, а Черномор, развеселившись и конфузливо хихикнув, сказал:

— Да, совершенно верно... совершенно верно... Ночи просиживали... Какие славные проекты составлялись... Помню, в Иванове-Вознесенске покойный директор... даже о квартирах для учителей была речь... все подробно... приличные оклады, пенсия... да... Однако до свидания, господа!

И он повернул налево, в грязный переулок, опасливо обходя большую лужу, смутно блестящую на перекрестке. В сыром, мглистом, угрюмом воздухе он еще несколько минут слышал, как ему казалось, сердитые звуки осипшего, простуженного голоса математика, перемежавшиеся со звучным шлепаньем тяжелых калош

батюшки. И несколько раз, останавливаясь среди безмолвного переулка, погруженного в крепкий сон, он говорил грустно и кротко:

— Да, да... совершенно верно... совершенно верно...

Встреча

Мы снова встретились.

Не так давно мы восседали с ним рядом на депутатских креслах. Это — в первый месяц существования нашего парламента, когда еще не было размещения по партиям, а была группировка областная. Сели тогда вместе и мы, восемь представителей донского казачества: священник, два учителя, юрист и четыре урядника. Он был в числе этих четырех урядников. Урядником предстал он передо мною и сейчас, по уже урядником, совмещавшим в себе, так сказать, два естества: чин (унтер-офицерский) и служебные полномочия (полицейского урядника). На нем красовался полицейский значок, а официально, в станице, числился он исправляющим должность помощника полицейского пристава. Все урядники Донской области не без зависти говорили о нем:

— Далеко шагнул!..

Встретились мы тепло и радушно, как старые товарищи: широко улыбались, приветливо кивали головами и долго молча жали друг другу руки. Не знаю, от полноты ли чувств мы молчали или оттого, что не о чем нам было говорить. Дороги наши разошлись еще там, в Думе. А теперь, в зале суда, мы фигурировали, можно сказать, на противоположных полюсах. Я, вместе с одним казачьим офицером, сидел на «скамье подсудимых». Он, мой недавний сотоварищ по Государственной думе, имел сесть направо, на скамью праведников, где с чувством собственного достоинства поместился его ближайший начальник, полицейский пристав. И должны они были свидетельствовать на нас и обвинять нас в устройстве митинга, в произнесении речей преступного содержания, в возбуждении умов и во всех смертных грехах.

Вероятно, поэтому рукопожатие наше хотя и было длительно, но совершалось в безмолвии. Я находил это вполне естественным. Но он, по-видимому, был другого мнения и намеревался что-то сказать. И все-таки па-

уза тянулась скандально долго. Многочисленная публика, явившаяся на первый в станице «политический» процесс и смотревшая на нас, как на недавних героев, начала уже хихикать. Мы это слышали и оба испытывали некоторую неловкость.

— Ну, как поживаете? — спросил он наконец.

— Как видите.

Я показал в сторону скамьи подсудимых. Он постарался сделать грустное лицо и выразил соболезнование:

— Да, нашему брату теперь не того...

— Ну, вашему-то брату еще ничего, а вот нашему действительно не того...

Он выпустил мою руку, но не отошел. С несколько комическим видом сокрушенного скорбью друга он упорно продолжал стоять передо мной. Сесть на скамью подсудимых, на которой я сидел, для него, очевидно, не совсем удобно, и он прислонился плечом к стене. Потом, слегка нагнувшись в мою сторону и принявши вид заговорщика, сообщил вполголоса:

— Но и мое дело — хуже требовать некуда... Эта Дума — будь она неладна! — она мне долго будет в памяти. До Думы я человеком был, а теперь стал так... кто его знает чем... пролетарием каким-то...

— Да что вы?! — искренно изумился я.

И с особенным любопытством и вниманием окинул я взором своего старого сотоварища, наивно предполагая обнаружить какие-либо внешние признаки принадлежности его к пролетариату.

— Ей-Богу, не брешу! — сказал он искреннейшим тоном и перекрестился в доказательство, — разорили кругом, дотла разорили... То есть окончательно, в раззор, как говорится... Двух лошадей увели, пару быков угнали, домашность всю растащили... Все, все до клочка растащили!

— Но кто же? Кто? — остановил я его торопливую речь вопросом.

— Любезные сограждане... станичники... Эти саемые — как их? — сознательные, как говорится...

— За что же?

— За Государственную думу.

— Не может быть?!

— Однова дыхнуть! — внушительно и с достоинством проговорил он.

— Не понимаю...

Он поглядел на меня долгим, затуманенным взором и качнул головой. Этот жест упрекал меня за мой скептицизм.

— Этого мало... Сколько несчастий за это время на мою голову свалилось: отец помер, мать заболела, четыре месяца пролежала, старший сын помер. Жене с остальными детьми пришлось уехать из станицы. Все бросила и уехала в Царицын.

— Почему же?

— Так же самое: грозили. Вся станица... да что станица! И другие станицы грозили... А чем она виновата, что муж в Думу попал?

— Вина небольшая.

— Да то-то...

Он пожал в недоумении плечами и, приложив руку к сердцу, продолжал еще более пониженным голосом:

— Чистосердечно вам скажу: я и сам ехать не хотел. Я являлся тогда к наказному атаману. «Ваше сиятельство! Я,— говорю,— не желаю... У меня пять человек детей, а там вон, говорят, взрыв готовят революционеры... По этому случаю я не могу в Думе соответствовать: дети сиротами останутся, невинные души...» Так нет! Уговорил. «Нам,— говорит,— такие-то представители и дороги. Как можно! Вы — истинный сын тихого Дона. На вас мы вполне полагаемся, и надеюсь, вы оправдаете наши ожидания». — «Постараюсь,— говорю,— ваше сиятельство». — «А вот,— говорит,— насчет ваших сомнений, то даю вам отпуск на три месяца. Там посмотрите: не понравится — назад приедете». Я и поверил. А опосля слышу, зык идет: Думу разгонять... Пишу сейчас же прошение к окружному: восстановить меня в должности станичного атамана. И — ни одной строчки в ответ!..

— Не восстановили?

— Нет.

— А как же Васильев?

— Васильев... для него особый закон: он и революционерам в Думе погрозил, и хорунжий получил, и атаманское жалованье огребает. Он и во время Думы двойное жалованье загребал: за Думу и атаманское. Ему от начальства особое уважение...

— Заслужил, вероятно?

— Заслуги-то у нас равные, как вы сами знаете.

Я не мог не согласиться с этим утверждением. Собеседник мой был совершенно прав. Тем менее понятно было для меня неодинаковое отношение начальства к торжественным заслугам подчиненных, не обманувших надежд, на них возлагаемых.

— Но почему же вас в хорунжий не произвели?

Он развел в недоумении руками.

— Вот подите же. Взгляд начальства такой...

Мы помолчали. Осуждать начальство вслух как-то неудобно, и мы наказали его демонстративным молчанием.

— Обижен я, Федор Дмитриевич, до конца обижен,— скорбно сморщившись и еще ниже наклонясь ко мне, почти шепотом заговорил он снова.

Букет казенной винной лавки, которым он обдал меня при этом, давал основание предполагать, что горькая обида уже врачуеться известным русским средством.

— Вижу я, нет правды и в начальстве. Я думал, революционеры для своей выгоды ругают начальство, а вот сам вижу: нет правды! Куркин, например, в хорунжий произведен, а за что? Чем он против меня достойнее?

— Затруднительно сказать.

— Ну, этого, по крайней мере, два раза уже били,— громко, радостным тоном прибавил он.

— Кто?

— Все те же любезные станичники.

Мой собеседник неожиданно повеселел.

— Неужели даже били? За что же? — спросил я с нескрываемым изумлением.

— Темень! Гармилы, сукны сыны!.. За то же, за что и меня обвиняют. Ведь что выдумали? Будто я билет свой продавал! И будто мундир свой давал надевать за деньги жиду. И жид, дескать, в моем мундире выходил говорить...

— Откуда они это взяли?

— А черт их знает! Из прокламаций, я думаю. Прокламации теперь рассылают станичным правлениям и попам. Дескать, Дума жидовская была, жида кажнему члену по пятьдесят тысяч дали, чтобы говорили в их пользу.

— Но прокламации этого сорта едва ли вас имели в виду...

— Да разве наша пихра поймет? Начальство, конечно, в этом случае понимает правильно. И в приговорах, например, оно нас одобряет... А вот они их же выборные приговоры подписывают, они же нам и грозят... Наш генерал и разъяснял, и настаивал — ничего не действует! Тупо. Пока всего две станицы написал. Из восемнадцати — две... страм сказать! В прочих округах дружной. Даже государь император положил: «Весьма похвально...»

Он отвернул полу чекменя и из кармана шаровар с лампасами, в которых казачьи урядники так похожи на генералов, достал небольшую кипу бумажек. Порывшись в них, он вынул литографированный листок и подал мне.

— В этом вас не поименовывают, — сказал он, — а в других прочих не того... не хвалят... Что же делать? Промашку вы дали. Не следовало тогда трогать этот казачий вопрос. Все равно ничего доброго не вышло. Мы сказали: «Пушай будет, как есть. На то есть воля начальства. Какие же мы граждане, если начальству подчиняться не будем?» Вот нас за это и одобряют все господа...

Я просмотрел поданный мне моим собеседником листок. Это была копия одного из тех приговоров, которые всякими способами добывались у станиц окружным начальством, с целью ввести в заблуждение другое, более важное начальство, обеспокоенное брожением среди казачьего населения. Целый ряд подобных приговоров изрекал нам анафему — мне и трем моим товарищам — за то, что мы внесли в Государственную думу запрос о законности нынешней доблестной службы казаков внутри империи. И несмотря на эту анафему, нас, крамольников, ждали всюду по станицам, нас окружали тысячи простых людей, просили говорить о Думе, слушали с трепетно-жадным вниманием каждое наше слово и, в конце концов, предлагали защиту на случай ареста, предлагали сами, по собственной инициативе.

В тех же приговорах велеречиво, былинным слогом, восхвалялись доблести моего собеседника и его трех товарищей за их «истинно казачий» дух и верно преданные начальству заявления в Думе. И вот, не без удивления, узнаю теперь: казачий дух, торжественное выражение официальной признательности и... «уже

два раза били»... Я, конечно, знал, и не только я — все знали, что никто из тех лиц, кто заставлял писать подобные приговоры, кто любезно предлагал готовые черновики, кто подписывал их, — никто из них ни в грош не ставил подлинное их содержание. Но кому-то они нужны были. Кто-то основывал на них свои виды и соображения, конечным завершением которых, вероятно, была отметка «весьма похвально» и соединенные с нею реальные выгоды. И потому сообразительные генералы — из тех, которые, подобно щедринскому майору Прыщу, «в сражениях не бывали, но в парадах закалены даже сверх пропорции», — из кожи лезли, стараясь об умножении подобных приговоров. В том листке, который я держал в руках, значилось буквально следующее:

«Окружной Атаман Усть-Медведицкого округа станичным атаманам Усть-Медведицкого округа.

Перекопской станичный Атаман от 6-го сего Сентября за № 2072 представил приговор станичного сбора от 27 Августа сего года за № 177 с выражением верно-подданных чувств Его Императорскому Величеству по случаю роспуска Государственной Думы следующего содержания: 1906 года Августа 27 дня. Области войска Донского станичный сбор Перекопской станицы Усть-Медведицкого округа в составе председателя сбора Станичного Атамана урядника Смерткина и явившихся на этот сбор, из общего числа 120 должностных лиц станичного и хуторского управлений и выборных общественных представителей, имеющих право участвовать на станичном сборе наличные 82 члена выслушав сего числа Высочайший манифест от 9 Июля с. г., о роспуске членов Государственной Думы, вследствие уклонения их от путей, предначертанных Его Величеством, для обновления народной жизни и став на путь неправильный, возбуждавший народные страсти, от чего пошли еще большие неурядицы, разбои, грабежи, убийства и всякого рода насилия, подвергнувшие наше отечество разорению и гибели. Такой ненормальный поступок народных представителей удивил всех истинных сынов России глубокой скорбью, поразил сердце возлюбленного Монарха, попрали все намеченные им великие преобразования в дорогом отечестве. Многие, позабыв Божеские и человеческие законы, дали полный простор своей дикой воле, стремятся все истори-

чески веками сложившееся разрушить и истребить: смотря на таковой поступок отщепенцев земли Русской, душа содрогается и сердце обливается кровью. Великий Государь, твое сердце глубоко поражено необузданной дикой волей тех отщепенцев земли Русской. Верь, Государь, что скорбью твоей скорбят все истинные сыны отечества. Мы, сыны тихого Дона, верные слуги тебе, престолу и отечеству, также до глубины души возмущены их поступком; нас называют: крамольниками, опричниками, черносотенцами, погромщиками и т. п., но нас, верных твоих слуг, не смущает изрыгаемая на нас клевета, а более укрепляет в нас любовь и верность. Тебе, твоему престолу и родине. Мы, слабые телом, но мощные духом, говорим тебе, Государь, устами исторических спасателей земли Русской. Великий Государь, отец многомиллионного народа: верь, что на Святой Руси много есть еще верных сынов твоих, которые, сплотившись, сумеют подавить крамолу, водворить мир и спокойствие в родном отечестве. Крамольники и отщепенцы земли Русской! да будет вам введома, что вашей адской затеи скоро пастанет конец и воли должное возмездие, на Святой Руси есть еще Илья Муромец и другие богатыри; они сумеют разрушить ваш адский план, водворить мир и спокойствие. Настоящий приговор наш поручаем станичному правлению представить Окружному Атаману и просить повергнуть к священным стопам Его Императорского Величества наши верноподданические чувства, беспредельную любовь и преданность Его Императорскому Величеству, престолу и дорогой России.

Находя сочувствие станичного сбора, выраженное в приговоре за № 177, достойным внимания, предлагаю приговор этот почитать на полных станичных и хуторских сборах. От души благодарю Перекопскую станицу за казачий дух и твердую преданность нашу обожаемому Царю-батюшке. Подписали: генерал-майор Широков, секретарь Сухов».

— Что же, неплохо, — сказал я, отдавая листок назад своему собеседнику.

Он вздохнул. Не согласиться со мной в этом пункте было неудобно, но и подтверждать высокие качества этого документа, в бесполезности которого он — так же, как и я — не сомневался, представлялось ему излишним.

— Есть и лучше, — уныло проговорил он и опять вздохнул.

— Остается благодарить начальство, а вы осуждали...

— Да! благодарить! — с горькой иронией повторил он, — будь я теперь, например, станичным атаманом — так ведь это что же такое? Главнокомандующий — и только! Жалованья одного — девятьсот. А там того-сего... вы, конечно, знаете наш быт. Опять — в своем доме живу, за квартиру не платить, за дрова — тоже. Воды в Дону сколько угодно... А тут вот и за воду плачу...

— Но я читал в местных газетах, что войсковой атаман принял в вас особое участие.

— Что войсковой атаман! Итить надо к атаманьше, а не к атаману... Войсковой атаман лишь в убытки ввел.

— Но писали, что вам было предоставлено какое-то важное место, не помню... Еще прибавляли, что вы, как нижний чин, не имели прав государственной службы, но во внимание к особым заслугам и прочее...

Он махнул рукой и криво усмехнулся.

— Да, действительно, был такой факт, брехать не стану...

Оглянувшись с некоторым опасением в сторону своего начальника, он осторожно присел рядом со мной, на скамью подсудимых, очень близко, так что я уже все время чувствовал букет казенной винной лавки. Говорил он теперь совсем секретно, шепотом, но по временам некоторые фразы или отдельные слова произносил неожиданно вслух и очень громко.

— Потому что я явился к наказному атаману и говорю: ваше сиятельство! послали вы меня в Думу и сделали из хозяина пролетарием... хуже бы, да куда!.. Рассказываю подробно, как увели у меня двух лошадей, пару быков, все имущество растащили. «Ну, хорошо, — говорит, — я об вас позабочусь». Послал за правителем канцелярии. «Нет ли у вас вакансии?» — «Найти можно, — говорит, — помощника делопроизводителя, например». — «Вот надо бывшего нашего представителя устроить». — «Хорошо. А как насчет прав?» — «Это ничего, — наказный говорит, — он поддержит экзамент. Можете экзамент поддержать?» — «Не могу знать, — говорю, — ваше сиятельство. Я кончил курс в

приходском с похвальным листом». — «И отлично. А я попрошу, — говорит, — в юнкарском поекзаментовать вас. Там народ свой. Останьтесь на недельку, подготовьтесь и тогда...» Остался я на неделю, нанял репетитора. Сладились за две красных, ежели выдержу; двенадцать целковых, ежели не выдержу. Сидел он со мной часов по пяти в день, твердил мне и геометрию, и географию... Всю голову мне разломило! Никогда такой муки не видал, ей-Богу!..

Он громко произнес последние слова и протяжно вздохнул. Заметно было, что воспоминания его еще слишком свежи и недостаточно объективированы.

— Прихожу я на экзамент. Начальник училища сидит, учителя. «Не робейте, — говорит, — урядник. Вы — сын тихого Дона». — «Так точно, — говорю, — ваше высокоблагородие. Постараюсь...» Стали спрашивать. «Ну скажите, как называется эта линия, которая...» — как бишь он ее? вот забыл!.. — «по какой центра бьет на окружность...» кажется, да... Подумал-подумал я: дай Бог памяти! Напомнил: «Катет, ваше высокоблагородие!» — «Нет». «Ежели не катет, то епотенуза», — думаю. «Епотенуза, ваше высокоблагородие!» — «Ну, что вы!» — «Виноват, — говорю, — запамятовал сейчас...» — «Ну, это ладно. По арифметике, что ль, спросите его, Иван Игнатьич. Афиметику хорошо знаете?» — «Все четыре действия учил», — говорю. «Отлично. Так по всем четырем его...» А учитель говорит: «На дроби разве? Для будущего производителя это нелишнее». — «Что же, пожалуй. Как вы насчет дробей? Вы — человек военный, а дробь — это хотя и не вполне военная вещь, но касательство имеет к оружию». — «Так точно», — говорю, а сам себе думаю: пропал! ни в дробях, ни в картечи, как говорится, ни в зуб... Репетитор бился-бился со мной два дня, так и бросил, время было коротко, больше на геометрию заседали. Учитель задает: «Приведение дробей к одному знаменателю». Набрался я смелости и трахнул: «Это, ваше высокоблагородие, по программе не полагается!» — «Как не полагается?» — «Так точно. Я по программе даже не видал». — «Вы не дочитали программы. Ну, да ладно. По географии его... что-нибудь полегче». А учитель смеется и говорит: «Зачем полегче! Я ему самый трудный вопрос: какими горами Европа отделяется от Азии?» — «Алтайскими, ваше высо-

коблагородие!» — «Что вы!» — «У меня в книжке так, ваше высокоблагородие». — «Не может быть. По какой книжке вы готовились?» — «По географии». — «Да... но чья она?» — «Моя собственная». — «Нет, автор кто? Составитель, значит?» — «Элементарный курс, — говорю, — так... зелененькая крышка».

Рассказчик мой остановился и, нагнувшись к колену, быстро высморкался при помощи двух пальцев. Потом достал платок, утерся и слегка задумался. Вспомнив что-то веселое, может быть свои неудачи, он замотал головой и рассмеялся.

— Поговорили они между собой, посмеялись. Начальник спрашивает: «А как у него русское сочинение?» Учитель подает. Посмотрели, опять смеются. «Что же вы, — говорит, — скуповато описание сделали?» Вижу я: веселые они все, не сердчат, не обругивают, абы как... Ну, думаю, дело в шляпе. Пропустят, ежели буду гнуть чего-нибудь, притворюсь дураком. Это, бывало, в полку господ офицеры уважают... «Я, — говорю, — не сочинитель, ваше высокоблагородие». — «А кто же вы?» — «Был, — говорю, — станичным атаманом, а теперь, благодаря Думе, пролетарий. Четверо детей, мать-старуха, жена...»

— Виноват, — полюбопытствовал я, — а какая тема была дана?

— Как-с?

— Какое сочинение-то требовалось?

— Описать Черкасск. Я и написал себе немного. Черкасск, мол, город большой, здания отличаются приличной архитектурой, как, например, памятник Ермаку и атаману Платову. «Что же это за описание?» — учитель говорит (такой востренький из себя). «Помилуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие! Ведь я неделю назад приехал и город осмотреть даже не успел: все уроки твердил». — «Ну, — говорит, — посмотрите его недельки три-четыре, тогда приходите опять. А сейчас слабовато...»

— Не пропустили? — спросил я, когда рассказчик снова сделал паузу.

— Нет... — уныло проговорил он, — а что им стоило? И на что мне эти центры и эпотенузы?..

— Разумеется.

Он помолчал с минуту, погрузившись в грустное раздумье, потом продолжал:

— Опять пошел к наказному. «Ваше сиятельство! У меня жена и дети. Я не хотел в Думу, вы послали». — «Ну, хорошо, — говорит, — я вас зачислю пока. А потом вы все-таки подготовьтесь и выдержите экзамент». Обрадовался я. 87 рублей жалованья... город... детей учить можно... Поехал домой. Спешу, все продаю; какая вещь стоила 50 рублей, продаю за 25. Одним словом, все распродал. Однако сам продаю, а у самого сердце что-то болит. Думаю: подведут они меня. Жена говорит: «Дай для верности телеграмму». Даю телеграмму: «За мной ли место?» Отвечают: «За вами». Распродал я все, приезжаю с семьей в Черкасск, являюсь в канцелярию. Мне говорят: «У нас и вакансии такой нет, на какую вы приехали». — «Как нет? Мне его сиятельство...» — «Не знаем. Сходите к его сиятельству». Пошел к наказному. Докладываю: «Ваше сиятельство! вы меня окончательно разорили! Был я человек, а теперь стал пролетарий, и больше ничего. Что мне остается делать? У меня четверо детей, мать-старушка, жена...» — «Как же это так вышло? Гм... жаль, жаль... Ну погодите: может быть, найдем что-нибудь подходящее». Послал за полицмейстером, нет ли у него вакансии. «Есть, — говорит, — вакансия старшего городского в третьей части. Жалованье 25 рублей». — «Не желаете ли?» — наказной мне говорит. Я докладываю: «Ваше сиятельство! Где же мне в городе с семьей прожить на 25 рублей?» — «Я вам своих 25 буду приплачивать». — «Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!» Куда же денешься? Стал старшим городовым. Но тут вскоре, дней через пяток, сюда назначили. Здешнего помощника уволили, якобы по болезни, а он и не думал болеть. За недостаточное усердие при усмирении бунтов в Михайловке... А меня вот прислали.

— Что же, довольны? — спросил я.

— Да кормлюсь с семьей. Пятьдесят целковых в месяц.

— А население здесь как к вам относится?

— Ничего. Пока не обижают. Получил вот штуку одну... портретик...

Он опять запустил руку в карман и извлек прежнюю кипу бумажек. В ней он быстро разыскал серый разорванный конверт. В конверте был вложен листок с карикатурой, изображавшей моего собеседника в по-

лицейской форме. Карикатура была, правду сказать, довольно удачная. Он делал стойку перед начальством, — одна рука по швам, другая с фуражкой на молитву. На груди — полицейская медаль. На оборотной стороне написано было: «Дураков малюют, подлецов бьют! помни Государственную думу! ходи да оглядывайся!»

Я сочувственно вздохнул, рассматривая карикатуру, и покачал головой в знак неодобрения действиям, явно клонящимся к тому, чтобы уронить авторитет свыше поставленной власти.

— И еще подписано: «Отдай». Хочет показать, что я взятки, что ль, беру? — тыкая пальцем в то место, где стояла размашистая подпись художника, сказал укоризненным и обиженным тоном мой старый товарищ.

Я всмотрелся в подпись. Значилось: *Quidam*. Но для человека, незнакомого с латинской абecedей, могло показаться и «Отдай»...

— Нет, это не «отдай», это — *quidam*, — успокоил я моего собеседника, — латинское слово. Значит: некто. Художник, изображавший эту карикатуру, так подписался.

— Чего же я у него взял?

— Он ничего и не требует. *Quidam* — некто. Псевдоним художника.

— Как вы сказали?

— Псевдоним. Вымышленная фамилия.

— Вымышленная? Гмм... жаль! А за такие дела, да если бы под своей фамилией, я бы ему ребра посчитал!..

Тут беседа наша оборвалась: было открыто заседание суда. Мой собеседник торопливо, на цыпочках, перебежал на другую сторону и сел рядом со своим начальником. Я остался на скамье подсудимых.

ИЗ КНИГИ „РАССКАЗЫ. ТОМ I“

Сеть мирская

I

О. Порфирий спустился по узкой, крутой дорожке к воротам монастыря и на последней ступеньке оглянулся. Сгорбленная старушка все еще стояла на том месте, где он ее оставил, — у двери кладбищенской церковки, на площадке, возле черномраморного мавзолея купеческой четы Некрасовых. Стояла неподвижно, словно аллегорическое изображение горькой осиротелости, и тоскующим взглядом глядела в его сторону.

Он еще раз перекрестил ее издали и поклонился. Сквозь слезы, затуманившие его глаза, увидел, как голова ее в сером платочке заколыхалась, задрожала... Махнул рукой и вышел за ворота направо, в узкий, вонючий переулочек. В последний раз в жизни, может быть, видел он эту сухонькую, согнутую старушку: мать его она. В последний раз... Ей уже семьдесят шестой год, недолгого пути остался. А его положение — подчиненное, отпуском располагает редко. Да и далеко, — целой тысячью верст разделены они, и нелегко оплатить такую дорогу. За тридцать лет, как она поселилась в монастыре, он виделся с ней всего четыре раза, — и то лишь в последние десять лет, как стал монахом. А когда крестьянствовал с братом и после, как был послушником, не на что было разъезжать. Даже к брату, в Корчевской уезд — рукой подать, — не каждый год навещался. Приезжал на Пасху денька на два и скорей назад, в обитель, к Сергию-Троице. Не очень нравилось ему у брата: темно, неопрятно, шумно...

А он уже отвык от шума и грязи.

Но тут, у матери, в тесной, низенькой келейке с окошками над самой землей, с голубой лампадкой у икон, с картинкой «Святая гора Афон» и лежанкой, было так чисто, ласково, тихо и уютно.

За четыре дня, что прожил он в Киеве, он много раз спускался по трем ступенькам в эту келью. Нагнувшись, входил он в низенькую дверь и улыбался уже от одного запаха «рогалька», такого крепкого и благолепного. Старушка так суетилась каждый раз, так хлопотала и бегала... Смешно было смотреть, как она тащила на стол все, что было у ней самого вкусного, самого дорогого и, может быть, заветного: яички, сливочное маслице на чайном блюде, сдобные булочки и даже коробку «настоящих, кондитерских» конфет.

— Мамаша, не забудьте, что монаху надлежит малоядение, — говорил он ей, улыбаясь покорной и тихой улыбкой...

Но чтобы не огорчать ее, вкушал все предлагаемое, а она стояла у стола, подперши щеку костлявой рукой, и не сводила умиленных глаз с него или озабоченно выбегала в крошечные сени, где отчаянно дымил самовар. Сухонькая, неугомонно-говорливая, смешная старушка. Смешная и милая суетой своей и хохлацким говором своим, — о. Порфирий постоянно ловил ухом в ее неугомонной речи странное для него произношение.

— Пиду... пожалуйте... *у висшей* степени...

— Сладкое брашно, мамаша, — в Писании говорится, — только гортань веселит, кормит же червя неусыпающего... хе-хе... А вы мне вот внакладочку... чайку-то...

— И-и... Игнатик!.. сыночек мой... сердечное чадушко!.. — она все еще прежним, мирским именем звала его, — авось Господь не поставит в грех... Много ли тут?..

— Да не мало, мамаша...

— Да уж, може, и остатний раз... И не придется больше очами тебя обызрить...

Прощались в келье. И когда она старенькими руками, морщинистыми, с синими жилками, взяла и прижала к себе его голову, он мимолетно пережил то самое ощущение легкой неловкости и радостной стесненности, которое бывало в детстве, когда мать, прижав одной рукой его голову к своему животу, деревян-

ной гребенкой с редкими зубьями начинала причесывать ему спутанные волосы.

Плакала старушка. Заплакал бы и он — громко, по-детски. Умылся бы слезами... Но плакать не подобало монаху по привязанностям плотским, — «яко же оставили родители своя по плоти, други же и имения»... Встали в памяти слова поучений из Лимониса...

Проводила до самого спуска с горы. Хотела дальше, — он воспротивился. Постояли они молча на высокой площадке у кладбищенской церкви, откуда открывался вид на Подол и заднепровскую сторону. Сзади и внизу шумел город. Зыбь дрожала на Днепре. Курились золотые пески на горизонте, и в сизой дымке лежали дали с синими лесами, далекие, незнакомые, всегда грустно-туманные. А ближе белыми, приветливыми точками рассыпались церковки в селах и посадах с красными домиками, рощи верб, похожих на зеленые кошны, лиловые рукава рек в изумрудной оправе, зеленые островки, серебристые косы. Все такое светлое, нарядное в блеске солнца, юное и ликующее.

Постояли, посмотрели, молча, задумчиво, прислушиваясь к печали своей... Дивен и красен мир Господень, но порою тоскует в нем сердце, как в мертвой пустыне... Опять попрощались. Поклонился еще раз земным поклоном матери о. Порфирий. Заплакала она беззвучными слезами, сжалась, согнулась еще больше, старенькая-старенькая...

— Ну, сыночек... чадушка моя... помру, — молись за упокой души моей...

Он сказал дрогнувшим голосом:

— Мамаша, все в воле Господней... Не теряю надежды: Господь даст, повидимся еще...

— Ну, где уж! Не дождусь: время... Истекает срок... пора...

Сжалось сердце у него от этих слов, и он заботливо стал поправлять очки, чтобы скрыть слезы. Кое-как удержался на глазах у матери, — переборол слабость. А вот тут, внизу, взглянув в последний раз на эту высохшую, согнувшуюся, невыразимо ему дорогую черницу убогую, — уже не выдержал. Побежали непослушные слезы, как ни убеждал он себя, что не подобает монаху сия слабость...

— «Научи мысль твою отнюдь ничего не любить, кроме Христа...»

Это Патерик так наставляет. Ничего не любить... Легко сказать! Можно не любить мир с его шумом, бранью, враждой и злобой,— иноческое житие с тихою молитвой и благочестивыми размышлениями, конечно, ближе к сердцу. Но как истребить земные привязанности, отсечь память об узловатых, стареньких руках с синими жилками, ласкавших в дни его детства и столь же дорогих ему и теперь, на сорок девятом году его жизни? Единственную память, от которой и ныне расцветает сердце, дрожит радостно и плачет тихими слезами умиления...

«Яко же оставили родители своя по плоти, други же и имения...» Сурово, холодно... «Печалей житейских отбегай, житейской скорбью не оплетай себя...» Да, да... Так надо, немощен дух, слабо сердце...

Сердце сжато тоской, сознанием одиночества и осиротелости. И все стоит в глазах согнутая, худенькая, темная фигурка матери, и чудится еще прикосновение ее костлявых, милых рук...

О. Порфирий сел в вагон трамвая, который вывез его на гору, перешел, по указанию кондуктора, в другой, где получил замечание от толстой барыни, потому что зацепил ногой за ее зеленый шелковый зонтик; он к этому отнесся как-то деревянно,— точно туманом задернуто было для него все, вне печали его живущее; люди, дома, сады, движение и звуки — все стало чуждым и посторонним его вниманию. Мысль о матери слилась незаметно с воспоминаниями о детстве и первой юности. Одетые светлой грустью прожитого и невозвратного, касались они сердца, как звуки далекой песни: знаком мотив печальный, но слова забыты и с ними ушло что-то ясное, дорогое, умиленное...

— Станция «Вылезай-ка», отец! Вагон дальше нейдет...

Слова кондуктора вернули о. Порфирия к действительности. Пустой вагон стоял на конечном пункте, надо было выходить.

Поезд, на который был взят билет у о. Порфирия, отходил в одиннадцать с минутами. Сейчас не было еще пяти. Можно было отслушать часть всенощной в Лавре и поспеть на вокзал. Срок отпуска у о. Порфирия уже истекал, и праздник — завтра Троица — предстояло провести в дороге.

Он зашел в свой номерок, — в подворье монасты-

ря, — собрать пожитки и покупки, все эти мелкие, дешёвенькие подарки для своей братии в Вифании: с пустыми руками приехать неловко, какую-нибудь память о святом месте привезти надо. Привел все в порядок, уложил в поместительный, немножко облупившийся саквояж, помолился — хоть сейчас в путь... До всенощной оставалось еще не менее часу. Саквояж, лежавший на койке, придавал крошечной комнатке бивачный, неудобный вид. Захотелось на воздух. Побродить по монастырю, в последний раз взглянуть на святыни печерские, на храмы и сады, на толпы богомольцев.

Вышел. Пестрый поток людской, шелестя и обрываясь, вливался в Лавру и растекался по ее улочкам, дворам, церквам, галереям и лавкам. О. Порфирий любил вслушиваться в мягкий хохлацкий говор, вздохи, наивные молитвы вслух, шуршанье шагов. Любил затеряться в живом море сермяг, картузов, овчинных шапок, тяжелых пестрых, темных и ярких платков, слиться с его зыбким, бесцельным, движением, колыхаться вместе с ним, искать и ждать чего-то необычайного, изумительного... Было в этом шатании славное такое, утешающее ощущение близости и молчаливого общения с людьми, прикосновение к жизни мирской, суетной и шумной, но всегда обаятельной нехитрыми чарами своими...

Богомольческая волна подхватила его, понесла с странноприимного двора в Лавру, потом вынесла за ворота на откос. Он обрадовался: отсюда еще раз можно взглянуть в ту сторону, где он оставил свою старушку, — на Подол, на Фроловский монастырь.

Солнце висло над самой кручей гор днепровских низко. Теплые лучи ткали ласковый узор по зелени обрывов. Внизу пыхтел пароход, разгоняя крупную зыбь на лиловой глади реки. И в тонкой кисее тумана голубели степные дали, куда задумчиво глядели рассыпавшиеся над кручей толпы. О. Порфирий посмотрел влево, вверх по Днепру. Ни Подола, ни кладбищенской церковки монастырской не было видно за выступом. Знать, и впрямь навсегда распрощался с милыми теми местами...

Певуче-протяжные звуки какого-то инструмента, печальные и торжественные, коснулись его слуха. Он насторожился. Духовное пение ему было хорошо зна-

комо: сам он пел когда-то в хоре. Любил он музыку — духовную и светскую — и стыдливо держал в тайне эту свою слабость...

Подошел поближе к серенькой кучке, окружившей старенький, облупленный гармониум. С лицом темно-бронзовым, худым, заветренным сидела за инструментом слепая женщина, немолодая, в белом платке своем похожая на головешку. Черные пальцы ее привычно и уверенно, неторопливо, ходили по клавишам, а невидящие очи, не моргая, глядели перед собой и внутрь себя. И медлительно пел ветхий инструмент надтреснутыми голосами старой скорби, невыплаканной и неизбывной, тихой скорби одинокого, покинутого сердца...

Кому повем... печаль мо-ю-ю?..

Голос почти мужской. Немножко сильный, он дрожит и обрывается на верхних нотах. Льются ровным потоком звуки инструмента, текут величаво, как тихие воды, с малой зыбью, и утопает в них далекий шум города, говор толпы, шелест шагов ее. Плачем живым и скорбно зовущим звучит надорванный голос невидящей женщины:

Кого призову... ко рыда-а-нию...

Поет-гудит гармониум. Мотив суровый, горький порой сплетается в гирлянду нежных, тонких голосов, звучит детски-трогательной жалобой отягченного, израненного сердца человеческого. Льется и обрывается усталый голос человеческий, о вечной тьме и скорби говорящий. Льется в сердце — одно большое сердце — этих серых, скудно одетых, невзрачных, корявых людей, стоящих тут, возле, с изумленными и очарованными лицами. Как будто подслушал он, этот старый инструмент, все горькие думы, затаенные рыдания, подглядел все слезы и отчаяние темной, горькой жизни, ее нужду терзающую, озлобление и падение... И все собрал в себя, все горе людское, и когда темные, загорелые персты одной из самых обездоленных коснулись струн его, заплакал горькой жалобой:

Кому повем печаль мою...

И вот стоят они, изумленные, притихшие и растроганные. И молодые тут, наивные, спрашивающие

лица, и старые, трудом, заботою, нуждой изборожденные. Солдат и дивчина, старушка в лапотках и сивосый белорус с гусиной шеей, свитки из домотканой сермяги и пиджаки,— все сгрудились и прислушались.

Дрожат заветренные, запекшиеся губы, горестные собираются морщины на женских лицах, слезы ползут. Свое горе заныло, своя тоска выступила четко и выпукло, как теплым лучом заката выхваченный закоулок, вылилась неудержимо в теплых слезах. Корявые, натруженные руки развязывают узелок в уголке платка, достают медную монету, и падает она с благодарным звоном в деревянную чашечку слепой певицы.

Не в первый раз видит эти слезы о. Порфирий и лица, тронутые горестным выражением жалости и своих воспоминаний. Но нынче все это особенно понятно, близко,— и дрожат его ресницы... Поправляет он очки, отходит в сторону. Опять глядит туда, на Подол, но не видит ни церковки знакомой, ни старенькой монахини около нее...

— А то у нашу сторону пароход гребнувся...— раздается рядом чужой голос, радостный такой, общительный.

О. Порфирий испуганно оглядывается. Приземистый хохлик в короткой сермяжной свитке снимает свою баранью шапку, почтительно кланяется и почти ликующим голосом говорит, тыкая костылем вслед убегающему дымку парохода:

— У Переяслав гребнувся...

О. Порфирий усиленно сморкается,— ему конфузно, что посторонний человек видел его слабость. Но посторонний человек весь ушел в радостное созерцание скрывающегося из глаз парохода,— пегая щетина на его подбородке шезелится и ходит от улыбки.

— Самый наш корень — Переяслав.

— Так вы того... так, так...— О. Порфирий уже оправился и ласково машет головой смешному хохлику.— С Переяславля, значит?

— Ни, я с Томской губернии... Переяслав, как бы вам сказать, наша родина. А я годов с двадцать, как у Томскую переселився... на нови места...

— Так, так...

— А тут у меня брат zostався... Ридный...

— Так, так... Проведать, значит? Хорошо... Родину не забываете, — хорошо...

Собеседник о. Порфирия поскреб свою густую щетину на подбородке и усмехнулся.

— А как же ее забыть, батюшка?.. На чужбине и кости плачут...

Он потряс головой, прищурился, всматриваясь в дали, и замолчал, точно обиделся на о. Поффирия.

— Вся в менэ е,— сказал он, упираясь руками и грудью на костыль,— хлиб е... сала захошь — заколи кабана, вот и сало. Бычка выкормишь, вот и мясо... Вся е... Тилько за краем скучно!.. Сердце кортыть... кортыть сердце...

Что-то близкое, слишком понятное почувствовалось о. Порфирию в этом коротеньком мужичке, в его тоске по родному краю и неотвязных думах о нем,— болел и сам он часто такой же мукой и в часы одиночества, и в дни мелких монастырских дрызг и огорчений, украдкой тихо плакал о родных местах, о близких по плоти людях... Казалось ему, что нет в свете краше, светлее и теплее места, как родной угол его — Подбезрезники...

— Вот, праздник провожу,— поеду! — счастливым, предвкушающим голосом говорит хохлик.— Годов, мабуть, с пятнадцать не был... Раз приезжал, как дорога прошла,— вон когда!..

И казалось, весь он был поглощен мыслью о близком свидании, переполнен детской радостью предвкушения,— сияли счастьем глаза его, ушедшие в морщины, и шевелилась пегая щетина на щеках.

— А что я у вас спрошу, батюшка,— вдруг спохватился он,— якась-то машина... иду у город, а она мимо меня як пролетит... штрип-штрип-штрип-штрип... Лисапет! Так не лисапет...

— Нет, это другое... Это бензинным паром действует.

— Паром?

— Обыкновенно паром... Зарядится и катит.

— А де ж у ней паровик?

— Да там же, под кучером.

— Э! Пид задом у кучера? Д-ды-вись же, чего придумают!.. Штрип-штрип-штрип... Як ти шкворьци...

Они долго стоят молча, в раздумье, каждый о своем. А за спинами у них зыблется говор людской, переплетаясь с пением слепцов, причитаниями нищих и смехом девичьим. Звучит мир пестрыми голосами, сли-

вая воедино радость и горе, бранную речь и слова приветов, детский плач и пение бандуры. Движение идет неустанное, кипит и буйно трепещет жизнь — суетная, горькая, но и обаятельная, заражающая юным оживлением своим.

— Все есть, слава Богу, — говорит раздумчиво мужичок, — всего хватает... Я не жаден: хватает, и слава Богу. Лошадки есть, овечки, коровки... Бога гневить нечего. И сало, и молоко — всего без нужды... Ну, за краем своим скучаю... Хлопцы на той стороне выросли, они — ничего... А у меня кортыть сердце: помру на чужой стороне...

Звенит бандура. Поет гармонiuм. Сплетаются голоса слепцов. Говор людской пересыпается частой каплею, широкой рекой льется шелест, шуршанье шагов. Осиплые, усталые певцы с придыханиями, паузами и причитаниями умело и выразительно рассказывают жалобу горькую:

Та вже ж мое гришне тило
Наболплося...
Та вже ж душа моя гноем
Напиталася...

— А все в дило! — говорит, вслушавшись, растроганный собеседник о. Порфирия, — все в дило...

О. Порфирий смотрит на эти сожженные солнцем лица, сухие, пыльные волосы, на черные ноги босые, на страшные глаза с бельмами, лохмотья и грязь. Все знает давно он, все видел не раз, и вздыхающие, хриплые голоса эти слышал. И сердцем болел о них, — мягкое сердце у него... Но ныне показалось ему, в первый раз он видит то, чего по глухоте сердца не замечал прежде, что горькая жалоба их есть его жалоба и жалоба всего народа, усталого и обремененного, с наболевшим телом, очами слепыми и душой опустошенной... Тем-то и сильна тайна их обаяния, оттого и тянет так к их воплям, язвам, к вековой темноте и обездоленности их...

В скорби лютой обретаюсь...
Сердцем горьким сокрушаюсь...

— Дайте, матуни! Дайте, татуни! — резким голосом вызывает толстая баба, — дайте хоть полотенчика... очи протереть... Господи, обрадуй вас!..

Мимо царства прохожу...
Горько плачу и гляжу,

звенит бандура. Узловатые темные пальцы привычно бегут по ладам. Черный рот широко, с оскалом белых зубов, открывается и вплетается в зыбкий поток других голосов, выводящих жалобу. Обрывается и дикуватно вопит:

— Може б минн вышили сорочечку?.. Наделили б спидничкою або платочком?..

И снова переплетаются голоса, толкуются, зыблются. Гудит-поет гармоний. И стоит прикованная к ним властью непонятной, стоит с своими думами серая, темная, расцвеченная женскими нарядами толпа...

Милости не будет там,
Коль не миловал ты сам...

— Да неизвестно, як оно там буде...

Брови сдвинуты и сурово морщинистое лицо у человека, который говорит это. Облезшая зимняя шапка на голове, худые опорки на ногах и в черной натруженной руке костыль.

— Неизвестно!..

— Чего? — спрашивает хохлик из Томской губернии, собеседник о. Порфирия.

— Оттуда никто не приишов! Никто не знае...

— В книгах святых написано, — кротко возражает о. Порфирий и чувствует, что неубедительно это для человека, изверившегося в правду людскую и правду божескую, для полубосого, изнуренного и отчаявшегося человека.

— Плохо будет, — вздыхает томский хохлик.

— Оно и сейчас плохо, — глядя в сторону, сурово говорит человек в старом зипуне.

Черноглазая молодая женщина в красной кофте глядит на него с изумлением.

— На сем свити плохо? — певучим голосом спрашивает она.

— Або ж хорошо?

Он смотрит на нее вполоборота, враждебным взглядом.

— Вот як в огне гореть будем, вон то плохо! — подумав, говорит она. Он иронически усмехается и крутит головой.

— Воды не буде, — продолжает она медлительным, певучим голосом, — а на сем свити ще не плохо. Воды — вон у Днипре сколько хочешь...

— Тільки шо воды...

— А шо ж воды? Осмь мы як шли семь верст без воды, аж у роти пересохло...

Ему лень возражать этой паивной, недалекой бабе. Он нехотя бросает:

— Тут бачим, шо плохо. А вмер — уже все пропало...

— Ну да... пропало!..

Она хочет возразить чем-нибудь сильнее, убедительней, но смотрит на печальное, изнуренное нуждой лицо его и красноречивые доспехи нищеты и смолкает: а ведь правда, плохо тут, на этом свете, плоше некуда, а оттуда никто вести не дал. Может, и прав этот бедный человек... Вот отошел он и затерялся среди серых кучек и темных фигур, что стоят над кручами, глядят в сизые, мечтательные дали степей заднепровских, где скрыты, может быть, в вечном тумане — простор, воля и жизнь хорошая...

Теплый свет вечерний играет на золоте крестов и глав монастырских. Четким узором переплелись тени по зелени. Как грачи на борозде, черным рядом глядят из-за белой монастырской ограды послушники, глядят задумчивым, мечтательным взглядом туда же, куда и все серые, убогие богомольцы, в таинственные степные дали. В тонкой дымке купаются они, далекие, широкие, зачарованные... Мечта летит к ним, и грусть необъяснимая волнует сердце неведомым и недостижимым.

II

Бухнул колокол на лаврской колокольне. Удар проносился певучей волной над монастырем, над кручами и садами и, замирая, колыхаясь, ушел за Днепр. Другой... И третий... И в медных поющих волнах утонул людской говор, побледнел плач гармонiuма, затихла бандура и жалоба слепцов. Гудел и пел разбуженный воздух, кружились голуби в высоте, сверкая на солнце белыми подкрыльями.

О. Порфирий перекрестился и вместе с темным потоком людским, пестрым, шуршащим бесчисленными ногами, направился в церковь. В дверях его притиснули к рябой, ширококостой бабе, от которой пахло терп-

ким лошадиным потом, вынесли вперед, спихли в сторону и прижали к разрисованной стене в приделе св. Иоанна Богослова, возле киота с частями восьмидесяти мощей, с кусочками дерева от трапезы Христовой и каплями крови Иоанна Крестителя.

Непрерывной струей вливался в храм народ, колыхался, напирал. Волны толкотни, доходя до о. Порфирия, каждый раз притискивали его к расписной стене, но он был доволен: место видное, близкое к иконам и как раз против правого хора.

Он уже гремел, великолепный лаврский хор, торжественную хвалу Богу, пел и призывал Бога славы. Напевы молитвенных песнопений были, верно, взяты из южных песен народных, — чувствовалось в них яркое солнце, зеленые гай и степи широкие, радость и светлая грусть певучего малорусского народа. И охватывало душу ощущение новой, незнакомой красоты, призывная радость хвалы торжественной, трепетное умиление пред Источником сладости сердечной...

Горели огни, отражались в золоте икон, переливно играли в камнях драгоценных. Давал отсветы мрамор колонн и гробниц. Свет дрожал длинными лентами и гигантскими цветами, пучками цветов. Плыли волны фимиама, цепляясь за зелень березок и лип, и уходили под сумрачные своды храма, где умирали, перекачиваясь, волны торжественного пения...

— Казанска Божя Мати! помилуй нас грешных!.. Почаевска Божя Мати! помилуй нас грешных!.. Тихонска Божя Мати! помилуй нас грешных!..

Шепчет и всхлипывает бабий голос позади о. Порфирия, и слышится в ее убогих словах страстная мольба о чем-то своем, затаенном, вздох, умоляющий о капле милости и ласки небесной...

Золото, парча, алмазы и мрамор... И серый, запыленный сермяжный и лапотный люд, устало склоняющий худые колени на чугун и камень ступеней... Благолепные лики святых в дорогих ризах и опаленные солнцем и ветром морщинистые лица людей, сухими черными губами шепчущих заученные моления, неуклюжие, грязные тела с костлявыми, перекошенными, согнутыми плечами... Кадильный фимиам и тяжелый запах одежд и гнойных язв... Ликующее, громогласное пение и вздохи тяжкие, перекошенные гримасой плача лица, бормотанье и шепот молящий...

— Ты, Великий Покров радости, Всещедрый Утешитель, неужели Ты не пошлешь слуху их радости и веселия, сладости сердечной никогда не дашь им, не осветишь тесноту жизни их, Ты, Свет присносуущий?..

И тоска неведомая свинцом легла на сердце о. Порфирия; не мог он сказать о чем, почему? Ушло вдаль пение, лики святых потускнели, туман закутал огни,—душно и тяжело стало ему среди изнемогающих шепотов и всхлипываний, в густом и тошном запахе тел человеческих.

Вышел в ограду. Подумал: пора на вокзал? Но солнце не село еще,—последние отблески его горели розовыми угольками на золотой главе колокольни, кресты золотые купались в прозрачной, холодной лазури вечерней, а над ними плыло белое облачко... Можно еще погодить, вон клир выходит из храма служить литию под открытым небом.

Где-то вверху, в ясной синеве небесной, звенят стрижи. И тут, внизу, звенит ясный голос детский, голос канонарха. Короткими, срывающимися каскадами звуков повторяет слова его хор. Прольются звуки короткой лавиной и смолкнут разом, как обрубленные. Звенит канонарх, звенят стрижи, утопающие в лазури.

С наружных стен, из золотых ободков, глядят угоднички, глядят на темную, тихо зыблющуюся толпу, тихо жужжащую по краям, плотную и сдавленную в центре. Белоснежный храм чуть окрашен вверху отсветами солнца, а внизу уже тень сплошная лежит, посерели развесистые каштаны и заполз под них черный сумрак.

Зыблется серая, темная масса людская. Проходят мимо и толкают, цепляясь за о. Порфирия, группы богомольцев и праздных гуляк. Шаги шуршат, скребут, стучат о каменный помост. Идут девушки в чеботах и лаптях, пестры наряды их и любопытен молодой, волпующий взор, легка и щеголевата чуть подрагивающая походка. Пестрят сермяжно-черные и белые мужицкие фигуры. Тихо шелестит говор. Оторвется слово, другое, целая фраза,—и мгновенно освещается уголок чужой жизни, мимо текущей и бесследно тонущей в темном море людском...

— Таки скучно без родины? — спрашивает молодой женский голос.

— А почему? — Солдатык маленький, веснушчатый

старается показать закал мужества, не хочет сознаться землячке в том, что она сама видит в его глазах печальных.

— ...К колодезю не ходила?

— ...Слава Тебе, Господи! Все обошла, все оглядела... везде помолилась. Как-то примет Господь?..

— Ну, слава Богу...

— Вот копеечки не хватает... Хотела свечечку за гривенник поставить, да не хватает...

О. Порфирий отвернул полу рясы и нащупал в кармане медную монетку.

— На... раба Божия...

— И-и, родимый ты мой!.. отец!..

Улыбка растягивает синие губы убогой старушки, расплывается на землистом лице, обтянутом дряблою, темною кожей, и в жалком взоре голодного, изнуренного существа светится радость и изумление...

О. Порфирий отвернулся и судорожно вздохнул. Крестьянин он сам, знал нужду, голод, скудость всякую, но, должно быть, забыл, — ужасной, как смерть, показалась ему эта старуха в своем убожестве, грязи и изнурении... Грязный ворот рубахи вокруг костлявой шеи, пустая сумка за спиной, ветхие онучи и — мечта о десятикопеечном жертвосожжении...

— Свечку-то и за пятак можно, — говорит оп ей, — Господь числит усердие... намерения целует... А на пятак-то попей чайку лучше...

— Роди-и-мый!.. — умиленно восклицает старуха, — дай тебе, Господи!.. Я, недостойная, Богу за тебя помолюся... Молиться я мастерица!..

Поет, гремит хор «Ныне отпускаеши». Несутся в небо волны могучих звуков, величественных и торжественных. И тают в побледневшей бирюзовой лазури с последними теплыми отблесками зари на золотых крестах. Плывут торжественные, стройные, вызывающие и молящие звуки в небо, звучит земля голосами восторга и упования. Глядят с наружных стен лики угодников, глядят на темную, чуть зыблющуюся толпу. Шуршит, ходит народный говор и звук шагов, шелест, шепот, вздохи, заглушенный стон мольбы, слез умиленных.

И вот перезвон колокольный. Он бойко вторгается в реку пестрых, зыблющихся звуков, веселый, радостный, особенный звон киевский, с цимбалами и сереб-

ряными трелями. Словно весенний юный хоровод дождем звенящих песен, плесков и погудок рассыпается по каменному помосту, покрывает говор, и пение, и возгласы, взлетает ввысь, разливается и уносится в дали румяного вечера...

Пронесся. Смолк...

Звонят стрижи вверху. И ясен летний вечер, прозрачен, тих. В темных толпах, молитвенно серьезных, тихих, пробежит вдруг серебряною зыбью смех девичий. И в светлых сумерках пронесется с ним зовущая радость жизни, беспричинная и милая радость, волнующая смутным, тайным ожиданием неведомого счастья.

III

О. Порфирий помолился на лики преподобных, взиравших на него со стен храма, — уже смутно виднелись они в сумерках, — поклонился им, оглянулся на тихие обителю, на серые деревья и пошел в странноприимницу взять свой саквояжик и ехать на вокзал.

О. Иона, обычный вечерний собеседник его, надзиратель корпуса, увидев его с саквояжем, горестно воскликнул:

— Душевный мой! неужели в путь?.. А как же... того... неужели без чаю?

— Спаси вас, Господи, батюшка, за приют и ласку вашу... благословите... время на вокзал...

— Да рано еще, душевный мой! Полтора часа до поезда. А езды полчасика, не больше... Что вам там в табаке коптится. А тем временем мы чайку... Брат Иоанн! Ну-ка, вынеси нам чайничек...

— Напрасно, о. Иона!

— Ничего не напрасно, — вы человек дорожный... И я еще насчет нот хотел потолковать с вами... Иоанн, неси-ка, брат, на воздух, под каштаны, — я хоть и хлипок здоровьем, а уважаю воздух... Да и на народе оно веселей... люблю поглазеть на православных...

Они сели за длинным столом, под темными деревьями. Послушник принес им два чайника и стаканы. О. Иона подсушил рукава своей ватной рясы и принялся разливать чай.

— Так если у вас, душевный мой, что любопытное попадется из нот, — говорил он, покашливая, — не по-

скупитесь, пришлите... Имею и я кое-что... рад поделиться... И люблю позаимствоваться.

За четыре дня о. Иона и о. Порфирий тесно сошлись между собой на одном предмете, равно близком их сердцу, — на пении. И подолгу толковали о нем, вспоминали, разбирали, слегка спорили и одинаково бескорыстно восторгались дивными созданиями искусства.

— Я не похваляюсь, — сказал о. Порфирий, — если и есть что у меня, то простенькое, не мудрое... А у вас тут — Боже мой! — что за дивное пение!.. Прямо — удивления достойно!..

Гас вечер. Шуршали и скребли по мощеному двору шаги усталых богомольцев, неспешным ручьем тянувшихся на ночлег. Жужжали голоса, звенела посуда за столами, рядом слышались хлебающие и вздыхающие звуки, текли полусонные, усталые беседы.

— Вот... и провянт весь, и денег ни копейки... все рикшетом пошли!

Молодая, толстощекая баба, сидевшая с своими товарками за тем же столом, где сидели о. Иона и о. Порфирий, весело стряхнула крошки с платка и помолилась на кресты собора.

— А издалека ли? — спросил о. Иона.

— Рязанские, батюшка.

— Не близко. Нуждишки примешь...

— А Господь-то! — весело, беззаботным голосом, возразила баба. — Говорили: под Киевом не пускают ночевать без копейки. Ан пустили. Ишшо сами сказали: «Не ходите, на ночь глядя, через лес, тут шалют... С одной девки платок сняли и деньги забрали. Рупь шесть гривен...»

Струится говор, гаснет и вновь всплывает. Густеют сумерки. Молодой месяц вышел из-за крыш, посеребрил их и инеем покрыл мощный двор. Красный Арктур загорелся на западе.

— Было у нас пение встарь, а сейчас... — О. Иона пренебрежительно махнул рукой. — Пей, пей, душевный мой! ты человек дорожный...

— Чтобы хор был вполне хор, великолепен и красив, надо, чтобы понимающая голова была... А у нас нет таковой!

О. Иона горько усмехнулся, засневав своим орлиным носом.

— Я одного игумена знал, из поваров он был, — за-
пахивая свою ватную рясу, продолжал он, — он так го-
варивал, бывало: «Хорошего богомольца, говорит, чем
пригреете первое всего? А тем: накорми его хорошень-
ко да кваском особенным попотчуй — вот он и твой!
А хор — дело десятое...» Десятое!» — покрутил головой
Иона, глядя добродушными, стариковскими глазами на
молодую крестьянку, сидевшую почти против него за
столом.

— Дело десятое! — повторил он, обращившись к
о. Порфирию. — Ну, с того и спросить нечего, — такой
версты человек: повар, поварской и смысл... А вот лю-
ди понимающие... Взять хоть владыку нашего. Муж,
конечно, вельми книжен и духовен, божественного ра-
зума человек... А в пении, извините, ни бе ни ме...

О. Порфирий покачал головой, осторожно выражая
удивление.

— Не любитель? — спросил он, дипломатически об-
ходя резкость выражения о. Ионы.

— Ни бельмеса не смыслит! — подчеркнул Иона. —
Я вам верный факт расскажу. Покойный Иоиль при-
ложил к церковному пению столько тщания, как никто
до и после него. Регент был, прямо сказать, единст-
венный! И все мы говорили довольно единогласно:
столь красно и изрядно пение, что уж лучше требовать
некуда... А владыка, представьте, послушал и говорит:
«Орут, аки волове... Ты мне попроще... То и хорошо,
что просто...»

О. Иона громко и непочтительно рассмеялся.

— Вот и подите. Человек исполнен благого любо-
мудрия и учености, а суждение довольно детское да-
же... Верный факт!..

О. Порфирий все опасался, как бы это резкое су-
ждение о владыке не было подслушано посторонними,
и не без тревоги оглядывался на баб, сидевших за тем
же столом. Но они, видно, нисколько не интересовались
вопросом о пении и вели свой разговор о городских
и монастырских впечатлениях. Все-таки, чтобы откло-
нить беседу в другую сторону, о. Порфирий мягко, с
некоторым сожалением сказал:

— Дискантов у вас маловато.

— Вовсе нет! — мрачно отвечал Иона. — Дискант
голос нежный, его беречь надо. А в монастыре разве
жалеют голоса? Целый день, без передышки, пой:

утреня, обедня ранняя, поздняя, панихиды, молебны... целый день! А голос — вещь нежная, береги да береги... Нынче он есть, а завтра нет его...

— Вещь деликатная, — согласился о. Порфирий.

— Всенепременно! Опять, ежели голосок и заведется, сейчас митрополит его к себе в хор берет... А то какой-нибудь церковный староста переманит, купец... В городских храмах замечательные бывают хоры, особенно ежели купец старостой... Нынче кто хорошо живет? Купец! У иного офицера, может, стола такого нет, как у купца... Еще стаканчик, отец?

— Нет, спаси вас, Господи. Сыт.

— Да ведь это не хмельное, душевный мой. Вы же — человек дорожный.

— Все единственно. Напитался и очень вас благодарю, батюшка, пошли вам Бог доброго здравия... Душа меру знает. А тело — его не мешает алканием и жаждою утруждать...

— Э-э, — махнул рукой о. Иона, — на все время и час...

Они помолчали. В шуршащем, текучем говоре слышались громкие зевки, вздохи. Молодой голос рядом с о. Ионой с притворным сокрушением говорил:

— Господи, за нынейший день и нагрешила же!.. Не столько намолилась, сколь нагрешила...

— Гладкая корова! — равнодушно сказал другой голос.

— Да ведь кто ж его знал. Думали: в сам деле прозорливец. Махает рукой: «Зайдите». Зашли, а он за сиськи хватает...

О. Иона, прислушавшись, вздыхает, качает головой...

— Не все в монастыре спасаются, — покашливая и кутаясь в рясу, говорит он грустно, — много идет к добродетельному житию, да мало ярем его приемлют...

— Могий вместити, — вздохнул о. Порфирий.

— Да, да... Иной раз думаешь-думаешь: вместить... Ежели все по уставу монашескому вместить, то и нет никакой возможности! Бес на каждом шагу стережет... Так подделает, что и не заметишь... Мысли, например...

— О, мысли — это... первый мятеж — мысли, — соглашается и о. Порфирий.

— Да. А попробуй — преобрази! Многие и жизни даже решаются...

Они помолчали. Свои были мысли у каждого, которых ни преобразить, ни людям передать не могли бы они.

— Брат один жил в пустыне, — поглаживая белую бороду, заговорил учительным тоном о. Иона. — Пустыня — место покойное от всякого смущения. Одна беда мучил его, толкал на женское похотение. До той степени мучил — окончательно сил нет! Одолеи... Н-ну, пошел, значит, он к о. Пахомию: так и так, авво... брань великая, непосильная... «А это, — говорит, — не диковина...» Пахомий говорит: «Не диковина... И не с жиру, мол, это, не от безделья... У нас тут скудость, место тихое, бесед женских нет... Не от лени, мол, ты страдаешь, а живет эта вся неприязнь от добродетели...»

О. Иона постучал средним пальцем по столу и удивительным жестом качнул головой, глядя в глаза о. Порфирию.

— «Рать любодетия, — говорит, — на труд идет, на ожесточенное житие... Плоть наша свирепеет, — говорит, — от жизни доброй, а тут помыслы... А помыслами и страсть приходит... И бес по зависти пакости деет... Вот я, — говорит, — стар человек, сорок лет в нем живу, а и поныне бес мне пакостит...»

О. Порфирий терпеливо дослушал этот неторопливый рассказ; — знал он его и сам. Потом встал, перекрестился и поблагодарил о. Иону за гостеприимство и ласку.

— Так едешь?

— Пора.

— Ну, пошли, Господи, в добрый час... Бог благословит. Так если из вот чего хорошенького, не забудьте...

— Хорошо. Не забуду.

— Только и удовольствия моего осталось — ноты, — говорит о. Иона, идя рядом с о. Порфирием, покашливая и кутаясь в рясу. — Нот собрал добре. И ежели кто любитель, делюсь. Люблю и позаимствоваться...

— Народ у нас тут больше из солдат. Людей образованных, понимающих в пении вовсе мало. Я вот регентом был. Пел в Ростове, — голос у меня был беспредельный!

О. Иона ухватился за голову обеими руками, за-
жмуриваясь от восторга.

— Беспредельный! — запахивая полы рясы, воск-
кликнул он, — верхнее *си* и даже *до* брал!.. Потом в
слободе Николаевской хор поставил, — там староста
был любитель. В селе из кого набрать? Народ занятой,
спевок мало, а я все-таки обломал...

Тихая ночь серебристая плыла над монастырем.
Точно иней покрыл железные крыши, — забелели они
под робким светом молодого месяца. Глухо ворчал вдал-
ли город.

— По безродности вот пришел сюда, — говорил
о. Иона у самого вагона трамвая, и был грустен мягкий
голос его, — временами тосковал жестоко по родным
местам, по миру — тесно тут душе... Сколько раз уйти
хотел... Теперь уже здоровьем обнищал, недолго оста-
лось... Ну, прощай, сердечный мой... Во имя Отца и
Сына... Будь здрав... С Господом!..

IV

О. Порфирий вошел в вагон, перекрестился и попра-
вил очки. В руке у него была плацкарта, на которой
значился номер восемь.

В первом купе сидела очень полная дама с двумя
красноволосыми девочками и старик с сизым носом и
сизыми щеками. Старик и дама, разговаривавшие межд-
у собой на неизвестном языке, неприязненно погляде-
ли на о. Порфирия.

— Чужие люди, — подумал он, — может, и непло-
хие, но Бог с ними... пройду дальше...

В следующем купе тоже все было занято, — на
длинных лавках сидело по двое студентов, у окна сто-
яла дама в необъятной шляпе. О. Порфирий немнож-
ко оробел при виде молодых людей, за которыми хотя
числится ученость, но вместе с тем и слава не очень
завидная установилась. Он бросил на них мельком
взгляд, робкий и вопрошающий. Сидевший с газетой в
руках бритый студент, похожий на актера, с горбатым
носом и горькими морщинами около губ, поглядел на
него строгим, недоумевающим взглядом.

О. Порфирий почувствовал, что надо объясниться.

— Восьмой номер — это какое место будет? — спросил он, улыбаясь и склоняя голову набок.

— Это именно здесь, батюшка, — сказал другой студент с пушистыми белокурыми усами, делавшими его немножко похожим на кота. Бритый ничего не сказал и уткнулся в газету.

— Наверх придется вам, — улыбаясь и краснея, прибавил третий студент, очень юный на вид, коротко стриженный, с тем детским, торчащим вверх вихорьком, о которых в деревне говорят, что их корова зализала.

— А-а... ничего, ничего... Спаси вас, Господи.

О. Порфирий присел рядом с ним, на самом кончике скамейки. Саквояжик свой хотел положить на одну из коротких лавочек у окна, но дама или барышня в необъятной шляпе строго поглядела на него через плечо, точно отгадывая его намерение. Он оробел под этим взглядом и поместил саквояж у себя на коленях.

Рядом с юным студентом, по левую руку, сидел молодой человек в штатском, веснушчатый, рыжий, скуластый, судя по фуражке, — тоже студент.

— Личности нет у студента первого курса, — говорил он молодым, свежим баском, — на него всегда могут топнуть, пригрозить: выгоним, мол, если зачетов не сдашь... Что он такое? Протоплазма без оболочки!

— Ну, положим! — заодно возразил безусый студентик, сосед о. Порфирия.

— Конечно. А на третьем курсе какой-нибудь, извините за выражение, сопляк, который куражится над первокурсниками, совсем иной человек!

— Чем дальше, тем лучше, — это всеконечно, — сказал студент с усами, — и экзаменуют совсем иначе.

О. Порфирий поглядел на них с уважением: ученые люди. Он все еще не мог победить робости, но молодые лица их казались ему очень приятными, мягкими, добрыми и в то же время значительными, освещенными серьезной мыслью.

— Ну, а как Петровский? встречал? — спросил уса-тый.

— Петровский? — Рыжий студент коротко усмехнулся. — Пьянчужка стал. Совсем алкоголик. Кавалер ордена зеленого змия...

Помолчали. Рыжий опять вернулся к прерванному разговору:

— Первый курс наиболее интересуется общественными делами, и он же проводит резолюции сходов. И часто по таким вопросам, в которых ничего не понимает...

— Ну, положим! Это уж твое третьекурсное величие... — опять возразил сосед о. Порфирия.

— А много ли вы понимаете?

— Сколько надо.

— Святое простодушие...

Звякнул два раза звонок. Рыжий встал.

— Ну, значит, всего хорошего, — сказал он тепло и грустно. — Счастливец ты, Ванька! — прибавил он, целуясь с юным соседом о. Порфирия, — едет домой, подлец, к мамаше... а?... на все лето!.. Ну, Алексей, а риведерчи! ¹ бувайте здоровеньки!..

Он громко шлепнул ладонью по руке усатого, поцеловался с ним и пошел к выходу.

— Кланяйся Шейнису! — провожая его до двери, говорил студент с усами.

— Счастливые подлецы!.. имеют возможность домой!.. — слышался басок у окна, не у того, около которого стояла барышня в огромной шляпе, а у первого от двери.

Барышня через окно говорила с провожавшими ее людьми, из которых о. Порфирию иногда была видна очень благовоспитанная, округленная мужская фигура в котелке. Иной раз барышня в шляпке быстро, вполоборота, оглядывалась в сторону о. Порфирия, и всегда после этого он слышал радостные, тихо повизгивающие восклицания, обращенные на платформу:

— Эмма! Эмма! Ком гер!..²

И потом следовал залиvistый смех, тонкий, хлебавший, от которого о. Порфирий чувствовал почему-то небольшое смущение.

Прозвенел третий звонок. Тронулся поезд. О. Порфирий перекрестился. Барышня в шляпке, покивав кому-то головой, отодвинулась от окна и села. Следы смеха тотчас же сбежали с ее лица, и стало оно сухим, серьезным, деловым. Студент с усами, высунувшись из своего окна, кричал:

— Пиши, Лев, не ленись!

¹ До свидания (ит.).

² Иди сюда (нем.).

Должно быть, рядом с поездом бежал рыжий студент,— слышался его басистый, смеющийся голос:

— Счастливые черти!..

— Полным ходом! курьерским! — смеясь, кричал студент с усами.

— Со скоростью настоящих спортсменов! Ну, прощай, Алеха!..

— Кланяйся Шейнису!

О. Порфирию не было видно, как убегал город, но по огонькам предместий он догадывался, что скоро Днепр, мост и с моста можно будет бросить последний взгляд на Лавру, на Подол, на Фроловский монастырь, где он простился с матерью. Когда поезд замедлил ход, о. Порфирий, преодолевая робость, подошел к окну, около которого сидела барышня, теперь уже без шляпки, и взглянул в том направлении, где должны были находиться места, столь близкие теперь его сердцу.

В темноте на горе он скорей угадал, чем увидел печерские церкви, — темные силуэты в робком блеске близкого к закату месяца. Перекрестился. Стал искать глазами Подол. Электрические огни молочными каплями пестрили берег, но ни монастыря, ни кладбищенской церковки не было видно. Лишь родимое лицо, сухонькое, все в морщинах и слезах, всплыло над этими огнями и неподвижно поглядело тоскующим взглядом вслед уходящему поезду. И опять о. Порфирий долго и заботливо поправлял очки на носу, почувствовав себя совсем-совсем одиноким на белом свете.

Он сел. Но долго не мог ни на кого взглянуть, сидел с закрытыми глазами, удерживая досадные самовольные слезы, которые медленно, но упорно выползали и застревали на ресницах. Подрагивал, покачивался вагон, и в ровном, мелком дребезжании его стоял говор. Глухо сыпался шум колес под полом, словно там, внизу, кто-то неутомимый торопливо пилил короткой пилой или зачерпал и сыпал, высыпал и снова черпал мелкий булыжник. А когда поезд пошел быстрее, он — тот, подпольный — поперхнулся и закашлялся: ах-ах-ах... ах-ах-ах... ах-ах-ах...

— Иван, кипяточком запасся?

О. Порфирий, не открывая глаз, по голосу уже знал, что это говорит студент с толстыми усами, похожий на серого кота-мурлыку.

Голос рядом с о. Порфирием говорит:

— Кипяток есть, да стоит ли возиться?

— Почему — нет?

— Поздно.

— Лучше поздно, чем никогда.

О. Профирий слышит: встал Иван, его сосед студент. Потом зашелестело женское платье. Что-то легкое, шелковистое мягко задело по лицу о. Порфирия. Он открыл глаза. Барышня, сидевшая у окна, сняла свое легонькое пальто из чесучи и тянулась руками к полке, на которой лежали ее вещи. Смугловатое лицо ее с темными бровями без шляпы было проще и приветливей, чем под шляпой.

— Могу я вас попросить, — обратилась она к о. Порфирию с изысканной улыбкой, голосом немножко слащавым, каким говорят, кажется, только одни немки, — могу я вас попросить достать мне... как это.. чемоданчик... здесь?..

— Которое? — испуганно поднявшись, спросил о. Порфирий.

— Вот здесь... вот-вот... этот... да, да...

Она говорила *та* вместо *да*, *фас* вместо *вас*, и выходило это у ней мило, застенчиво. О. Порфирий снял ей небольшой, довольно потертый, очевидно, выдавший виды, чемоданчик старого фасона, окованный железными обручами.

— Мерси.

— Ничего, ничего, — покорным тоном сказал о. Порфирий.

Барышня раскрыла чемоданчик, вынула книгу с оторванной обложкой и пестрый шелковый шарф, которым сейчас же покрылась. Под шарфом темные брови ее выделялись резче, и лицо стало как у гречанки. Она переложила с одного места на другое какие-то коробочки, — видно, с пудрой или зубным порошком, флакончики и еще какие-то вещицы. И затем о. Порфирию пришлось опять устроить чемоданчик на прежнем месте.

— Ах-х!.. пляхотару фас!.. — слащавым голосом сказала барышня.

— Ничего, ничего...

О. Порфирий смущенно каплянул в руку и сел. А барышня как-то особенно быстро углубилась в книгу, как будто ничто окружающее не представляло для

нее ни малейшего интереса, — хотя читать при колеблющемся свете газового фонаря было довольно затруднительно.

— Тебе наливать, Иван? — спросил усатый студент, обращаясь к юному соседу о. Порфирия.

— Наливай.

— Да ты, может, не хочешь?

Студент с усами подмигнул о. Порфирию, — в серых всеелых глазах его искрилась добродушная насмешка.

— Наливай, наливай...

Иван достал с полки небольшую корзинку из щепок, увязанную веревками по всем направлениям, и осторожно поставил ее на лавку.

— Гляди, Иван... Ежели хочешь, налью...

— Эх, черт возьми, рассохлась... Подержи-ка, Алеха... Тише, тише...

— Что у тебя тут — бомба?

— Адская машина. Рассохлась...

— Рассохлась — дело телячье, — сказал деловым тоном Алеха.

Они осторожно развязали корзину, достали провизию и занялись чаепитием. Алеха, студент с пушистыми усами, оказался чрезвычайно общительным человеком, веселым, добродушным остряком. Сперва он втянул в разговор бритого студента университета, потом пассажира с подстриженными в скобку волосами, выглядывавшего из-за перегородки соседнего купе. Потом подобрался и к о. Порфирию.

— Вы, батюшка, чайку не желаете ли?

— Нет, спаси вас, Господи, — поспешно, смущенным голосом, ответил о. Порфирий.

— Выкушайте! Чай есть.

Студент, не дожидаясь согласия, налил стакан и протянул о. Порфирию пакетик с сахаром.

— Да напрасно вы это...

— Чай же есть, все равно выливать, — сказал студент очень убедительно, и все засмеялись, даже барышня, которая казалась совершенно углубленной в свою книжку.

О. Порфирий, сконфуженный и растерявшийся, не имел сил отказаться, боялся обидеть молодого человека. Взял стакан и кусочек сахара.

— Я вот все слышу у вас разговоры: Столыпин, Столыпин... — сказал он, осторожно наливая чай на блюдце, — а что он, этот Столыпин, из каких? Какими он выбран?

— А вы про Столыпина не слыхали?! — изумился бритый студент.

— Слыхать слыхал...

О. Порфирий громко откусил кусочек сахара.

— Идут там у нас разговоры... между молодыми послушниками. Сойдутся, сцепятся — водой не разольешь: один — свое, другой — свое... Шумят, шумят... Скажешь им: не монашеское, мол, это дело, ребята... Ну, да разве послушают...

Студент Иван, увязывая разохшуюся корзинку, засмеялся.

— И в монастырях — политика! До чего мы дожили, о россияне!..

— Как в миру! — воскликнул о. Порфирий, обеими руками придерживая блюдце у бороды. Хлебнул два раза и покрутил головой.

— Есть крикуны — не дай Бог! Иной раз до такой краски дойдут — беда!..

Он неторопливо допил и еще налил чаю на блюдце.

— Он кто же, этот Столыпин?

— Вы, отец, пожалуй, и про Толстого не слыхали? — сказал студент Алексей.

— Ну... не слыхал! Слыхал!

— Как же вы его мыслите? — Студент весело подмигнул о. Порфирию. — Небось, еретиком?

— А как же... еретик! — с простодушной убежденностью сказал о. Порфирий, — Бога отвергает, свое евангелие написал, — как же не еретик?

— Погибший человек?

— Это уж в руке Господней... Может, по неизреченному милосердию своему, Господь и помилует...

О. Порфирий вздохнул. Допил чай и опрокинул стакан на блюдечко вверх дном.

— Спаси вас, Господи! — перекрестившись, сказал он и передал с поклоном стакан студенту Алексею. Вытер бороду ладонью и, чувствуя к студентам особое расположение, — славные ребята, но, вероятно, по молодости лет склонны к легкомысленным увлечениям, — сказал:

— Мало ли их было! Вот Арий также... Арсений диакон... Пропали, как черви! Стали прахом... А праведники вон как прославились. Не сподобились почитать про киевских угодников в пещерах?

— Ну, про киевских мы помолчим,— улыбаясь, сказал бритый студент.

Тон у него был немножко едкий, не то что у веселого Алексия. О. Порфирию не хотелось вступать в спор: еще кошунствовать начнут молодые ребята, а в этом что хорошего. С сожалением и грустью в голосе он заметил:

— А про Толстого Феофан-затворник сказал: «Эта искра из ада вылетела...»

Студент Алексей с комическим ужасом зажмурился и выставил руки вперед, как бы защищаясь. Все засмеялись. Засмеялась и барышня, но тотчас же уткнулась в свою книгу. Алексей обратился к ней с неожиданным вопросом:

— А что это значит, барышня: *Liebling*?¹

Она подняла от книги свои коричневатые глаза, улыбнулась. О. Порфирий заметил при этом, что один зуб у нее, с левой стороны, запломбирован золотом.

— Это... мм... это... как это?

Она пощелкала длинными, тонкими пальцами правой руки, подыскивая нужное слово.

— Лю-пи-мчик! — воскликнула она с немецким выговором, — вы не говорите по-немецки?

— Найн!² — с комическим ужасом замотал головой студент Алексей.

— Очень жаль. Я по-русски... как это?.. не очень... — протянула она тонким, угасающим голосом, прищурившись и кокетливо склоняя голову набок, — я понимаю, а не все умею сказать...

— Этого и достаточно! Лишь бы понимали, а слов много не потребуется...

И опять все рассмеялись, а о. Порфирий немного смутился. В шутливом тоне студента и в словах слышался ему какой-то нехороший, скрытый смысл. Потом это прошло, стало легко, занимательно, весело и душевно в этой молодой компании, точно собрались тут люди не то что давно знакомые друг с другом, а

¹ Любимец, любимчик (нем.).

² Нет (нем.).

самые тесные, самые близкие и задушевные приятели. Порою казалось ему, что таится опасность тут, в этом веселье, в смехе и свободном обращении есть искушение: многоплетеная сеть беседа женская, и женские взоры, и смех звенящий... Мельком пробежала мысль: если хочешь целомудр быть, не беседуй с женою, не давай ей дерзновения взирать на тебя, да не будет устрелено стрелою вражьей твое сердце... Женская беседа — великое волнение, потопляющее корабль...

Но сердце отворачивалось от этого сурового напоминания, — было приятно и увлекательно молодое, беззаботное и беззлобное веселье.

— Это — Мопассан... — «*Cher ami*»¹, — сказала барышня, перелистывая книжку.

— А-а, Мо-пас-сан! Слыхал... Ничего себе писатель...

Студент покрутил ус и подмигнул.

— *Cher ami*, а по-немецки — *Liebling*...

— Вот какая история!.. Иван, что ж ты такой большой вырос, а за собой прибрать не можешь! Какой же ты *Liebling* после этого? Уложи посуду, поставь корзину на место!.. Так вы, значит, Мопассана... того... уважаете? — обратился снова к барышне студент.

Барышня опять склонила набок свою хорошенькую головку.

— Я люблю читать всегда что-нибудь такое... чтобы веселое было... и о любви...

— Ммм...

— Студент помотал головой.

— Вкус тонкий. А Толстого если? Как, одобряете? Вот отец не очень его...

— Толстой? О, я его обожаю! — официально-восторженным тоном воскликнула барышня. — Но, к сожалению, читала мало. «Войну и мир» немножко... Но там слишком много про войну...

— Да неужели?

— Я про войну не люблю... Хотя *Militär*...² я... очень люблю!..

Она рассмеялась и конфузиво закрылась книгой. Засмеялись и студенты. О. Порфирий решил, что они только притворялись несколько минут незнакомыми

¹ «Милый друг» (фр.).

² Военные (нем.).

между собой и с барышней, а на самом деле, конечно, давно и коротко знали друг друга. Иначе откуда такая старая, веселая, брызжущая смехом беседа, полная неуловимых, скрытых намеков и остроумной игры? Даже бритый студент, с такими серьезными складками около губ и строгими глазами, и он отмяк, оказался человеком милым, общительным, совсем не сердатым, как думал о нем первоначально о. Порфирий.

Барышня без конца кокетничала. Говорила тонким, замирающим голоском, склоняя голову набок, прищуриваясь, делая глазки. Часто смеялась, всхлипывая и закрываясь шарфом или книгой. Роняла то гребенку, то шарф, то книгу. И когда студенты бросались поднимать оброненную вещь и отталкивали друг друга, о. Порфирий нагибался, крикая, себе под ноги, доставал растрепанные листы книги или смятый платочек и подавал их всхлипывавшей от смеха барышне.

— Мерси... Пляхотору фас!..— певучим голосом, в котором дрожал счастливый смех, говорила она, касаясь длинными, тонкими пальцами руки о. Порфирия. А один раз схватила и пожала его руку:

— Я фас никогда, никогда не запуту!..

И смеялась вместе со студентами, показывая с левой стороны запломбированный золотом зуб. А у него сердце сжалось тревожно и сладко...

Когда иссяк источник бойкой и веселой болтовни о любви, студент Алексей, смеясь одними глазами, сказал:

— А вот отец — Толстого недолюбливает! Еретик, говорит.

О. Порфирий приложил ладонь к животу и мягко, тоном извинения, отозвался:

— Как же не еретик, — свое Евангелие написал.

— А вы читали его Евангелие? — спросил бритый студент...

— Книги праведников читать надо. По их книгам мы должвы... того...

О. Порфирий замялся, затрудняясь выразить свою мысль.

— Почему — праведников?

— Потому что на них дух святой был...

— Откуда это видно?..

— Как откуда? — О. Порфирий слегка завозился на месте, но тотчас же вернул спокойствие. — А дар чудес? По водам ходили... плавать... плавать не умели, а ходили... Немоных исцеляли, слепым глаза давали, хромым ноги... Демонов отгоняли... Всякие скорби решали... А вы говорите: откуда?

О. Порфирий победоносно улыбнулся и с приятельским сожалением оглядел студентов.

— Самуиловы кости... кости! — воскликнул он, грозя пальцем вверх, — и то пророчествовали, а вы говорите: Толстой... Толстой остроту ума на премудреные умствования обратил и... сшибся...

О. Порфирий вынул из кармана значительных размеров клетчатый платок и отер пот со лба. Барышня встала на лавку и сняла круглую деревянную коробку, в каких возят шляпы. Студенты бросились помогать ей. В коробке была провизия. Барышня достала пакет с апельсинами и принялась угощать своих спутников. И о. Порфирию предложила. Он замотал отрицательно головой, поблагодарил, отказался. Но она настаивала на своем. Достала апельсин и ловко подбросила его вверх, как раз на о. Порфирия. Он смущенно расставил руки и подхватил апельсин, чтобы не упустить его на пол.

— Это вы напрасно! Спаси вас, Господи... Только напрасно, — бормотал он в крайнем смущении, — я к этому не привычен...

И пытался вернуть апельсин, но барышня отводила, смеясь, его руку, и опять от прикосновения ее нежных, ласковых пальчиков в его сердце отозвалась тревожная и сладкая тоска. И опять вспомнилось ему суровое слово Евагрия-монаха о женском беседовании, как оно преломляет сердце и будит в нем неподобное желание...

— А что, как вы, отец? — как будто угадывая его мысли, спросил студент Алексей, сдирая кору с апельсина, — как вы к миру? влечения не имеете? никогда не приходилось скучать?

О. Порфирий не сразу поборол смущение. Стыдно было сознаться и солгать тяжело.

— Нет, в мир меня не тянет, — тихо сказал он, ни на кого не глядя, — наезжаю иной раз к брату в деревню, на Пасху. Переночуешь да и назад скорей. Не нравится мне в миру...

Он помолчал и прибавил тихим голосом, в котором звучала нежность и теплота:

— У меня и мамаша в монастыре. Вот приезжал проведать. Старенькая...

И он вздохнул долгим, тихим вздохом, вспомнив согнутую фигурку в темном возле монастырской кладбищенской церкви.

— А вот иные из монашествующих очень уважают... этак в веселое место куда-нибудь... — сказал студент Алексей, крутя пальцами в воздухе.

— Бывает, — грустно сказал о. Порфирий. Помолчал, потупившись, и прибавил: — Иной в миру жил разбойником, а в монастырь придет — живет как ангел. А другой тих был, а в монастыре вольнее стал жить... Из певчих вот есть: у-у, беда!..

Студенты съели все апельсины у барышни. Потом поставили на обсуждение вопрос: что делать дальше? Пассажир из соседнего купе, подстриженный в скобку, прилаживал верхнюю полку для сна, с громом передвигал что-то, ронял, подымал и горестно ахал.

— Спать разве? — сказал бритый студент.

— Ну вот! — огорченно воскликнул студент, называемый Иваном, — что вы, никогда в жизни сна не видели, что ли?

Сон был отвергнут. Решили играть в преферанс, — у бритого были карты. Барышня села рядом с Иваном, а о. Порфирий перешел с своим саквояжем к окну, занял ее место.

— Я скажу — раз! — воскликнул студент Алексей, нахмурившись и водя по носу своими пушистыми усами.

— Пас!

— Ваши!

— Позвольте прикупку, Маргарита Карловна.

Студент Алексей крикнул при виде плохих карт в прикупке, переставил с одного места на другое карты, бывшие у него в руке, и тоном большого снисхождения сказал:

— Бубны... просто...

Потом зашел гнусавым голосом:

— «Не думали, братцы, мы с вами вчера-а...»

— «Что нынче умрем под волна-а-ми...» — подхватил жиденьким, искусственным баском студент Иван.

— Эх, Иван! такой ты большой вырос, а не понимаешь... Под играющего надо с маленькой!

О. Порфирий издали внимательно следил за игрой и слушал пение. Потом задремал. Под полом кто-то пилил, сыпал, кашлял: ах-ах-ах... ах-ах-ах... За окном чернела ночь, качалась яркая звезда низко, над самой землей, и, словно округлые кусты цветущей вишни, пробегали мутно-белые клубы пара. Вагон подрагивал и укачивал. Закрывались усталые веки, и, как дождь по крыше, чудился долгий, рокочущий гул города, далекий звон, и песня слепцов, и шорох тысячной темной, пестрой, усталой толпы... С усилием открывал глаза о. Порфирий. Барышня через плечо заглядывала в карты к Ивану. Ее темные, немножко завитые, должно быть, волосы как будто касались его свежей, открытой светлым пушком щеки...

Избегал смотреть на это о. Порфирий, но одолевали мысли о женской близости и ласке, и было что-то колдовское в их греховной неотвязности, — как сладкий яд, томили они сердце. Голос внутри сурово остерегал: «Горше смерти женщина, ибо она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы... Не желай красоты ее, и да не увлечет она тебя ресницами своими, — может ли кто взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?..»

О. Порфирий вздыхал. Навязал прочно он на персты свои эти слова Писания, твердо помнил их, а вот коварно вьется в сердце что-то необычное, волнующее, беспокойное... манит и грозит душе язвой, грозит тревогой и смутой. И бежал бы, да некуда...

— Я думаю, не лечь ли и мне поспать? — сказал он робко.

— Как вам будет угодно! — с комической стремительностью, не поднимая головы от карт, сказал студент Алексей.

Подняли полку для о. Порфирия, — все хлопотали, толкаясь и смеясь. О. Порфирий снял клубок и остановился в размышлении, держа его перед собой.

— Не знаю, куда бы положить, — сказал он.

— А вот сюда, на полку, — указал студент Иван.

— Да как бы не унесли...

— А кому он нужен?

— Да мало ли насмешников... Для смеху кто-нибудь и стянет...

Потом он тяжело встал на свою полку, сак-вояж продвинул под голову и, не раздеваясь, лег. Свет фонаря бил ему прямо в глаза. Доносились снизу голоса играющих, иногда как будто звуки какой-то возни, всхлипывал смех девичий.

— «Не ду-ма-ли, бра-а-тцы, мы с вами вчера...» — начинал тонким голосом Алексей.

— «Что нынче умрем под волна-а-ми...» — басом подхватывал Иван, и о. Порфирию было слышно, что студент Алексей пел тоненькой фистулой, а Иван, похожий на девушку, басом.

— Так вы — прямо в Самарканд? — слышит о. Порфирий голос бритого.

— В Самарканд, — отвечает барышня.

— Вас дорогой сарты выкрадут из вагона.

— О нет!

— Не боятесь?

— Я никогда ничего не боюсь...

— Какая храбрая!

— Ти-ри-рим-там... ти-ри-ри-тим-там-там... та-та-там...

— Матчиш?

— Да. Это моя любимая пластинка на граммофоне... Вы мне очень напоминаете одного моего знакомого. Вы не немец?

— Кто? Иван? Кутейник? — отвечает голос студента Алексея.

— Ужасно он напоминает! Две капли!..

О. Порфирий подвинулся к краю полки и поглядел вниз. Ему видны были серьезные, сосредоточенные лица бритого студента и Алексея, рука Ивана с картами и колени барышни.

— Как посоветуете: этой или этой? — услышал он голос Ивана.

Знакомые тонкие пальцы потянулись с картами и побарабанили по королю треф.

«Эх, напрасно!» — подумал о. Порфирий и неожиданно для самого себя сказал дружески указующим голосом:

— Ходи хлапом! Крестовым хлапом крой!

Поднялись молодые головы к нему. Веселые глаза, приятельские кивки, широкие улыбки...

— Отец, отец! — весело погрозил пальцем студент Алексей.

О. Порфирий смутился и спрятался.

— Ну, Иван, ты уж большой, пора своим умом жить...

Было неловко и беспокойно лежать о. Порфирию. Саквояж какими-то углами и ребрами давил шею и затылок, ноги в неуклюжих монашеских сапогах торчали наружу, и когда кондуктор или проводник проходили по вагону, то цеплялись за них головой и бранились. Свет фонаря бил прямо в глаза...

Не спалось. Смутной печалью ныло сердце. Что-то давно потерял, так давно, что в памяти стерлось, что именно, а вот жаль стало, так жаль, что заплакал бы, склонившись головой к близкому человеку. Но нет его, близкого, — давно одиноко и голодно сердце...

...Я вас никогда, никогда не забуду. И ручки такие нежные, тонкие, и пахнет так хорошо от нее... Никогда не забуду... Забудет, конечно, — не той версты человек я, чтоб помнить обо мне долго... Суров и нерадостен путь мой, — забудь поскорей...

И кажется ему, что давно уже едет он в вагоне, в этом неудобном положении, чужой окружающим людям, никому не нужный, — едет, и конца не видать пути, а позади, далеко-далеко, осталось все, что грело и скрашивало жизнь: родной угол, близкие по плоти, понятные люди, и тепло, и ласка, и уют... Гремит, качается вагон, несет к неведомой, темной пристани, а под полом кто-то усталый, покорный, терпеливый пилит ровными взмахами и мерно жужжит пила...

Жужжит пила... Сквозь тяжелый звук, сухой и однотонный, порой чуть слышны иные далекие звуки, точно с неба звон струнный долетает... Вздохнет, — певучий тихий вздох повеет над землей, и нет его, растаял, смолк. А сердце взволновано уже трепетным и сладким ожиданием: молитва? песня? Опять... Словно капля из летнего белого облачка упала на колокол, и чуть слышный звук задрожал на мгновение в тихом, знойном полудне...

— Номер седьмой Бортянского! Херувимская... — подумал радостно о. Порфирий, — но как далеко! как хорошо! и как знакомо все кругом!.. Зеленые лужки Вифании, и солнце яркое, и лес, и белые цветочки, и в белых полукафтанах послушники... Косят. Взмах — жужжит-звенит коса, далекий хор поет, чуть слышный, волшебный хор, за белою оградой обители. А может быть, не там. Быть может, яркий день, день летний

звучит этим тихим звоном струнным, — необозримый хор его незримых мошек, пчелок, мушек...

Звенит-жужжит коса. Вернулась юность ясная, певучая... Машет косой и он, легко и бодро... Но он — не Порфирий, смиренный монах, а Игнатий-послушник, парень свежий, веселый, немножко томящийся избытком здоровья. Машет косой Игнатий, кладет ряд ровный, к дороге подходит, а по ней вереницы богомолок бредут. Как цветы в зеленом море, яркие платочки их... Загорелые лица девушек оборачиваются к нему, долго смотрят, — бойкий, смешливый взгляд... Улыбаются, что-то говорят... Но жужжит-звенит коса, и зорек чуть прорезанный глаз у рыжего о. Мартирия, наблюдающего за работами...

Вот остановилась одна. Прикрыла смеющийся рот концом сиреневого платочка, но светится ласковой улыбкой скуластое лицо. Знакомо оно необыкновенно, — особенно белые эти брови, простодушно расходящиеся вверх, и милые такие, нехитрые, изумленно-радостные глаза голубые...

— Игнатий, вы?

Глядит он, глазам боится верить: неужели девушка с родной стороны? Да, да... Только на его стороне родной бывают такие льняные волосы, выбивающиеся из-под платочка, и такой простецкий, пухлый, полуоткрытый рот и широкие, мило-неуклюжие девичьи фигуры... Глядит. Смутился, не может сказать ничего...

— Не признавать: бородой зарос...

— Дуня?

— А, угадал! Пиши расписку домой...

Милая девушка с родной стороны! Затрепетало сердце, забилося, — живая весть с родимой стороны, где детство промчалось, скудное, голодное, но звонко-резвое и ясное, все затканное золотым светом весны, согретое зноем лета, украшенное снежным серебром веселых зим; где дорогие остались могилы и воспоминания о ласке матери, о песнях деревенских, о мире, шумном, суетном, покинутом, но не забытом и сердцу близком мире...

Недолго постояла она, и мало слов сказали они друг другу, — все оглядывался он в сторону о. Порфирия. И вот она уходит, — мелькает сиреневый платок и лента голубая в косе, — вот-вот утонет в зеленой зыби монастырских лугов. Машет он косой. Жужжит-звенит

коса, дрожит и плачет сердце... Оглянулась, кивнула головой... Девушка с родимой стороны, прощай! Не тревожь сердца, — для мира умерло оно... Не умерло, но должно умереть в суровом холоде отречения. Не оглядывайся, не посылай жалеющей, ласковой улыбки, сестра моя родная, не тревожь сердца...

Жужжит-звонит коса, тоскует сердце... Мир зовет... Нет сил пребороть его соблазны нарядный, обаяние красоты его, привязанностей, утех и радостей... И страшен грех. Смеется бес, и дразнит, и толкает... Оскал зубов сверкает, злорадный прыгает огонь в глазах...

— Игнатий... Игнатий... — зовет девичий голос...

...Проснулся о. Порфирий. Фонарь горел еще, но в окна глядел уже голубой рассвет... Вагон гремел, покачивался. Не слышно было голосов внизу, — уснули, верно, молодые люди.

О. Порфирий осторожно спустился с койки. Студент с усами меланхолично похрапывал, склонив голову набок, а бритый опрокинулся навзничь, холодно-серьезный и важный. Ивана не было в вагоне. Не вид-но было и барышни.

О. Порфирий постоял, поглядел в окно, помолился в ту сторону, где обозначалась робкая полоска зари. Вышел за дверь и еще раз помолился на церковку, забелевшуюся вдаль, за зеленым скатом полей. Через опущенную раму наружной двери забежал ветерок, пахло дымком, зелеными хлебами, и разлит был кругом веселый шум несущегося поезда.

У другой двери, опершись локтями на опущенную раму, касаясь плечами друг друга, стояли студент Иван и барышня. Они не видели о. Порфирия и не слышали его, пожалуй, хотя и кашлянул он предупредительно, — о чем-то своим говорили они, глядя в зеленый простор влажных полей, любясь переливами зари в белых лужицах-болотцах, похожих на осколки зеркала.

— ...Сподоби меня, Господи, возлюбити тя, яко же возлюбих иногда той самый грех... — отыскав глазами убегающую назад церковку, прошептал о. Порфирий, а слезы потекли по щекам, по бороде, тихие слезы печали смутной и жалости к себе, к сиротству своему и одиночеству...

Шульгинская расправа

Этюд из истории Булавинского возмущения

I

В начале сентября 1707 года по пыльному и широкому шляху Задонской степи двигался полк солдат. Их усталые ноги, обутое в башмаки с тупыми, широкими носками, с трудом подымаясь и не соблюдая такта, с каким-то ожесточением били сухую и твердую, как железо, землю. Знойное солнце невыносимо пекло. Чистое небо резало глаза своею ослепительно сверкающею лазурью. На бурею, выжженной степи, дремавшей в тяжелой истоме, далеко кругом не было видно ни кустика. Лишь кое-где одиноко торчал из засохшего, припавшего к земле ковыля серый, дымчатый полынок да оголенные сибирьки с маленькими, покрытыми пылью листочками.

Нестройный, однообразно шлепающий шум солдатских шагов как-то странно гармонировал с пустынным однообразием степи, не внося оживления в нее и как будто не нарушая ее мертвой тишины, царствовавшей кругом. Серая пыль тяжело и невысоко поднималась из-под ног и садилась на истомленные солдатские лица, на их темно-зеленые потертые мундиры, на короткие штаны и чулки, и всему давала серый, однообразный колорит.

Сзади скрипело несколько телег полкового обоза, поднимая густую и тяжелую пыль, которая долго стояла в воздухе, медленно и словно нехотя опускаясь на дорогу.

Далеко впереди ехал командир полка, полковник князь Юрий Владимирович Долгорукий, в сопровождении пяти казачьих старшин и десяти офицеров.

Князь сидел верхом на высокой карей лошади, вспотевшей и низко державшей шею. Он был невысокий, полный человек, лет сорока с небольшим. Широкое, сытое, несколько обрюзгшее лицо его, с толстым, коротким и красноватым носом, с крупными бритыми губами и двойным сизым подбородком, было некрасиво и жестко.

Рядом с ним ехал на рыжей степной лошади старшина Ефрем Петров, красивый казак лет пятидесяти, с широкой светло-русой бородкой, в серой папахе и в красном, кармазинном казачьем кафтане. Он помахивал своей дорогой плёткой с ручкой, окованной серебром, и глядел кругом, беззаботно и весело посвистывая.

— А что, скоро Шульгин? — спросил князь у Ефрема Петрова, доставая из кармана трубку.

— Теперь-ча скоро. Вон энтот пригорок перевалим, как раз и станицу увидим.

— Григорий Машлыченков! — широко улыбаясь и растягивая бритые и сизые губы, крикнул князь старшине, ехавшему на серой круглой лошадке немного в стороне от дороги.

Старшина в огромной куньей шапке с алым верхом обернул к нему свое сухое, бронзовое лицо с острым, ястребиным носом и с серой узенькой бородкой.

— Покурим, что ль, а? — сказал Долгорукий.

— Кури, кури, государь мой! Как-то ты на том свете закуришь, погляжу я...

— Эх ты! — шутливо воскликнул князь, закуривая трубку, — тоже законник, а не знает, что сам преподобный Гавриил табак курил...

— Тьфу!

Князь залился громким, раскатистым хохотом, довольный столько же собственной остротой, сколько раздражением Григория Машлыкина, человека старого завета, упрекавшего князя и офицеров за брадобритие, за табак и развлекавшего всех своей желчною ворчливостью.

— А вон и Шульгинская станица, — сказал Ефрем Петров, когда они въехали на пригорок.

В полуверсте, под самой горой, блеснула узкая речка Айдырь, и около нее столпились в кучку небольшие, крытые камышом, кугой и лубом курени Шульгинского казачьего городка, окруженного высоким ты-

ном с двумя раскатами. Зеленая кайма верб с трех сторон обходила станицу и сливалась с синеватой полосой леса, который протянулся далеко по берегам реки и за речкой.

— Куда прешь? ку-у-да прешь, черт мазаный? — крикнул резко капрал на хохла, который, пропустив мимо себя начальников, хотел переехать дорогу с двумя возами сена наперерез полку.

Хохол, испугавшись грозного капрала, остановил быков и начал осаживать их назад, с удивлением и опасением оглядываясь на проходивших солдат. Сердитый капрал, проходя мимо, погрозил ему багинетом.

— А што за речка, милый человек? — мягким тенорком спросил сухощавый и сутуловатый солдат, встряхнув ранец на плечах и обратившись к хохлу.

— Хайдарь, — хриплым голосом отвечал хохол.

— Ишь ты! — сказал солдат с некоторым удивлением и крикнул, возвысив свой тонкий голос: — Ско-робогатов!

— Я за него, — отвечал откуда-то из рядов густой бас.

— Готовься кашу есть!

— А што?

— А зараз привал будет.

— Жди, коли будет... Верстов тридцать ишшо об-ломаем...

— Держись, мазница! — крикнул какой-то веселый солдат, нацелившись ружьем в хохла.

— Солдат — сип содрат! — прохрипел хохол.

— А ты галушкой подавился!

— А у вас рубахи из портов!

II

Подъехав к тыну, окружавшему станицу, князь Долгорукий приказал сделать привал, а сам с старшинами въехал в станицу.

Станица была небольшая, около 100 дворов. Одна узкая и кривая улица кружила по ней, разветвляясь на несколько проулков и пустырей. Курени сосновые и простые мазанки, выбеленные белой глиной, стояли тесно друг к другу. Дворы были огорожены невысокими плетнями; на улицу же выходили и сараи, обма-

занные глиной. Из-за плетней, около некоторых хат, приветливо выглядывал вишневый садик; перед маленькими, подслеповатыми окошками, в которых стекла блестели всеми цветами радуги, почти везде торчали и пестрели цветки — розовые, голубые и белые «вьюны», кначки и алые «зори».

Никого не было видно на улице, когда князь с Ефремом Петровым подъехали к запертой станичной избе. Лишь ребятишки бегали на майдане и играли в городки. Какая-то старуха в темном кубелеке и красном платочке, повязанном так, что его издали можно было принять за кичку, выглянула из соседнего двора и скрылась опять.

— Где же у них народ? — спросил князь, слезая с лошади.

Ефрем Петров, глядя по сторонам и, по обыкновению, насвистывая что-то, подъехал к плетню того двора, из которого выглядывала старуха.

— Бабушка, а бабушка! — гля-ка суды! — приподнявшись на стремянах и опираясь с лошади руками на плетень, крикнул он.

Со двора никто не откликнулся.

— Да ты не бойсь, родимушка! Поди-кась ко мне! Иде у вас атаман тут живет?

Старуха долго еще не показывалась, но наконец решилась подойти к воротам и недоверчиво посмотрела на обоих незнакомых всадников. Долгорукий в своей шляпе с плюмажем и большой пуговицей, его бритое лицо и длинные, прямые волосы внушали старухе, по-видимому, большое сомнение относительно благонадежности обоих приезжих. Ефрем повторил свой вопрос.

— А вон!.. — сказала басом старуха, указывая на белый курень, стоявший на другой стороне майдана.

— Вон парнишка-то его бегаёт... Минка! — крикнула она своим могучим голосом, — поди-ка отца позови в станишное...

Старуха ушла. Князь слез с лошади и сел на рундуке у станичной избы. Минка скоро вернулся назад; атамана не оказалось дома; ушел за рыбой.

— Сгинул народ! — с досадой сказал Ефрем Петров и послал Минку за есаулом.

Через полчаса к станичной избе пришел высокий, с узкой рыжей бородой казак в черной старой черкеске

и в чириках. Он снял папаху и, поклонившись коротким поклоном, сказал:

— Доброго здравия, атаманы-молодцы!

— Здорово, — мельком взглянув на него, сказал небрежно князь, — ты есаул?

— Он самый.

— А атаман где?

— На рыбальстве... на сежу ушел.

— Ловится рыбка-то? — спросил Ефрем.

— Да разно... Глядя по погоде, — отвечал есаул, — под ущерб месяца так вовсе плохо идет.

— Ну, ты, есаул, отыщи князю вот фатеру получше. По царскому указу послан...

— А что, много у вас беглых тут? — спросил князь, глядя искоса испытующим оком на есаула.

Есаул внимательно посмотрел для чего-то вверх и после значительной паузы сказал:

— А кто их считал? Народ у нас вольный, не записной: кто ни пришел — живи! Земля, вода — достоянье Божие, а у нас запрета на это никому нет...

— Вора́м потакает, — сердито и враждебно сказал князь, поворачиваясь спиной к есаулу.

— Все люди, — отвечал есаул и вдруг заботливо воскликнул: — Да что же ты, ваша милость, так-то сидишь? Пожалуйте вот в станичную избу, отдохните. Вот вам и фатерка будет, на первый случай лучше требовать некуда: просторно и свободно.

III

За станицей, где полк раскинул свои палатки, было большое оживление. На яру, над речкой, краснели в нескольких местах огоньки; кашевары и добровольцы из солдат суетились около них с котелками и сухими дровами. Почти половина полка купалась в реке, барахтаясь, брызгая и гогоча. Веселый крик далеко кругом оглашал окрестность. Два солдата достали где-то бредень и ловили раков, плеская около камыша, в надежде выгнать щуку.

— Мушкет пр-ред се-бя! — выкрикивал заливистым басом солдат Скоробогатов в одной рубаше, с мокрыми волосами, держа в руках хворостину и выкидывая ею

артикулы перед собравшимися из станицы ребятишками.

— А ну-ка стрелни! — говорил толстый, с лупленным носом мальчуган в синей рубахе.

— Мушкет на пле-е-чо!.. Это вот как, — продолжал Скоробогатов, не удовлетворив просьбы своего зрителя, — так, Фокин?

— Так-то, — равнодушно отвечал Фокин, сидевший на корточках у ближайшей телеги полкового обоза. Фокин был тот самый солдат с мягким тенором, который спрашивал хохла про речку.

— Ряды-ы сдвой! Это вот как... Видал?

Толстый казачонок внимательно смотрел на Скоробогатова, заложив руки за спину, и конфузливо улыбался, когда он обращался к нему с вопросом, но был очень доволен и счастлив этим вниманием.

— Эй, крупа, крупа! откель вас нелегкая нанесла? — весело и беззаботно сказал проходивший мимо старый казак с сетью за плечами.

— Ишь ведь сила какая! — прибавил он, останавливаясь против Фокина и оглядывая лагерь, — расейские люди да небось за расейскими и пришли?.. Эх вы, овца глупая! прá, овца глупая! Ты откель? — обратился он к Фокину.

— Пензенский.

— Ишь губы-то как оскобили!

— Ничего не поделаешь: приказ такой.

Старик одним движением плеча сбросил ловко сети на землю и сел на них с очевидным намерением поболтать с солдатами.

— А чижолая, говорят, ваша служба? — спросил он, обращаясь к Фокину.

— Да, нелегкая, — отвечал Фокин, — зато доходная, шишки не заживают...

— Знаю, дружок! Бывал и я с вашими в походах не в давнее время — под Азовом...

— Ваша служба — совсем особая, — сказал басом Скоробогатов, доставший уже где-то ломоть арбуза, — а вот мы суток по трое хлеба не видим, воду ржавую пьем... а иногда не чаешь, что и в живности-то останешься — вот!..

И он кивнул головой, выразительно приподняв свои вылинявшие желтые брови.

— А то коли заместо пропащей собаки примутся

бить до умертвия, — прибавил стоявший возле солдат с подбитым глазом и тоже с ломтем арбуза в руках.

— Велять командиры, — продолжал Скоробогатов, утершись рукавом рубахи и с завистью посмотрев на остаток арбуза в руках солдата с подбитым глазом, — велят, чтобы у всех головы были прямо, плечо с плечом ровно, ноги — чтобы в единую струну... отойдут отдаля, по плечам поглядят, ровно ли стоят солдаты, не шатаются ль у них фузеи в руках. Коли чуть чего не так, зараз затрещину в морду аль в груди саданет так, что лишь охнешь. Покель обучишься всему, — повороты чтобы делать скоро, в ширинках ходить ровно, фузею вскидывать легко чтобы, — так от подтычен-то и свету белого не будешь видеть.

— Ишь ты! — задумчиво проговорил растроганный старик, — гляди, все немцы эти проклятые?

— Всякие... Есть и из наших не лучше...

— Крест, стало быть, утерали...

— Минка! Ми-и-нка-а! — слышался звонкий молодой женский голос в воротах станицы.

— Чаво-о? — пронзительно закричал в ответ толстый мальчуган с облупленным носом. Из всех зрителей приемов Скоробогатова он один лишь оставался теперь в лагере и слушал с живейшим любопытством разговор солдат со стариком.

— Иди домой, дьяволина! Вечерять давно собрали, а ты вешаешься...

Минка с видимым сожалением оставил лагерь и побежал в станицу. Синяя рубаха его скоро исчезла в воротах станицы. Старик продолжал сидеть на своих сетях и задумчиво и рассеянно смотрел на светлую гладь реки.

— А што, дедушка, — заговорил Фокин, — не слышал, нету в ваших местах мужика Фокина, Яким Титова?

— А-а? — подняв голову, переспросил старик, — Фокин, говоришь? а каков из себя?

— Так, мелкого роста, сутулый. На лицо со мной схож; борода рыжая...

— Да кто же их тут всех упомнит? — ответил старик после довольно долгой паузы, — умножилось дуже вашего расейского народу у нас... Ты откель, говоришь, родом-то?

— Да мы пензенские.

— Не в примету, брат, не видал, да и навряд он тут: ваши все по Медведице, по Хопру останавливаются, а тут какие по близности, все воронежские...

— То-то я прослыхал в Троицком, — мы в гарнизоне там служили, — как раз случился там в работных людях наш оттольный, пензенский мужик, так он-то и рассказал мне: «Ушел, говорит, отец твой на Дон, в казаки».

— Ну, там, стало быть, не иначе, — сказал старик и встал. — Одначе пойтить, видно, и мне домой, — проговорил он, глядя на станицу, утонувшую уже в летних сумерках, и взвалил на спину свои сети, — прощайте, братцы!

И, покачивая мерно своей широкой спиной, он зашагал и скрылся в сумерках в том же направлении, где за несколько минут исчез Минка.

Фокин лег на спину и вздохнул.

— Эх, спина моя, горемычная спина! — громко зевая, проговорил он и задумался.

Скоробогатов помолился на восток и лег с ним рядом, накрывшись шинелью. Ночь была тихая и ясная. Звезды мерцали в высокой и темной лазури и ласково глядели на землю. Глядя на них, Скоробогатов вспомнил о своей далекой родине, о маленькой деревушке на Волге, близ Ярославля... Что-то там делается теперь? Живы ли его старики и брат? Вот уже третий год, как его взяли, и ни слуху ни духу об них. Домашние картины одна за другой торопливыми вереницами понеслись в его голове, и страстная тоска охватила его. Ему вспомнился такой же тихий и прозрачный вечер дома, на покосе. Так же блестели и мигали звездочки, такая же свежесть была кругом; тоскливые, неотразимо влекущие звуки песни лились и дрожали в воздухе:

Ты об чем, моя кукушечка,
Об чем ты кукуешь?

Хорошо и счастливо все было! Где же все это? Кто отобрал счастье? Кто лишил сил, и здоровья, и свободы?

И другая мрачная и горькая картина сменяет первую и заставляет зануть тупою, неизъяснимою болью его сердце... Под влиянием нахлынувших воспоминаний он горько, неудержимо заплакал, закрывшись ши-

нелюю, и долго судорожно подергивались от не слыш-
ных никому, беззвучных рыданий его широкие, согну-
тые плечи.

IV

На другой день с утра на майдане собрался станич-
ный круг. Тут была почти вся станица, тут были неко-
торые и из российских беглых людей, знавших, зачем
явился князь Долгорукий, но простодушно веривших и
убежденных, что казаки их не выдадут. Более преду-
смотрительные из них скрылись заблаговременно по-
дальше, узнав о цели приезда «царского розыщика», но
другие не только не сочли нужным сделать это, но
даже неустрашимо пришли посмотреть, какой он
есть, этот розыщик, и как-то он «наткнется» на ка-
заков.

Казаки разбились на группы, разговаривали, спори-
ли и браились все по поводу этих же беглых русских
людей. Одни говорили, что надо посмотреть самый
указ царский, подлинный ли он; может быть, это бояре
от себя присылают «ради бездельных взяток своих». Были такие, которые шли и дальше: хотя бы грамота
была и подлинно царская, исполнять ее все равно нет
нужды, потому что на Дону, на всем поле, вольны
только одни они, казаки: захотят — отдадут, а не захо-
тят, так и царь ничего не сделает. Была, наконец, тре-
тья группа, в которой стоял и разговаривал, между
прочим, и Ефрем Петров. Эта группа, самая малочис-
ленная, советовала покориться требованию правитель-
ства, покориться в силу необходимости: у царя боль-
шое войско, и в случае «противности» он может дви-
нуть его на казаков и рассеять их в одно мгновение.
«Пропасть тогда нам и нашим головам», — повторяли
сторонники этой группы.

Было уже не рано, а полковник все еще не показы-
вался из станичной избы. Шум на майдане заметно
начал притихать. Он походил теперь на жужжание
пчел в улье, которые начинают мало-помалу успокаи-
ваться после какой-нибудь тревоги, когда весь рой
вылетал поспешно из улья и грозно гудел, готовясь
к защите. Небольшие группы — человек в пять-шесть,
наскучив ожиданием, отделялись и направлялись к ка-

баку, который находился неподалеку, сейчас за углом проулка.

— Пойти, знать, побеспокоить, — сказал Ефрем Петров и вошел в станичную избу.

Долгорукий встал сердитый, с головной болью и с горечью во рту (вчера вечером он изрядно выпил со старшинами и офицерами). Он потребовал майора и велел ввести в станицу две роты солдат. Через полчаса он вышел на майдан и сел на скамейку за маленьким, аляповато сделанным, некрашеным столиком.

Перед ним стояли казаки в высоких черных шапках — бобровых, куньих и барашковых, в белых, серых папахах, в кафтапах всех цветов — в красных, голубых, желтых, темно-зеленых, в халатах, черкесках и безрукавках; виднелись тут же, в казачьих рядах, и простые российские сермяги. Впереди стоял атаман, старик с сухим, сморщенным и суровым лицом, и глядел немного искоса и исподлобья. Этот взгляд бросился прежде всего в глаза князю и без видимой причины разозлил его. За атаманом стоял есаул с своим длинным есаульским костылем, с ним рядом какие-то старики с большими белыми бородами, за ними — тесно сдвинувшаяся толпа казаков и позади всех небольшая группа казачек. Долгорукий приподнял голову, заметив красивое смуглое лицо какой-то казачки, которая с любознательством глядела на его полковничью треуголку с плюмажем и пуговицей и на длинные, прямые и редкие волосы.

Через четверть часа солдаты рядами вступали в станицу, мерно и в такт отбивая ногами, звякая шпатами и багинетами и поднимая пыль. Казаки глядели на них враждебно. Молодые острили и громко смеялись, ничуть не стесняясь присутствием князя.

— Бритоусые дьяволы! — слышались голоса из толпы казаков и затем покрывались дружным смехом.

— Кислая муница!

— Обжорная команда!

— Указом его царского величества, — начал сердитым, трескучим и слегка осиплым голосом полковник, когда солдаты установились на майдане и выровнялись, — предписано мне...

— П-по-мол-чи, честная станица! — крикнул вдруг громко есаул и взмахнул вверх своим костылем.

Князь на минуту остановился. Смешанный, негромкий говор толпы стал затихать.

— Царским его величества указом, — заговорил опять, сердито сдвинув брови, Долгорукий, — должен я чинить розыск разного роду беглым людям — хлопьям, солдатам, ворах и всем, кои бежали от службы великого государя и от своих господ и укрылись в ваших местах. Кто ежели таковых людей удерживает, тот противность чинит воле его царского величества. А потому вы должны указать и прямо выдать всех пришлых таковых людишек, чтобы я, по указу его царского величества, мог водворить их на своих местах, кто откуда пришел, и руки должны дать в том, что примать к себе больше таковых беглых не будете...

Долгорукий остановился. Круг молчал.

— Слыхали? — возвысив голос, обратился князь к казакам и увидел перед собою упорный, полувраждебный, полупрезрительный взгляд атамана, его суровое, смуглое лицо, увидел угрюмые седые, бородатые лица и ни слова не слышал в ответ.

— Все, кто пришел к вам после второго Азовского походу, — заговорил опять Долгорукий, стараясь придать голосу как можно более внушительности и строгости, — должны воротиться на старые свои места. А теперь вы должны объявиться поименно, все жители этого городка, сколько душ у кого есть.

— Этого допрежь у нас не водилось, — заговорил кто-то среди казаков сзади.

— А-а? — нахмутив брови, крикнул князь своим трескучим голосом.

Никто не отозвался. Войсковой старшина Ефрем Петров снял папаху и, поклонившись кругу, сказал:

— Атаманы молодцы! Послали нас, старшин, из Черкасского города на тот конец, чтобы объявить волю войска — не чините противности царскому его величеству указу...

Сзади, в кругу, зашумели голоса:

— Воля войска, воля войска! А войска и не собирали для совету!

— Говори, атаман, сколько казаков у тебя в стане, — решительно приказал Долгорукий.

— А кто их считал?.. У нас люд не записной, вольный, — невозмутимо-спокойно и не торопясь ответил атаман.

— А?! не записной? — начиная краснеть, крикнул князь еще громче и грознее, чем прежде, — все вы воры и мошенники! Я вам дам «не записной!» Го-во-ри! — хлопнув по столу кулаком, грозно повторил он.

— Нечего мне говорить, — глухо и с расстановкой отвечал атаман, выдерживая грозный взгляд князя, — и никаких воров и беглых у нас нет, и без приказа войска мы не выдадим никого — вот весь мой сказ...

И вдруг, после этих решительно сказанных слов, разом заговорил весь круг, зашумел, загудел, как потревоженный улей.

— А... а... а... — закипел князь, весь багровея и не могши сначала от гнева выговорить ни одного слова, и подскочил к атаману.

— У вас нет?.. Противность?.. Го-вор-ри!.. — крикнул он, сжав кулаки и потрясая ими перед бородой атамана. Левая щека у него судорожно задергалась, и серые глаза округлились и горели огнем. Но тот же спокойный, полуравнодушный, полупрезрительный взгляд узких черных глаз, разозливший князя еще раньше, дерзко, не моргая, глядел на него и сейчас.

— В пыль сотру! — прохрипел взбешенный князь и взмахнул своим пухлым, мягким кулаком.

— Не изволь драться, ваше здоровье, а то ручка отсохнет, — сказал атаман, поймав его руку и отводя ее.

Сзади круг зашумел громче. Нельзя было разобрать, о чем он шумел, но шум был грозен.

— А... а... а!.. Господин майор! изволь взять!.. кандалы!.. всех в кандалы!.. обрить его наголо!.. — затопал князь ногами, обутыми в бабмаки с золочеными бляхами, и вдруг с размаху ударил кулаком есаула, который, получив совершенно неожиданно княжеский удар, несколько раз ковыльнул назад на пятках. Он хотел было уже пустить в дело свой трехаршинный костыль, но был окончательно сбит с ног одним из солдат, которые окружили и схватили под руки атамана.

— Нехристи, супостаты!.. Вы и Расею-то всю перевели, хриstopродавцы окаянные! — вдруг громко закричал атаман с искаженным от злобы темным лицом, усиливаясь вырваться из рук солдат.

Взбешенный князь схватил за бороду какого-то дряхлого старика, который, согнувшись и опершись на свой костыль обеими руками, недоумеая, смот-

рел на него своими выцветшими, полуслепыми глазами.

— А ты что за человек? откуда? — налетел затем Долгорукий на мужика в лаптях и в заплатанной сермяге, и не успел мужик снять свою рваную шапку, как голова его мотнулась набок от удара княжеского кулака.

— Батогов! всех перепорю! Клейми его!

Казаки были совсем озадачены и сбиты. Шум, поднявшийся было между ними, стих и уступил место страху и сознанию своего бессилия и беспомощности.

Атаману на площади стали брить бороду и усы. Он вырывался и отбивался в исступлении от солдат, и лицо его было все в крови от порезов. Тут же нескольких человек из пришлых высекли кнутами, несколько молодых мужиков и казаков забрили и заковали в кандалы, чтобы отправить в солдаты или на галеры. Ужасы, никогда не виданные казаками, испытывал теперь Шульгинский городок.

Станица побежала в разные стороны, кто куда успел. Страх напал на всех, во всех куренях поднялся плач, все стали скрываться в леса, бросая курени и захватывая с собою, что только можно было захватить в такой поспешности.

На другой день то же повторилось в Заказном городке, на третий в Трех-Избянском, на четвертый еще в других. Почти все айдарские казаки стали разбегаться по лесам. Иные побежали на Медведицу и Хопер, разнося по дороге страшные слухи, невероятные прежде у казаков ужасы насилия и надругательства.

V

Голытьба заволновалась.

Второй месяц с Донца бегут и бегут казаки и несут все новые и новые тревожные слухи и страшные вести о царском розыщике: разоряет станицы князь Долгорукий, стариков старожилых бьет и вешает, рвет поздри, заковывает в кандалы и посылает на каторги, молодых казаков берет в солдаты, красных девушек на постелю, а маленьких младенцев кидает за заборы.

И заволновалось все беспокойное, свободолюбивое население Дона, и с ним зашумела казачья голытьба.

Широкая сиротская дорога на Дон никогда не зарастала. Как в обетованную землю, бежали сюда с Руси все обиженные, разоренные, голые, пагие и босые — все, у кого в родных местах горб трещал от нужды, от палок и разорения. Весь этот голодный, обездоленный, несчастный люд на своей родине жил, не видя светлых дней, терпел невыносимую тяготу, переносил ругательства, насильства и всевозможные утеснения; кнут писал на его спине суд и расправу. Непрестанные требования рублей, полтин, подвод, сухарей вымотали все его «животишки», и увечья сопровождали это выматывание. Не виделось впереди конца взяткам и обидам, не виделось конца оброкам и рекрутчине; все обременительнее с каждым днем становились поборы, еще невыносимее гнеты, а ненавистные лиходеи — дьяки и воеводы — еще злее и беспощаднее.

Где же светлые дни? Где правда и справедливость, где праведные судьи и закон? Где нет этого стихийного гнета, этих надругательств и насилия?

Слышал и знал обездоленный и пригнетенный люд об одной вольной земле. Как бедняк, не перестающий мечтать о богатом кладе, мечтал этот народ о воле. Чудною и обаятельною представлялась она в мечтах... Зеленая широкая степь грезилась мечтателю. Гуляют по этой степи люди, равные между собой, ни от кого не зависящие, свободные, как ветер, который вместе с ними летает по широкому, синему простору... Никаких стеснений, никаких ограничений — один простор, одна воля. И гуляют на этой воле эти люди, празднуют и бражничают без конца по чистому полю, сладко пьют и едят, щеголяют в богатых одеждах, не знают подневольного труда... «Живут — не тужат и никому не служат».

И эта мечта кружила и туманила голову. Сердце рвалось туда, к этой очаровательной красавице воле, к этому широкому празднику, неотразимо влекущему своим беграничным удальством, к этой свободной жизни — без господ, без тягла, без рекрутчины, без жестоких воевод и неправедных судей. И бежал по сиротской дороге на тихий вольный Дон обездоленный человек искать приюта и белого света, данного на волю, — бежал, унося в сердце тоску по оставляемой разоренной

родине и злобу против безжалостных злодеев разорителей, начальных людей.

В Хоперских, Медведицких и Чирских лесах находил он приют, безопасность и волю и был уверен, что ничто теперь не может возвратить его назад, к оброкам и тяглу, к воеводам и дьякам.

Но воля оказалась на деле не такой обаятельной и красивой, какую была в грезах забитого и измученного человека, не такой беспредельной и нестесняемой; а благополучия, о котором мечталось до побега и во время побега, и совсем почти не было; тот же холод и голод, та же нужда неотступно ходила следом. Чтобы сладко попить и поесть, чтобы щегольнуть богатой одеждой, приходилось рисковать жизнью; рисковать быть посаженным на кол. Праздник был широкий, шумный, головокружительный, но недолгий и мимолетящий, и та же серая и суровая нужда стояла после за плечами.

Но все-таки жилось легче, чем прежде, потому что не было таких начальных людей, которые могли бы надругаться и изувечить ни за что ни про что, некоего было страшиться и трепетать: все были равны и все становились друг за друга против притеснителей...

Но вот страшная, властная рука протягивается и в эти места, в которых ожившие было от гнета и притеснений люди чувствовали себя вполне безопасными и считали дорогу назад совсем заросшею, — протягивается и требует бежавших «людишек и холопей» назад, грозя кнутом, вырыванием ноздрей и каторгой. Ужас охватывает беглецов, едва успевших вкушать вольной жизни, и страшнее смерти, беспросветнее могилы кажется им все, что они оставили назади, убегая из родных мест. А властная рука все надвигается и грозит раздавить и уничтожить всякое сопротивление.

И заматались в разные стороны, зашумели и заволоновались все «голутвенные» люди.

Они собирались в кабаках, кричали, напивались, шумели еще больше и не знали, что делать. Они были голодны, плохо одеты и плохо вооружены; сильных и удалых людей среди них было не особенно много; все пока были совершенно беспомощны и лишь шумели и бурлили.

Грозный шум и ропот подымался и с другой стороны.

Выросшие на воле, не знавшие ни воевод, ни неправедных судей, привыкшие жить «при войсковой булаве да при своей голове», казаки возмутились бесцеремонным попраи́ем старых, исконных прав своих — не давать в обиду пригнетенных братьев по вере и по народности, нашедших приют на их родном Поле. Еще более возмутились они притеснениями, которые стало терпеть это их родимое Старое Поле — то Поле, за неприкосновенность и волю которого отцы, деды и прадеды их пролили столько крови и сложили много буйных, свободолюбивых голов. А теперь в это Поле вторглись какие-то неведомые и непрошеные царские посыльщики, бояре и дьяки и стали переписывать вольный «незаписной» люд и вымогать насилиями «бездельные» взятки. А на святую, старую Русь сделали нашествие нехристи иноземцы и попирают старую, исконную веру и дом Пресвятой Богородицы...

Гул ропота рос и грозил вспыхнуть и разлить далеко огонь бунта, отомстить за все притеснения, за попрание своих прав, грозил смертью боярам, неправедным судьям, прибыльщикам и немцам.

Но пока совершалось это смутное и грозное брожение на верху Дона, по Медведице, Хопру и Бузулуку, отважный Бахмутский атаман Кондратий Афанасьевич Булавин, не дождавшись отсюда на свой призыв определенно-сочувственного отклика, страшным, кровавым делом положил начало рискованному и безумно смелому возмущению.

VI

Недалеко от Шульгинского городка находилась широкая балка, заросшая густым лесом. По тропинкам, проторенным скотом, сквозь корявые и старые, обломанные дубовые ветви, шатром спутавшиеся наверху, можно было хотя с большим трудом, постоянно пригибаясь, проникнуть в самую середину балки. Тут была небольшая, почти круглая полянка. Молодая трава, поднимавшаяся на ней от недавних осенних дождей, ласкала глаз своим ярко-зеленым, веселым блеском. Густая, почти непроницаемая стена колючего терновника, ронявшего уже свои покрасневшие листья, делала эту поляну почти недоступной и вполне безопасной для

укрывающихся здесь двух старцев Айдарской пустыни, которые успели бежать от князя Юрия Долгорукого. Они уже сделали себе здесь небольшую землянку и зажили тихою, трудовую жизнью.

8 октября 1707 года человек двести вооруженных людей скрывались с самого утра на этой полянке. Они дожидались своего атамана Кондратия Афанасьевича Булавина, который назначил им в этом месте сборный пункт. Все собравшиеся люди имели самый спокойный, обыденный вид; так же, как и в повседневной, обычной жизни, сидели, беззаботно грызли сухари, смеялись и ругались. По-видимому, все ни о чем важном не думали, ни к чему не готовились такому, что потом заволнует и подымает многие тысячи людей.

У землянки, накрытой дерном, сидел на свежем, недавно срубленном обрубе толстого тополя рыжий, невысокий и коренастый человек в лохматой шапке с желтым верхом, в синем коротком кафтане и в пестрядинных портках. Маленькие и умные серые глазки его постоянно перебегали с предмета на предмет. Он вертел в руках кинжал в желтых потертых ножнах и с беззаботной улыбкой смотрел, как два здоровых, молодых, безусых казака играли в чехарду, прыгая друг через друга, падая и хохоча во все горло.

Под поветкой, у самого входа в землянку, спал толстый старый запорожец, уткнувшись лицом в высокую баранью палку и показывая бритый широкий затылок. Он раскидал широко свои ноги, обутые в когда-то щегольские, а теперь стоптанные сафьянные чеботы. Старая, с заплатами, запорожская свитка, во время оно бывшая красной, а теперь какого-то странного, желто-бурого цвета, служила ему подстилкой, а могучее тело, прикрытое одной только худой рубахой, оставлено было на произвол стихий.

Солнце подвинулось уже далеко на запад. Лучи его, прорываясь из серых и рыхлых облаков, которые быстро плыли по небу и собирались на горизонте в тучу, освещали жидким и кротким, осенним блеском поляну. Ветер порывами пролетал по деревьям, шумел в их ветвях, срывал листья и кружил их в воздухе. Высокий старый тополь, раскинувший свои могучие ветви над самой землянкой, трепетал весь от низу доверху своими желтыми листьями, и частый, шуршащий шелест

их был похож на отдаленный, тревожный людской говор.

— Отец Пафнутий! — крикнул рыжий человек, по-лупоротясь к маленькому отверстию в стене землянки, изображавшему окошко.

— Ась? — отозвался оттуда дряхлый стариковский голос.

— Нет ли чего покусать? Оголодал...

— Есть хлебец, коль хощь... грушоники есть...

— Давай-ка их суда! А нашего Афанасьевича все пет... Уж и ночь на дворе...

— Дело-то большое, все с опаской надо, — говорил маленький, сутулый и хилый отец Пафнутий, выходя из землянки и неся в руках краюшку хлеба и груши в деревянной чашке. Он подал все это рыжему человеку, сидевшему у землянки, и стал раскачивать за плечо спавшего запорожца, приговаривая:

— Лука Хохол, а Лука Хохол! Ты бы куда-нибудь перешел в иное место, а то что же тут-то... загородил... э!..

Но Лука Хохол ограничился на это лишь одним сонным мычанием и продолжал храпеть с еще большим усердием.

— Едет, — сказал седой казак, проходя мимо Семена Драного (тот рыжий человек, который разговаривал с о. Пафнутием, был Семен Дранный, казак Старо-Айдарской станицы, впоследствии правая рука Булавина).

— Едет? Ну, слава Богу! — не переставая есть, проговорил Дранный, — давно пора, целый день протомились...

Из-за чащи донесся отдаленный топот копыт скачущей лошади; топот приближался и становился все слышней и слышней, потом он вдруг оборвался и сменился сильным шумом ветвей: всадник пробирался через чащу к поляне по не многим известной дорожке, по которой можно было проехать и на лошади.

Минуты через две из-за покрасневших ветвей клена с лапчатыми большими листьями показался казак верхом на рыжей вспотевшей лошади.

— Здорово дневали, молодцы! — крикнул он громким, разлившимся голосом казакам и бурлакам, которые стали подниматься с земли и подходить к землянке.

— Семен, здорово! — ловко спрыгнув с лошади и зацепив ее по ногам кривой пашкой, висевшей у него через плечо на узком ремне, сказал он Драному, который встал с обрубка, но продолжал есть.

— Слава Богу, Кондратий Афанасьевич, — кланяясь и отбирая у него повод лошади, сказал Драный, — долго ты чего-то... я уже вот, грешным делом, и проголодался...

— Сразу ничего не сделаешь — не такое дело! — сказал Булавин, садясь на обрубок.

Булавин был казак лет сорока пяти, высокого роста, с роскошной черной бородой, отливавшей чуть заметно красноватым цветом, с красивым, правильным, сухим лицом, с живыми и блестящими глазами. Темно-зеленый теплый казачий кафтан ловко сидел на нем и плотно обтягивал его сильное тело. Бобровая шапка с голубым верхом и с широким серебряным позументом, надетая набекрень, открывала с левой стороны его черные вьющиеся, подстриженные по-казацки волосы. Голубые шаровары дорогого английского сукна, сафьянные желтые сапоги с красивыми узорами на голенищах, пестрый шелковый пояс, за который был воткнут кинжал с дорогой костяной ручкой, — одним словом, вся роскошная, по-казацки, одежда его показывала в нем богатого, щеголивого казацкого атamana.

— Ну вот, милые мои братцы и молодцы, — заговорил он, обращаясь к собравшейся и окружившей его толпе, — говорить вам долго не буду, — сами ведаете, на какое дело идем и за что руки мы промеж себя давали... Нонешней ночью надо нам совершить, о чем мы пересоветовали и уговорились, стало быть, хлопотете, как не могá больше... Чтоб голов нам своих зря не погубить! Вот в чем я вас больше всего, молодцы, попрошу...

Он остановился и поглядел на тесно сдвинувшуюся толпу. На всех лицах было напряженное и торжественное внимание; даже вечно сонные и пьяные глаза запорожца Луки Хохлача выражали теперь эту напряженность и внимание.

— В чем я вас попрошу, молодцы, — продолжал Булавин, — это чтобы наипаче всего тишину блюли... Их — много, а нас — чего тут? горсть! Никто чтобы ни шорохнул, ни ворохнул. А как я знак подам, тогда

попроворней — уж сами вы там знаете. Спускаю им, супостатам, никакого не давать: они не жалели, грабили нас. Помните лишь, что на случай неудачи нам — конец!.. Сами уже об себе промышляйте. Ну, думаю, что Пресвятая Богородица поможет нам против притеснителей... Как стемнеет, тогда подойдите и остановитесь за станицей, а я зараз поеду. Илья, убирайся со мной!

Высокий казак, сухощавый и черный, с торчащими врозь из-под шапки курчавыми волосами, отделился от толпы и пошел за лошадью. Казака этого звали Ильей Гуляком. Он был первый удалец и песенник по всему Айдару.

VII

Князь Юрий Владимирович Долгорукий уже второй месяц кутил с старшинами и офицерами в Шулгинской станице. Наступила осень, хотя теплая и больше похожая на весну в этом краю, но все-таки очень скучная. Князь стал уже порядочно тяготиться своим пребыванием среди казаков, тем более что их осталось меньше половины, а остальные неведомо куда скрылись. Да и эти, оставшиеся, глядели так угрюмо, косо и загадочно, что лучше было бы, если бы их и совсем не было. Вчера бежали из полка два солдата — Фокин и Скоробогатов, три дня назад сбежала казачка Аксинья, на которую князь израсходовал немало денег и которую в течение трех недель называл своею «сударушкою», не предполагая, что она огорчит его таким неожиданным и неблагодарным поступком. Князь утешал себя лишь тем, что все эти три дня и ночи напролет кутил с старшинами и офицерами.

Обыкновенно бывало так: первым являлся Ефрем Петров. Он с неизменною аккуратностью, беззаботно посвистывая и не снимая папахи при входе, вынимал из-под полы своего красного кафтана сулею с вином и ставил на стол перед полковником.

— Есть? — задавал серьезно свой обычный, ежедневный вопрос князь и получал такой же обычный и неизменный ответ:

— Уж я не достану, кто и достанет...

Затем приходил толстый майор-немец с красным,

широким, добродушным лицом и с желтыми кудрями и тоже ставил на стол штоф.

— Есть? — спрашивал князь.

— Москателен-вейн, — широко и глупо улыбаясь, отвечал немец.

Третьим являлся обыкновенно Григорий Машлыкин или кто-нибудь другой и точно так же, как Ефрем, не снимая папахи, отвернув полу кафтана, извлекал бутылку.

— Померанцевая, заморская! — торжественно говорил он, ставя ее на стол.

— Знато! — тем же тоном отвечал князь.

И так один за другим являлись остальные старшины и офицеры, и каждый обыкновенно приносил по бутылке с вином или водкой.

Изба, пропитанная винным запахом уже с первого дня приезда Долгорукова, тотчас же наполнялась табачным дымом и винными испарениями. После первых трех рюмок наступало веселое оживление, все начинали разом говорить, смеяться без причины, расстегивали или даже совсем скидали верхнее платье. Первый пример подавал хозяин — князь, который сильно потел и всегда сидел в одной рубашке.

— Григорий! чеколату хочешь? — громко и весело кричал Долгорукий, обращаясь к Машлыкину.

— Чаво-о?

— Чеколату! Мне из Петербурга связку целую прислали...

— А это што за штука?

— Штука, брат, занятная!.. вроде кофеею или бы...

— Тыфу!.. — ожесточенно плевал Машлыкин, отворачиваясь в сторону, — на кой она мне идол?! Кофеей на семи соборах проклят!..

Князь заливался раскатыстым, довольным хохотом. Ему вторил немец-майор, а за ним и все остальные. Все смеялись, не зная чему, но всем было просто очень весело. А чарка еще несколько раз обходила кругом стола.

8 октября в станичной избе происходила такая же обычная пирушка. К девяти часам вечера все были уже значительно нагружены, все были веселы, все шумели. Ефрем Петров, сбив на затылок папаху и нагнувшись к князю, говорил:

— Ты попроси меня — в одну минуту оборудую!..

— Н-ну?! а есть?.. — с блестящими глазами спросил князь.

— Насчет баб?.. Го-о-споди Боже мой! Чего больше!.. Тут зараз нет, а знаю, где есть. В Старом Айдаре аль в Закатном надо искать: там по этой части — стога...

— О?..

Долгорукий поднялся с места и протянул руку Ефрему.

В это время с улицы донеслись стройные и плавные звуки песни. Один голос — густой, немного надтреснутый, какой бывает у людей, большую часть времени проводящих на открытом воздухе или у пьющих, — вел ровную низкую ноту; другой — резкий и высокий, но гибкий грудной подголосок — заливался красивыми и причудливыми переливами, то удаляясь и замирая, то поднимаясь и звеня на высочайшей ноте.

— Кто это? — с удивлением вслушиваясь, спросил Долгорукий, — солдаты?..

Он ни разу за все два месяца не слышал ночью песни в Шульгинском городке; днем иногда пели солдаты.

— Какие солдаты! наша казачья песня, — с оттенком досады в голосе сказал Машлыкин. Он до страсти любил слушать и петь свои казачьи песни.

— А играют знатно!.. Ну-ка, заверни их, Ефрем, — сказал князь.

Ефрем вышел на майдан. Он довольно долго оставался там и, наконец, возвратился, ведя за собой двух человек. Один из них был Кондратий Булавин, другой — Илья Гуляк. Оба они, войдя в станичную избу, отыскиали сначала глазами икону и довольно долго, пораскольниковичьи, молились на нее.

— Пир да веселье вашему сиятельству и всем председателям! — громко сказал, помолившись и кланяясь низким, почтительным поклоном, Булавин. Илья Гуляк молча поклонился вместе с ним.

— Здоров! Кто ты есть, какой человек? — строго насупившись, спросил Долгорукий.

— Кондратий Афанасьев сын Булавин, атаман Бахмутского городка...

— А, Булавин? слышал, брат, слышал! — заговорил вдруг весело Долгорукий, — ведь это ты Шидловскому полковнику да Горчакову носы-то утирал?

— Это точно... Было дело...

— М-ма-ла-дец! похваляю!.. Слыхал, слыхал! И варницы соляные у казны отбил?.. А ты, брат, того... разбойник, а молодец! Право, молодец!..

— Не побрезгуй, ваше сиятельство, на угощении. Ежели милость твоя будет...— заговорил, перебивая, Булавин и вынул из кармана бутылку вина.

— Вот люблю за обычай!.. Славный ты парень! — воскликнул совсем весело и одобрительно князь, — а это что? и ты?.. знатно! — прибавил он, увидев, что и Гуляк молча достал из кармана бутылку и поставил ее на стол.

— Ефрем! наливай! — крикнул в восторге князь, — садись, ребята!

И опять пошла кругом гулять чарка. Дым табачный, духота и жара постепенно усиливались и кружили головы опьяневшим уже старшинам и офицерам. Через полчаса князь, весь красный и вспотевший, смотря на все пьяными, счастливыми глазами, просил Булавина петь ту песню, которую он пел на улице. Булавин все отказывался, говоря:

— У нас ведь песни-то какие!.. Может, вашей милости и не по ндраву...

— Валяй! чего там!..— кричал во все горло князь.

Майор-немец, сидевший на конце стола возле князя, заснул, положив на стол свою лохматую голову. Князь сильно толкнул его кулаком в плечо, и он, покачнувшись и потеряв равновесие, медленно и грузно свалился на пол, но не проснулся. Панкрат, денщик князя, с трудом оттащил его за ноги в угол. Машлыкин, забившись в задний угол, где он всегда обыкновенно садился, тоже дремал. Младшие офицеры и один старшина ушли на свои квартиры. Ефрем Петров запевал тонким, фальшивым голосом песню и бросал на первых же порах со словами: «Нет! нагустил!»

— Либо уж сказать одну? — обратился Булавин к Гуляку.

— Как знаешь, — ответил Гуляк и кашлянул в руку, готовясь петь.

— «Ой да чем наша славная земелюшка распахана», — облокотившись на стол и глядя вниз, запел Булавин своим густым, сильным басом и махнул рукой Гуляку. Тот подхватил, и те самые плавные и тоскливые звуки, которые слышались с улицы, полились те-

перь и заполнили собой всю избу. Задремавший Григорий Машлыкин вдруг встрепелся, вышел из своего угла к столу и стал помахивать плавно руками, умильно и счастливо глядя на певцов. Долгорукий опустил голову и, задумавшись, слушал внимательно эту незнакомую ему, горькую песню, и какое-то безотчетно-грустное настроение овладело им.

Песня говорила:

Не сохрани-то славная земляночка наша распахана, не плугами,
Распахана наша земляночка лошадиными копытами,
А засяна славная земляночка казацкими головами.
Чем-то наш батюшка славный тихий Дон украшен?
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами.
Чем-то наш батюшка тихий Дон цветен?
Цветен наш батюшка славный тихий Дон, цветен?
Чем-то в славном тихом Дону волна наполнена?
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими-материными
слезами.

— А песня, брат, знатная! — сказал князь, когда Булавин и Гуляк кончили петь, — только ты извини меня, брат Кондратий... как тебя там по батюшке-то?

— Афанасьев сын...

— Ну, Афанасьевич, извини, брат, а рожка у тебя самая разбойничья.

Булавин рассмеялся с самым, по-видимому, добродушным и безобидным видом.

— Нехороший взгляд! — не улыбаясь и настойчиво добавил Долгорукий, пристально глядя на него своими мутными, пьяными глазами. Потом, помолчав довольно долгое время, он взял Булавина за плечо, потрепал и сказал уже сонным голосом:

— А как у вас там... в Богучаре или где это ты живешь-то... насчет... гм... живого мяса?..

— Насчет, то есть, бабьей части? — показывая белые сплошные зубы и блестя глазами, спросил Булавин, — это у нас свободно... Да тебе, ваше сиятельство, в такую даль зачем? Ты бы тут потрудились себя пройтись по станице да пустил бы взор кой-куда...

— Нету! Ефрем сказал — нету! — с безнадежной уверенностью сказал князь.

— Ан есть! Я давеча у шинкаря тутешнего, у грека, видал: жена ли, сестра ли — не знаю, только, ах, добродная, собаки ее заешь!..

— О?

— Божиться только не хочу, а то — верное слово!..

Долгорукый опять протянул руку к широкому плечу Булавина и стал трепать его, улыбаясь и пристально глядя ему в глаза.

— Ежели хочешь, государь мой,— близко нагибаюсь к нему и глядя на него в упор, вполголоса заговорил Булавин,— ежели желательно, обхлопочу — раз тут будет...

— Ммм... н-не- вр-решь?..

— Проводи лишь гостей,— прошептал он, взяв бесцеремонно княжескую голову своей широкой рукой и нагнув ее к себе.

— Дело! — сказал заплетающимся языком князь, качнул головой и громко крикнул:

— На покой всем! Живо!

Ефрем Петров, дремавший, прислонясь спиной к стене и испачкав в белую глину свой кафтан, вскинул удивленно глаза, потом, сообразив, в чем дело, засуетился, отыскал шапку и, повторяя: «Ведь и то пора! и то давно пора!» — стал раскачивать за плечи спавших сидя двух других старшин: Обросима Савельева и Никиту Алексеева. Григорий Машлыкин молча встал, надел свою мохнатую шапку и, не прощаясь ни с кем, вышел. Булавин без шапки вышел за ним и догнал его на майдане.

— Григорий, погоди-ка! — сказал он ему.

Машлыкин остановился в ожидании... Булавин подошел к нему, обнял одной рукой его за плечи и, нагнувшись так близко, что борода его захватила по лицу Машлыкина, стал говорить:

— Вот чего, друг Григорий... Зараз, как домой придешь, оседлай лошадь и езжай из станицы. И товарищам скажи своим... А то как бы не было плохо!

Машлыкин испуганно посмотрел на наклонившееся к нему красивое, возбужденное лицо Булавина и робко спросил:

— А што? Ай чего вздумал?.. Гляди, Афанасьевич, кабы промашки не было?

— Слыхал, чего я сказал? — перебил холодно Булавин и, не дождавшись ответа, прибавил: — Гляди же! — и повернул назад к станичной избе.

У дверей избы он нашел Гуляка и что-то шепнул ему. Гуляк снял шапку, перекрестился и быстро, но без малейшего шума побежал от избы к станичным

воротам. Булавин постоял, посмотрел вверх, в застланное сплошными облаками небо, и по сторонам, и ничего не увидел, кроме глубокой темноты осенней ночи. Ночь была тихая и теплая. Мелкая и влажная пыль стояла в сыром воздухе. Земля после недавних дождей была еще мягкая и несколько сырая. Шаги по такой земле были почти совсем не слышны.

Булавин сел на рундук у дверей станичной избы. Все посетители Долгорукого, кроме майора-немца, уже разошлись по своим квартирам сейчас же вслед за Григорием Машлыкиным, так что Булавин и не видел, кто куда пошел. Приотворив дверь, он увидел только, что князь разлегся на лавке и козловатым, диким голосом напевал:

Ба-ху-се пья-ней-ший главо-бо-ле-ния,
Баху-се мер-зей-ший руко-тря-се-ния...

Кондратий осторожно, на цыпочках вошел в избу, взял с лавки свою шапку и вышел незамеченным опять на рундук.

Тишина была невозмутимая. Ни малейшего звука, ни шороха не было слышно в станице. Солдаты, расставленные на квартире по казачьим курениям, спали глубоким сном. Булавин, сидя на рундуке, слышал лишь мерное храпение майора-немца да голос Долгорукого, разговаривавшего с самим собой и по временам начинавшего петь:

Бахусе хребтом вихляния...

VIII

— Готово! — шепотом сказал вдруг выросший точно из-под земли Лука Гуляк.

Булавин вздрогнул от неожиданности и, поднявши голову, проговорил:

— Ну, пойдем. Благослови, Господи!..

Они вошли в избу. Князь сидел на лавке, расстегнув воротник рубахи и обнажив волосатую, мягкую от жировых наростов грудь. Он покачивал головой в такт напеву своей песни, похожему на известный церковный напев. Булавин остановился у печки и, прислонившись к ней, стал глядеть на растрепанного, пьяного

князя с злорадной усмешкой, а Гуляк, не останавливаясь, прошел в другую половину избы, где спал денщик Долгорукого.

— Ты губернатор, и ч-черт с тобой! — переставши петь, но продолжая покачивать головой, заговорил Долгорукий, — ты, думаешь, птица большая? Ха!.. Я сам вон какой крови... Придет наше время! Ты не думай, брат... Ныне и пирожники в светлейшие пожалованы... да ненадолго... — рассуждал он, размахивая руками и не замечая Булавина.

— Придет мое время — я покажу!.. Т-т-тварь к-какая-нибудь!.. Ба-ху-се, верным тош-но-та, Ба-ху-се, пор-тов про-пи-тие...

— Пирожники... немота... и всякая пакость... Наш род издревле... Ты исхлопотал, чтобы послали меня ворон ловить, думаешь, угрозил этим? Э-эх ты... губернатор!.. Ты кто? — подняв голову и свирепо смотря пьяными, бессмысленными глазами на Булавина, крикнул он.

— Эка очижелел ты, ваше сиятельство! — сказал Булавин, делая шаг к нему.

— Ч-чего надо?! В шапке передо мной... Долой, сволочь!.. — вскочив с налившимися кровью глазами, крикнул Долгорукий тем самым трескучим, хрипатым голосом, которым нагнал страху в первый день своего пребывания в Шульгинском городке.

Булавин подошел к столу. Князь вдруг схватил чарку и с размаху кинул ею в него, но промахнулся. Чарка пролетела далеко мимо и со звоном ударилась в дверь.

— Передо мною в шапке! Смерд!.. Смеяться?! — продолжал кричать князь, но в это время Булавин размахнулся и ударил его кулаком в голову. Князь упал на лавку, как-то странно болтнув головой и ударившись сильно ею об оконный косяк.

— О-о!.. Ч-черт!.. Ах ты... Ты что же!..

И крепкие ругательства посыпались из уст князя. Собрав силы, он вскочил опять, но почувствовал, что в глазах у него начинает желтеть и все перед ним кружится, только этот черный, огромный человек стоит и злобными глазами усмехается. Вот он опять взмахнул рукой, и князь тотчас же вслед за этим взмахом ощутил в своем горле что-то холодное, острое и неприятное... Черный человек запрыгал, захрипел, оскалил

белые зубы... Князь хочет кинуться на него и душисть, душисть... Он делает отчаянное усилие, взмахивает руками, но опять острее и холодное впивается несколько пониже, потом горячая струя обливает его.

— Ах ты — хрипя и падая произносит последнее ругательство князь и бьется на полу, судорожно царапая руками.

Но Булавин, не посмотрев даже на его последние судороги, хладнокровно наступает ногой на голову безмятежно храпевшего майора и вонзает книжал в правый его бок. Гуляк, входивший в это время из другой половины, крикнул с громким смехом:

— Оставь! не порти кафтана!

Булавин ударил ногой забившегося на полу немца и выбежал из избы, оставив Гуляка покопчить с ним.

Безмолвная, зверская резня закипела в станице. Ни пощады, ни жалости тут не было; была одна страшная месть озлобленных и оскорбленных людей своим притеснителям. В какой-нибудь час все было кончено. Тысяча солдат, десять офицеров и полковник князь Юрий Владимирович Долгорукий — все были перебиты и перерезаны. Пожжены были лишь старшины.

Булавин слышал, как Ефрем Петров, скача по улице к воротам станицы, что-то кому-то кричал, потом видел, как вслед за ним промчались еще четыре всадника, и знакомый ему голос Григория Машлыкина крикнул:

— Гребли, ребята!

И удалившийся дружный топот их лошадей скоро замер в немой темноте ночи...

К утру за станицей были уже готовы две огромные ямы. Тела убитых сваливали на повозки и везли туда. Некоторые казаки успели уже напиться. Горбоносый целовальник-грек был за что-то страшно избит, тощий и юркий казак Никита Желтоус щеголял уже в темно-зеленом майорском мундире с позументами.

— Эх, жирный черт этот немец, разьелся! — говорил он, помогая взвалить на арбу желтокудрого толстого майора и чувствуя себя как бы обязанным отдать сей последний долг тому, в чьем кафтане щеголял.

— Хлеб вольный ел, — сумрачно заметил старый бурлак с седой бородой, начинавшей почти от глаз,

Взошло солнце, веселое и нежаркое, осеннее солнце. Облака сбежали на запад; день был ясный и свежий;

молодая и яркая зелень весело блестела по степи от сильной утренней росы; леса с пожелтевшей и покрасневшей листвой стояли спокойно и задумчиво.

Казаки зарыли убитых и начали гулять.

На речке лазоревой

I

Кажется, все уже было готово, Устин несколько раз заглядывал в окошки моленной, где занимал меня разговором его отец, Савелий Андреевич, а я перелистывал его любопытнейшие рукописные «цветнички» — сборники правоучительных сказаний. Старик немножко вздыхал, рассказывая мне о вероисповедной розни, водворившейся в его семье: сам он с старухой примыкал к поморскому согласию, сыновья ушли в беглопоповщину; внуки, пока были малолетними, молились в моленной деда; выросли — перестали молиться, никуда не ходят и, кажется, тайком покуривают табачок...

— Вот и идет промежду нас разнообразие, — грустно говорил Савелий Андреевич, — перекоряться не перекоряемся, не квелим друг друга, а едим все-таки не из одной чашки... Ничего не поделаешь...

В чистенькой, чрезвычайно благообразной моленной было прохладно и тихо, пахло васильками и самодельными восковыми свечами, и лишь одна-единственная муха жужжала и сердито билась на радужном стекле окошка. А на дворе висел сорокаградусный зной, шумно толклись людские голоса, и лошади без устали мотали головами, отгоняя мух...

Предстояла поездка на рыбную ловлю.

Я вышел из моленной, когда подвода с неводом и бреднями, похожая на пухлый и вздрагивающий ворох сетей, уже выехала за ворота. На двух телегах тесной грудой уселись казаки-рыбаки, все молодежь, веселая, шумная, наклонная к крепкой и острой шутке. Третья подвода ждала меня. Чернобородый Устин, державший у груди большую бутыл, стыдливо прикрытую старой парусиновой рубахой, и лицом, и всей фигурой выражал сугубую озабоченность и очевидное желание воз-

можно скорей двинуться в поход. Но около него стоял, спиной ко мне, дюжий, широкоплечий человек в фуражке не казачьего образца (с алым околышем), в каких были все мои товарищи по охоте, а синей, с красными кантами, похожей на жандармскую. Рубаха у одного плеча была широко разорвана, синие штаны сзади были разрисованы пестрым узором заплат, а на ногах были желтые туфли,— очевидная претензия на моду.

Устия сдавленным, увещающим голосом говорил своему собеседнику:

— Да не время! пойми ж ты... зайдешь после... вст, ей-Богу!..

А тот возражал что-то, чего мне не было слышно, но, очевидно, веско и убедительно, судя по жестикуляции локтями и плечами.

Я подошел к телеге. Человек в полпцейской фуражке приложил руку к козырьку и, подавшись вперед своим дюжим корпусом, ответил на мой кивок тем молодцевато-громким, радостным голосом, каким нижние чины приветствуют начальство.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

По светлым, умиленным глазам и по запаху можно было догадаться, что собеседник Устина обретается в легком подпитии.

— К вашей милости, ваше высокоблагородие...

Не знаю, всерьез или иронически он титуловал меня высокоблагородием, но я чувствовал от этого изрядное смущение и хотел сказать: «Не надо знаков подданства».

— Я — Кондрат Чекушев,— может, знаете,— Луки Назарыча сын... Чекушев...

— А-а, Кондрат! — Я искренне обрадовался человеку в полицейской фуражке: мой сверстник, с которым когда-то дрался я многократно на улицах станции,— давно это было, и время изрядно-таки изменило обоих нас.

— Почему же ты меня высокоблагородием все величаешь? — спрашиваю.

— Помилуйте, Федор Дмитриевич, я же дисциплину знаю... Слава Богу, служил, серебряный шеврон имею за беспорочную службу...

— В чем же дело, Лукич?

— А вот... к вашей милости...

Он выдернул из штанов и поднял рубаху, обнажив широкий волосатый, с двумя крупными бородавками и черным пупом живот.

— Извольте видеть синяки... под девятым ребром?..

Я осмотрел его мускулистые бока, смуглые, покрытые пупырышками грязи.

— Да, пятно есть.

Чекушев опустил рубаху и торжествующим тоном коротко сказал:

— Сын!..

— За что же?

Он недоуменно развел руками:

— Непорядки за ним нахожу, а он вот... на ответ...

И устремил на меня пристальный, ожидающий, скорбный взгляд. Квадратное костлявое лицо его с грушевидным носом и клочками бороды выразило даже как бы упрек, — если и не мне, то, во всяком случае, миру. Я молчал, не зная, чем утешить товарища детских лет.

— Где же я сейчас должен отыскивать права? — спросил Чекушев, и голос его звучал строго.

— Какие права?

— А насчет сына? Должен я его взять в переплет или нет? Как по-вашему?

Тон его становился уже взыскательным, и я решительно начинал чувствовать себя виноватым. На вырuchu пришел Устин.

— Как же ты, братец, служил сколько лет в стражниках, а правов не знаешь?

— Я права знаю... я найду права! — с достоинством, твердо и многозначительно, возразил ему Чекушев, — но мне желательно было вот у их высокоблагородия ума зачерпнуть... Как говорится, что лучше: спросить или не спросить?

Тон его положительно импонировал и поучал, и, в сущности, не ему у нас, а нам бы у него спрашивать каких-нибудь руководящих указаний.

Поговорили о «правах». Я — не юрист. Но когда приезжаю в такой глухой уголок, как моя родная станица, силою вещей всегда ставлюсь в необходимость давать консультации по самым разнообразным вопросам. Разъяснил и вопрос Чекушева, поскольку позволили мои юридические познания. И затем полез на

телегу, думая, что консультация кончена. Но Чекушев опять остановил.

— Позвольте еще пару слов, Ф. Д. Вот какое дело: вы науку личного магнетизма и гипнотизма знаете?

— Нет.

— Видите, какое дело... Пишут они, что, дескать, желаете иметь капитал и все прочее, то изучите науку личного магнетизма. И, например, так даже сулят: вот входит человек, скажем, больной,— глотка ли, глаза ли... Посмотрел на него, усыпил,— он проснулся и — здоров!..

— Тьсс...— искренне изумился стоящий неподалеку Савелий Андреевич.

— Ну, послал я им письмо, а они мне оттоль письмо за письмом: 12 рублей курс... Письмо за письмом! А не желаете сразу 12, можете сначала 6, а после, ежели наша наука в пользу вам пойдет, вы сами шесть дошлете... А в инаковом, дескать, случае мы и деньги назад отдадим...

— Вот что, Кондрат Лукич,— говорю я, набравшись решительности,— и приятно бы побеседовать с тобой, но — видишь, ждут меня, надо ехать.... Насчет гипнотизма зайди в другое время...

— Что ж, очень слободно. А вы рыбалить?

— Рыбалить.

— Так что ж, пожалуй, и я с вами могу... Реку я знаю, даже как свой пальчик,— каждую ямку, каждую тырчинку...

Устин досадливо крикнул, Савелий Андреевич усмехнулся в бороду. Видимо, были они против этой неожиданной компании. Притом и самолюбие их было уязвлено Чекушевым: как давние рыбаки, они менее всего нуждались в чьих-либо указаниях касательно ямок и тырчин в своей реке.

— Я ведь и говорил давеча ребятам,— с добродушным лукавством заметил Савелий Андреевич,— что, мол, ребята, не сходить за Кондрашкой?.. А он вот сам пришел, Бог дал...

Сзади на телегах засмеялись. Послышались веселые замечания с пряными словечками, обидные для Чекушева. Он поднял палец и сказал, оглядываясь в сторону казаков:

— Молоды еще подо мной клинки подбивать!.. Я больше того перезабыл, чем вы знаете...

Был в нем, очевидно, какой-то гипноз умелой наглости и самоуверенности, который сковал нашу волю. Никому не хотелось участия его в нашей артели, а отказать не хватало духа. Устин сослался было на тесноту и отсутствие места в телеге, но Чекушев уверенным голосом сказал:

— У-у, я и на гвозде усiju!..

И вслед за мной сел на телегу, сзади, свесив ноги к колесу.

Пришлось мириться с фактом. Тронулись...

II

Трясая телега с крутыми боками, узкая и тесная, была похожа на лодку. Сидеть было неудобно, но мы уверяли друг друга, что ничего, хорошо. Устин бережно, как малого ребенка, держал на коленях четвертную бутылку с красной казенной печатью. Его брат, черноусый Ванятка, молодой, еще неслужилый казак в голубой фуражке и белой рубаше с вышитым воротником, стоя на коленях, правил лошадей. Прикрикивал, гикал, ухал, свистал и угрожающе взмахивал не кнутом, а кнутовищем, — хотелось ему щегольнуть конем, показать, что кнута не надо, добра лошадка и так... Сухопарый рыжий мерин, догадываясь, что требуется оправдать репутацию, — хозяин, конечно, слегка прихватнул на его счет, — изо всей мочи старался не ударить в грязь мордой. Рысь развил он отменно великолепную, чистую, спорую, щеголеватую, без сбоев. На встречах буерачках и бороздах телегу нашу с треском подбрасывало вверх, встряхивало, грохало. Устин два раза стукнул меня головой в подбородок, и каждый раз горестно и сконфуженно кричал. Один раз я прикусил язык, в другой раз опрокинулся на Чекушева, сидевшего за моей спиной, и, вероятно, зашиб его локтем, хотя он виду и не подал.

Но ему менее всего доставляла удовольствия наша лихая езда, — сидел он в позе явно неудобной, свесив ноги к колесу, с высоко поднятыми коленями. Он, наконец, не выдержал.

— Куэ-чер! Ку-э-чер! — сказал он барским тоном, каким, по его предположению, должен был быть этот тон, — растягивая слова и коверкая гласные звуки, — а

ты все-таки бери во внимание дорогу! Это тебе не соша...

— Слушаюсь, ваше благородие, господин дворянин! — неуважительно-весело отозвался Ванятка.

Оглянувшись на минутку, сверкая белыми, весело оскаленными зубами:

— Живот растрес? Для такой сурьезной комплекции дорогу починить бы надо...

— Взялся кучером, то и правь форменно! — строго наставительным тоном продолжал Чекушев, грозя пальцем, — чтобы видно было, что ты есть кучер с мозгами... Дилижан должен идти у тебя как на лесорах...

— Слушаю, господин дворянин! Эй ты... ка-рандаш!..

Рыжий мерин, ослабивший было, пользуясь разговором, на несколько мгновений свое старание, опять прижал уши, чувствуя поднятое над собой кнутовище, и поддал ходу. И опять взлетала ввѣрх и безудержно грохотала наша тряская телега.

— И кто это узаконил эти фурманки, будь они прокляты! — прокричал сквозь грохот колес Чекушев, держась руками за грядку.

— Хлеб насыпать, — удобные штуки! — закричал Устин в ответ ему.

— Какое же удобие — ни протянуть ноги, ни свесить!

С задних телег долетал шум веселых голосов, взрывы смеха. Верхами на неоседланных лошадях догнали и обогнали нас еще трое участников похода на рыбу. Курносый, квадратный, неуклюжий с виду Давыдка, сын Устина, показывал приемы из области джигитовки: доставал земли, на карьере соскакивал с коня, держась за холку, перекидывался на другую сторону, садился лицом к хвосту, — выкидывал штуки, как настоящий джигит.

Устин поощрительно кричал:

— Ну-ка, ну-ка, Давыдка, покажи практику!..

Давыдка нагнал скуластого, черного Андрона с толстыми, серьезными губами, обнял его, и с минуту они скакали рядом в трогательно-дружественной позе. Потом Давыдка вдруг сдернул с Андрона фуражку, бросил ее в сторону и ускакал. Андрон забарабанил пятками в бека коня и ринулся в погоню за вероломным другом. За Андроном вынесся изящный белоку-

рый Егор Чеботарь. Вдвоем они поймали Давыдку, отхлестали поясными ремнями, стащили с лошади. Но он успел ухватиться за хвост скакавшему коню, долго бежал, не отставая, и как-то сумел опять вскочить ему на спину, презирая опасность сломать шею.

Мчались мы как будто и очень лихо, а впереди и позади, направо и налево была все та же плоская, широкая луговина, сожженная солнцем, выбитая табунами, — светло-бурая ширь с сизо-дымчатыми и редкими зелеными пятнами. Рассыпались по ней курчавые дикие яблоньки и старые дуплистые вербы в мареве. В одной стороне горизонта — синяя полоска леса, в другой — длинные холмы, изрезанные глинистыми оврагами, словно морщинами, а среди них ровными квадратами легла темная, сочная зелень бахчей. У подошвы разбросался хутор Чигонацкий с белыми домиками в садах.

Простор и дали под ярким, знойным небом глотают бесследно голоса людей, стук телег, конский топот. Высок шатер и необъятен, и все на жаждущей земле под ним глядит таким игрушечным и маленьким: и яблоньки, и лес далекий, и хуторские домики в садах, овраги на горе, болотца с узкой каймой зелени и хохлатыми чибисками, табун овец и крылья мельниц. Все крошечное и в знойном сиянии дня — томно неподвижное, почти застывшее.

Бегут кони, тарахтят телеги. Трясемся мы в них тесной, жаркой грудой. А все еще не видать Медведицы, нашей речки милой, тихой и песчаной. Все еще сбоку, под горой, тянется-бежит рядом с нами хутор Чигонацкий, его белые домики, его вербовые левады, гумна, ветряки.

— Ну и хутор у вас! — говорит Чекушев, помотав головой.

Устин вопросительно оглядывается: в чем дело? плох или хорош? Кондрат сам живет не в хуторе, а в станице. Притом, как человек городской по предшествующей деятельности, — он был сколько-то лет надзирателем в остроге, а после служил в стражниках, — человек, выдавший виды, склонен к высокомерной критике.

— А что? — спрашивает Устин, — какое замечание имеешь?

Качает Чекушев головой, насмешливо и укоризненно:

— Никакого плану!..

— Сидит раскидисто, это верно, — немножко виноватым голосом говорит Устин.

— Про наш хутор говорят, — прокричал весело Ванятка, — бирюк бежал да на обе стороны клал, — вот и вышел хутор Чигонацкий...

Смеемся: не мимо сказано.

— Вот Вильня — городок хороший, — говорит Устин, вздыхая.

— Вильня? — пренебрежительно отзывается Чекушев, — а в Одесте был?

— Нет. Наш полк в Вильне стоял. В Одесте не припало.

— А-а! Вот городок! Имеет свою приятность...

В тоне Чекушева слышится хвастовство, плохо скрываемое сознание превосходства перед нами. Это слегка подавляет и рождает досаду. Хочется сбить чем-нибудь хвастуна.

— А в Черкасске был? — спрашивает осторожно Устин.

— В Черкасске? Нет, не довелось.

— А-а... то-то!.. — В голосе Устина звучат торжествующие ноты. — А я был! Тоже — городок аккуратный...

Рыжий мерин, весь взмокший и потемневший, наконец домчал нас до Медведицы. Из испытания он вышел с честью, но едва не свалил нас в яр, — с трудом остановил его бег наш бойкий возница.

— Вот лошади! пуля, а не лошадь! — гордо воскликнул Ванятка, въезжая в тень от вербы.

— Тибетская? — деловым тоном спросил Кондрат, с видом знатока осматривая ноги, грудь, спину, ноздри мерина.

— Корсак!

— Маштакоч ухватистый, — не спеша, снисходительно замечает Чекушев.

— Двужильный! — уверенно говорит Ванятка, — какой воз ни наклади — кряхтит с превеликим удовольствием.

— Лошадь своей цены стоит...

Мерин, по-видимому, совершенно равнодушно пропускал мимо ушей эти замечания: он тяжело водил

мокрыми боками и усердно кланялся головой, отгоняя мух.

Подъехали остальные подводы. Ожили берега тихой речки. С весны, с покоса, не было на них шумных гостей, смеха, песен, веселого артельного гомона. Летом лишь быки изредка зайдут — напиться и полежать на горячем песке. Иногда прибежит косяк лошадей, упущенный табунщиками, перебредет на другую сторону и скроется в «войсковом» лесу. А то все одни кулики да речные чайки кричат-перекликаются. Да ватаги гусей приходят почевать на воде, оберегая себя от ночных набегов волчат.

Было шумно по-праздничному. Рыбная ловля — не труд, а забава. И люди, обычно усталые, озабоченные, скупые на слова, — теперь, оторвавшись от скучной, будничной работы, стали иными, чувствовали себя молодого, легко, беспечно, весело.

С дрог сняли невод, раскинули его на песке. Дейнис Шестипалов, иначе Ильич, старший и самый опытный из артели рыбак, с узкой рыжей бородой, сидящей с боков, тощий и суетный, — с клубком серых ниток уже ползал на коленях по сети, чинил дыры. Рыба — тварь умная, даром что безгласная: каждый самонаименьший изъян в «посуде» усмотрит и использует. Ильичу сперва деятельно помогали человек пять. Но когда в тени, под вербой, Егор заиграл на гармонии, все — один за одним — ушли к нему.

— Вы чего же? Эй! хвосты волэвьи! — взывал несколько раз Ильич к артели, — приехали дело делать, и наконец того — к опереточному гармонисту?..

Но казаки улеглись и усьелись тесной группой в тени вербы вокруг Егора и даже не оглянулись ни разу на голос Ильича. Старый рыбалка поглядел издали упрекающим, обличительным взглядом им в спины и плюнул.

— Сукины дети! — сказал он очень спокойным голосом и вновь принялся ползать по неводу.

Было жарко. Мелкая мошкара — «растока» — вилась над ним и набивалась в волосы. Он скреб голову и бороду кулаками, клубком, плечами и терпеливо, настойчиво, внимательно исследовал состояние невода, или — по-местному — «приволаки».

Гармонист сыграл сперва марш «На сопках Маньчжурии», потом вальс «Дунайские волны», краковяк.

Туше у него было мягкое, артистически-небрежное, красивое. Городские мотивы на берегах первобытной, раскольниковой, милой нашей Медведицы, привыкшей к песням протяжным и грустным, казались чужеземными гостями, нарядными, изящными и диковинно-странными.

Синяя речка с песчаной косой, над ней безбрежная, кроткая тишь и — воинственный марш. Ясный сон летнего дня, фыркание лошадей, проворный свист крошечных куличков и — чуждая красивая печаль, жалоба нарядная, заплаканная в мелодии вальса.

Растока кипит, звенит, вьется, впивается в глаза, в волосы...

— И откуда эта животная берется?..

— Это не животная, а насекомая, — сказал Чекушев, закуривая папиросу.

Папиросы его привлекли общее внимание, возбуждали уважение и немножко — зависть. Хотя все — и Чекушев в том числе — были раскольниками и табак должны были почитать греховным зельем, но молодежь любила тайком затянуться раз-другой. Чекушев же был человек, вполне приобщенный к городской культуре, самостоятельный, от стариков независимый, и курил, не таясь.

— «Дамские»? — спросил Егор, желая показать понимание предмета.

— «Деликатес», — ответил небрежно Чекушев. — Животные рождаются, а насекомые насекаются, — продолжал он, мечтательно глядя вверх, на столб кружащихся мошек.

— Как же она насекается? — спросил Ванятка, поглядев вслед за Чекушевым вверх.

— А насекается... своим порядком... Видишь, сколько ей? Кипит! Ежели бы люди насекались, куда бы и деть... в три ножа не перерезал бы...

Чекушев продолжительно затянулся и передал окурочек Егору. Егор, окинув уважительным взглядом эту драгоценность, сделал несколько затяжек, потом передал Андрону, минуя Давыдку. Андрон зажал окурочек в ладонь и, опасливо оглядываясь в сторону Ильича, проворно докурил остальное.

Я прилег в нашей лодкообразной телеге. Устин растелил в ней войлок и зипун, взятый на случай дождя. Вверху, за ветвями вербы, сверкали кусочки бездонно-

го неба, и видно было плывшее на нем тонкое, вытянутое облачко, белое, как молодой снег. Если повернуть голову, то прежде всего увидишь сизую, зеленую стену войскового леса в тонкой дымке зноя, неподвижную и томную, затем серебряный песок косы и сверкающий кусочек реки. Ниже телеги, в тени, невидный мне Кондрат Чекушев говорит:

— Ты вот скажи что: люди пошли от одной пары?

— От одной, — отвечает голос Устина...

— Как же они на островах могли оказаться? Великий окян — вон какая ширина, а Колумб открыл людей на островах... Как они зашли труда? а?

Следует томительная пауза.

— Может, волшебством каким, — говорит голос, — не знаю, чай...

— Какой он, к черту, волшебник, — дикарь? Без штанов ходит, ногой сморкается... необразованный эскимос!..

Доносится тонкий, раздраженный голос Ильича с косы:

— Вы что же, соловьи маринованные? Забыли, зачем приехали?.. Устин!..

— Сейчас! — отзывается Устин. Но, кажется, никто не шевелится, все продолжают сидеть, лежать, — приятно полениться и поваляться в тени.

Дремота одолевает, — спускаются ниже ветви вербы. Усиливаюсь побороть ее, а сами собой закрываются глаза. Как будто у самого уха свистят кулички, и голос Устина спрашивает:

— А какой ширины Великий окян?

И раздраженно кричит на это Ильич:

— Кому говорят? Дьяволы!

— Сп-час!..

— Приехали дело делать и — извольте радоваться — баланцами занялись!..

Кажется, зашевелились рыбалки. Открываю глаза. Стоит Устин, скребет голову, меланхолическим взглядом смотрит на реку.

— Наумка, гляди тут, кабы лошади провянт не осторновали. Никуда не бегай! — строго говорит Устин.

Наумка, семилетний мальчуган с лишаем на лице, хлопает кнутом.

Лениво поднимаются казаки, снимают шаровары с лампасами, цветные рубахи. Надевают старое. А Да-

выдка и совсем ничего не надевает. На солнце блестит его белое тело, резко отделяясь от загара шеи и рук.

Неводом, или приволокой, надо перехватить реку поперек. Сухая приволока не тяжела, но в воде с грузами-камнями весит пудов пятнадцать. На крыльях ее укреплены шесты, называемые хлудцами. За хлудцы привязывают бичевы и бичевами тянут приволоку по реке.

Казаки берут бичеву, подходят к воде, пробуют ее ногами.

— Парень, холодная... — говорит Андрон.

Давыдка с разбега бросается вперед, брызги жемчужным фонтаном разлетаются врозь. Он лает по-собачьи и с бичевой в зубах сперва идет, потом плывет к другому берегу. За ним плывут еще несколько человек.

— Кондрат! — кричит Ильич, — скидай портки, чего же стоять-то господином!..

— Да там их нет, чего скидать-то, — говорит Устин.

Чекушев снимает свои синие шаровары с кантом, и точно, подштанников на нем нет. Егор, подкравшись сзади, хлещет его вербовым прутом и убегает.

— Необразованный эскимос! — сквозь смех кричит он издали.

— Ну ты!.. — грозит ему вслед Чекушев. Потом осторожно входит в воду и стоит, упершись руками в бока, поглядывая, как Ильич, Устин, Андрон и Ванятка разматывают невод, спуская его в реку.

— Чего же стоишь, господин? — не без иронии спрашивает Ильич, — ай боишься задом на тырчину ехать?

— Я гляжу, не так вы делаете. Тут же самая яма...

— А в яме рыба.

— Самая цепá... Мы не выбредем тут. И приволоку порвем, и рыбу всю упустим...

— Да, коль руки в бока будем стоять, — упустим. А коль стараться будем, сомов двух поймаем.

Приволоку перетянули через реку. Одно крыло укрепили с косы, другое с нашего берега, над ямой. Долго шел спор, на какую сторону делать выброд, миновать яму или перетянуть. Ругались. Ильич, самый авторитетный человек в рыболовном деле, отстаивал необходимость перетянуть яму. Чекушев, совсем не авторитетный, уверял, что невод непременно сядет на

корягу и вся рыба уйдет. Ильич волновался, уличал его в нежелании мочить свое нежное тело. Тогда Чекушев, чтобы доказать готовность на всякие испытания, нырнул и долго сидел под водой. Вынырнул он сажень в четырех от берега и, отдуваясь, проговорил:

— Говорю: цепа! Не хотите верить, черти сивозебрые, как хотите!

Берет верх диктаторское мнение Ильича: яму перетянуть. Сперва бреднями тронуть рыбу сверху, пугнуть ее вниз по течению, к неводу, а затем с двух сторон — бреднями сверху, неводом снизу — сделать охват и тянуть посуду на косу.

III

Собрали бредни, пошли вверх по реке. И стало тихо. Висело знойное небо над зелено-синим зеркалом реки, свистали кулички на косе, всплескивала рыба. Растока кипела. Наумка хлопал кнутом и угрожающим голосом кричал на лошадей, которые, точно, явственно пытались узнать, что за провизия лежит в сумках на повозках.

Голоса рыбалок все уходили вдаль, глохли. Вот и совсем смолкли. Мы с Наумкой присели на крутом берегу и смотрели молча на деревянные поплавки невода, неподвижным, вогнутым рядом протянувшимся из берега в берег, на ясное небо и белое облако в глубине реки, на опрокинувшийся лес под песчаной косой и двух чаек, кверху брюшком лениво пролетающих ниже поплавков. Хлудцы, воткнутые в песок, чуть дрожали и качались, колеблемые течением. Редки и внезапны были всплески рыбы. Мы смотрели за кругами, расходившимися по воде, и завораживала нас тишина, навела грезы без образов, тихий сон души, в котором было ясное небо и ясные воды, и голубые дали, и золотые воспоминания прошлого, и мысли, которых не выразишь словом.

Зной и тишина. Порой тихо, протяженно прозвенит тонкий звук и сольется с стеклянным звоном растоки, порой глухо затолкнутся голоса, далекие, нездешние, с того света, чуть слышные. Смолкнут. И снова рассыплются набегаящим вдали дождем... Должно быть, затянули бреденя рыбалки, погнали рыбу.

Я оставил Наумку сторожить невод и повозки и пошел берегом по реке. Явственные стали слышны голоса. Сперва они звучали мягко, тонко, быстро тонули в воздухе. Потом стали громче, резче, грубее. Я уже угадывал голос Ильича, тонкий, беспокойно зудящий, как пение растоки. За ним набегали лавиной дикие крики:

— А-а-та-та-та-а!.. У-рю-рю-рю-у-у!..

— Андрон! Тут вот... ботом гвоздó, ботом... Хлопай!

— Могеи!..

На маленькой душегубке кружился по реке черный Андрон с серьезными губами, бил по воде шестом, на котором навязаны были железные кольца и трубки, производившие гром и шум в воде. Посередине реки плыли на хлудцах казаки, торча из воды одними головами, кричали, болтали ногами. Берегом, с той и другой стороны, тянули бредни бичевами, облегчая работу пловцов. Ильич, поджарый и суетной, метался по берегу, кричал, гикал, бросал в воду камни, хватался за бичеву, хлопал ею по воде.

— Гони, гони, гони-и! — кричал он голосом, полным боевого упоения, — так, так, так, та-а-ак!.. Улюлюлюлюлю-у-у! Андрон, отпускай... эй! на этот берег!..

— Могеи!

— Да за полотно, ты!.. Холудец зачем подпаял? Кондрат, не дреми! На ходу спит, сукин сын, вот какой старательный!..

— А ты шуми резче!

— Нельзя не шуметь, командовать кто-нибудь должен!.. Астах, наляжь!

— Есть!

— А-а-та-та-та-а!.. Гони, гони, гони, гони! Давыдка, дави холудец!..

— Верхом сажу на нем!

— Что ж он у тебя поверх воды идет!.. Бей, ребята, ногами! Нечего лодки беречь!..

— Вон какой сомяка попер!.. Это — сом! Видите, видите? Смотрите, Ф. Д., вон... валом, валом...

Я видел только крупную зыбь, которую поднимали рыбаки, но где был вал, гонимый сомом, не умел усмотреть. Однако сделал вид, что укрепляюсь радостной уверенностью, что сом теперь у нас в руках...

Подожли к неводу, зашли правым крылом. Настал самый критический момент — левым крылом невода и

бреднями охватить яму и сделать выброд на косу. Ильич кричал голосом, полным отчаяния, вопил, метался по берегу. Потом с изумительным проворством сбросил штаны и кинулся к воде. Кричали, метались все. Бичевы бросили. Первым поплыл с неводом через яму Устин. Тяжелый невод важил кнззу, туго подавался вперед. Устин угребался одной рукой, другой вцепился в хлудец невода. Если выпустить хлудец,— все погибло: рыба уйдет. Выбивался из сил Устин. Раза два хлебнул, окунулся. Вынырнул с испуганно вытаращенными глазами. Намокшая борода повисла сосулькой. Фуражка всплыла с головы и попала в невод. Выбивался из сил рыбак, но цепко держался за хлудец,— скорее утонет, чем выпустит. Дружными криками поощряли его:

— Берп-бери-бери-бери-и-и!..

Голой Давыдка, глядя на мокрое, напряженное лицо отца, громко и бесстыдно хохотал:

— Утонет! Ха-ха-ха-ха... ей-Богу, утонет!..

— Дядя Устин, гребись! Весь в орденах будешь!

Ильич, невзирая на то что пловец выбивался из сил, кричал неистово и грозно:

— Сюда вот тяните, хвосты воловь! влево забирай!..

Переплыл яму Устин, не выпустил из руки невода. Но некогда и некому было хвалить его,— все метались, тянули невод, кричали:

— Нижнюю бичевку! Гляди, нижнюю бичевку!.. Не подымай, черт буланый!..

— Ногой иду по ней...

— А рыбы-то! Страсть!..

— Ядреная!

— Чикомасы, ерши...

— Не так делаете! — плачет Ильич, — энтим крылом надо...

— Ничего-о!..

В бреднях и неводе уже началась трепещущая, испуганная возня, метание, всплески,— бессильно билась захваченная рыба, ища выхода. Кипела взмученная, потемневшая вода, целый мир немых, беззвучных существ волновался в предсмертном страхе. Небольшие серебряные рыбки, застрявшие в верхних ячейках, трепетали, как белые ленточки, и уже по их количеству видно было, что заброд удачен. Маленький Наумка,

глядя на них, бессильно мотавшихся, тонким голосом выкрикнул восхищенную матерщину...

Андрон взял меня с Наумкой в душегубку и перевез на косу, к выброду. Рыба судорожно металась в приволоке, звонко трепыхалась, билась в мокрые сетчатые стены, бросалась к берегу и назад. Радостно-возбужденные голоса кричали и гомели при этих всплесках, при виде отчаянных усилий выбиться на свободу, отстоять жизнь.

— Во-о... вот она!.. сула!..

— А тут сом есть... ей-Богу, есть!

— Нижнюю бичевку!.. бичевку нижнюю придави!..

Приволока, надувшись, как гигантская пазуха, тянула по отмели к берегу помутневшую воду с песком, илом, водорослями, ракушками и кипящей массой рыбы. Крылья были уже на косе, а мотня все еще шла по глуби, и там, в последнем убежище, сбилась главная добыча.

Охватывало чувство охотничьего возбуждения и ненужной жадности при звуках этого трепета, плеска, при виде судорожного метания, быстрого, как полет стрелы,— страх, что уйдет какой-нибудь чебак (лещ) или сула (судак), которые бьются, бросаются во все стороны в охватившем их сетчатом загоне. И хотелось кричать вместе с Ильичом о нижней бичевке, метаться по берегу, тянуть мокрую, грязную бичеву, лезть в грязную воду.

Но когда запрыгали по мокрому, потемневшему песку большие и малые рыбы, сверкая серебряной и золотистой чешуей, когда грузный черный сом, скользкий и серьезный, почувствовав себя лишенным родной стихии, забыл вдруг о своей солидности и, в отчаянии изгибаясь, вырвался из рук суетившегося вокруг него Ильича и судорожным взмахом хвоста звонко шлепнул его по голым икрам, к шумному веселью рыбаков,— стало грустно и жалко...

В этих судорожных движениях, в отчаянном трепыхании и бессильном биении о мокрый песок родимой реки, в испуганно-торопливом глотании жаркого воздуха красными, сохнущими жабрами, в немом борении со смертью чувствовался безгласный крик незащищенной жизни, неслышный вопль жертвы безвинной и горькой, предсмертный крик отчаяния и ужаса. Были

жалки в своем бессилии и были трогательны эти язи, плотвы, сердито ошетилившиеся, синеватого серебра, ерши, окуни, серебристой грудой наполнившие лодку,— солидные судаки с выпученными, растерянными глазами, широкие золотистые лепцы и карпы, плескавшиеся в большой кошелке (садок, сплетенный из лозы).— трогательны были в своей обреченности, безвыходности, в своей безмолвной предсмертной тоске и муках...

А над их тоской и немым страданием шумело хищное торжество и буйная радость победителя-человека. И лишь один Наумка, забавляясь, тайком вытаскивал из лодки рыбок поменьше и пускал в воду, глядя, как они сперва робко и изумленно — одно мгновение — стояли на месте, словно в гипнозе, не веря свободе, а потом стрелой бросались вглубь, в родную стихию, к переплетенным корням подмытых деревьев и в дремучий лес водорослей.

— Теперь, пока живенькая, варить надо бы,— крикнул Устин.

— Варить, варить! Из живой рыбы щерба совсем отменитая, не как из сонной,— говорил Ильич, забрызганный до бровей грязью, довольный и притихший.

— А то чего же... чистить и варить! Кого за повара?

— За повара Егора,— он сапожником в полку был...

— А то Левона,— он кашевар тоже неплохой.

— За повара я могу,— сказал Чекушев.

— Ты?..— Ильич явно колеблется и взглядом вбок окидывает могучую фигуру Чекушева в мокрой, выпачканой в грязи рубахе, облегшей выпукло-округленные нагруды.

— Вполне могу. Слава Богу, видал на свете разные кушанья. В лесторанах едал...

Казакки весело, явно обидно смеются. Он стоит перед нами в одной короткой рубахе, тяжелый, широкий, на толстых, волосатых ногах. На сожженном солнцем лице с грушевидным носом, темном, уже нарезанном морщинами нужды, туповатом, как бы застывшем в нищущем и взыскательном выражении,— теперь сугубая серьезность и уязвленное достоинство.

— Чего же вы... зубоскалите? — извините за выражение, ваше высокоблагородие,— бросил он в мою сторону.

— Как же ты там, в лесторанах,— вилкой? на расписных тарелках? — задыхаясь от смеха, с трудом говорил Устин.

— На цветковых..— вставил серьезный Андрон.

— Гаялманы!

— Да ты не серчай...

— Что ж, думаете, у меня деньги сроду не шуршали в кармане?

— Фу, чудак! Да ты тогда сам же письмо прислал: к Новому году воз денег привезу. Значит, проскакивала копейка...

— Да я одного жалованья 40 рублей чистыми деньгами получал. А в городах при деньгах — что твоей душе угодно! Бывало, получишь,— с увлечением заговорил Чекушев, пренебрегая явно ироническим отношением к себе слушателей,— зараз лихача хорошего: в гостиницу! В такую-то вот... в «Конкордию»... Там тебе прием! Там лакеи! Пожалуйста-с! Какой — с пищей, какой — с графином, а какой — с дамкой...

Высокий, чернобровый Левон завистливо прищелкнул языком:

— Почет, как аютанту...

— На мне же мундир,— гордо пояснил Чекушев,— тоже ведь не сова в дровах, а полиция. Кое-чего значу. Один раз я даже за исправника орудовал, когда из Каширы в Венев мы командировались...

— Ну, брат, это уж пули льешь...

— Честное слово, не брешу!

— А за губернатора нигде не был? Человек ты с развязкой, поруководствовать мог бы, ежели тебя как следует обрядить да припарадить...

— Да ты постой! Очень просто вышло дело...

Чекушев обернулся ко мне, очевидно предполагая найти во мне более серьезного слушателя, чем веселая, зубоскалящая молодежь.

— Купил я мундир исправничкий... старый... Как раз мне по костям, и суконце — просто аромат, а цена — плевая... Нате-с, прекрасно. Вот нам вскоре же и командировка,— в иной город перевели. Прибыли на вокзал, никто нас не знает. Урядник Сосов — служил тоже со мной — и говорит: «Вы,— говорит,— Кондратий Лукич, позвольте мне ваш купленный мундир на денек». — «Почему же так... А на что?» — «Да я бы,— говорит,— ролю с ним разыграл. Народ тут робкий,

овца-народ, на выпивку на хорошую зашибли бы...» Объясняет: он — за исправника, а я у него драбантом. В моем же мундире!.. «Нет,— говорю,— лучше я за исправника, а ты драбантом,— у меня и саквояжик новенький есть». — «Тем и лучше, вы вполне за порядочного господина можете сойтить». В саквояже у меня рубахи, чулки. «Валяй в гостиницу! Прямо с железной дороги — в номер!»

Чекушев хвастливо тряхнул головой и оглянулся. Все прислушались к его рассказу, оставив выбирать из невода рыбу. Улыбались скептически, но слушали.

— В номер! — гордым, громким возгласом вздохнул Чекушев и задумался, улыбка на губах застыла. — Хорошо... — встряхнулся он, — оделся в номере в свой исправнический мундир, Сосова послал порцию заказать. Выхожу в общую, Сосов докладывает: «Порция сейчас будет...» Тут, брат ты мой, сколько было народа, пьяный галдеж, а на меня глядь... примолкли! «Продолжайте,— говорю.— Без стеснения!..» Сели с Сосовым — все к нашим услугам: пьем, закусываем...

Слушатели залились одобрительным смехом. Кто-то почмокал языком. И уже не слышно было скептических замечаний.

— Вот ваканция-то! — сказал восхищенный Ильич.

— Напились, наелись, стал я взыскивать! — продолжал героическим тоном Чекушев. — Что за беспорядок? Почему это не так, а то неисправно? Позвольте сюда пачпорта!

Чекушев вздернул головой кверху и уперся в бока кулаками. Взыскательно-строгий вид его лица принял грозный оттенок.

— Тут от меня, как дождь, все сыпанули... кто куда! — добродушно-торжествующим тоном закончил он. — Взяли мы с хозяина четвертной билет и на извозчика...

— Четвертной билет?! — изумился Устин.

— Как одну копейку...

— Вот сукины дети... деньгу какую могли иметь...

— Пожалуй, и правда, коли не сбредал? — сказал Ильич.

— Вот крест святой! Чего мне брехать, какая надобность? Да мне, ежели прохождения свои рассказывать — Библия! За неделю не переслушаешь!.. А вы говорите: кушанья... Кушанья я едал такие, каких вы

и не слыхали сроду: коклеты, минигреты, биштеки... раков морских ел!.. супы разные... По-нашему — жидкая каша, по-ихнему — суп... Вот и разбирай... А уху я царскую сделаю! Лук есть?

— Есть, как же. И укроп есть.

— Царскую щербу сделаю!

— Ну гляди, не дреми. Рыбы не жалеи, клади больше, но чтобы щерба была — одно слово! Левон, ты все-таки командируйся с ним...

— В подручные. Каструли чистить...

— Сделаем царскую!..

Они перегнали лодку с рыбой на другой бок, к стапу, и под старой вербой скоро извилистой струйкой засипел дымок. Ильичу опять пришлось кричать и браниться: надо было всполоснуть невод, очистить его от ила и грязи, а казаки отошли на косу, легли греться на теплый песок, болтали, смеялись и не выражали ни малой охоты лезть снова в воду, в которой купались почти три часа.

— Вот дай таким поганцам посуду — в один день попарят! — горьким голосом жаловался мне Ильич, один возясь с мокрым, тяжелым неводом.

Поджарый, беспокойный, похожий на отошалога дрозда, он был немножко смешон своим всегда трагическим тоном. Был он богатый хозяин — в тысячах — и скупой, как все хозяйственные люди, горбом создающие полную чашу. Всегда плакался на бедность и недостатки, штаны носил в заплатках, фуражку почти просмоленную от сала, грязи и пота. Привык самолично следить за всем в хозяйстве, недосыпать, недоедать, никому из семейных не давать покоя. Но была страсть, ради которой изменял он скупости, — рыбная ловля. Он накупал дорогостоящих снастей, арендовал воды, всегда терпел на этом убыток, терял много времени, но оставался верен своей охоте и милой реке, которую звал он, по-песенному, «речкой лазоревой».

Кажется, на этой почве он тесно сошелся с моим приятелем, Устином Савельичем. Устин был тоже хозяин неплохой, но далеко слабее Ильича: ни в кубышках, ни в старых чулках у него не было припрятано излишков. Гордостью его были сыновья, ребята удалые — Левон и Давыдка, молодцы на все: и поработать, и погулять, и подраться. Ильичу сыновей Бог не

дал, указал жить с зятьями,— между прочим, Наумкин отец Андрон был его зятем.

Приволюку вымыли, вкатили в воду дроги и, взвалив ее на дроги, артелью вывезли на траву, где и раскинули для просушки. Переодевшись, стали в круг около четвертной бутылки с красной печатью — погреться. И когда Устин складным ножом отбивал сургуч и выковыривал пробку, на всех лицах легло выражение глубокой сосредоточенности и торжественного ожидания.

Ильич водки не пил,— голова не позволяла,— для него было припасено две бутылки цимлянского. Доставая бутылки из нашей телеги-лодки, Наумка умудрился одну опрокинуть и разлить на полсть. Эта беда чрезвычайно огорчила нашего старого рыбалку. Он дернул за вихор внука и, может быть, оттащил бы его побольней, но, видя, что вино просачивается в полсть, припал к красной луже губами и начал громко склебывать дорожную влагу.

— Сам того не стоишь, сукин сын,— сказал он, вытирая бороду и адресуясь к Наумке,— такое добро погубил...

Впрочем, скоро утешился другой бутылкой.

Выпили. Виночерпием был Устин. Он нес свою почетную обязанность с отменным тактом, наливая и поднося рябой, толстого стекла стаканчик в той очереди и постепенности, которая соответствовала чину, возрасту и рыбацкому значению каждого участника. Ильич, стоя с своей бутылкой и чайной чашкой, несколько раз начинал тост, витиеватый и длинный, и ни разу не кончал его.

— Ну... господа председателие...— обводя посветлевшими пьяными глазами стоявших в кругу соратников, говорил он,— теперь, значит, слава Богу... как мы протянули реку, постарались, ошибки не вышло, подвергу никакого... Кондратий и молол языком, что зацепим, да только ему против меня реку знать — в ноздрах сыро...

— Повару под руку не говори, щербу пересолит,— замечает Устин.

— В сам-деле? Ну, за все благое, братцы!.. Поварское дело, правда,— капризное: взять пироги,— всем известная вещь, а у меня баба до самой старости в этом деле дураковата. Люди пекут на опаре... Заставил

ее как-то испечь на опаре, а она их так, сердечная, наопарила, что пришлось в чело лезть с железной лопаткой, разбивать на куски... Кинули в печь семь, а из печи один вышел. Да не вышел, а в челе застрял. Я из него из одного десяти выгадал! Вынул да и говорю: нет уж, баба, не опарь, пеки на квасовой гуще...

Он закончил крепкой остротой... Слушатели залились долгим, раскатистым хохотом. Спич оборвался, но через минуту блаженно улыбающийся Ильич снова брал слово. Но уже начинали говорить все разом, никто не хотел быть слушателем, — рябой стаканчик два раза обошел по кругу.

IV

Поспела уха. Она вышла действительно не дурна: крепкая, с возбуждающим ароматом, с особенным вкусом свежей, не замороженной рыбы. Ели ее из большой, темной, полуоблезшей деревянной чашки. Ложек не на всех хватило. Чередовались: хлебнет один, передаст ложку соседу. Ели не спеша, основательно и долго. Поваров обоих одобряли, хотя Чекушев всю заслугу был склонен присвоить себе.

— Я говорил: царскую сделаю — и сделал...

Он окидывал нас взглядом победителя.

— Говорить ты много кое-чего говорил, да не все по твоим речам выходило, — солидно возражал Ильич. — Сулился воз денег из России привезть, а пришел с одной тросткой...

Напоминание это, ядовитое, рассчитанное на то, чтобы сразить триумфатора, нас развеселило, а Чекушева огорчило.

— Дело не указало, господа...

— Туда пошел с лошастью, а оттоль на мериндияне прилетел... Капиталы нажить думал вокруг помещичьего добра...

— На «дамские» папиросы все пошло, верно?

— А мамзели!..

— Эх, господа! Чего я с вами буду зря язык окочивать! Это понимающий кто, — ну, тот человек посочувствует. А вы... Живете вы безо всякой тактики и практики, роетесь в навозе, и больше вам ничего не требуется... Это — жизнь?..

— Ну-ну-ну-ну... — смущенно возразил Устин, — ешь рыбу... не сурьезничай...

Рыбу выложили из котла на мешок, заменивший нам и тарелки, и скатерть, и салфетки, — и брали ее руками. Была она сильно разварена, посыпана крупной солью, горяча, обжигала пальцы. Ильич, рассолодевший от вина, собственноручно извлекал из дымящегося вороха самые лакомые кусочки и подкладывал мне. Но как ни трогательна была эта хлебосольная заботливость, я скоро отвалился: наелся свыше всякой меры...

Рыбалки же ели еще очень долго, — пока не кончили всего. Раза два делали паузу. Рябой стаканчик обходил кругом. Выпивали и опять принимались за еду, все серьезные, сосредоточенно-молчаливые, вспотевшие. Потом ели арбузы. После арбузов бутыль поставили на середину и заговорили все разом.

— Денег... Извольте видеть: денег я не принес со службы, — говорил, дыша мне в ухо водкой, Чекушев, — он перешел с своего места и сел позади меня на корточки, между мною и Устином. — Потому я, значит, по их понятию — последний человек... Не нажил... Вот их сюжет о жизни!.. Да, денег я, конечно, не принес...

— Какую же ты отличку сделал? — улыбаясь, спросил Устин.

— Денег я не принес... — повторил Чекушев загадочным тоном, за которым чувствовалось нечто многозначительное, но не подлежащее оглашению, — но земель я произвел много, свету видал, как живут разные народы — знаю...

— На Дальнем Востоке не был? — спросил Левон и фыркнул в руку от смеха.

— Я был в Тульской, в Рязанской был...

— Ну, как там народ? — наливая рябой стаканчик, спросил Устин.

— Народ — ничего, смирный, — небрежно бросил Чекушев, следя с любовным вниманием, как булькала в горле бутылки прозрачная влага.

— Уважительный?

— Овца, можно сказать...

— Помудровать можно было?

— Очень слободно... Но только, господа, — сказал Чекушев тоном извинения, — ведь и так же нельзя,

чтобы, например, беспорядок, безначалие... Порядок должен быть... так или нет? — Он окинул всех предостерегающим взглядом. — Какие же мы граждане будем, ежели у нас одно своеволие будет, каждый по своему произволу жить станет? Не-ет!.. Ему, например, станешь законное дело объяснять, а он кирпичем... Это — голос?.. Или колом из-за угла...

— Кушал?

— Как же не кушал! При исполнении обязанностей... Пожар, например. Помещик горит, а они стоят — глядят, заливать — никто никак... Я, конечно, обязан приказать: «Что ж вы, так вашу раз-эдак?» Скалят зубы. Разогнал лошадку, давай их плетью охаживать! Ну тут кто-то действительно меня кирпичом... Спасибо, в спину...

Чекушев смотрит на нас обиженно-изумленным взглядом и ждет сочувствия. Устин помотал головой, молодежь рассмеялась. Ильич поднял указательный, плохо отгибающийся палец, откашлялся и жидким, но приятным голосом завел:

Ах, на речке, братцы, было лазоревой,
Средь поля, братцы, было поля чистого... э-о-оо-й...

Присоединились, один по одному, голоса рыбалок, Егор залился тонким подголоском. Кудрявые фиоритуры сперва сплели причудливый узор на протяжном, немножко монотонном мотиве. Потом подголосок забрался ввысь и закатился эхом за зеленую зубчатую полосу войскового леса.

Я встал и отошел на косу, — песня всегда красивее и мягче на расстоянии, чем вблизи. Матовым, изогнутым зеркалом лежала река, зелено-синяя, у берегов темная, закутанная теньями. Должно быть, там, за холмами, за хутором Чигонацким, садилось солнце, — не видать его было, но горело розовым золотом белое облако на востоке. Раза два вздрогнул ветерок, мелкая зыбь посеребрила реку и улеглась. Еще душиновато было и тихо. Когда обрывалась песня, слышно было, как в подмытом, свалившемся в воду дубовом кусту тихо побряхтывала лягушка, стонала страстным звуком. Маленькие, резвые кулички, уже невидные в вечерних тепях, обнявших реку, бежали по косе, на другой стороне, бойко свистали, кричали, перекрикивали друг друга. Где-то дальше, на самом горизонте, за песками и лесом, протяжно и грустно пожаловался

краптыль, — крупный серый кулик, — и тотчас же из сумеречного полога, с нашего берега, отозвался ему такой же горький, жалующийся голос. Точно шумные человеческие голоса, переплетающиеся в своей бестолковой толчее, сливающиеся в долгой песне, внесли в их тихие владения с серебристыми песками и зеркальными водами непоправимый разгром, беспорядок и горе...

Я иду вниз по реке, через дубовую рощицу. Рядом со мной Устин, передавший обязанности виночерпия Ильичу. Вдали поют турлочки — тихо, протяжно, меланхолично. Звенят комары. По всей реке кипит и зыблется их тонкое, нежное пенне, словно легчайшие, нежнейшие крылышки, миллионы крылышек касаются гигантского стеклянного колокола.

— Комар, — говорит Устин, — сыпучий комар!..

Где-то на реке разговаривают гуси. Гусак басом что-то внушает стаду, солидно и строго. Торопливыми, виноватыми, почтительно-мягкими, тихими голосами лепечут ему в ответ молодые гусята.

Тихо. Черным зеркалом смутно поблескивает вода. Устин присел на корточки, черпает ее пригоршнями и пьет.

— Какая-то птица пролетела, — говорит он, — большая...

Голос его звучит осторожно, таинственно, словно боится вспугнуть тишь сумеречную.

— Как тихо, — говорю я.

— Никого не слышать. И ребята песню перестали играть. Либо Кондрашка опять какую небылицу гнет...

— А что Кондрат — каков он человек? — спрашиваю я Устину, желая проверить свои впечатления.

— Кондрат? Человек городской, продиктованный. Семья-то его дисциплины городской не знает, вот он и взыскивает. Придет ежели пьяный, то сейчас: «Жена! на колени!» А то: «Все по углам!» Так по углам и расставит — жепу да двух сынов... Дыхнуть бояться: городской человек, идравный... Начальник строгий, а подчиненных мало — баба да малый мальчонка, Мишка... над ними и мудрует...

— А старший сын?

— Сергей? Да вот выходит из подчинения... Ну, бабе плохо, — измывается до конца. К команде привык,

строгость обожает. Как придет, сейчас ее на коленки: «Проси прощения, стерва!» Кланяется она, кланяется ему в ноги, а за что — неизвестно. А он ее, походя, то кулаком, то ногой... Калекой совсем сделал...

Тишина. Звонят комары. Звон долгий, нескончаемый, мечтательный и нежный. Тихо кипит, замирает, подымается, падает, снова вырастает. В сумеречных сводах великого храма льется эта песнь незаметных миллионов, единая песнь радости и страданий, борьбы и гибели, слез горестных и буйного ликования...

— Раз при мне он их так-то муштровать стал. «Лук-нич, да будет тебе! — говорю, — чего ты их...» — «Молчи! ты ничего не знаешь! Они меня раньше обидели! Ты погляди, какая паскудина! К ней и подойти противно...» Ногой топнет: «Смирно! мазанка, нечунья-ка!.. Играй песни, стерва!..» Стоит она на коленях, играет...

— Играет? — изумляюсь я.

— Играет. Слезовая игра. Слезы в пять ряд... А играет. Ничего не попишешь: кулаки-то ведь вон какие... А то погой в живот...

Я представил себе эти кулаки, — широкие руки Чекушева с крючковатыми пальцами, как бы застывшими в полусогнутом положении, выработанном привычкою хватать и тащить, — бросились мне в глаза еще во время его рассказа о служебной деятельности в Тульской губернии. Тогда еще я перенесся мысленно в положение тех российских обывателей, над которыми стоял он несколько лет водворителем порядка, — и не позавидовал им. Но поглядел в лицо, — лицо, правда, тупое, квадратное, но как будто не очень зверское, скорее простодушное, с своим грушевидным носом и старательно-преданными глазами оберегателя порядка. Поглядел и подумал: это скорее рядовой исполнитель «долга», чем вдохновенный артист успокоительной деятельности. Конечно, он выбьет зубы, сломает ребра, вывернет руки, но все согласно указанию, самостоятельность же и инициативу едва ли сумеет проявить...

Так думал я о товарище детских лет своих. Однако вот эти мудрования над женой; эти песни на коленях под занесенным каблуком, — они внесли новую черту. Тут как будто не одна служебная исполнительность. Устин объяснил это болезненной потребностью власти,

созданной привычками прежней административной деятельности...

— А то мальчонку вызовет из угла. «Становись на колени, сукин сын, читай книгу. Погляжу, как вас там учат». Мальчонка дрожит, белей белой глины, прыгает книжка у него в руках. И голоса-то нет от страху, — чуть-чуть музюкает. — «Не можешь!» За впхор его. «Это — дите? В городах дети — вон дети! Смысл, развязка...»

— Как же можно так жить? — спрашиваю я и чувствую, что наивны вопрос мой и мое недоумение.

— Живут, — говорит Устин.

В коротком ответе его звучит грусть бессилия и фатальной покорности: налицо факт во всей его обидно-торжествующей наготе, а что противопоставить ему? Над кем только не стояла монументальная фигура Кондрата Чекушева с запесенным каблуком, а жили и живут...

— Однако старший-то сын собрался с силенкой, подросток... стал помаленьку щупать отца, — довольным голосом прибавляет Устин, — свежий паренек... А путя не будет и в нем!

— Почему?

— Тоже на водочку шибает охотишка, на табачок, на карты. Нарядиться получше, сапожки поваксить, в проходку с девками, — вся заправка пепутевая...

Мы поворачиваем назад. За рощей опять слышится песня, издали красивая, печальная. Робкие серебряные звездочки горят в смутной синеве высокого неба. На западе тускнеет оранжевая полоса зари.

Подходим ближе, песня стихает, звенит гармоника. Кружатся бойкие звуки польки, бегут, прыгают веселым, легким, подмывающим каскадом. Мне видно, как топчется на одном месте Ильич, на потеху молодой компании, руками в бока уперся, с самым лихим видом встряхивает головой. Тяжело пылит ногами Чекушев, кружась по песку около Ильича.

— Делай! — кричит Ильич.

— По заду мелом! — подхватывает озорной голос Давыдки.

Чекушев останавливается, раскинув руки, как самая заправская балерина на сцене.

— Я сделаю! — говорит он хвастливо, — я и не в таких местах делал и завсегда благодарность получал...

Глебов-господин однажды из жилетки золотой вынимает: «На,— говорит,— Чекушев, за развязку...»

— А там, видно, народ капиталистический? — спросил Устин. Мы подошли с ним к кругу.

— Есть. Не все, а есть. Волконский-князь, например... Агроматнейшие леса... А есть и такие господа дворяне, что долгу лишь, как орешек, и больше ничего. Тем и поправлялись: заштрафует разное старье да подпалит. Штрафовку после огребет,— одобрительным голосом прибавляет Чекушев.

При всем ироническом, явно неуважительном отношении к Чекушеву его слушали,— я видел,— с жадным вниманием, когда он рассказывал о том мало ведомом мире, где щедро были рассыпаны соблазнительные удовольствия, легкие доходы, власть, шик, веселье. Видимо, это пленяло и волновало первобытное воображение моих рыбалок, как пленяли их слух кэк-уок и краковяк под искусными пальцами Егора.

Бутыль стояла уже порожняя. Но рыбалки все еще сидели вокруг нее, шумели, запевали песни и, по-видимому, чувствовали себя превосходно. Чекушев подошел ко мне неверными шагами и, наклонившись, сказал льстивым голосом:

— Мы вот советуем промежду себя, Ф. Д., сложиться и послать еще за четвертью. Как вы с своей стороны?

— Никак. По-моему, больше не надо.

— Ну, ребята, значит — отставить,— говорит он тоном извинения в сторону рыбалок, хотя они не слушают его, поют песню. Я догадываюсь, что проект о другой четверти родился мгновенно в голове Чекушева.

— Оно и лишнее,— обращается он снова ко мне рассудительным тоном.— Говорится,— первый стакан пьешь во здравие, второй — в сладость, третий — в безумие, четвертый — в беснование... В Писании так сказано. Правильно сказано!..

Мы долго молчим. У меня нет охоты поддерживать беседу с ним, а он не отходит, стоит возле. Опять я гляжу на его грузную фигуру, монументальные плечи, лошадиную грудь, выпукло обрисовывающуюся под рубашкой, расставленные врозь ноги,— прочная фигура! И чувствуется в ней что-то самоуверенно-наглое, неот-

вязное, как будто сознающее свою неизбежность и прочную связь с рядовой обывательской жизнью.

Устин приходит мне на выручку. Спрашивает:

— Не скипятить ли чайничек?

— Хорошо бы.

— Чайник? — подхватывает с стремительной готовностью Чекушев, — в один секунт! Ребята! Поджигек и все прочее! Живо!.. Чтобы у меня на одной ноге!..

Он распоряжался строго, взыскательным голосом, прикрикивал, но от меня не отходил. Чайник навесили, подложили тонких вербовых веток. Огонек вспыхнул, лизнул в разных местах бока чайника, затанцевал, зазмеился, запрыгал вверх, золотом одел ближние кусты, задрожал красноватым светом на траве. Потемнели сумерки. Небо стало высокое, почти черное. Звезды высыпали. На западе все еще светлела зеленоватая бирюза.

— О!.. здорово болкает рыба! — говорит Устин, прислушавшись.

— Теперь на живца бы поймал... — замечает Чекушев.

— На живца — в августе месяце... Ты что?..

Огонек подрагивает, фурчит, мечется. По лицам прыгают отсветы и тени. Взлетают искорки, когда подкинут новую охапку пожигек. Красные язычки сперва пригнуты, завертятся, потом одолеют, затрепчат, изовьются и вытянутся еще выше, чем прежде. Наклонившееся над чайником лицо Леона загорается красным золотом, выступает вперед дубовый куст, золото растекается по яру над рекой. От огня она тускнеет, сливается с косой, кажется широкой-широкой...

— Как же вы мне посоветуете с сыном быть? — обращается ко мне Чекушев — с очевидным намерением завязать беседу.

— А чем он грешен?

— Да непочетчик отцу-матери. Вот на службу теперь его справлять, а он, братец мой, заломит шапочку на бочок, и мандрики! По всей ночи шляется... А день спит. Станешь говорить: «Почему ты хулинганом живешь?» — берет за грудки...

Чекушев смотрит на меня пьяным, скорбным взглядом, ожидая сочувствия. Я молчу.

— Как я должен сократить его? В правах он, чтобы отца родного под девятое ребро?..

Мне хочется сказать ему что-нибудь резкое, обличительное, но как-то не хватает решимости. Пьяные глаза его смотрят на меня преданно и с умилением.

— Кондрат! — говорю я, не глядя на него, — ну, по совести, когда ты сам обижал или обижаешь кого, думаешь ты о том, хорошо это или нет?

Он не сразу отвечает. Но я вижу: тускнеет пристально-преданное выражение в его глазах.

— Кого же я когда обидел? — спрашивает он оскорбленным тоном.

— Никого?

— Нитюдь. Пальцем не коснулся!..

Красноречие мое сразу иссякает перед этой незамутимой ясностью души. Я растерянно гляжу на огонь. Леон положил на него сырую ветку. Белый дым поднялся, ушел вверх и слился с полосой Млечного Пути. Запрыгали, взвиваясь вверх, искорки — короткие и длинные, змеистые, тонкие. Иные уходили в черную высь и там умирали. И много-много звезд высыпало на небе, золотыми столбиками качались они в реке...

— Про меня дурного не скажут, — с достоинством говорит Чекушев, — но действительно, что я порядок люблю. И через это самое я терпел и терплю от людей. Я за порядок душу ровнить готов!..

— А гумнишко-то зачем продал? Последнее ведь? — обличительным тоном говорит Ильич.

— Гумно — дело хозяйское.

— Ты-то хозяин? Хозяин детей не разоряет...

— Эх, господа! — трагическим голосом воскликнул вдруг Чекушев, — одно вы знаете — обличить человека, оконфузить... А в нутрё-то что ж вы не заглянете? А?..

Он вдруг заплакал и, утираясь рукавом, заговорил слезливым, подвывающим голосом:

— Я — старец... да!.. потерянный человек... Согласен. А через чего я пью? Есть у меня к кому притулиться? Нет! Ненависть кругом меня... Дети за отца не почитают, родные дети! Жена умирить готова, я чувую. Когда ни приди, только и слышишь: что, мол, расейский лапот, воз денег хотел привезть, а теперь ишь каким фёртом! Вот через чего печенка-то сохнет...

— С тоски, с печали шея вровень с плечами, — говорит Леон от огня.

— Расквелили-таки человека! — прибавил Устин, смеясь. Смеялся и Ильяч.

А мне послышалась в этом пьяном, слезливом излиянии боль оброшенности и отчужденности. Впрочем, Чекушев как-то особенно быстро успокоился и многозначительным тоном погрозил кому-то:

— Ну, да я свою деждусь... Я права найду... Я покажу кой-кому!

— Ничего ты не покажешь, друг! — засмеялся Леон, — взял бы лучше костылик да шел бы на Дальний Восток пугать японцев.

— Я покажу! Подведу под итог!..

— Повадиhsя в Рассее шаровариться, а тут без подчиненных-то и скучно, — ленивым, равнодушным голосом сказал Андрон.

— Я этого позволить не могу! — воодушевляясь, кричал Чекушев угрожающим голосом.

— Будь у меня такой отец, я давно его в яр где-нибудь спихнул бы! — вызывающим тоном сказал Давыдка.

Чекушев остановился, поглядел на него уничтожающим взглядом и сказал:

— Щенок белогубый!

— А ты — расcейский лапоть!

— Вот видите! — горьким жестом указал мне Чекушев на оскорбителя, — вот такой же и мой сукин сын... Стерва!

Давыдка не склонен был оставаться в долгу и ответил:

— Ну, не ругайся! Горлом прав не будешь... Гаркулес!..

— Я — Гаркулес?! — негодующим тоном воскликнул вдруг Чекушев, почувствовав кровное оскорбление в этом названии, которое вызвало общий хохот. — Какой я Гаркулес? А? Что я за Гаркулес?! Скажи... — прибавив длинное ругательство, полез он на Давыдку.

Началась ссора — шумная, бестолковая, веселая. Было близко и к драке, — Давыдка уже засучил рукава и ждал в вызывающей позе. Кричали и хохотали кругом казаки. Никто — даже Устин, такой солидный, рассудительный, — не сделал попытки успокоить враждующие стороны. Все поощрительно кричали, подували.

— Кондрат! Не уважь! Кондрат! Дай ему по зимним рамам! — раздавались вокруг Чекушева радостно-возбужденные голоса.

— Кондрат, покажи развязку! — кричал, задыхаясь от смеха, Устин. — Ребята, раздайся! Шире круг! Давыдка, шаг вперед!..

Давыдка, с мускулистыми, засученными рукавами, с взлохмаченными волосами, лихой и веселый, выступил вперед. Я думаю, что он чувствовал за собой союзников, потому так дерзко и лез на врага, который казался и грузнее, и сильнее его. Но Чекушев лишь громко и скверно ругался, дальше же этого не шел. И когда Егор, подойдя сзади, снял с него его полицейскую фуражку — снять фуражку значит выразить готовность к поединку, — он опрокинулся на Егора, завязал ссору с ним и еще с кем-то. Ругался артистически, четко, едко и даже остроумно.

— Ну и ругатель, сукин сын, — хоть призы получать... — заметил Устин, — уйди ты отцоль, будь ты неладен! Что ты, в самом деле? Тут тебе не Рассея... должен сорт людей различать... Всякая гнида задается, подумаешь...

— Я найду права! — угрожающе кричал Чекушев, уходя в теплые, серые сумерки, — я подведу под итог!

— Гаркуле-ес! — кричал вслед ему Давыдка.

— Ну, помни!.. — кричал из сумерек угрожающий голос.

— Обед да полдни? Помни и ты! — отвечал Давыдка.

— Ты мне попадешь еще под палец!..

— Гар-ку-ле-ес!..

И хохотали казаки при этом ужасно едком и оскорбительном слове... Потом ушли вслед за Чекушевым в теплые сумерки, — должно быть, стесняло их немножко мое присутствие, а хотелось развернуться, пошуметь, поплясать. Они скоро утонули за чертой огня, и потом из темноты донеслась их песня, молодая, шумная, не очень стройная. Но звучала в ней молодость, удаль, широта... И зависть брала к их жизни, к их радостям, молодым приключениям и удачам любовным, которых ушли искать они...

Леон изготавил чай, густой и крепкий, но пить очень хотелось, и мы с Устином составили первую очередь, — Ильич уснул между оглоблями, отяжелев от вина и

трудов,— чашек было всего две. Леон, подкладывая дров в костер, говорил с сожалением:

— Эх, не стукнулись они... А надо бы эту стражу поучить, чтобы не задавался... Он бы узнал, как это... вкусно ай нет...

— Мало ли его учили! — сказал Устин, громко сжелебывая чай,— таких не выучишь... Разоритель... Работа ему тошней тошного. А вот разорить — это сделай одолжение... это уж аккуратно отделает...

Он налил еще чашку и, подув на горячий чай, неторопливо продолжал:

— Пришел из полиции,— у жены и хлебца был, и свиньи, и утки. Мясом гостила его. Тут как раз мать померла, помянуть надо. Повез пшеницы продать — на помин. Продав в Михайловке. Закупил меду, свечей. Однако и выпить же надо. Выпил. Нанял музыку, набрал компанию. Спустил и мед, и свечи... От пшеницы ничего не осталось. Приехал,— мать помянуть нечем... Насыпал еще воз пшеницы, в Усть-Медведицу поехал. Продав — и тоже зарядил добрый заряд. Пока протрезвился, лед на Дону сломало,— отбило от дома. Продав лошадь совсем с телегой. Опять напился. И остальные деньги кто-то вынул. И пришел Кондратушка домой, яко наг, яко благ, яко нет ничего...

Я передаю чашку Леону и залезаю на телегу, где, свернувшись маленьким комочком, спит Наумка. Гаснет казачья песня вдали. Леон спешит выпить чаю и идти за товарищами, — будут они бродить теперь всю ночь, приключений искать. Роятся звезды вверху, моргают золотыми ресницами. Пушистой метелью летят на наш огонек частые белые хлопья: это тысячами гибнут комары. Подымаются от воды, медленно кружатся, выются, трепещут и, замороженные страшной силой, падают в пылающий костер.

Устин взял зипун и улегся между оглоблями, рядом с другом своим Ильичом. Уходит Леон. Я ложусь в повозке рядом с Наумкой. Как золотой гравий, рассыпаны звезды в черном небе. На далеких кустах дрожат отсветы от нашего костра. Наползают снизу, дрожа, колеблясь, черные тени, приседают, прячутся в зелени, как в черных ущельях. Тихо. Гаснет где-то далеко песня. Или комары это? Чудится: где-то в далекой дали вздыхает тихий хор, звучит, как нежный, замирающий звон струны.

Чудится храм с колоннами, уходящими в небо, с таинственным сумраком и гаснущими отсветами далеких огней... умирают последние аккорды органа... благоговейная тишина звенит истухающими отзвуками...

...Шелестит листвою верба, веет в лицо прохладой, над самым ухом голос Ильича зудит:

— Не так делаете! Этим крылом заходи!..

Открываю глаза... Восток горит румянцем. Неподвижные, чешуйчатые облака чуть тронуты пурпуром. Зеленая стена войскового леса за нашей речкой лазоревой с уступами, прорывами, куполами стоит тихая, неподвижная, мечтательно-безмолвная. Багряным вечером лежит заря на речке. Пахнет дымком, — в костре тлеет сырой пень, принесенный почью казаками. Черными и серыми грудами лежат они прямо на земле, положив фуражки под головы.

Устин расталкивает Давыдку:

— Давыдка! ну!.. статуй!..

Давыдка лежит головой к догорающему костру, уткнувшись лицом в фуражку, ничем не покрытый, в одной рубаше и шароварах с лампасами.

— Давыдка, черт!.. Вот здоров спать... Ему лишь дай слободы, он бы сутки спал... Давыдка!

— Тю-ю! — сердито отзывается Давыдка, не поднимая головы.

— Иди за мерином! скорей!..

Давыдка глядит некоторое время вполоборота — па отца сердитым взглядом недоспавшего человека. Волосы у него растопырены в разные стороны, курносое, круглое лицо, рассерженное и не очувствовавшееся, забавно и смешно.

— Ну, скорей! за мерином!..

Нечего делать, приходится вставать...

...Домой едем мы шагом и молча. Нет уже вчерашнего возбуждения, праздник прошел, наступили будни с их скучными, неизбывными заботами. В полуверсте от реки, у дороги, увидели распластавшуюся ничком серую грязную фигуру в шароварах с красным кантом. Правивший лошадей Давыдка еще издали указал на нее кнутом:

— А ведь это Кондрашка! ей-Богу, он!.. Стража, стража... Рассейский лапоть... Ишь выбрал местечко... на ветерке, чтобы мухи не беспокоили...

— Гаркулес! — дурашливо закричал он, проезжая мимо. Но Чекушев не слышал его. Он спал, выставив напоказ желтые туфли и уткнувшись лицом в сцепленные руки...

V

Недели через три или четыре после поездки на Медведицу — было это в конце августа — сидели мы на крылечке с нашим ночным сторожем Василием Петровичем, вспоминали старину. Пришел Шлынь, сторож соседнего квартала. Василий Петрович рассказывал о старых своих полковых командирах, — какой был любитель по женской части, какой уважал песни, а какой, кроме водки и матерщины, ничего не признавал. И вот где-то в углу заснувшей станицы раздалось почти обыденное в нашем краю, но всегда отчаянное, раздирающее:

— Ка-ра-ул!..

— А ведь это в твоём квартале, Антонич, — прислушавшись, спокойно и неторопливо сказал Василий Петрович Шлыню.

— Пожалуй, — бесстрастно согласился Шлынь,ковыряя костылем землю. — Должно быть, Кондрашка жену пудрит. И живодер же, сукин сын...

— Пасмурный человек!..

— А коль не жену, так с сыном именье делят... А именья всего один старый валенок...

Старики, крихтя, поднялись и неспешным шагом пошли на шум. Пошел и я вместе с ними. Направление взяли прямо в «Куток», в тот переулок, где жил Чекушев. И не ошиблись. Воинствовал именно он. Расправы его с женой мы уже не застали, — соседи укрыли избитую женщину. Окруженный толпой зрителей, босых, полураздетых, выбежавших на шум со сна, пьяный, возбужденный Чекушев с обломком кола в руке наступал на своего старшего сына.

— Я тебя в переплет возьму, милый мой! — захлебываясь, кричал он. — Я тебе покажу!.. Я провожу тебя по той дорожке, откуда не вернешься!..

Сын не подпускал его на близкое расстояние, отходил. Руки у него были в карманах, но во всей фигуре,

стройной и сильной, чувствовалось стальное напряжение и готовность к схватке.

— Ты будешь знать, где ноги у отца!.. Непочетчик!..

— Да ты и отец? — отозвался сын глухим голосом, в котором звучала горькая горечь упрёка и ненависти.

— Я не отец?! Значит, не отец?!

Кондратий угрожающе двинулся к сыну, сын отошел шага три и остановился.

— Злодей ты своим детям, не отец!.. — глухо сказал он.

— Злодей?!

Чекушев неожиданно легким прыжком нагнал сына и ударил его по голове обломком кола. Мне показалось, что хрустнуло что-то и охнул женский голос.

— Будя, брось, не замай! — закричал Василий Петрович, замахиваясь костью на Чекушева, — за что ты его!..

— Так я злодей своим детям?! Я... — хрипя и задыхаясь, кричал Чекушев и ухватил сына за рубаху возле горла.

— Брось, говорю! — угрожающе кричал сторож. И все зашумели кругом, но никто не решался схватить за руки воинственного родителя. Он снова размахнулся колом.

— Да беги ты! Чего стоишь дурак дураком! — кричал плачущий женский голос младшему Чекушеву.

Он рванулся, но не побежал, а схватил отца за руки.

— Убью! — хрипя и ругаясь, стараясь вырвать руки, закричал Кондрат.

Но сын вцепился в них молча, крепко, точно замер, с стиснутыми зубами, и в молодой, напряженной фигуре его чувствовалась вся сила ненависти и мстительной жажды, накопленной годами былых и свежих обид. Отец на вид был тяжелее, сильнее, но он уже явно выдохся, выбился из сил, и сквозь плюющую в воздух ругань слышно было его тяжелое, свистящее дыхание.

— Убью! Уйди, убью!.. — выталкивал он из себя угрожающие крики.

Но видно было, что мочи уж нет, уже ничего не может сделать, смешны и жалки усилия его вырвать стиснутые, затекшие руки. Сын подержал его еще с

минуту, потом слегка встряхнул, как мешок с мякиной, и сдавленным голосом, голосом победителя спросил:

— Н-ну?.. будешь?..

— Убыю!..

И среди веселого улюлюканья, гомона и смеха толпы до меня донеслись вдруг странные, визгливо-тяв-кающие звуки: рыдал Кондрат Чекушев, бессильный и опозоренный, рыдал человек, ведавший блеск власти и почти неограниченного могущества, а ныне упавший до уличного посрамления...

Я ушел, не дождавшись конца драматического зрелища. И после очень жалел: это был последний выход Чекушева. Наутро разнеслась весть, всех поразившая своей неожиданностью: Кондрат Чекушев повесился. Выдернул кольцо, взвешенное в потолок в горнице — давно, когда приходилось еще вешать детскую зыбку, — приладил это кольцо в чулане и захлестнул себя поясным ремнем...

Кажется, добровольным уходом своим из жизни он никому не причинил огорчения. Удивлялись: как человек решился на такое дело? Какую сложную и обдуманную подготовительную работу сделал! Но не слышал я, чтобы кто-нибудь вздохнул или пожалел.

Встретил Устина, — он был на похоронах.

— Я отдыкавал! — сказал он почти весело, — помянул... выпил с друзьями...

— Что ж, поплакали? — спросил я.

— Нет. Никто не потужил. Жена, правда, шла за гробом, голосила: «И что ты, мой болезный, раньше не удушился, все бы, может, и я человеком была... А то сделал калекой на всю жизнь, куда я поживу теперь?..»

Устин был-таки навеселе и, видимо, шутил. Даже из приличия не имел удрученного вида.

— Одно: говорят, каждую ночь к бабам является в избы... Прилетит, сядет на трубу и сидит... Чертей этих на нем, говорят, как гали!.. Теперь до шести недель шататься будет, — ничего не поделаешь... Лада-ном только спастись да святой водой на ночь кропить... А то одолеет!..

И лишь тут только, на одно мгновение, задумался, чуть-чуть закручинился Устин:

— Эх, Кондрат, Кондрат!.. Какая туша была и... черту бараном стал!..

Угловые жильцы

Из впечатлений счетчика

Пятиэтажный дом, известный в нашей улице под двумя названиями: «Пропартур» и «Васина деревня»,— имел, по предварительным полицейским сведениям, 108 квартир и 720 жителей. После переписи число жителей оказалось вдвое большим.

По внешнему виду это обыкновенный, грязноватый дом петербургских окраин, с дешевыми столовыми, чайными, пивными в нижнем этаже, по лицевой стороне и с маленькими квартирками внутри. Квартиры эти оказались буквально налитыми гущей человеческих тел — угловыми жильцами и их мелкой детворой. Мне давно уже приходится наблюдать из окон Горного института этих маленьких «пропартурцев»,— с утра и до ночи жизнь их проходит на улице, на берегу Невы. Как стаи воробьев, они целыми днями вертятся, бегают, прыгают, борются, дерутся и промышляют на великолепном граните набережной, между дорических колоннами институтского портика, на мостовой, на панелях, на пристанях и барках. И, как у маленьких сереньких птичек, в их детских лицах и взглядах, в движениях, в приемах чаще всего вместо детской беспечности и беззаботности заметны сторожка, выслеживающая добычу озабоченность и мысль об окружающей опасности. Это оттого, что тут, на берегу Невы, в виду исконных врагов всякой голытьбы и вольницы,— городских, сторожей, таможенных, солдат, дворников, приказчиков,— им приходится впервые упражнять себя в борьбе за полуголодное существование, вырабатывать приемы нападения и защиты, подвергаться риску, пытаться счастье.

Теперь, зимой, когда Нева скована льдом, пустыня, нема и скудна для добычи,— жалко смотреть на этих маленьких пропартурцев, которые вместе с рассветом уже выются по набережной. Одеты они в самые фантастические одежды: в женские кофты, в отцовские пиджаки, в громадные картузы, треухи, в старенькие гимназические мундирчики, в вязаные дворничьи фуфайки, обуты в высокие дамские калоши, в необъятные серые валенки, в штиблеты с чужой ноги. Пестрое обмундирование!.. И видно, что голодны.

А улицы пустынные, поживиться нечем. С риском нырнуть под лед или попасть под тяжелый кулак городского те, что побольше, выламывают пластины из затертой льдом баржи. Труда много, риску много, а нажива скудная. Но вот везут каменный уголь, длинный караван глубоких, корытообразных телег. Если извозчик не идет сбоку, а сидит на передке и беззаботно дремлет или сосет сигарку, — пропартурцы уже тут как тут; забрались сзади, спешно выбросили по нескольку матово-черных кусков угля и, подобрав их, мчатся в ближайшую мелочную лавочку ликвидировать посланное судьбою даяние.

Хорошо тоже бывает, когда провозят кули с мукой, с овсом, — юные пропартурцы и тут умеют использовать положение дел: ножичком прорежут мешок и заботливо подставляют картузы: на рынке все имеет цену.

Не всегда это сходит с рук безнаказанно. На днях везли сахарный песок с Масляного Буяна. Сладкая добыча привлекла не только опытных, более взрослых мародеров, но и малыши с своими треухами и шапчонками прилипли к прорезанному мешку. Заметил артельщик, — погоня поднялась. Пропартурцы рассыпались по соседним улицам, по дворам, по один, искавший убежища между ногами чугунного Плутона, похищающего Прозернину, — статуя эта украшает портик Горного института, — был все-таки изловлен. Артельщик козырьком картуза, наполненного сахарным песком, тыкал ему в лицо, и, надо думать, очень больно, потому что пропартурец — отрицатель принципа собственности громко ревел и закрывался локтями. Городовой писал что-то в свою записную книжку и, когда он лизал языком кончик карандаша, вид у него был угрожающе-многозначительный. Кругом стояла толпа зрителей, лишь в ничтожном меньшинстве осуждающая, во имя закона, мародерство, в большинстве же сочувствующая, сожалеющая и даже протестующая против насильственных действий артельщика...

Лето для пропартурцев, как и для всякой вольной птицы, — самая живая пора: и тепло, и способы пропитания разнообразны, и сравнительно безопасно. Любимая область их опустошительных набегов — барки с дровами. В обычный день, говорят, они умудряются перетаскать сажени две дров. Кругом шум, грохот,

лязг, свистки пароходов, сверкающая зыбь реки, суета и веселая ругань. Тут лишь не зевай. В полдень катили, грузчики, извозчики уходят в ближайшие столовые обедать. И в эту пору пропартурцы проворными стайками налетают на кучи сваленных полен, хватают, кто сколько осилит, иной раз по доброй охапке, и, любовно обхвативши их руками, мчатся к воротам своей «Васиной деревни». За ними мчится городской или приказчик с барки. Если преследование достаточно энергично, похитители бросают часть добычи. Облегчив себя, они отбегают на безопасное расстояние и издали вступают в словесную полемику с городowymi.

— Паликма-ахер!.. — кричат они по адресу охранителя порядка.

Должно быть, есть что-нибудь особенно обидное в этом прозвище, потому что нередко городской, уже остановивший преследование, снова подбирал шашку и мчался за обидчиками. И тогда Двадцатая, Двадцать первая и Двадцать вторая линия Васильевского острова представляли собой оживленную картину заразительного массового бегства, — точно листья, гонимые ветром, мчались детишки от городского, все без различия пола и возраста, даже и двухлетние карапузы-рахитики на кривых ножонках, не принимавшие, конечно, участия ни в похищении чужой собственности, ни в полемике с полицейской властью, — все мчались, и видно было, как на пространстве не менее четверти версты, точно мелкая зыбь, мелькали детские пятки.

— Пираты, сукины дети! — кричал городской им вслед, останавливая безнадежное преследование.

— Паликмахер! — несло из глубины улицы.

— Хулиганы!..

— За день сажени две дров перетаскают!.. — говорил городской, громко дыша и отдуваясь, случайному зрителю.

— И уж если бы домой... а то на папироски, на лампасе... Народец! А то продадут в лавчонке да в орлянку...

Лицевая, наружная сторона жизни «Пропартура», или «Васиной деревни», почти всецело исчерпывалась этими маневрами ее маленьких пиратов. По праздникам, правда, около пивных и столовой, где торговали, очевидно, не одним кушаньем, было шумно, пьяно и казалось небезопасным проходить мимо. Но в будни

тут собирались лишь вечером. В полдень, под воющие звуки фабричных и заводских гудков, сюда тянулись вереницы рабочих с лицами, выпачканными угольной пылью, известью, мукой, усталыми сумрачными лицами. Через полчаса шли они назад, к заводам и складам. Внутренняя жизнь «Васиной деревни», та, что была в ее стенах, оставалась закрытой для постороннего наблюдателя. А между тем к ней тянуло любопытство,— хотелось прочитать хоть одну страничку этого особого мира, хотелось спросить, чем они живы, эти сумрачные люди, с закоптелыми и запыленными лицами, эти женщины в ветхих, до конца изношенных одеждах, эти кучки их босых или фантастически одетых бойких детей бедокуров...

И когда представилась возможность заглянуть в их жилища, во время переписи, я с особенной готовностью взял на себя именно «Васину деревню».

В 10 часов утра 11 декабря я долго звонил у ее ворот в звонок к дворнику. Никто не выходил. Лишь детвора окружила меня живым, любопытствующим кольцом и с интересом цеплялась взглядами за толстый синий портфель счетчика, набитый бумагами. Худенькая девочка с живыми черными глазками и бескровным личиком спросила:

— Вам кого?

— Я по переписи. Дворника надо...

— Нам вчера листок приносили... Дворника? Это туда, во двор.

Окруженный добровольными провожатыми, я вошел во двор. Кстати сказать, эти маленькие провожатые после, во время переписи, гурьбой сопровождали меня, давали пояснения о расположении дома, биографические сведения об обитателях и проч. Поначалу они оставались на лестнице, пока я был в квартире, а потом стали входить и в квартиры вслед за мною. Из-за этого между ними и квартирохозяевами возникали даже конфликты, заканчивавшиеся изгнанием моих чичероне на лестницу. Впрочем, это обстоятельство, кажется, несколько не охлаждало их усердия.

Тесная дворницкая, куда привели меня дети, была битком набита народом. Оказалось, что как раз в эти

предпраздничные дни хозяин дома был занят взысканием платы с жильцов. Видно, сложны были счета и не очень исправны плательщики, потому что благообразный старичок с красной лысиной и с тонким голосом, ликом очень похожий на Николая, мирликийского чудотворца, горячился и кричал:

— Хочешь, беленькую бумажку пришло? Мне недолго!

— Егор Васильевич! Вы же сами говорите, что солидарны к бедным,— и где же мне взять? Праздники заходят, сами знаете...

— Платила бы частями, я и полтинниками беру! Сколько ни принеси, беру... Лишь бы за время... А ты чего?..

— Насчет отхожего, Егор Васильевич. Какая же это исправка: досками кой-как забил плотник, а как кто сделает, так весь дух в комнаты.

— За шестнадцать рублей парфюмерию Ралле хочешь? Нет, это уж извини-с! Не могу-с... Дух идет, открой фортку. Ду-ух... Эка штука какая, подумаешь...

По тону голосов, достаточно смиренному и даже подобострастному, по выражению лиц и фигур, видно было, что хозяин дома держит в своих руках возможность благодетельствовать или карать эту стоящую перед ним часть человечества, а они чувствуют себя если не облагодетельствованными, то во всякую минуту подлежащими более суровому обращению, чем то, которое предоставлено им от Егора Васильевича.

Я обратился с просьбой о дворнике, для сопровождения по квартирам.

— Заняты-с дворники,— сказал домовладелец далеко не любезным тоном,— да вы идите так... по квартирам известно... всем объявлено.

— Полагаю, что и вам должна быть известна инструкция городского управления?

— Читал-с!

— Если читали, то, значит, и толковать нечего... Потрудитесь откомандировать старшего дворника в распоряжение счетчиков.

— Занят, говорю вам, старший. Он с судебным приставом в 15-м номере.

— Но ведь 108 квартир. Их надо обойти сегодня. Где же тут ждать?

— А я сегодня должен собрать деньги за квартиры. Дело тоже казенное-с. Иначе, ежели мы не соберем, вам и жалованье нечем будет уплатить.

Тон был решительный и безапелляционный. Мне уж не захотелось осведомлять этого благообразного старичка о том, что о моем жалованье он мог бы и не очень беспокоиться, что я работаю безвозмездно и проч. Я понимал, что красноречие мое здесь будет бесполезно. Как-то конфузно сознаться, а я поступил упрощенным российским порядком: по телефону сообщил о разговоре с домовладельцем в участок. Через пять минут все три дворника,— в доме при 108 квартирах было только три дворника,— были в распоряжении моем и моих товарищей по переписи — студента и курсистки.

— Нам ведь все равно, господин, ходить-то, что по хозяйскому делу, что по вашему,— тоном извинения говорил старший дворник, сопровождая меня по квартирам,— ну, только хозяин не приказывает, так как же... Мы ни при чем тут...

— Я вас не обвиняю.

Рыжий человек, в грязном сюртуке и картузе блонном, шедший позади нас, сказал в виде поддержки дворнику:

— Таких людей, как наш Егор, и на свете мало. Хамлет, и больше ничего. Я, говорит, честным трудом нажил. Черт чесал, да гребенку сломал об этот твой честный труд!..

— А что за труд?

— Да разве это от труда? От труда много разбогатели?.. Он, Егор Васильев, сказать,— просто из нашего брата, из крестьян. Да и из крестьян-то еще самого низкого звания: тряпки собирал... тряпизон... А сейчас — пять домов, боле 600 одних квартир!.. Честным трудом... Нет, брат, от труда не будешь богат, а будешь горбат!.. Честным трудом — так об нужде бы понимал, а то об нужде никак не понимает.

— Неуважителен?

— Нитнюдь! Деньги неси к числу, а то сейчас: «Пришлю беленькую бумажку...»

— Это что же значит?

— Судебному приставу-с.

Я начал обход с первых номеров, с каменного флигеля, выходящего на задний двор, очень тесный, гряз-

ный и вонючий. Все квартиры были одинакового размера. В сущности — одна комната, разделенная деревянными перегородками иногда на две, иногда на три клетки. Двери нигде не запирались на ключ или крючок. Дворник уверенной рукой отворял одну половинку, и мы втискивались в темную, тесную, уставленную ведрами, чулунками, кучками дров кухню с плитой. Время дня было как раз такое, когда плиты везде были растоплены, готовился обед, стоял чад и угар. Во всех квартирах воздух был спертый, сырой, липким жаром охватывало лицо и все тело. В одной квартире стояла такая духота, что даже лампа тухла от недостатка кислорода, — писал я здесь уж вечером. В первый день приходилось обходить квартиры лишь для раздачи переписных листков. Больше пяти минут редко где приходилось задерживаться. Но и в этот короткий срок я почти задыхался от жары и спертого воздуха и выходил из квартиры на лестницу совершенно мокрым от испарины. И даже воздух вонючих, загрязненных лестниц «Пропартура» казался мне свежим и приятным после воздуха в квартирах. В последний день переписи один из моих сотоварищей по переписи, студент Горного института, угорел от этого ужасного воздуха до обморока. А ведь грудные дети и больные взрослые обитатели углов проводят в этом воздухе круглые сутки безвыходно.

Мы с дворником не входили, а втискивались в кухню. Несколько мгновений нужно было, чтобы оглядеться в ее полумраке, — кухня была без окон.

— Хозяйка! — вызывал дворник командующим тоном, — поди-ка сюда!

Выходила хозяйка. Я объяснял цель нашего визита, а дворник заканчивал пояснение:

— Говори, сколько у тебя народу?

Этот вопрос в иных квартирах возбуждал как будто некоторое подозрение, — на него не сразу отвечали. Неуловимая тень подозрительной настороженности проходила по лицу хозяйки или хозяина квартиры. Я потом понял причину опасений, внушаемых вопросом: городское управление, совместно с полицией, в заботах об оздоровлении города, обратило внимание на переполнение дешевых квартир и энергично начало штрафовать хозяев, державших угловых жильцов больше, чем можно было допустить по правилам ра-

зумной гигиены. В результате угловой жилец в значительном количестве был вытеснен сначала в ночлежку, а потом, за переполнением ночлежек, и под открытое небо. Углы и места в ночлежках вспухли в цене (прежде угол стоил полтора-два рубля, теперь дешевле трех нет), а жилищные условия для низов столичного населения не улучшились, а ухудшились.

— Так сколько же всех живущих в этой квартире? — повторяешь вопрос дворника.

— В квартире? Да сколько же, четверо их у меня, жителей. Семен Васильевич с Настасьей да Прокудиных двое...

— Нет, всех вообще. И вас считая, и детей.

— И детей?

— Непременно. На каждого будет писаться отдельный листок.

— На дитя? Да что вы? Вот у Настасьи пяти месяцев, и на него?

— Обязательно! — солидно и с весом пояснял дворник, — ты вот и большая, а на тебя двух билетов не дадут. Всем — ровно. И дитю.

— Мало того. Если в ночь на 15-е родится ребенок, то и он должен войти в список жителей Петербурга.

Хозяйка всплескивает руками и изгибается от смеха.

— У вас таких не предвидится? — спрашивает дворник.

— Нет, к 15-му не успеем.

— Ты-то лопнуть не собираешься?..

— Ну — тебя!.. Сорок восьмой уж... где там...

— И Иван Митрич твой не собирается?

— Разве от водки лопнет... а то нет!.. И детей! Ну-у-у... С детьми-то у нас наберется десятка два: у нас трое, у Насти — пятеро, у Прокудиных — пятеро... Сын-то у них отдельно живет, в Кронштадте. Это сколько же выйдет?..

Считаем: выходит 18. Отсчитываю личные листки. Спрашиваю: есть ли кому написать? Грамотные есть, но написать едва ли сумеют. Почти половина квартир сразу заявила, что написать некому. И это было лучше. Впоследствии в большинстве тех квартир, где жильцы выразили желание сами заполнить листки, пришлось записывать после счетчикам. В иной квартире и был

«писучий» человек, да записал. В другой — все занятые люди оказались, а заполнять десятка два листков дело нудное и, в конце концов, надоедливое. Это обстоятельство чрезвычайно осложнило и отягчило работу счетчиков.

Идем дальше. И в следующей квартире дворник голосом коменданта кричит:

— Хозяйка! Говори, сколько у тебя народу?

Шапку он не снимает, идет в комнату в грязных сапогах. Заметив, что я снимаю калоши, говорит:

— Не снимайте, господин, калоши. Ни к чему.

Я не могу сказать, чтобы в этих тесных, набитых людьми клетках было грязно. Было бедно, скудно, ветхо, тесно, душно, но грязи было не много более, чем в иной культурной квартире. А в иных квартирах, особенно там, где хозяевами были немцы и поляки, было положительно чисто. Но сырой воздух был и там сперт, и удушливый газ шел от плиты. А между тем дворник с комендантскими замашками не только сам не стеснялся пачкать тут полы своими грязными сапогами, но и мне рекомендовал не снимать калош. Невольно приходило в голову: что, если бы в квартиру с культурными жильцами ввалился такой комендант в грязных сапогах и, не снимая картуза, крикнул: «Хозяин! говори, сколько у тебя народу?» — неужели он не встретил бы протеста? А тут вот не только сам бывший «тряпизон» ежедневно требует своего жильца пред собственные ясные очи, но и его подручные тяжелыми мужицкими сапогами могут невозбранно наступать на очень чувствительные места человеческого самолюбия... И ничего. Молчит квартирант... И не потому молчит, чтобы был нечувствителен к этому хамству. Видно было, что чувствует, болезненно, остро чувствует... Какая же степень нужды в этом смрадном жилище должна быть у него, чтобы даже в «тряпизоне» чувствовать безграничного владыку?..

Меня потом положительно смущала та деликатность и мягкость тона, с которой угловые жильцы удовлетворяли мои расспросы, та предупредительность, с которой очищали мне для записывания маленький столик, подавали стул, помогали надевать пальто. Я для них начальством не был, — они это понимали. И перепись, в их глазах, была делом если не вполне для них бесполезным, то, во всяком случае, посторон-

ним. А вот находили же они приветливый и вежливый тон по отношению ко мне, счетчику, человеку все-таки беспокоящему, отрывающему их от дела, любопытствующему. Чувствовалось какое-то природное благородство в этом тоне, говорило инстинктивное чувство человеческого достоинства, сохранившееся даже тут, в попирающих условиях бедности, записности, голодной нужды, угрюмости и невольного озлобления... А я немножко боялся этого дома. Боялся оскорблений, неприязненного отношения, прямой грубости. Боялся того, что увижу здесь подтверждение приговора, не один раз при мне вынесенного воинствующим городовым маленьким обитателям «Васиной деревни»: «Хулиганы, пираты...» Боялся подтверждения злопыхательных уверений «сотрудников» этого городского в печати, — уверений об одичании, хулиганстве, пьяном оскотении народа. Но за все время встретил пьяных лишь в трех местах: одного — в чайной, — он ругался непечатными словами, просто так, на воздух, а на него шикали, услащивали люди с несколько подпухшими и подозрительными физиономиями; двух — в квартирах, это были очень мирные, пьяненькие люди, — одного я даже не видел, а слышал, как он горестно кричал за перегородкой, а на него тоже испуганно шикали трезвые сожители. Я читал после в газетах, что один генерал послал счетчика за сведениями о своей персоне к дворнику; офицер предлагал «хоть десять рублей» за то, чтобы его не отрывали этими пустяками — переписью — от его серьезных занятий; какой-то действительный статский советник в графе о поле написал: «паркетный»; какой-то студент в своем листке дал сведение, что он питается молоком матери... И я порадовался за моих милых угловых обитателей, ибо, надо признать, больше одичания, хамства, некультурности проявили все-таки бельэтажи, а не подвалы, не чердаки, не угловые клетки «Васиной деревни», она же «Пропартур».

А ведь, казалось бы, трудно сохранить мягкость тона, доброжелательство и вежливость в такой обстановке, какая была в «Васиной деревне», с ее одуряющим сырым воздухом, теснотой, кричащей и немой нуждой, которую я потом увидел, когда приходил уже без дворника переписывать ее население. Вполне естественно было бы ждать грубых, озлобленных выходов при виде лучше одетого, пообедавшего, праздно любо-

пытствующего человека, отрывающего людей от дела эдакими-то пустяками.

Условия работы счетчика здесь были таковы, что в день я делал два-три перерыва по часу, чтобы отдохнуть,— кружилась голова и страшная усталость чувствовалась во всем теле.

— Очень уж сырые у вас квартиры,— говорю дворнику,— как в них и живут?..

— Нет, квартиры у нас сухие... ничего...

— А это что? — показываю на зеленые фантастические пятна.

— Эта стена точно — сырая. Да ведь у нас, господин, и житель такой. Порядочного жителя нет... Точно, что дому — ежели по совести — давно бы уж ремонт настоящий надо. Ну, у хозяина карман толстый: кому следует, дает,— и ничего... сходит... А потом по рублику, по два накинёт на жителей — вот ему и не убыток... Летом нынче санитарный надзор его поприжал было. Так он взял, составил прошение и пошел по квартирам: подпишитесь, мол, что я к бедному народу уважителен,— я спущу платы. Ну, известная вещь, подписались: с детьми, мол, деться нам некуда, бедным жителям дешевле этих квартир по всему городу не сыскать, мол, и мы живем без всяких препятствий... Так его по этому прошению без всякого нарушения и оставили...

— Что же, обещание-то сдержал?

— Насчет цены-с? Набавил. Где рублик, где два накупил. Нельзя, говорит: санитарный надзор придирается, расходы по ремонту растут. А какие расходы? В летнее время — рабочие в цене — у нас ни за что ремонту не делается. Вот сейчас, копеек за 30 в день, ну, позовет одного-двух плотников. Да и то не с добром: ходишь-ходишь... Квартирант обижается, ругает дворника, а дворнику что? Спрашивай с хозяина, нам хозяйского не жалко...

В следующие дни, при обходе квартир, вместо дворника меня сопровождали детишки.

Войдешь в переднюю — она же и кухня,— полутьма, тесно; повернуться с трудом. Какой-нибудь из моих чичероне нырнет вперед — разыскать хозяйку,—

и слышно торопливое, торжественно-предупреждающее:

— По делу тут пришли... перепись...

Вслед за сим слышится приглашение в комнату хозяйки. Если там не очень чисто, просят в какую-нибудь из жилецких комнат:

— Сюда пожалуйста, тут вот почище.

Иногда, если наш визит приходился на обеденную пору, суетливо убрались со стола атрибуты трапезы, — столики везде крошечные, с трудом две тарелки поставить, — сметались крошки, старательно вытирали мокрое. Получалось впечатление, что наш приход являл в своем роде важнейшее событие и по целям, и по значительности лиц, причастных к его осуществлению. Дело же было не так уже важно — для них, по крайней мере, — они это, разумеется, отлично понимали и знали. Помнили некоторые старую перепись, кое-кто даже две.

Иногда спрашивали, и легкая шутливость тона прикрывала несколько конфузливое любопытство:

— Для чего же это, господин, переписывают? Может, нам к празднику рубликов по сту дать хотят? Не худо бы...

— А то не окажется ли где земли праздношатающей, — тоже годилось бы...

— Ух и работнул бы теперь... косой, например...

Но тут же слышались и пессимистические замечания:

— Держи карман! Как же... по сту рубликов... На нашу же шею ляжет, — больше никаких...

— Да нашему брату когда давали? У нас взять — это так...

— А что брать-то? Горсть волос... и тех не наберешь.

Было как-то совестно давать одно голое объяснение: перепись — чтобы исчислить население. Ведь, несомненно, из этих прикрытых шуткой вопросов робко выглядывала и тайная надежда хоть на маленькое улучшение жизни. Но и обманывать их не хотелось. Говорил предположительно: может быть, город примет во внимание, например, жилищную нужду населения. И тут же вспоминал об отцах города, стародумцах, общественных пирогах и проч., и становилось стыдно собственной наивности.

Начинал я записывать с перечневого листка, чтобы предварительно выяснить живущих в квартире лиц, начиная с хозяина квартиры, его семьи и кончая прислугой и квартирующими. При этом предварительном перечислении приходилось сдерживать избыток усердия лиц, дававших сведения, — без особой надобности и помимо моего желания, называя имя и фамилию, хозяйки тотчас же вызывали в комнату и обладателей сих имен.

— Хозяин, стало быть, Иван Павлов. Ведь вот беда какая — нетути его сейчас. На работе. Он на гвоздильном служит.

— А о нем дать сведения можете? Когда родился, где, чем занимается?

— Да это-то знаем. Чай, женой довожусь ему. Иван Павлов — пишите...

И сейчас же подробные сведения о возрасте и месте рождения.

— Нет, погодите. Сперва лишь имена и фамилии, а тогда на каждого отдельный листок буду писать уж подробно...

— На каждого? У-у, это вам писания много, — сочувственно вздыхает и качает головой собеседница.

— Теперь следует хозяйка...

— Хозяйка — вот она я: Прасковья Романовна.

— По фамилии — Павлова?

— Романова-с.

— Да ведь вы замужем?

— Семнадцатый год.

— Ну, я вас по мужу — Павловой записываю.

— Он-то Павлов, а у нас фамилия: Романова.

Эта особенность крестьян северных губерний, — текучесть и изменчивость фамилий, — меня, южного уроженца, долго приводила в недоумение. Одна семья — несколько фамилий: дед, например, Савелий Никитич говорит фамилию «Никитин» и в паспорте значится: Савелий Никитин. У сына уже в паспорте фамилия — Савельев: Яков Савельев. И, кажется, только в паспортах последнего времени уже стали обозначать имя, отчество и фамилию, общую и обязательную для последующих поколений.

Уроженцы центра, востока, юга и запада России называли настоящие фамилии, в общепринятом значении этого слова, и здесь, в угловых квартирах, где

перевес был за северянами, фамилии эти нередко возбуждали благодушный смех.

— Вас как записать? — спрашиваешь жильца, вызванного из угла к столу.

— Андрей Лепешкин.

— Лепешкин! — с изумлением повторяет кто-нибудь из присутствующих угловых обывателей, знавший до сего времени Лепешкина Андреем Лукичом, — хорошо, что не Блинов!..

И вспыхивает взрыв общего смеха, заражающий и самого обладателя веселой фамилии.

— Теперь ваша очередь, — обращаюсь к следующему жильцу, записав Лепешкина.

— Иван Зуев, — с некоторой конфузливостью говорит опрашиваемый, и опять фыркает молодая, легкомысленная часть публики, присутствующая при переписи. Вокруг счетчика, на первом плане, всегда торчала мелкая детвора, за нею шла более взрослая, по все-таки юная часть населения углов, и уже в самых дверях комнаты торчали наиболее солидные представители квартиры.

— И не знаю, отколь и почему такая фамилия? — оправдывающимся тоном говорит Зуев.

Но оправдания ни к чему: фамилия прилеплена — и конечно дело... Носи, брат... Так говорил веселый смех угловой молодежи.

Эта молодежь, особенно школьного возраста, давала ответы самые обстоятельные и полные.

— Екатерина Ивановна Налимова, — говорит на вопрос об имени и фамилии девочка девяти лет.

— Ивана-новна... — иронически, вполголоса замечает одна из пожилых обитательниц квартиры и качает головой, точно это прибавление «Ивановна» совершенно искажает привычный облик Кати, дочери легкового извозчика Ивана Петрова.

Неугасающая способность сохранить шутку, милый, добродушный смех в условиях, при которых легче всего можно, кажется, разучиться улыбаться, изумляла и глубоко трогала. С шутки начиналось заполнение листов почти в каждой квартире.

— Екатерина Ундра... Катя, иди-ка сюда, опишут тебя, какая ты есть.

Женщина с заморенным, преждевременно износившимся лицом, в поношенной одежде, жена безра-

ботного, выходит и бойким, веселым голосом говорит:

— Что? Вот я!.. Это что же? Не дадут ли земли?.. Вот хорошо-то бы?.. Не дадут? Э-э... что же так-то? Кабы земли... Ну, господин, за вами же пять рубликов запишу, а то и сказывать не буду.

Но по мере того как пишешь опросный листок, выясняется безотрадность и безнадежность положения. Ундра показывает мне совершенно обтрепанные рукава своего пальто, сапоги с дырами и с одним лишь намеком на подошвы. Говорит — и в голосе ее дрожат слезы горечи, озлобления и отчаяния:

— Труда нам не дают! Пошла бы поискать работы, да в чем пойти?.. Промочишь ноги, сляжешь, — мужу камень на шею... Теперь мне не то рупь, — гривенник дороже десяти рублей! А было время — по шести рублей теряла и хоть бы чуточку пожалела!.. В церкви у меня, милая, раз вынули, — поясняет она ближайшей слушательнице.

Даже при заполнении квартирного листка с его сухими, на первый взгляд не особенно существенными вопросами об этажах, окнах, отоплении, воде, отхожих местах, плате, условиях сдачи жильцам, — начинаясь с иронических отзывов о жилище, речь кончалась рядом жалоб и вздохов, выступала наружу голая нищета и безотрадная стиснутость существования.

Сколько платите за квартиру?

Невольно как-то при этом окинешь взглядом оборванные обои, плесень, полутемную каморку, в которой стоят две кровати да еще три-четыре весьма примитивных лежа из досок.

— Шестнадцать. Платили четырнадцать, два набавил хозяин. А за что? Ни ремонту, ни свету. Окнами глядим в сарай. Духовка вон перегорела, сказала хозяйину, а он: «А почему раньше не заявила?»

Образ бывшего «тряпизона», получающего десятки тысяч дохода от этих смрадных углов, неотступно реял над этой нуждой и безвыходностью, ходил за нами из квартиры в квартиру, постепенно обростал все новыми и новыми подробностями.

— Три рубля ему задолжали, так он подал ко взысканию за два месяца. Исполнительный лист подают: 32 рубля! Мы и знать не знали, что дело было в суду. Головушка моя горькая! Куда, мол, теперь с детьми?..

Прихожу к нему: Егор Васильевич! я у вас третий год живу... Три рубля задолжала, а вы 32 подали! Я же вам чистыми деньгами отдавала... «Ну-ну... я забыл, забыл.. я — пострадать... Давай помиримся в шести рублях... я за судебные издержки уплатил...» Так и взял шесть...

— И как жить пынче, господин, посудите сами: муж 70 копеек на гвоздильном получает... Цыц ты, Колька!.. Живем с углов. А летом пришла полиция, доктор. «Чем квартира отапливается?» — «Плитой». — «15 рублей штрафа!» — «Да за что же, помилуйте? Ищите с хозяина, а мы при чем в этом деле?»

— Пожалуй, что ни при чем. Требования санитарии, может быть, резонны, правильны, но почему они здесь обращены исключительно к квартиронаймателю, а не к домохозяину, понять мудрено. Неужели прав был дворник, — а дворник сторонник хозяйских интересов, — когда утверждал: «У хозяина карман толст, вот и пичего...»

— Квартиру найми, а народу не смей пущать, — а чем же нам правдаться, скажите на милость? 70 копеек в день, а я сама шеста... Оставь ты мое сердце терзать, Колька, пока я тебя не вынала!.. Летом чернорабочие были, артель, восемь человек. Конечно, народ грязный, слов нет. А нужда заставляет: держишь. А хозяин требует: чтоб не было! Санитарный надзор, говорит, не приказывает...

— Ну куда же теперь деваться нашему брату?! — слышится голос из таинственного сумрака кухни — голос чернорабочего. — Все подвалы были полны, углы полны, — повыгнали; народ — в почлежки. А в почлежках и так — руки не пробьешь... Куда же деваться бедному народу?

— Ночуй на улице... — отвечает насмешливо-сочувственный голос из-за тонкой стены.

— На Гаваньском поле... — добавляет новый голос за моей спиной.

— Вроде как на даче.

— Да и там не дадут!..

— Сними квартиру, да порожняя чтобы она стояла, жильцов не пущай, — вторит хозяйка.

Под эти разговоры, по мере знакомства с углами, незаметно вырисовывается и картина оригинально оздоровляемого Петербурга, и «его страдание под ледя-

ной корой, его страдание большое». Оказывается, переход от угла в полтора рубля ценою к навозным пещерам Горячего поля теперь упрощен до последней степени. «Тряпизон» — домовладелец все требования санитарии сводит к ограничению количества живущих в его смрадных квартирах. Делает это он вполне спокойно и уверенно, зная, что на дешевые квартиры спрос всегда далеко превышает предложение. Квартирсаниматель, живущий сдачей углов, повышает цену за угол в той самой пропорции, в какой сокращено число его жильцов, — иначе ему мат. Часть угловых жильцов волей-неволей спускается в ночлежку: и углов стало меньше, и не под силу платить по три рубля в месяц за ночевку... Но переполненные свыше всякой меры ночлежки выбрасывают новых клиентов на улицу, на Горячее поле, в зазимовавшие барки и им подобные просторные помещения. Казалось бы, какие удобства может представлять собою обледеневшая барка? Однако и она является вожденным и часто недоступным приютом бездомному человеку.

— Барка?.. Помилуйте, господня... Барка это — прямо мобилизованная комната... Переночевать в ней куда способнее, чем на даче...

Ночевать «на даче», то есть на улице, на берегу или на Гаваньском поле, возможно лишь в «дозволительную» погоду: тогда три-четыре человека спят на земле, прижавшись друг к другу. Но в мороз приходится попросту «ломать тальянку», то есть ходить всю ночь, пока не откроются дешевые чайные заведения, куда невольные фланеры бегут греться.

Но это уж «дно» жизни, это — сама безнадежность. Здесь, в углах, люди еще кое-как цепляются за каждый карниз и выступ, чтобы не упасть в яму, временами обрываются и снова карабкаются вверх, при первой возможности борются даже за одну видимость человеческого существования. И зрелище этой борьбы, даже при таком случайном, мимолетном знакомстве с ней, как обход счетчика, производит впечатление самой подлинной трагедии человеческого бытия. Сухой «личный» листок с своими вопросами о возрасте, месте рождения и приписки, о звании, семейном состоянии, грамотности, занятиях шаг за шагом развертывает пеструю картину человеческих мытарств, неудач, страданий и нужды, в которой перемешаны все националь-

ности и областные, в которой равноправно объединены новгородцы и поляки, костромичи и малороссы, калужане и белорусы, латыши и херсонцы, финны, немцы, цыгане, пензяки... Все сословия, начиная от дворянского (Иосиф Поплавский, чернорабочий, дворянин), продолжая мещанским и кончая всезатопляющим крестьянским морем. Чуть ли не все специальности, начиная с свободных артистических профессий: акробатов, фокусников, певцов, певиц, балетных танцовщиков.

«Выходит на театр представлять» — каракулями изображено в нескольких личных листках.

В ярко-красном платье с золотыми цветами, разводами и крупными прорезами стоит у стола и артистка, передавшая мне листки. Прелестные черные глаза, профессиональная улыбка, папироска между двумя пальцами на отлете.

— В каком же вы театре играете?

— В Михайловском манеже.

— Что представляете?

Смеется, играет глазами.

— А вот пойдем ко мне в комнату, покажу.

— Некогда, — говорю.

— Ну, на праздниках приходи, поглядишь. Что представляем? Все. Поем, пляшем, играем, гадаем. Хочешь, погадаю?.. Романцы поем: «Распашол», «Отойди, не гляди»... Все можем.

А вот артист из балета, танцами наживший жесточайший ревматизм. Бедность и нужда глядят из всех четырех углов крошечной комнатки, а по стенам фотографии людей без штанов в изумительно пластических позах.

Не особенно численна, но характерна категория лиц, живущих на средства благотворительности. Они держат себя суховаато, скупы на разговор, — может быть, потому, что в предпраздничное время им много хлопот и забот: надо обойти несколько учреждений в чаянии получить ничтожное пособие.

И, вправду сказать, метание это диктуется не только попрошайничеством, но и действительной нуждой: все это люди, потерявшие трудоспособность. И, кажется, далеко не всегда можно найти теплый отклик в массе благотворительных обществ, около которых, как установлено, хорошо греют руки жители бельэтажей, а не «пропартурцы».

Августа Вербо, старушка шестидесяти лет. У нее сын и дочь. Сын, механик, год тому назад изувечен при взрыве подводной лодки. Дочь в октябре попала под автомобиль, — тоже, как и сын, сейчас находится в больнице. Обращается старуха ко мне, счетчику: где ей искать помощи? жить нечем...

— Ходила к нашему пастору, — у нас есть лютеранское благотворительное общество. Пастор сказал: «Не могу ничего, устав запрещает, — вы вышли замуж за православного, и дети ваши православные...» Вот теперь и сижу, проедаю, что можно.

Главное ядро «Васиной деревни» — люди крестьянского звания: портовые, заводские рабочие, чернорабочие, отслужившие срок солдаты, летом имевшие работу на берегу, сейчас — безработные, торговцы вразнос, плотники, граверы, штукатуры и прочие ремесленники. Значительное число — безработных. Пока была навигация, пока тянулись летние работы на постройках, ремонте и т. п., — была работа. Сейчас нет. И деться некуда.

— На наше горе и зима-то какая: ни снегу, ни морозу. То бы на Неве лед колоть, снег расчищать на конке, а то — некуда! Никуда не берут...

Записываешь место рождения: губерния, уезд, волость. Крестьянин?

— Крестьянин. Только безземельный. Подзаборный житель, как говорится...

Безземельных не так много. Но и владеющие землей при упоминании о ней лишь безнадежно машут рукой.

— Земля-то есть, да сколько? Всю в горшок можно собрать. Четыре брата нас. Отец одну душу держал, вот она на нас, на четырех, и отошла.

— На летние работы не ездите, значит?

— Нет. В деревне давно уж не был. Ни к чему. Оно и рад бы съездить, ну — в чужую избу... кому нужен... И тут не мед, но и горько, и сладко — все тут...

Упоминание о деревне будило всякий раз оживляющий интерес, воспоминания, вызывало сравнения, робкие надежды и немножко фантастические толки о земле. И даже в явной безнадежности этих наивных мечтаний вслух все-таки звучало что-то ласковое и теплое, рожденное и забытое где-то там, позади, в глухих родных уголках,

Пожилая, одинокая женщина, прачка-поденщица, на вопрос: бывает ли в деревне? — говорит, махнув безнадежно рукой:

— Нет, давно.

— Там пепел один остался, — шутливо замечает кто-то из молодежи.

— И пепелу-то уж нет... Ступить некуда. Так, лишь во сне иной раз увижу — и все...

И безнадежная грусть слышалась в этих скупых словах.

Но мечта о деревне, видимо, долго не оставляет человека, родившегося в ней и нуждой запесенного в город даже на десятки лет. Тут же высокий, 54-летний богатырски сложенный новгородец, торговец селедками, с отроческих лет попавший в Питер, говорил:

— В деревню не миновать ехать, — умирать. Тут доходит точка, — жить нечем. Вот мы со старухой селедками торгуем. Летом еще туды-сюды, а зимой и душу пропитать нечем. А тут за комнату 8 рублей отдай, за одни стены!..

Больше сорока лет не видел он деревни, по думает, что где-то там есть у него земля. Помнит лес, покосы — все это такое широкое, раздольное. За 30 рублей целый дом можно построить — две теплых горницы с чуланом.

— Лес свой у нас, луга свои... Там жизнь разве такая? Не сравнительная жизнь! Любую вошь на пузе бьешь... А тут лет через десять вовсе нельзя будет жить... Одно лишь и держит: привычка. Привыкнешь к аду, так думаешь: лучше, чем в раю...

— А вы давно ли были в деревне?

— Да как увезли парнишкой в город, с той поры ни разу и не довелось. Не с чем поехать. И старуха у меня, признаться, не с охотой... А то бы я давно! Старуха — городская. А здешние женщины, извините, привычны в подштанниках ходить... А в деревне подштанники-то надо снять...

Он долго еще развивал вслух свои мечтания о деревне, о деревенской жизни, как он ее там устроил бы, разыскав свою землю, и кругом слушали его с мягкой улыбкой сомнения и снисходительной ласки к наивным мечтаниям старика.

— А работать на чем будешь? — спрашивал его иной скептик.

— Очень просто. В деревне? Сделай одолжение! Там уговорился из снопа, — вот тебе и хлеб. Он спыхал, засеял. Выросло. И вот ты уж видишь, какое зерно — твое... Это не то что вынес лоток с десятком селедок и жди, когда навернется покупатель...

Прежде он работал на заводе. Закрыли завод — взялся за торговлю. Кормиться еще можно, но дело такое маленькое, что старуха и одна справилась бы. Ходил в разные места, искал работы — не берут.

— Сделали эту черную книгу какую-то: сверх 40 лет не годится. А я этих двадцатилетков-то нынешних пятерых обработал бы. Придешь на завод: нет ли работы? Поглядеть: из себя я человек свежий. «Хорошо, приходи завтра». А завтра паспорт принес, глядят: 53 или 54 года. «Нет, нельзя: свыше сорока!.. Так, по голосу и по волосу можно бы, а книга не дозволяет...»

Мечта о деревенской жизни была тем пламеннее, чем скуднее и теснее была жизнь в городе. В одной квартире записываю старушку, приехавшую к сыну из деревни на несколько дней.

— Где же лучше, бабушка?

— В деревне, родимый, не сравнить, что в городе. В городе харч дорогой. Тут возьмут рупь, пойдут, купят... Принесли домой — и поглядеть не на что! Товара нет и денег нет. А в деревне — вот тебе огурчик, вот капуста, хлебушка — я и сыта целый день, родимый...

Это несложное перечисление деревенских прелестей возбуждает в прочих жильцах-слушателях целый поток хвалебных гимнов деревне.

— В деревне! Какое же сравнение, Господи! — быстро говорит нервная, худая женщина с блестящими глазами. — Там картошка своя, морковка своя, вот тебе — не поленился, пошел, грибков набрал — свои... Капуста, репа, огурчик, лучок — все свое, все! А тут: пошел, за гривенник картошки взял, разрезал — она гнилая! Репу такую вот взял, разрезал — не годится!.. А деньги отдай! И все с копейки, все с копейки, а как ее нынче добыть, копейку-то!..

— В нынешнем году и как только жить народу... Го-осподи!..

— Придешь в лавку. «Что ж вы за хлеб все по шести копеек дерете? На той стороне давно уж пять,

а там богатые живут! Вы две-то копейки как считаете? Они бы мне на чай, на сахар годились, я бы день сыта была на них...» — «Молчи,— говорят,— пока затылком двери не отведала...»

Город вытравил, по-видимому, все надежды. В перспективе — ничего кроме лишений, тесноты, отсутствия своего угла. И пусть возврат в деревню для большинства — вещь несбыточная (не с чем, да и некуда поехать, если ни хаты, ни даже «пепла» родного не осталось), но она, деревня, почему-то все-таки светит — смутно и робко — в туманной дали маленьким маяком надежды: авось когда-нибудь прибьет волна к родному, покинутому берегу...

— А может, вы бы нам там, господин, землицы какой... хоть завалященькой какой-нибудь? — говорит голодная, но бойкая Екатерина Ундра, костромичка, вышедшая замуж за поляка, — ух и работнула бы я теперь!..

— Все ждем земли,— говорит молодой рабочий, слесарь, и в голосе его звучит прония, — отец пишет: «Дадут земли, приезжай, сынок, домой». А больше трех аршин не дождется старик...

— Я мужу говорю: «Поедем на мою родину, там народ хотя и русский, а хороший». — «Да куда же мы приедем? к чему? к кому?»

— Конечно. У чужой печи не согреешься.

— А тут? Это — жизнь?.. Петля, а не жизнь! Пойду вот, исенции возьму, отравлюсь!.. Буду лежать, хоть тираниться не буду!.. И муж говорит: зарежусь, говорит, я, сил моих больше нет! Возьму вот ножик, полосу себя по шее, по крайней мере, не по куску от сердца рвать!..

И так во всех тесных углах владений «тряпизона». Начинали с шутки, конфузливо прикрывая ею наготу и незащищенность тесной жизни. Потом тон становился глуше, грустнее, а под конец звенели слезы и едкая горечь отчаяния. В том самом углу, где так задушевно покатывались со смеху над неожиданно обнаруженной фамилией «Лепешкин», беседа к концу описи свелась к горьким слезам.

— Ведь вот они... четверо! — с плачем говорила вдова, поденная работница, — им по фунтику — четыре фунта! Взяла вот каравай, а его уж половины нет; есть просят, как не дашь?.. А работник-то вот он —

один! Что с него спросить? 20 копеек заработал за починку, только вот и есть всех денег... На всех — один...

Посмотрел я на «работника»: мальчуган лет четырнадцать. Недавно закончил обучение у сапожника. Бережно держал он мою никелевую чернильницу-желудь, чтобы не опрокинулась, и раза два повторил, присматриваясь к ее устройству:

— Специальная штучка!

Белые брови, белая голова, серьезный не по летам взгляд. И тут же, под рукой у него, хорошенькая девочка, его сестренка, с ясными глазками, с ломтем черного хлеба в руке. Ей хочется поглядеть, что я записываю, а он хмуро шепчет на нее:

— Да цыц ты! Сиди спокойно!..

И, время от времени, осторожно, нежно дает ей пальцем щелчок в лоб. Милый, обездоленный работник! В его возрасте только бы учиться, читать книжки, кататься на коньках, развивать мускулатуру, а он целый день в полутемном углу сидит над починкой старья, чтобы получить двугривенный, на который даже четырех фунтов хлеба не купишь...

— Труда нам не дают,— слышится жалоба из всех углов.— Вот вы говорите, ребят учить. И рады бы учить, сами знаем: надо бы отдать в школу. Да вот одежей обились. В школу — обусть, одеть надо его, надо книжки, бумагу, надо фрыштик с собой дать, а где же нам?.. Кабы обусть-одеть...

В поисках и расчетах на бесплатную обувь и одежду использовано было даже «потешное» веяние. Василий Карушин, 15 лет, на вопрос о занятии отвечает, что ничем не занимается.

— Никуда не берут: мал, росту очень маленького. Никто не верит, что ему 15 лет. Не берут. В потешную дружину определили, да толку не вышло: оставили.

— Почему же?

— Да что там за интерес! Лишь обувку избивают. Кабы дали чего... Сперва давали по блузке да по картузу да пояс, а кто после поступил, ничего не дали!

— Которые в одеже, в Царское повезли,— говорит бывший потешный со вздохом.

— В одеже! А нам где взять ее, одежду-то?.. Хоть бы поесть давали. А то придет, пробегается, лишь больше поест...

— Жалованье, говорят, положат,— со смехом говорит кто-то из присутствующих,— три копейки в месяц...

— Ушей больше оборвут, чем на три копейки.

— Случается?

— У нас унтер сердитый. Бывало, и по щекам...

— Наука, брат, дело такое: нельзя без бою...

— Наука не мудрая: повороты... направо, налево... ряды вздой. Только и всего.

«Мудрая» наука здесь никому не доступна. На вопрос: где, в каком учебном заведении учились? — большинство дает ответ:

— Да какое ученье! Нигде не учился... так... кой-как...

— Я учился в деревне, что называется, за осьмину картошки,— говорит кочегар с Балтийского завода,— заместо учителя так... мужик... был у нас. Читать, а писать не умел. А после даже ходатаем по делам был. Черновик, бывало, составит — мое почтение! А написать не напишет... Вот у него образование я и начинал, и кончил,— все за одну зиму... Зиму проходил, а весной послали «спасибо» разносить по людям...

— То есть?

— То есть по миру... побираться... в кусочки...

Для маленьких обитателей «Васиной деревни» главной школой, черствой, суровой, полной риска, брани, сквернословия, дурмана,— была, есть и будет улица, берег Невы — с их сражениями из-за полена дров, ближайšie портерные и трактиры. Дети тут всецело предоставлены на игру судьбы, ибо здесь они не радость, не цветы земли, а обуза, несчастье, наказание Божие.

— Чем бы работать, а тут колотись с ними! Голова вспухнет... Хоть бы прибрал Господь половину...

— Жалеть будете,— говорю.

— Ничуть. У нас их... чего-чего, а детей — невпророт. Урожай на них в наших местах...

И точно: много детей в «Васиной деревне» — и законных, и внебрачных. Внебрачных чуть ли не больше даже. Вот молодой рабочий с гвоздильного завода. Он услужливо держит лампу, чтобы светлее было читать, часто говорит: так точно-с... крестьянин... земли? никак нет.

На кровати сидит, кормит грудью ребенка молодая женщина, полька.

— Это — ваша жена?

— Никак нет-с... Мы, извините-с, гражданским браком.

Трое детей. Из них два пяти месяцев, двойни. Нужда глядит из всех углов.

— Трудно?

— Трудно-с, так точно. Да Бог с ними, пусть растут... Запятая, видите ли, у нас выходит: она, по католическому обряду, в нашу церкву не хочет, а мне в ихнюю нельзя...

Внебрачное сожителство, жизнь на содержании здесь, по-видимому, дело привычное, открытое, не вызывающее ни осуждения, ни конфуза, иногда даже как будто афишируемое.

— Вам какое занятие записать? — осторожно спрашиваю немножко кокетничающую даму.

— Запишите: на собственные средства. По правде-то сказать, на Захара Ивановича кушанье готовлю... Симпатер мой...

И, рассмеявшись, она добавила:

— Шучу, шучу... Старая уж стала. Так, в темноте, кое-кто и приутрепнет, а подведут к фонарю: «Ну ее к черту! у ней зубов нет...»

В другом месте, заполнивши личный листок девицы, работницы с папиросной фабрики, я сказал:

— Ну, теперь вы свободны...

— Да ведь это сейчас я свободна, — возразила она немножко обиженным тоном, — недели две, не больше. А то я с одним жила, да его в солдаты взяли.

В одной квартире, удрученный теснотой, сыростью, спертой воздухом, я не удержался, сказал:

— И как вы тут живете?

Девушка, стоявшая ближе всех у стола, считая, что вопрос обращен исключительно к ней, сказала:

— Я на содержании, меня один содержит... с 21-й линии...

А вслед за ней хворающая жилица угасающим голосом подтвердила:

— Ее-то дело — слава Богу... А вот мое... Муж вон лежит, издыхает, а у меня вон их — пятеро...

Под эти больные, ноющие жалобы я и расстался с «Васиной деревней», она же — «Пропартур». Мое платье, портфель и бумаги долго носили запах гнилого, сырого помещения, в ушах моих долго звенели озлоб-

ленные слезы нужды и отчаяния, по ночам снился мне «тряпизон» с огромным плакатом: «Солидарен к бедным». А рядом с ним иногда стоял дворник Поплавский, чернорабочий, и говорил:

— День вот работал, а два дня так хожу... Шесть гривен — лишь душу пропитать — заработал, а за квартиру уж нечем... Сегодня лишь чаю напился, и вот до самой ночи крохи во рту не было...

Без огня

Пароход идет час и другой, а все еще виден город, живописно-беспорядочный и пестрый, с старинными башнями и заводскими трубами, с церквями и мечетями, все еще чувствуется причудливая смесь его азиатской старины и гигантских сооружений современной техники, обомшелого кирпича и трамваев, босяцкой нищеты, нелепой миллионной роскоши, мрачных заводских корпусов и мягкой красоты заволжских далей...

Вот он закутался синей дымкой дали и стал похож на этикетку, оттиснутую мутной краской на серебристой лазури горизонта. А какие-то юные экскурсанты в фуражках с зелеными околышами все еще шумно снуют по балкону с своими фотографическими аппаратами, и не остывает пестрое, шумное, праздничное оживление, которое неизменно приливает на пароход на каждой большой пристани вместе с новыми торопливыми впечатлениями и новыми лицами.

Внизу, на корме, выступили какие-то певцы.

Ты не езд, милый, к Яру...

Голоса хриплые, с трещинами, жалкие, скорбные. Тщетно стараются они изобразить лихой разгул и удаль, — одна горечь тяжелого похмелья выразительно звучит в их песне. И припухшие лица артистов — их четверо — того кирпично-малинового цвета с гляncем, который так свойствен запойным людям, с тоской и унынием смотрят перед собой остекленевшим, неподвижным взглядом.

Но их слушают. Вверху, на балконе, стоит толпа сытая, чистая, холеная, нарядная, обрызганная духами, улыбающаяся небрежно и снисходительно. Внизу

сгрудилась толпа серая, тощая, беспшпая и лапотная или вовсе босоногая, обожженная солнцем и ветром. По открытым ртам, по восхищенным глазам, ушедшим в морщинки, по застывшим позам видно, что вся она охвачена трепетным вниманием, радостно изумлена и словно преображена волшебным дуновением искусства...

— Физиономии-то, физиономии!..— говорит возле меня молодой господин в панаме и темно-коричневой паре.

Ардатовский землевладелец Иван Парменыч, с которым я вчера познакомился, толстяк в немецком картузе, громко пыхтя и с усилением выталкивая из себя слова, говорит:

— Да... вот этот... кумачная рубаха-то... картуз небекрень... видать, выпить не любит...

— Не любит! Так у него тоска и написана на лице...

— И вон тому... в венгерке-то... тоже в темном углу не попадается!..

Кончили певцы. Красная рубаха сдергивает картуз с головы и, галантно изогнув корпус, смотрит вверх, на балкон, где стоят нарядные, небрежно-любопытствующие люди,— оставляя без внимания тощую и смирную, тесно сгрудившуюся толпу около себя.

Летят вниз медяки — сперва дружно, потом с паузами. Обрываются. А картуз все еще реет в воздухе, ждет.

— Подкидывайте, господа! не стесняйтесь! — хриплым голосом говорит уныло-серьезный человек в красной рубахе,— в своем кармане не стесняйтесь! Хоша и не спешите... по очереди!..

Кто-то кинул еще две медных монетки. И снова пауза, долгая, безнадежная. Красная рубаха горько вздыхает, перекладывая медяки из картуза в карман, и говорит с усмешкой невеселого торжества:

— Ну вот... денежки были ваши, а теперь паши... До свидания, господа! Дай Бог вам здоровья, а нам не хворать!.. Адью!

Уходят артисты. Тает толпа, растекается по балкону. Шуршат шаги, лениво пересыпается говор, звенит смех. Звонким плеском взмывает резво-веселый визг детей. Нарядные, как куколки, девочки с голыми коленками мчатся вперегонку по палубе, натываясь на лакеев с посудой, на Ивана Парменыча, на витрину с кни-

гамя, которую бойкий торговец поместил как раз на повороте в корме. И частый стук детских ножек долго стоит в зыбком порохе мерных шагов...

— Поддержите коммерцию, господа... Виды Волги...— предлагает торговец, молодой парень с смышленными серыми глазами.

Я выбираю несколько карточек. Останавливается и господин в панаме.

— Что у вас есть хорошенького из книг? — спрашивает он.

— Пожалуйте-с! — бойким тоном говорит книготорговец.— Вот, ежели веселого чтения, то — «Белый салон», веселый еженедельник... «Первая вспышка» — занятная тоже вещь...

— Нет, вы мне что-нибудь такое... чтобы не то что прочел и бросил, а этакое... стоящее...

— Ежели посерьезней, то вот... «Пол и характер»... Много берут...

Господин в панаме внимательно осматривает внушительных размеров книгу в странной обложке, переворачивает несколько листов, прочитывая по строке, смотрит на корешок, на число страниц. Лицо у него смуглое, с жидкими усами, сухое, слегка скуластое, красивое. Небольшие черные глаза, деловитые и строгие, как будто хотят сказать: «Нас не проведешь!» И книгу осматривает он с тем пристальным вниманием и подробностями, с какими привык осматривать лошадь, — я уже знаю, что он торгует скотом.

— Сколько же вам за нее?

— А там цена есть, — чрезвычайно любезным тоном отвечает торговец, — на корешке-с... Два с полтиной... Десять процентов уступки сделаю, — два с четвертаком...

— А полтинничек если?

— Что вы! За такую-то книгу!..

— Ну, сколько же окончательно?

— Ну, извольте, — два рубля!

— Два не дам.

— Сколько же дадите? Хотя мы и крестьяне-рабочие, но нашему брату тоже ведь пить-есть надо...

— Я сам не из графов, не думайте, — спокойно говорит господин в панаме, — тоже крестьянин, занимаюсь скотом. И читать-то стал вот... не очень давно... Желание-то есть, даже большая охота к чтению, а что

читать, и сам не знаешь... А все-таки без чтения теперь уж не могу... Все-таки окончательная цена?..

Они торгуются долго и упорно, несколько раз расходятся, потом снова сходятся. Наконец, решают вопрос на рубле десяти копейках. Крестьянин в панаме и высоких воротничках, видимо, знает цену копейке, и даже пристрастие к книге не может побороть в нем этой трезвой мужицкой черты.

Жарко. Если солнце захватит колени или руки, зной вливается в тело, охватывает его непобедимой ленью, истомой, дремотой. Тяжелеют веки, глаза слипаются... И, словно во сне, идут навстречу пароходы с баржами и пароходы без барж, блестящие, чистые, сверкающие зеркальными стеклами и новой краской. От барж, грузных, икряных, лениво вздыхающих бочками, пахнет смолой и рогожами. Лениво плещут их выцветшие флаги. Стройные мачты взмывают в голубое знойное небо и рисуют на нем тонкое, четкое кружево из своих канатов и веревок. На палубах пароходов — цветная, пестрая; издали всегда нарядная толпа, к которой невольно тянешься сердцем: кажется, что там должно быть какое-то особое, милое довольство, веселье, беззаботность, что приветливо машут оттуда люди ласковые, юные, красивые, интересные... зовут к себе, ждут...

И бегут мимо зеленые, красно-глинистые берега великой русской реки, уютные, веселые в знойном блеске летнего дня. Кривыми ленточками всползают хлеба на холмы, серебристая зыбь бежит по ржи переливчатыми пятнами, зеленые тени плывут по яровому. Маленькие ветряные мельницы смешно растопырили крылья... Все мягко, излучисто, расплывчато и кротко, как милая славянская душа...

Иван Парменыч, кряхтя и громко дыша, наливает пиво в стаканы. С ним за столиком сидит молодой человек в панаме, держа на коленях книгу «Пол и характер».

— Я ведь и сам из мужиков, — неторопливо и грузно говорит Иван Парменыч, — однако вот, слава тебе, Господи, выбился наверх и детей всех по ученой части

пустил. Богу душу отдавал, а детям сердце — всех до дела довел...

— Очень похвально,— говорит его собеседник чуть-чуть насмешливо.

— Пожалуйте!..

Иван Парменыч, раскрывая пухлую ладонь, указывает на налитые стаканы.

— Нет, не могу. Я бутылку выпил.

— Ну... по одной?..

— Нет, ей-Богу, не могу.

— Ну... сколько угодно...

— Выпил уже... Нет... благодарю...

Иван Парменыч тяжело встает со стула, приподымает картуз и обращается ко мне,— я сижу с газетой на соседнем диванчике.

— А вам не будет угодно?

— Благодарю вас, Иван Парменыч, пива я не пью.

— Не уважаете?

— Нет.

— Ну, разделить время с нами... за разговорцем?..

— Это с удовольствием.

Я знакомлюсь с молодым человеком в папаме,— фамилии его, впрочем, не расслышал. Спрашиваю, как ему нравится приобретенная им книга «Пол и характер». Он смотрит на нее несколько кислым взглядом и с неохотой говорит:

— Теперь на заглавиях буквы какие пошли: загнет с вывертом... в магометанском вкусе...

И, помолчав, прибавил:

— В этой книге, так думаю, несколько разных смыслов... Но я пока лишь шесть страниц осилил... Вот с ними,— он наклонил голову в сторону Ивана Парменыча,— заговорили о текущем моменте, и, значит, чтение пришлось прекратить...

Иван Парменыч поддакнул и грузно вздохнул.

— Да, паша жизнь только до одной смерти,— пояснил он.— У меня сосед был по имени — купец Крутилов... Наживал-наживал,— убили!.. Говорил я ему: будет, Василий Степанович, ты уж в еврея обратился,— все деньги да деньги. «Хочу,— говорит,— жар-птицу за хвост поймать...» Ан вон и поймал: родной сын застрелил...

Иван Парменыч громко дышит и круглыми черными выпученными глазами смотрит на голубой затон,

над которым в узком ущелье, среди красных яров, прилепилось сельцо с белой церковкой, с игрушечными домиками в зелени, такое ласковое, кроткой дремотой обвеянное.

— А как вы о текущем моменте мыслите, Иван Парменыч?

Он лениво поворачивает ко мне голову и смотрит на меня с некоторым недоумением.

— Да я нынче еще не читал газетку...— перешително отвечает он.

— Нет, без газетки... вообще...

— А, вообще... Меня вообще политика не интересует... Все: Столыпин-Столыпин, Коковцев-Коковцев... А шут с ними! Столыпин был хрен хорош, Коковцев — тоже не сахар... Хорошо бы, ежели бы мягкосердечного человека назначили. Каждый бы относился к своим обязанностям... а тем более к мелкому люду, чтобы лучше было...

Мне показалось, что молодой человек в панаме иронически усмехнулся. И, может быть, именно поэтому Иван Парменыч повернул голову в его сторону и убеждающим голосом прибавил:

— Да, ей-Богу!.. Я держусь прямолинейной точки...

Громко поскребывая каблучками расшитых туфель, подходят и на минутку задерживаются около нас две барышни, — одна черная, длинная, неуклюжая, с великолепной косой, другая — тоненькая, хрупкая блондинка. Они едут с нами второй день и немножко знакомы.

— Ужасная скука! — говорит высокая брюнетка, морща свой длинный, угреватый нос.

— Далеко ли изволите, барышни? — приподымая картуз, галантно спрашивает Иван Парменыч.

— Мы катались... до Нижнего и обратно... — отвечает блондинка, с кокетливой, томной грустью склоняя завитую головку набок, — страшная скука!.. Сговариваемся о самоубийстве...

— Я не согласен, что вы хотите самоубиваться! — весело возражает Иван Парменыч, подбираясь и молодея от близости барышень, — как это можно! вид какой!.. воздух какой!..

Иван Парменыч пухлыми ладонями сделал широкий жест.

— Вон селение... вон хлебушко растет... деревья всякие... и фруктовые, и всякие... агромаднейшие деревья... А вы, например, скучаете...

— Что же делать... — смеются барышни. — Мужчины все — как разваренные раки... Вот один интересный мужчина, — понижая голос, говорит блондинка, когда мимо нас проходит молодой священник, — да и тот в эпитрахили... а все-таки мы с ним познакомимся!..

И, поскребывая каблучками туфель, они устремляются вперед, вслед за интересным иереем, смеясь и подталкивая друг дружку. Батюшка одиноко ходил по балкону, высокий, степенный и очень серьезный, что немножко и не шло к его молодому лицу с квадратной бородкой и живыми черными глазами. Подрясник из чесучи ловко охватывал его стройную фигуру, и невольно приходило в голову, почему на нем подрясник, а не военный китель. И держался он как-то особенно молодцевато, прямо, поглаживая усы и выпячивая грудь, на которой около правого плеча висел маленький серебряный крестик — кандидатский.

Мы некоторое время безмолвствуем, забыв вопрос о текущем моменте, следим глазами за чайками, провожающими наш пароход, — на зыбком зеркале реки колышутся их легкие тени. С форсистым фырканием проходит мимо буксир. Белое золото солнечных лучей сверкает в его стеклах.

— «Крестьянин-собственник», — читает вслух Иван Парменыч и тяжело отдувается.

— Все это очень печально, — строгим тоном говорит наш собеседник в панаме. — Собственник, а вся жизнь его наполнена одним прискорбием и печалью...

Иван Парменыч стал возражать, и мы все трое вовлеклись в спор о деревне. Иван Парменыч не был сторонником ни общины, ни отрубов, он просто жаловался на мужика: трудно жить с ним нынче.

— Вы говорите: рабская жизнь, дисциплинарная, — возражал он крестьянину в панаме. — Но против этого я вам расскажу следующий верный факт... В прошлом году в августе месяце у меня сожгли тысячи на две хлеба... И кто сжег? Не думайте, чтобы мужики настоящие, — я с ними в добром согласии живу, и даже в пятом году меня никто не тронул... А сжег, извольте ли видеть, мальчишка... годов этак десяти... пастушок... Вы говорите: дисциплинарная жизнь... Пастушо-

нок этот самый забрался ко мне на Ильин день в сад и сливы оборвал. Ну, сторож захватил его и хворостинной высек. И высек-то не очень чтобы... обыкновенное дело... «Ну,—говорит,—помни!» Это мальчишка-то!.. сторожу-то... Ну, мало ли... охота была помнить!.. Только 9-го августа, еще засветло, только солнце село,—смотрим: дым на гумне... Извольте радоваться... поджог!.. Две скирды так и слизало, как будто их и не было... Стали думать-гадать: кто поджег? Мужики — ничего, заливать помогали, старались... Рабочие — тоже ничего, трезвый народ... «На кого имеете подозрение?» — урядник спрашивает. «Ни на кого не имею». Вот тут сторож-то и расскажи про Ефремку, про пастушка-то этого: уж не он ли, мол? Разыскали Ефремку, стали спрашивать: ты, мол? Сперва уперся, а потом урядник-то его, верно, щелкнул раз-другой — сознался: «Я»,—говорит... Вот она — дисциплинарная-то жизнь!

Иван Парменыч снял картуз и клетчатым платком отер коротко остриженную голову.

— Вот что вы тут будете делать? — тяжело пыхтя, простонал он.— Был суд... 5-го декабря... На суде и запираяться не стал. «Поджег я»,—говорит. Ну, что с ним. Отдать матери на поруки. «Ты смотри, мол, за ним, наблюдай!» — «А что я с ним подедаю? Мужики-то и то с ним кричат: «У всей деревни окна повывбил». Оттрепать — подожжет или с скотиной чего наработает... Убить — кому под ответ попасть охота?.. Вот и растет такой сорванец... Да и не один, а их десятки в каждой деревне-то, в дисциплинарной-то в вашей...

— Но почему это, Иван Парменыч? Как вы это объясняете? — спрашиваю я.

— Воля...

— Это старо! — возражает собеседник в панаме.— Темнота, гниение жизни — вот... Необходимо влить хоть каплю силы сознания — оздоровеет жизнь трудящихся...

— Это — не в ту оперу,—машет рукой Иван Парменыч,—десятилетний мальчишка — какую в него вошьешь каплю? А в том главная причина, что Бога совсем истребили, то есть религию. Деревня теперь уж ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай не верует. Я опять про этого пастушка,—мать его мне сама рассказывала... Едут они с суда, а он в вагоне вздумал песни играть, сидит — потанакывает... Мать ему: «Что ты!

завтра праздник какой — Микола, а ты — песни!..» У них это за большой грех считалось под праздник. «Чай, с радости-то и под праздник можно...» Вот видите!..

Собеседник наш в панаме посмотрел на меня и рассмеялся. Рассмеялись и мы с Иваном Парменычем. Молодой иерей остановился неподалеку, постоял спиной к нам, глядя на берег, по гребню которого игрушечная темная лошадка шагом тащила игрушечную телегу; в телеге, спустив ноги, сидел мужик, а рядом сзади, у колеса, шла баба... Поглядел батюшка и сел рядом со мной на диван.

— Через то, собственно, это и озорство пошло, — шумно отдуваясь и держась за живот руками, сказал Иван Парменыч, — что веру окончательно забыли, в церкву — никак... И тут никакая строгость теперь не поправит дела. Никто ничему не верует окончательно!..

— А вы сами-то веруете? — спросил, улыбаясь, крестьянин в панаме.

Иван Парменыч поскреб свою подстриженную бороду, черную с серебряными нитями, и коротко, сконфуженно рассмеялся.

— Веровать-то хоть верую, но, по правде сказать, за суетой тоже некогда о Боге подумать... Но, понятное дело, верую...

— Во что?

— Да в Бога-то.

— В какого?

— Как — в какого? — Иван Парменыч своими круглыми, выпученными глазами с изумлением поглядел на придиричивого собеседника. — Во единого Бога-отца, творца неба и земли... в трех лицах... в Троицу единую и нераздельную...

Он оглянулся в мою сторону. Священник, сидевший рядом со мной, одобрительно качнул головой. Но собеседник наш в панаме не хотел уняться.

— Ну, а в жизни-то как отражается это ваше верование? — стукнув пальцами по книге, спросил он. — В поступках-то ваших?

Иван Парменыч посмотрел на белые гребни, разбегавшиеся от парохода, и словно бы прислушался к их ропчущему шелесту.

— То-то, что вот некогда, — сказал он виноватым тоном, — суета сует... Смолоду и вовсе — был коммер-

сант и женолюбец... Как говорится, на двенадцать баб кашу варил и всем угодил...

Он смущенно поскреб бороду и смолк. Священник, сидевший рядом со мной, наклонился вперед, упираясь локтями в колени, и мягко, несмело заговорил:

— Очень интересный вопрос, господа... Среди светских людей редко приходится слышать...

— Мы, собственно, насчет деревни, батюшка, — как бы извиняясь, сказал Иван Парменych.

— И насчет деревни интересно. Я ваше мнение слышал и всецело к нему присоединяюсь... А вот их, — священник поклонился в сторону нашего собеседника в панаме, — мне любопытно бы насчет веры послушать...

— Что именно? — сухо спросил крестьянин в панаме.

— Ну, например, вы лично — верующий или нет?

Наш молодой собеседник не сразу ответил. Он кинул на иерея быстрый, проверяющий взгляд и тотчас же опустил глаза, задумался на одно мгновение.

— Не знаю, видите ли, — сказал он серьезно и искренно. — Был верующим в обычном смысле, но сейчас чувствую, что там, где была вера, — пустое место... То есть не то что пустое, — поправился он, — вера есть, но какая — и сам еще не разберу... Во всяком случае, не ваша... то есть не церковная.

Иван Парменych сожалительно крикнул и налил пива.

— Какая же именно ваша вера? — спросил священник и тотчас же тоном извинения прибавил: — Вы не обидьтесь на мою назойливость, я ведь интересуюсь вообще... И поэтому, господа, позвольте познакомиться: Михаил Кратиров...

Мы назвали себя. Тут только я расслышал фамилию нашего собеседника в панаме: Мещеряков.

— По-моему, — медленно и вдумчиво отвечал он на вопрос о вере, охватывая сцепленными пальцами левое колено и глядя на широкую полосу золотой зыби, в которой дрожало солнце, — принцип религиозного учения есть жизнь человеческая на земле... ровная и свободная во всем и всем... как в теле, так и в душе, высшим классам и низшим, мужчинам и женщинам...

— Это что-то социалистическое, — огорченным тоном заметил священник, перебирая пальцами свою бороду.

— Что такое — социалистическое? — горячо возразил Мещеряков, — какая там еще фраза — социализм? Я понимаю в цельном... по-человечески!..

Это было не вполне понятно, но когда он обеими руками постучал себя в грудь, показалось убедительно. Успокаиваясь, он прибавил:

— Все это из евангельского религиозного учения... Только название изобретено последним словом науки.

— Ну, Евангиль-то мы читали, — ласково подмигивая, возразил благодушный Иван Парменыч, — там про это нет...

— Я тоже, извините, сомневаюсь чтобы вы это непосредственно из Евангелия почерпнули, — мягко сказал священник, — но Евангелию это не противоречит...

— Пусть не прямо из Евангелия! — воскликнул Мещеряков, — хотя Евангелие я читал все-таки... Пусть я взял из книги. Но не все ли это равно? Какие книги!.. Через них я и подошел к Библии... Что новая книга, то новая мысль... Новые мысли дали знание и совершенно расширили основы моей веры... Старая моя вера растаяла, яко воск от лика огня... И думаю, что она была искусственным зданием... не более...

— Так, так... — глядя в пол, с снисходительной улыбкой говорил священник, и Иван Парменыч, кажется, уже чувствовал некоторое смущение от этих коротеньких, но знаменательных словечек, звучавших тоном уверенного превосходства. Он скреб бороду, беспокойно гладил свой голый затылок и, встречаясь со мной глазами, с приятельской усмешкой подмигивал в сторону Мещерякова.

Я ждал, что сейчас закипит спор о вере. Но о Михаил оглянулся по балкону вправо и влево и встал.

— Любопытно было бы, господа, и еще поговорить, — сказал он, — но сейчас должен уйти...

Он опять оглянулся и прибавил:

— Контроль идет, а у меня, видите ли, билет четвертого класса... Хотя агент по знакомству и разрешил ехать во втором — лишь каюты, мол, определенной не будет, — однако перед контролем все как-то неловко... При моем сани изволь объясняться... Посторопние лю-

ди тут... стеснительно... Сойду лучше вниз пока... Надеюсь, мы еще поговорим.

Он приподнял свою шляпу из черной соломки и пошел от нас своей степенной, неторопливой, чисто пирейской походкой.

Иван Парменыч окончательно налил пивом, извинился и ушел спать в каюту. Мещеряков присоединился к нашим знакомым скучающим барышням. В разговоре с ними он был, кажется, еще более витиеват и серьезен до суровости, — один раз, по крайней мере, когда они проходили мимо меня, донесся до меня отрывок его поучающей речи:

— Нет той порядочной женщины, которая бы не желала иметь детей... Это — человеческая инициатива и интерес жизни...

При этом он пальцем твердо стучал в книгу «Пол и характер», с которой так и не расставался все время.

Снова появился на балконе и о. Михаил Кратиров. Он степенным шагом обошел кругом раза два, потом сел на скамейку рядом со мной и спросил:

— А этот молодой человек в панаме — ваш знакомый — он из каких будет?

— Крестьянин. Торгует скотом.

— Вот как! — О. Михаил поднял брови и задумался. — Крестьянин?.. А модные воротнички... панамы... книжные слова...

Усмехнулся и побарабанил пальцем по скамье. Вблизи он был менее эффектен, чем на расстоянии. Лицо у него было широкое, с плебейской грязновато-смуглой кожей, с расплывчатым носом и резко очерченными скулами. Но приятное, простое, без елейности и сугубого благочестия.

— А мыслишка в нем работает, — сказал о. Михаил после долгой паузы. — Конечно, верхов нахватался, но все-таки думал — это похвально. Равнодушие хуже. А у нас теперь кругом полнейшее равнодушие к вере... нигилизм... И в народе. Не говорю уже об интеллигенции, сплошь атеистической...

Я попробовал возразить ссылкой на богоискателей и неохристиан. О. Михаил махнул рукой.

— Не искания, а блуждания... Блуждания и ложь, притворство. Ничего жизнеспособного. Много ли их, этих ваших неохристиан? — сказал он грубоватым, почти враждебным тоном.

— Право, не знаю.

— Вы сами-то... вот вы — интеллигент... вы к какому толку принадлежите? богоискатель? боготворец? богоборец? или как?..

Он кидал свои вопросы несколько резко, торопливо, отрывисто, глядя на меня строгим, допрашивающим взглядом, и я даже испугался: уж не готовится ли он обличать в моем лице весь интеллигентский атеизм?.. А было жарко. Непобедимая лень сковывала не только тело, но и мысли, и ни малой охоты не было вступать в спор — да еще с иереем — по вопросам верования.

— Извините, батюшка... на все ваши вопросы отвечаю, может быть, легкомысленно: не знаю...

— Нет, это лукаво, извините меня, а не легкомысленно...

— Ей-Богу, не лукавлю. Какая у меня вера, по чистой совести — не знаю. Бог ли создал человека или человек Бога — не знаю. И, к стыду моему, даже равнодушен к этому вопросу...

— Но как же жить без веры? — воскликнул он с сожалением.

— Вероятно, в нечто верую, раз живу...

— Гм...

В его усмешке прозвучала нескрываемая ирония.

— А вон того мужичка в панаме... в высоких воротничках... его вера как вам нравится?

— Я не очень понял. Но думаю, что для меня она более приемлема, чем церковная: блага живых для меня паче благ умерших...

— Так, так...

Мой собеседник вздохнул. Мне стало казаться, что мои ответы огорчили его. Хотелось переменить разговор, но я не мог найти подходящей темы. И мы молча сидели и смотрели на Волгу, уходящую в голубую даль позади нас, сверкающую стальным отливом, чуть шевелившуюся ленивыми длинными валами, которые подымал пароход, — далеко позади они докатывались до берега, и было видно, как белой гривкой взмывали они и разбивались по белому песку. Качался опрокинутый в воде серо-зеленый берег с жемчужным песком и бе-

лой колокольной, дробилось небо с круглыми облачками, кланялись пестро раскрашенные баканы... И зной висел над рекой и берегом, дремотная тишина и лень...

— Для меня, видите ли, эти вопросы о вере, — говорил снова о. Михаил, медленно и раздумчиво, примирительным, дружественным тоном, — то есть об упадке ее и о возможном поднятии, — очень не безразличны... Я вот только что с академической скамьи. Сейчас назначен настоятелем собора в Я... Вот еду. Еду и думаю: что же я буду там делать? Помимо, конечно, обычных обязанностей?.. Ведь — город, культура... В лучшем случае — найду десятка два внешних богомольных людей и из них, наверное, более половины прохвостов, лицемеров, фарисеев... тупых, жестоких, нечестных людей... Остальные прихожане — равнодушные или отрицатели. К горькому нашему сожалению, из них-то, из отрицателей, чаще всего и бывают в личной жизни как раз настоящие христиане... беззлобные, честные, самоотверженные люди... Как мне воссоединить их с церковью? возможно ли?..

Он глядел на меня робко-ожидющим взглядом, и в этом взгляде чувствовалась молодая, подкупающая искренность. А я глядел на него с некоторым удивлением — были неожиданны для меня эти вопросы, и никогда не приходилось слышать их из иерейских уст — и был в большом затруднении, что ответить на них, чтобы не огорчить собеседника.

— Не знаю, о. Михаил, возможно ли...

— Ну, вы по себе как чувствуете: возможно или нет? Конечно, в главном, в сути самой: возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы?..

— Вот в единомыслии-то и сомневаюсь. Представим себе, что вы по вопросу, например, о смертной казни возымели бы единомыслие с нами, отрицателями, — ведь вас извергли бы из лона церкви?.. Да и по менее острым вопросам — вот если бы вы явно вознегодовали на роль церкви в нынешней политике — где бы очутились? А молчать — значит мириться с беспримерным падением...

Он отклонился на спинку скамьи, помолчал и сказал:

— Признаться, я до политики не охотник... А что касается роли — я согласен: нехорошо... Но падения тут нет, — лежа в прахе, некуда падать... Что тут но-

вого? что тут нынешнего? — резко поворачиваясь ко мне, воскликнул он. — Всегда это раболепство и трусость — всегда это было!.. Но в том разница, что никогда не было такого ужасающе спокойного, молчаливого отпадения от церкви, как ныне... Точно дух жизни совершенно угас в церкви. Повторяю: не одна интеллигенция ушла — народ ушел... надо в этом сознаться, — я ведь был сельским священником два года...

Он встал, сделал несколько коротких взволнованных шагов и опять вернулся на скамью.

— А что касается позорной служительной роли духовных пастырей, то когда же ее не было? Не говорю о тунеядстве среди нашей ужасающей нищеты народной... Трусость и раболепство и всяческое потворство сильным — это уходит, как говорится, в даль веков... Вы возьмите элементарный учебник истории... Ну, хоть с Ивана Грозного или с его родителя Василия III. Потребовалось Василию упрятать законнейшую супругу свою Соломонию в монастырь и сочетаться браком с другой, — архипастыри с готовностью все устроили... А кто благословлял многочисленные браки Грозного царя? Собор церкви российской, православной... Теперь вот о патриаршестве все толкуют. Думают что-то поднять, возвеличить. Загляните в историю. Первый патриарх российской церкви так позорно и низко вел себя, что москвичи — благочестивые москвичи! — били его в Успенском соборе, таскали по полу, бесчестили у лобного места... И кто? благочестивые московские люди!.. да еще в те времена, когда о нигилистах ни слуху ни духу не было...

— В смысле низкопоклонства перед властью, отсутствия мужества наша церковь явила все, что можно явить — как в древнейшие времена, так и ныне. О каком-то обер-прокуроре — не помню — писали, что он «сонмом архиерейским, как эскадроном на ученье, командовал»... Если и были случаи, что возвышали отдельные лица голос на защиту правды или на обличение, то ведь это такие одинокие голоса, что и упоминать-то о них неловко... И всех-то их сама же церковь предавала и осуждала... И рабство защищала библейскими текстами, — о митрополите Филарете вы же знаете... Ну, о смертной казни я уж не говорю... А заведомая ложь о японских миллионах... Даже такой человек святой жизни, как о. Иоанн Кронштадтский, — и тот не

устоял против этого греха... А что касается любви, внимания к малым сим, труждающимся и обремененным, то вот пример: во время войны поднялись голоса о том, чтобы монастыри с своими капиталами припли на помощь раненым и страждущим... так вот тогдашний ученый архимандрит Троицкой лавры, нынешний вологодский епископ Никон, как ведь убедительно доказал, что монастыри не обязаны это делать!..

Он рубанул ладонью по колену и рассмеялся.

— Нет, как хотите, а уронить себя ниже невозможно!.. Ну, допустим, будут еще более яркие примеры забвения совести... Но они уже не сделают больше, чем сделано, — падать ниже некуда... И все-таки церковь еще церковь!.. — убеждающим, почти умоляющим голосом воскликнул он. — Единое, что может приютить мятущийся дух, соединить и примирить всех... уврачевать язвы... Как ни засидели ее ремесленники церковного цеха, а в ней одной — святое зерно, и дух жизни, дух единой истины в ней не угаснет!.. Я это на улицах и площадях буду кричать!..

Он в волнении опять встал с места и глядел на меня боевым, вызывающим взглядом. Я не утерпел, возразил:

— А все-таки народ-то — сами говорите — уходит от церкви...

— Да, народ уходит... — с глухой грустью согласился он. — Время такое... кружение, сдвиги... Чего и не ждешь, не гадаешь, а глядь — вот оно... есть! Я вот, например, не политик. Темперамент у меня, по совести сказать, совсем не боевой, мирный, больше склонен к мечтательности. И семинаристом я больше в сторону пения и музыки отвлекался. На этой именно почве и теперешнюю жену свою зазвал: она — дочь соборного регента, очень музыкальна. В годы нашей студенческой нужды это нам пригодилось: она была тапершей в кинематографе... Что поделаешь... попадья и — играла по вечерам в кинематографе... Ну, это к слову. А вот: не политик я, а выходило все как-то так, что политика то в ту сторону шибнет, то в другую... Значит, время... Между прочим, если бы не политика, я, может быть, и в академии бы не побывал... Давайте, пройдемся немножко?

Мы встали и пошли по балкону.

— Священствовал я всего два года,— заложив руку за спину, говорил о. Михаил,— а года как раз такие: война, революция, от политики уж некуда деться. Раз пожар занялся, как же не будешь думать о пожаре? А тут весь воздух, можно сказать, горел... обида и боль,— сами знаете... Смотрели сперва на город, на горе стоящий, мы в церквах перстом указывали: вот, мол, где ваше упование... А там оказалось на поверку — ничтожество и гниль... один шкурный интерес и ни капли мужества или величия души... Тут-то вот даже наш брат, по своему сану и положению призванный быть подпорой устоев, зашатался... забыл страх, начало всякой премудрости... Не я один — даже ветхие деньми иереи возглаголяли тоном бунтарским... А мужички — народ серый — слушают да на ус мотают... Ну, манифест этот как раз тут... Так я ему, признаться, обрадовался, так ухватился за него: слава тебе, Господи! — думаю, — наконец-то заря занялась, день идет... И начал я этот самый манифест разжевывать в церкви мужичкам, таких подпустил, знаете, мыслей крамольных, что — сказать без преувеличения — стены этой старенькой церковки никогда раньше не слышали и впредь не услышат ничего подобного!.. Упивался я тогда не только собственным красноречием, но и мечтами и надеждами: вот, мол, когда единым сердцем и единомыслием заживем и все язвы уврачуем!..

Однако скоро пришлось остыть. Подошла, как известно, новая полоса: повернули назад, стали добираться и до нашего брата, в числе прочих... Признаться, к тому времени и мои восторги поувяли. Деревня как-то вдруг, — мне кажется, в каких-нибудь три-четыре месяца, — не то чтобы преобразилась, а вошло в нее действительно нечто новое... вот как иногда бывало входит новая песня — солдат или какой-нибудь разбитной парень принесет из города, и все переймут, и станет она до тошноты, до неотвязности модной... Вот и тут... Я-то ждал прозрения, тесного союза, любви, трезвости, здравого сознания, пробуждения энергии... Прозрение-то как будто и явилось, но вместо единения и союза — злоба и междоусобие... И первое всего деревня толкнула именно меня — и порядочно... Кажись, я весь, душой и сердцем был за нее... эти самые свободы объяснял и все прочее. И как слушали! Я-то думал, что уж шире того, что я открывал, и открывать нельзя, а

нет... прошикли в деревню и другие речи... И новые-то разъяснители заварили кашку много погуще; насчет земельки, равнения и господ. Конечно, мужички поняли и усвоили это моментально!.. И первым долгом пришли ко мне и объявили, что за ругу будут платить мне не двести, а сто. А у нас условие было сделано при моем поступлении такое: я ругу собирать не буду — тяжелая-таки это штука! — а приход в возмещение платит мне двести рублей. Приход у меня был, как бы сказать, средний. Ну, рублей семьсот — восемьсот вместе с этими двумя сотнями доставалось мне. Не Бог весть сколько, но жить можно было. Детей нам Бог не дал, и сейчас нет. Обходились... даже немножко совестно было среди деревенской-то нужды и каторжной работы — какая моя работа? Службы редкие, по праздникам, учительство, малое и безответственное. И за это — семьсот, цифра изрядная... И вот, значит, приходят мужики и объявляют: сто, мол, рублей довольно с тебя... ты, мол, служитель алтаря, бессребреником должен быть...

О. Михаил тихо усмехнулся. Задумался немножко, — видно, вспоминая что-то. Шагов с десяток мы прошли молча, нога в ногу.

— Конечно, обидно... — продолжал он, — и сто рублей для меня — деньги. Были у нас с попадшей планы прикопить немножко да поехать поучиться. Детей не было, приспособить себя к чему-нибудь интересному, содержательному — не к чему. Вот и мечтали: поедем, мол, оба учиться, я — в университет, она — на курсы. А тут вот, так сказать, сюрприз... Но не в деньгах, конечно, дело — амбиция задета... Я же за них столько распинаясь, сердцем болел, разъяснял, и — вот... изволь радоваться вместо благодарности... А ведь мы все работники за плату, нам за заботу плати благодарностью, похвалой, преданностью... слабость человеческая!.. «Мы, — говорят, — на тебя сердцов не имеем, а только вот, мол, будет с тебя сотни...»

Он опять тихо и благодушно рассмеялся, — видно, воспоминания эти утерjali уже для него свою горечь.

— Расстались мы все-таки по-хорошему, даже трогательно. Сотню рублей так и не отдали они мне, но проводили со слезами: жили мы все-таки неплохо... Однако особенно-то огорчил меня не этот факт — насчет сотни рублей, а совокупность всего, что так скоро-

палительно составило новый облик деревни. Уж как со всех сторон старались открыть ей глаза, освободить ее от пелены, темень эту ее осветить!.. И если правду говорить — успели... Слепой человек увидел-таки точку света, и с этого момента он уже не слепой... хотя и не прозрел. Но с этим полупрозрением ему пришло познание лишь самое горестное и злоба самая душная... И иной раз, может быть, вздохнет он о темном неведении своем... Такая злоба выросла в деревне, такая злоба, что, кажется, теперь весь воздух насыщен ею... Нож, дубина, красный петух... Очевидность бессилия, жгучие, неотмщенные обиды... междоусобная брань, ненависть без разбора, зависть ко всему более благополучному, уютному, имущему... И прежде, конечно, зависть жила, и злоба, и скорбь, и грех смрадный, но верили люди в волю Божию и тщету мирских благ, верили и находили силу терпеть в уповании на загробную награду. Нынче этой веры уже нет. Ныпче там вера такая: мы — поработители, они — поработенные... Из всех толкований о свободе на деревенской почве выросли плевелы и дурман. Свобода — это значит: я должен стать из батрака хозяином, а ты займи мое место батрака... У тебя есть, у меня нет, — так пусть у меня будет, а у тебя не будет, отдай-ка мне это, именно мне!.. Не кому другому, а мне! Делиться я не намерен...

— Вы очень уж сгущаете тени, — заметил я о. Михаилу.

— Нет! — твердо, убежденно сказал он. — Когда наступит время мужику распорядиться и если мы доживем до этого, вы увидите, с какой стороны он себя покажет... Неожиданностей в нем — бездна... Одно хулиганство деревенское какие перспективы открывает... Слыхали вон, купец-то толстый говорил?

— Как же...

— Вот то-то!

— Но... дикость и раньше была...

— Была дикость и раньше, это так... Но дикость, так сказать, в пределах неизбежности, объяснимая. Без этого не обойтись. Но не было дикости ради дикости, озорства — как это по-ученому? — квалифицированного, кажется... так себе, за здорово живешь... Ну, пили. Пили нелепо, безвкусно и жалко. Без всякой радости и веселья пили. Проигрывались в «орла», в карты. Об-

крадывали друг друга, самих себя обкрадывали. Сворачивали скулы друг другу... сквернословили... все было. Выступал я на борьбу с этим злом, произносил проповеди в церкви, громил «орлянку» и карты, и похабные частушки, и сквернословие, и пьянство, и поножовщину. Старики, старушки, слушая меня, плакали, головами качали, а молодежь в это время толчется где-нибудь в ограде, с девками заигрывает... Пришлось бросить: руки опускаются. Отчаялся. Жизнь, видно, сильнее слов...

— Может быть, и во мне не было огня достаточного, уменья... Но я отчаялся. Попробовал еще в одном пункте: обратил внимание на детвору. Детей я люблю. В этой разнокалиберной мелкоте с ясными глазенками, пестрой, заплатанной и оборванной, было и есть все мое упование, вся моя надежда на родину... Стал наставлять. Детская душа — чистый воск, лепи что хочешь. И я лепил... Девочки особенно были дороги мне — будущие крестьянские матери, — какие это чуткие, чудесные сердца. Начнешь рассказывать им о страданиях Христа или житие какое-нибудь, — слушают, слова не проронят и... плачут... Чувствуешь, как сотрясаются их детские сердечки, пронзаются жалостью и состраданием... Тут-то вот бывало и отдохнешь душой... Сердце порадует, сердце поскорбит... А скорбит потому, что в школе они одно слышат, а на улице, дома — другое, и жизнь сильнее самых лучших школьных слов... Детская душа отпечатывает в себе все — четко и прочно, восприимчива ко всему. Был какой-нибудь Ванюха Ключев в школе славным, смышленным учеником. Вышел из школы — смотришь: через месяц уже с папироской... А там и до водочки недалеко...

О. Михаил грустно покачал головой и задумался.

— Чем же вы объясняете усиление деревенского хулиганства? — спросил я.

— Вот... новыми словами, новыми понятиями... Полупрозрением-то этим самым и отчаянием...

— А раньше — какая была причина?..

— Раньше?.. — О. Михаил остановился и поглядел на меня неподвижным, соображающим взглядом. — Раньше — другое дело... Было, конечно, озорство, непочтенке, но не так оно резало сердце... А теперь — помилуйте! Усвоились если не новые понятия, то новые слова... великолепные слова, благородные, возвышен-

ные... А сквернословие осталось старое, даже хуже. Дикость — старая. Обрезать у коровы уши, остричь хвост у лошади по самую репицу — только из-за того, что хозяин ее не поставил угощенья ребятам, — раз плюнуть, как говорится. Забраться в сад или на пчельник и за здорово живешь раскидать, разорить ульи, обломать яблони, подергать малину — это сделайте ваше одолжение! А там ищи виноватого... Да и напал если на след — не распространяйся, а то подожгут... И вот при новых-то словах о свободах, о равенстве это и пронзает сердце, в отчаяние повергает... В табельный день на молебствии — ни души. Девки за какую-нибудь ленту или даже за пряник отдаются не только молодому парню, а любому проходимцу, хотя бы явно гнилому... А поножовщина? И прежде редкий праздник без драки обходился, теперь же как где ярмарка, два-три трупы непременно считай! А вот теперь этот новый закон о земле, — брат на брата восстал, сын на отца, сосед на соседа!.. Злоба и смута пошла такая, что задохнется в ней деревня, непременно задохнется!..

— К концу второго года своего служения в селе я окончательно и бесповоротно убедился, что все мои разглагольствования, все призывы к церкви, к христианской жизни, к союзу, к самоуважению ближнего — все это пустой звук, кимвал бряцающий... Надо бежать — думаю. Тут как раз и обстоятельства подоспели такие, что одно оставалось — бежать: всплыли эти самые мои объяснения свобод... Хотя в глазах мужичков я был уже и малопопулярен, слишком умерен, но люди, преданные порядку, считали меня именно агитатором. И когда подошел удобный момент, они и принялись за меня. Был один там у нас человек почтенный, ходатай по делам, из волостных писарей. Благочестивый такой мужичок, уже немолодой. Бывало, уж не пройдет мимо без того, чтоб под благословение не подойти... Голос тонкий такой, ласковый, смиренный, речь рассудительная. А уж такая язва оказался, такая язва... И как будто ничего я ему не сделал плохого, отнессился, как и ко всем прихожанам, благожелательно. Бывал он у меня не раз, не раз чай пил, газетки брал, беседовал, рассуждал вполне здраво — неглупый человек. И вообще само это движение ущерба ему лично никакого не причинило. А вот возненавидел он меня за что-то, начал пакостить. А

может, и без ненависти? Так себе, из любви к искусству?..

О. Михаил вопросительно смотрел на меня.

— Есть ведь это в природе человека — зуд к пакостничеству, даже совершенно бескорыстному. Этак исподтишка укусить, столкнуть в яму, в воду — единственно потому, что ловко и безнаказанно можно это сделать и отчего бы не поглядеть, как будет барахтаться в испуге или извиваться от боли человек, испытать минутную злую радость... Вот этот-то почтенный господин и донес о моих разъяснениях манифеста. Ну, конечно, сейчас дознание, жандармский офицер приезжал. И несдобровать бы мне, но спасло лишь невежество доносителя и его союзников — человека четыре их оказалось: не сумели они указать, как именно говорил я о свободах. А мужички прихожане — спасибо им — уперлись: «Ничего, мол, нам вредного не говорил, а вот, дескать, не пейте водки, дурными словами не бранитесь, вот и все...» Ну и жандарм-то попался не из очень усердствующих. Однако я-то праздновал трусу, — время такое... Не чаял выбраться. Да и после, в академии, года два ждал, как бы не всплыло пасчет моих разглагольствований: а ну-ка, мол, докопаются, узнают? Книжки все, газетки тогда же сжег. Ну и совсем потерял веру в мужичка... даже в человека. Достоевского все вспоминал: отвлеченно, мол, еще можно любить ближнего, даже иногда издали, но вблизи почти никогда...

Мы остановились и смотрели на пробегающий мимо берег, крутой, размытый, красно-глинистый, прорезанный ложбинками с мелколесьем. На самом гребне, над кручей, сидели в ряд и рассеянными точками маленькие человеческие фигурки и долго провожали наш парход глазами. Ребятки или взрослые — не разобрать издали. Махали платочками, картузами, и этот ласковый привет от скуки звал к миру и единению, к забвению обиды и горечи... Тоненькие березки с зелеными косичками вползали наверх. Из-за гребня выглядывала зеленая крыша церковки, сверкала белостенная дачка с узорчатыми башенками и кружевными беседками. А дальше волнилась яркая зелень, карабкающаяся вверх, перепрыгивающая через коричневые плешины берега.

— Вот оно что такое политика! — с усмешкой качнул головой о. Михаил, — не еж, а колется... И тем не менее, — помолчав, прибавил, — никуда от нее не уйдешь... Как угар в мужицкой курной хате: тем и спасаются от него, что на пол пичком ложатся... Но пичком-то лечь при моем сани не так-то уж просто: пастырь душ христианских, позиция общественная, обязывающая... Да и вообще человек — животное общественное, а не какой-нибудь рак-отшельник... Значит...

Он покорно развел руками и сделал приглашающий жест.

— Вот сейчас еду, например... Епархия все еще не умиротворенная после прежнего архиерея. Новый — наш бывший ректор — выметает старых фаворитов, позвал вот нас троих, меня и еще двух товарищей... Роли мы сами распределили — меня в соборные протоиереи. «У тебя, — говорят, — внешность представительная...» И не поехал бы, ибо и тут политика, — правда, епархиальная, а все-таки политика... Но как хлебнул уже нужды, а тут жена грудью слаба, доктора непременно в теплый климат советуют — принял предложение... Вот еду. А на душе нехорошо... Соборный настоятель там — старый протоиерей. Уж Бог знает, каких он там взглядов, а говорят — старик почтенный и сторонников там у него много... И вот я — человек всем безвестный, молодой, ничем никому не ведомый, являюсь вдруг и должен этого почтенного протоиерея, что называется, спихнуть... Тяжело это... А нужда... Нужда, проклятая нужда!.. Ничего не поделаешь: назвался груздем — полезай в кузов...

Прошли мимо барышни в сопровождении Мещерякова. Поравнявшись с ним, они переглянулись и весело фыркнули. Блондинка успела бросить мне вполголоса, умоляюще:

— По-зна-комь-те!..

А Мещеряков суровым тоном говорил, глядя вниз, в пол:

— Я тягочусь своим делом, считаю его, по своему пониманию, не только что не полезным для принципов человечества, но вредным...

О. Михаил проводил глазами и сказал с лукавой миной:

— Мужчина-то слишком серьезен для девиц...

— Да, кажется... А кстати: они очень хотели бы с вами познакомиться.

Он благодушно рассмеялся.

— Я-то что для них? Из риторики разве что-нибудь?.. Ну что ж... если уж такие серьезные особы, то... я светского общества не избегаю... Отнюдь нет!..

К вечеру подошли к большому городу. Он показался еще издали, на высокой горе, с своими тонкими, стройными, сквозящими на лиловом предзакатном небе колокольнями, мягко закругленными уступами зелени и заводскими трубами.

По расписанию стоянка недолгая, но простояли больше двух часов,— грузили мешки с мукой. Село солнце. Долго горела сизо-багровая заря. Неровный месяц поднялся в побелевшем небе,— бледное золото его на серой синеве зыби задрожало маленькими, розовыми червонцами. Вспыхнули электрические огни на берегу, вдаль, в ресторане, и слабым, неровным звенящим плеском донеслась оттуда музыка, чуть слышная и, может быть, потому такая прекрасная в многоголосом говоре, который кружился на берегу, поднимался, толкся и падал, как шумный гребень волны.

Пришел с булкой под мышкой и с пакетом земляники о. Михаил.

— Вот... закупил на берегу... провожал барышень...

— Как они вам, понравились?

— Легки... Стал спрашивать, возникают ли у них когда трудные вопросы души или трудные моменты в жизни сердца,— смеются... говорят: «Мы в клубе самоубийц состоим... в случае чего,— морфию, и готово!..» А сами глазки строят... Ну, Бог с ними... Подальше от них — спокойнее дело... Как музыка чудесно звучит,— слышите?..

— Да...

Чуть слышный плеск колыбался у берега, тихо гудели котлы парохода, тихо вечер догорал, и редкими вздохами долетала далекая, мягкая музыка. О. Михаил долго прислушивался к этим звукам, продолжая держать под мышкой булку, а в руках пакет с земляникой.

— Люблю я музыку — грешный человек... — сказал он, как бы сознавая какую-то за собой вину, — всегда она шевелит во мне какие-то воспоминания... И содержания-то иной раз у них нет, а вся душа полна... А то мечтать тоже хорошо под нее, — куда-куда не запесешься!

Он положил на столик булку и пакет и, мечтательным взглядом глядя вдоль по реке, где дрожали огоньки на мачтах барок, на плотках и на берегу, продолжал немножко грустным голосом:

— В академии у нас сухо было по части искусства... Да и вообще нечего вспомнить... Дебри догматики, гомилетики, патристики — Толстой правильно осмеял это. Нечего вспомнить... А если что вспоминается, то это все сплошь удручительное...

Он помолчал.

— Я жил на частной квартире, не в общежитии, но все-таки возможность присмотреться к товарищам-студентам была. И меня это очень интересовало, потому что, как я еще не утратил веры в возможность очищения церкви от мусора и нечистот, то мне хотелось знать, видеть, кто будет работать на этой почве... Нас, священников, в академии не много было, да и не очень как-то нас жаловали, сторонились. Ну, было три монаха. Остальные — светская молодежь. Так вот, все мы, так или иначе, готовились в будущие деятели церкви. Ну, монахи... у этих уж определена карьера... Из них один был аскет, человек железной воли, поборовший и дух, и плоть... фанатик... Не знаю, верующий ли он, но администратор будет жестокий, у него ни к себе, ни к людям снисходительности не будет... Остальные двое — так себе, средние люди, серые... Не очень воздержные в смысле угождения плоти, но добродушные. Один из вдовцов-священников... Веселый малый, богатырского сложения, любитель коньяку и хорошего пения. Архиерей выйдет из него добродушный. Выпьет, бывало, иной раз, начнет такие анекдоты рассказывать — в лоск положит всех. А потом загрустит: «Все бы, говорит, хорошо, все есть — и пища, и питье, и деньги... Одно плохо: не все функции работают...» Словом, малый славный! Из светских студентов чуть не большинство — атеисты...

О. Михаил повторил это горячо и горестно.

— И все мы, вероятно, с большим повреждением

веры, скептики. Но там — форменный атеизм, я не преувеличиваю!

Он потер лоб ладонью, задумался. Пароход стал отходить, глухо забарабанил, запыхтел. Отодвинулась соседняя черная барка, на борту которой неподвижно чернели безмолвные фигуры. Огонек сигарки, как открывшийся на одно мгновение красный глазок, осветил вдруг тоненькую, озябшую фигурку босой девочки с поджатыми руками. Поклонились тихие огопыки на мачтах, дрогнули электрические фонари далекого ресторана и спрятались. Показалась из-за горы медно-красная заря. Сильней запахло влагой, свежестью, откуда-то донесся крик коростеля...

— Я понимаю атеизм философский, — говорил о Михаиле, когда пароход уже несся полным ходом, шумный, радостно-возбужденный, горящий веселыми огнями. — В нем есть усиленная работа мысли, искание истины и смысла жизни, муки сердца, великая скорбь, борьба между разумом и тем особым постижением, которое лишь верой дается, и, в конце концов, искание Бога в них, в таких отрицателях, никогда не угасает, ибо сердцу да и уму, воспитавшемуся на метафизическом мышлении, трудно мириться с отрицанием высшего начала. В философском атеизме нет простого равнодушия и, всеконечно, нет и цинизма. В этом роде было у нас несколько атеистов — твердых и последовательных. Были и революционного образа мыслей студенты-социалисты. Держались они все в стороне от нас, но уже по тому, что они читали, о чем при случае заводили разговор, как относились к некоторым явлениям академической жизни, чувствовалось, что они за люди. Народ серьезный... Но большинство было — лукавая, равнодушная середина. И в этом большинстве было такое равнодушие к вере, что оно ужаснее всяких атеизмов...

— И были еще нарочитые циники... Как-то это так случается с нашим братом «кутейником», что выберется он из бурсы на свободу, от бурсацкой капусты к ситному хлебу, и начнет ловить, хватать жизнь. Хватает по-бурсацки, жадно, грубо... Деньги-то малые, а аппетит большой... Ну, самое простое лишь допустимо: водка, публичный дом... И вот они отдаются этому и телом, и душой... И когда вернутся, бывало, из такого злачного места, норовят поймать монаха или нашего

брата перея и начнут расписывать в самых голых тонах такую оргию какую-нибудь... И тут же о религии, о Боге... Ах, какие они вещи говорят!.. Слепые князья нашей церкви обвиняют Толстого; он, дескать, потряс учение Христовой церкви. И нашему брату, по обязанности, надо говорить, обличать толстовство, опровергать, затоплять обилием словес слово сильное и выстраданное... Но вот этого ниспровержения всякой веры, которое таится в недрах самой нашей передовой духовной, ученой среды, они не хотят знать... А ведь в их среде сколько таких!.. И на смену им скорее всего придут эти вот, не верующие ни в чох, ни в мох, ни в птичий грай... Потому что они все-таки и дельцы, практики, и связи родственные имеют, да и гибкие люди, дипломаты... И не без дарований даже...

О. Михаил вдруг круто остановился и спросил:

— Вам не кажется странным, что я об этом рассказываю, именно я, человек, так сказать, духовного цеха?

Я ответил, что слушаю его с живейшим интересом.

— Собираюсь на улицах и площадях кричать! — с резким жестом воскликнул он. — Надо! необходимо!.. Вы возьмите то во внимание: недели не пройдет, чтобы в газетах не всплыло что-нибудь беспримерно скандальное... То митрофорного протоиерея уличают в обольщении гимназисток, то об архимандрите напишут, который проводит время с птичками певчими в каком-нибудь «Вулкане», то уголовный отчет об о. инспекторе епархиального училища, обольстившем подростка при помощи пары апельсинов и бутылки фруктового кваса... Да что же это такое? Гной, мерзость, которую без промедления и пощады надо на свет, на обнажение!.. Больше потерять, чем потеряла, церковь от этого не может... А приобрести, очистившись с Божьей помощью, приобретет, — я в это глубоко верую!..

Он пристальным, горящим взглядом смотрел мне в глаза, как будто хотел видеть, разделяю ли я его уверенность или сомневаюсь.

— А если сейчас и отходят от церкви массы, — это страшно, конечно, но не безнадежно, — прибавил он успокоительным тоном, больше для себя, чем для меня. — Через отрицание подойдут потом к Богу ближе... Я не отчаиваюсь... Наш народ такой: даже на краю отчаяния и озлобления не разберет по бревнышку сво-

их убогих храмов... И свечечки, и дым кадильный, и косые лучи заходящего солнца, и запашок меду в капунницах — все это будет долго еще иметь путь к его сердцу... Да и душа народная не чужда все-таки прекрасного восприятия, а что может быть выше слова Божия?..

Он остановился, потому что совсем возле раздался знакомый, кряхтящий голос Ивана Парменыча:

— Будь бы они по четыре купили, это — вопрос... Они бы нажили... Я торговал и по вашему делу, и индюшками... Это-то я уж хорошо знаю...

Они поравнялись с нами — Мещеряков и Иван Парменыч. Иван Парменыч обрадованным голосом воскликнул:

— Вот они где!.. А я вас глядел, глядел, где, мол, они?.. Чайку... не угодно ли... закусить... у меня балычок есть, икорка...

Мы поблагодарили. Я предполагал отказаться, но о. Михаил подумал и сказал:

— Что же, мы с удовольствием... мы придем... у меня вот и ягодка есть...

— Ну, пожалуйста! за счастье сочту... в столовую... — сказал благодушный Иван Парменыч.

И когда они отошли, о. Михаил, возвращаясь к прерванным мыслям, заговорил снова:

— Да, так-то вот... Вера-то у меня есть, не отчаиваюсь... Одно, — огня мало... огня нет!.. Нет горения в делателях, да и делателей скудно... Иной раз вот в мыслях-то куда унесешься! Лежишь этак в сумерках на койке и мечтаешь, а где-нибудь неподалеку вечерний звон церковный, грустный такой, сиротливый, аж сердце защемит... Бедная церквочка, как ты оскудела!.. Плачет сердце, изнывает в гневе бессильном... Вот то-то бы сделать и то-то... Не без смысла бы жизнь прожить, не дать совести мохом обрасти... родине послужить бы, убогонькой нашей... Мечтаешь-мечтаешь... И пока на койке лежишь — горизонт большой, не оглянешь! Героизма сколько; самоотвержения... сила, уверенность!.. А встал, встряхнулся, — глянет в глаза действительность, суровая, трезвая, черствая... Нужда эта... особенно последний год: еле-еле дотянули... Жена грудью слаба, покашливает. Доктора говорят: непременно в теплый климат! А это для нашего брата студента зву-

чит лишь насмешкой... И вот дождался: не угодно ли в соборные протоперей?...— Что ж, еду вот...

Он вздохнул и помолчал.

— Не знаю, как и что будет... Волнуюсь ожиданием и любопытством вместе... Все думаю: а может, и в самом деле, озарит Господь зажечь глаголом сердца людей?... В мечтах-то все это представляется так ясно... возможно... Но, может быть, и войду во вкус протоиерейского бытия... пойду тропой проторенной...

Он засмеялся и, вставая, прибавил шутливо:

— С благочестивыми купцами компанию буду водить... ренту буду приобретать и купоны стричь... Ну, я на минутку отлучусь, я — сейчас...

Он ушел, я остался один. Пароход шумел глухим шумом, неутомленно барабанил. В серебристом тумане лунного света вода сливалась с песками, и река была — как море, широкая, безбрежная, величественная, полная вечной тайны. В широком шелесте ее, в ровном колыбании ее близких и далеких звуков порой дрожал мягкий и грустный гудок далекого парохода, порой как будто музыка звучала, чуть слышная, прекрасная, зовущая, порой долгий чей-то вздох проносился и гас в бурливом кипении и шуме...

Неопалимая купина ¹

I

Швейцар Ларион каждый раз чувствовал какую-то особенную неловкость, стеснение, даже тоску, когда в гимназию приходил или уходил из нее учитель истории Мамалыга. При всем желании помочь ему раздеться или одеться Ларион не мог, не смел этого сделать, а сделал бы с радостной готовностью, ловко и нежно-заботливо. Невзирая на то что Егор Егорыч никогда даже гривенничка не сунул на чай, Ларион очень уважал Мамалыгу за строгость, набожность и неизмен-

¹ В библейской мифологии *неопалимая купина* — горящий но не сгорающий терновый куст, связанный с поисками иудеями земли обетованной; праздник *Неопалимые купины* отмечается Церковью 4 сентября.

ную серьезность; человек с весом, по слухам — на линии директора, и даже сам преосвященный однажды был у него с визитом...

Не мог же услужить Ларион потому, что Мамалыга раз навсегда запретил соваться к нему с услугами:

— Не утруждай себя, братец... Лишнее! Могу и сам управиться...

От скупости ли это, или по другой причине, — Ларион не знал и никто не знал, кроме самого Мамалыги.

Ларион сегодня, как и всегда, должен был молча, почтительно смотреть, как Егор Егорыч — человек сырой, тяжелый, с широким круглым задом, — методически, медленно, аккуратно снял свое форменное пальто на вате и повесил его на *свой* гвоздь — второй справа. Затем нагнулся и, упираясь одной рукой в стену, громко сопя носом, снял калоши — свободной рукой, а не ногой — и бережно поставил их в определенную — *свою* же — лунку. С фуражки предварительно сдунул пыль и лишь после этого поместил ее на полочке, как раз над пальто.

Потом, отдуваясь и глядя мимо Лариона строгим, всегда как бы обиженным взглядом, достал из кармана аккуратно сложенный квадратиком платочек и, не разворачивая его, стал вытирать вспотевшую шею.

Ларион кашлянул в руку и, почтительно подавшись вперед одним корпусом, вполголоса, как бы по секрету сказал:

— Вас, Егор Егорыч, просили Любовь Сергеевна к ним зайти... перед уроками...

Мамалыга перевел на Лариона свои выпуклые, черные с лиловыми белками, глаза, коротко сопнул носом и отрывисто буркнул:

— Поди, доложи.

Солидный, усатый Ларион на цыпочках рысью затрусил в квартиру начальницы — налево от вестибюля. Менее чем через минуту он открыл дверь и почтительно изогнулся:

— Пожалуйста...

Мамалыга догадывался: опять жалобы. Аудиенция в гостинной начальницы — значит, объяснение не очень приятного свойства. Для нейтральных разговоров обычное место — актовая зала или учительская. Может быть,

назавтра в «Вестнике», который систематически шельмует учителей, уже заготовлена заметка о свирепости или тупости некоего господина *М.*, преподавателя одного из местных средних учебных заведений...

Мамалыга не то чтобы тревожился этой неприятностью, — поколебать его положение менее всего могли какие-то вздорные родительские жалобы или злостные щипки скверной газеты, — но он жалел свою печень. Все эти дразги, столь обычные за последнее время, правда, лишь укрепили его карьеру, но они же успешно отравляли ему жизнь и создали вокруг него атмосферу обидной насмешки, отчужденности и дружной ненависти... Виду он не показывал, что ему больно, но порой ему так хотелось кричать, ругаться скверными словами, топтать ногами, бить по «мордам» и чад, и родителей, и паскудное общество, травившее его... Бить, бить, бить... А нельзя было... И бессильная злоба неотомщенных обид жгла его медленным, долго не угасающим огнем, лишила сна и правильного пищеварения...

Неприятности он ждал: накануне видел во сне медные деньги, а медные деньги — к слезам... Это не только по соннику, — жизненным опытом проверил он: к неприятности — медные деньги во сне. Он твердо помнил все такие сны. Вот и тут: нашел будто бы на дороге целую грудку блестящих новеньких копеечек... Еще с детства, голодного и обильного нуждой, когда он необузданно мечтал о том, как бы разбогатеть внезапно и чудесно, найти бы пузатый копейник с золотом или бумажник с сторублевками, — у него дух захватывало от радости, если случалось наткнуться на утерянный кем-нибудь пятак или даже семитку, — более счастливых находок ему не попадалось. Так с той поры и остался навсегда этот радостный порыв при виде медных монет, хотя давно уже миновала нужда. И вчера, во сне, он ощутил знакомый радостный трепет в груди при виде блестящих монеток, рассыпанных по земле, и жадно стал хватать их... целую горсть набрал и... проснулся... Копейки исчезли, а сердце сжалось от тревожного предчувствия, — какой пинок заготовила ему на этот раз судьба?..

— Что, Любовь Сергеевна, опять, верно, жалобы? — еще в дверях спросил Мамалыга, входя в гостиную начальницы.

Толстая старушка с желтым, в мелких морщинах, лицом, очень похожая фигурой на деревенский кулич, у которого голова маленькая, а дно широкое, грузно покачиваясь, шла к нему навстречу частыми и неспорными шажками, шелестя по полу шлейфом форменного синего платья.

— Здравствуйте, Егор Егорыч,— хворым голосом сказала она,— извините, что я вас сюда... пездоровится... Сядемте, пожалуйста... Все недомогаю я...

— «Семьдесят семь болезней»,— мысленно усмехнулся Мамалыга. Так прозвали начальницу гимназистки.

Он осторожно опустилсЯ на мягкий пуф и, чтобы показать, что предстоящая беседа, в чем бы она ни состояла, не может внушить ему ни малого смущения, небрежным взглядом окинул великолепно разросшиеся филодендроны, фикусы и пальмы,— гордость Любви Сергеевны.

Начальница накинула пенсне на свой короткий, толстый, простодушный нос, потом сняла. Она чувствовала смущение, волновалась, не знала, с чего пачать. Это добрейшее, рыхлое, слезливое существо всегда терялось в затруднительных случаях. Гимназистки ее совсем не боялись и хоть любили, но огорчали часто и порой безжалостно.

— Да... вот...— робко заговорила начальница, пристально разглядывая свое пенсне,— действительно жалобы...

— Кто? — бросил Мамалыга, глядя в сторону.

— Отец Квасковой... пятого класса...

— А-а... Ну что ж... я действительно водрузил ей Траянову колонну... выражаясь проще — единицу... И хоть самому родителю скажу: тупа, глупа и безнаджна! Второй год сидит в классе, а Скандинавию ищет на Каспийском море!..

— Он так волновался тут, так кричал. Сказал: в округ жаловаться буду...

— И великолепное дело! — воскликнул Мамалыга деланным басом,— по крайней мере, выяснилось бы, чего хотят от нас родители... просвещенные российскийские родители!.. Вы думаете, они образования ищут для своих детей? — Он резко повернулся к начальнице, и она, глянув на его широкие ноздри, испуганно заморгала глазами.— Нет! Им бумажка нужна,

документик... до-ку-мен-тик-с!.. И нет для них ненавистнее людей, которые за этот самый документик, за бумажку, обеспечивающую им сытое и беспечальное житье, требуют хоть капельку труда и познаний...

— Он, по-видимому, не единицей... был обижен. Об единице он ничего... А вот вы там...

Начальница надела пенсне, и от этого на добром лице ее появилось серьезное, почти торжественное выражение.

— Вы сказали там нечто... С ней истерика была после...

Мамалыга насупился и скосил глаза, припоминая. Вспомнил, как Кваскова, высокая, красивая, полногрудая девица, которой по внешнему виду можно было бы дать лет осмнадцать, нагнувшись, искала на карте Скандинавию и от волнения выступили у нее багровые пятна на лице, черные прекрасные глаза глядели растерянно и смущенно, а на губах блуждала жалкая, умоляющая о пощаде улыбка. А он искоса следил за ее безнадежными поисками и невольно цеплялся взглядом за круглившуюся под черным фартуком грудь. Смотрел не столько на карту, сколько на гибкую фигуру, облитую серой материей, и тоже ощущал волнение — невольное и смутное — от близости молодого, замиравшего под его взглядом тела. И было досадно на свою слабость и страшно... Он с усилием отводил взгляд к карте и, украдкой взглядывая на класс, встречал враждебно наблюдающие, насмешливые глаза, как будто проникавшие в его тайные мысли. А легкий запах, который шел от взволнованного девичьего тела, дразнил его воображение и снова притягивал взгляд к округленной девичьей груди...

И с трудом он заставил себя грубо сказать Квасковой — грубее, чем обычно, — чтобы подчеркнуть перед классом отсутствие малейшей слабости в себе:

— Довольно-с!.. Вам в кормилицы уже пора, а вы все еще в пятом классе торчите...

Кажется, кто-то тихо ахнул. Где-то захихикали. Кваскова постояла, улыбнулась бледно и жалко, пошла на свое место. Он спокойно, с особым тщанием, рассек клетку толстой единицей. С парты, где сидела Кваскова, слышались рыдания.

«Поплачь, голубушка, это полезно», — усмехнулся

про себя Мамалыга и заботливо подул на единицу, чтобы высушить чернила.

«Пожалуй, что неосторожно», — подумал Мамалыга, вспомнив все это, но вслух сказал:

— Что же особенного я сказал ей? Действительно, этакая бабища и все в пятом классе...

— Ну вот... видите... — Начальница покраснела и заморгала глазами. — Значит, так оно и есть...

— Я не отрицаю: сказал... Ну что ж тут особенного?

— Егор Егорыч! — кротко, умоляющим голосом воскликнула начальница, — все-таки они — девочки... нельзя этого забывать...

Мамалыга резко встал. Наклоняясь к начальнице, испуганно глядевшей на него, и с упреком потрясая головой, он шипящим голосом, как бы по секрету, сказал:

— Поверьте, Любовь Сергеевна, они больше нас с вами знают! Больше-с!

И пошел к двери. У порога остановился и, вполупорот глядя на лапчатый филодендрон, прибавил:

— Пусть жалуются! пусть пишут! Наплевать, — извините за выражение, — в высокой степени наплевать!..

И вышел, направляясь в учительскую за журналом, — звонок на уроки уже был.

В учительской торопливо докуривал папироску круглый, коротенький математик Иван Алексеевич, у которого на подбородке росло с десяток волосков телесного цвета. Увидев Мамалыгу, он приветливо замычал, закивал головой и энергично потряс его руку. Потом затянулся еще раза два и, прижимая к животу журнал и кипу тетрадей, на ходу торопливо спросил:

— Вы Покровского-то этого знали?

— Какого Покровского?

— Да вот который застрелился-то сегодня... из вашей гимназии, говорят...

— Покровский?.. Евгений?..

— Кажется... Не слышали разве?

Мамалыга молча смотрел на Ивана Алексеевича. Серое, мясистое лицо его с вороной бородой, широкой сосулькой падавшей вниз, застыло на мгновение и как бы влипло в поднятые плечи.

— Застрелился?!

Казалось бы, что диковинного, по нынешнему времени? Привык слух к страшным словам о добровольной смерти,— звучат они каждый день. Одеревенело сердце, притупилась чувствительность, не стало жалости... А вот прошла она близко, непонятная и таинственная смерть, и повеяла холодом ужаса. В душе — бессильный, недоумевающий вопрос, и упрек, и жуткая мысль о неизбежном итоге собственной жизни: все там будем... Сжалось сердце.

— А причина? — спросил глухо Мамалыга.

Иван Алексеевич пожал плечами:

— Неизвестно...

Молча вышли из учительской, прошли несколько шагов по коридору. На лестнице Иван Алексеевич, которому надо было идти вниз, налево, остановился, посмотрел на свои сапоги и тоном раздумья сказал:

— До чего удивительная молодежь нынче, ей-Богу!..

Мамалыга, растопырив ноги и держа журнал за спиной, мрачно помолчал и ответил, думая о Покровском:

— Осьмого класса... Лохматый ходил... Инспектор все никак не мог заставить его остричься... Конечно, начитался Маркса... веры ни капельки, материалист... Ох-хо-хо!.. Времена!..

II

Переход из женской гимназии в первую мужскую — около версты расстоянием — Мамалыга обыкновенно делал пешочком: во-первых, экономия, во-вторых, моцион — вещь полезная.

После третьего урока, когда он спустился в вестибюль, у вешалки вместо швейцара Лариона его встретила молоденькая, краснощекая горничная. Она не знала, вероятно, что Мамалыга не допускал посторонних услуг и всегда одевался сам. Пока он с обычной осторожностью, бережно надевал калоши, она сняла его тяжелое пальто с полинявшими лацканами и держала наготове.

— Напрасно затрудняете себя, барышня!..

Мамалыга думал сказать это своим обычным, пугающим, суровым тоном, а вышло ласково. Он покосился на четко округленный бюст девушки, подкашлянул и

скривил губы в приятельски-лукавую улыбку. Но сейчас же подозрительно оглянулся по сторонам, не наблюдает ли кто за ним...

Девушка смутилась и покраснела, — может быть, оттого, что он взял у нее из рук пальто. Она все-таки не поняла, что он был против услуг, и взяла с окна его фуражку.

— Благодарю! — буркнул Мамалыга, принимая фуражку и немножко недоумевая, почему она лежала не на обычном своем месте.

Постоял, посмотрел на девицу внимательным, изучающим взглядом. Хотел сказать ей что-нибудь приятное, но ничего не нашел.

— Мое почтение! — галантно взмахнул он фуражкой наотлет. Маленький розовый конвертик вылетел как будто из рукава и шлепнулся к ногам горничной. Мамалыга в недоумении поглядел на него, потом на горничную.

— Что это такое? — спросил он.

— Чего-с? — Горничная глядела на него простодушным, почтительно-выжидающим взглядом. И, догадавшись, что он спрашивает о конвертике, легко нагнулась, подняла его и протянула Мамалыге.

Мамалыга взял конвертик двумя пальцами, перевернул и прочел адрес: *Тресотиниусу — в собственные руки.*

— Что же это такое? кому? откуда? — спросил он.

— Вы оборонили-с... — ответила девушка.

— Я?.. Что за ерунда?..

Подозрение охватило вдруг Мамалыгу. Он заглянул на дно фуражки и увидел еще письмо, свернутое треугольничком. Отвернул подкладку околыша — и за ней открыл несколько тщательно свернутых записок. У него даже пот выступил на лбу. Он понял теперь вдруг, внезапным озарением, почему иногда фуражка казалась ему так тесна — словно обручем сжимала голову. Ни разу не догадался он заглянуть под сафьян околыша, удовлетворялся объяснением гимназического врача Липатова, который уверял, будто при некоторых видах неврастения бывает субъективное ощущение: кажется, что пухнет голова... Вот оно что такое эта неврастения!..

Он разорвал конвертик, свернутый треугольником и адресованный какому-то Одинокому. Прочитал:

«Шурик! напоминаю: сегодня в четыре, городской сад, третья аллея. Есть серьезные вопросы...»

— Недурно! Рандеву... так!.. Что же это за Одинокый? Псевдоним, конечно?..

Разорвал розовый конвертик. Мелким, бисерным почерком написано было в нем следующее: «Тресотинус! свинтус ты этакий! почему надул, не принес окончание «Ключей счастья»? Жду сегодня, и если и сегодня не принесешь, то, во-первых, ты окончательно будешь в моих глазах поросенкова мать, а во-вторых, разругаюсь с тобой навсегда!.. И все-таки, хотя ты и недостойн, но:

Поверь, я тебя не забуду,
Других для любви не ищу...

«Зорька».

— Это черт знает что такое!— Мамалыга сгреб в горсть все листики и конвертики, лежавшие на дне фуражки.

— Где Ларион? — сердито спросил он у горничной.

— Они вышли... по делу...

— Какой же это порядок тут у вас!..

Горничная робко смотрела на него круглыми серыми глазами.

— Тут дежурила Аннушка давеча, а потом я сменила.

— Безобразие!..

Он с зловеще-мрачным видом снял пальто и с фуражкой в руке направился в квартиру начальницы, не посылая девушку для доклада.

— Несомненно, я давно валяю эту дурацкую роль, таскаю из гимназии в гимназию любовную переписку... — горько усмехался он над самим собой. — Может быть, целый ряд поколений пользовался моим бескорыстным посредничеством, объяснялись в чувствах, вступали в союзы... Если бы это доложить попечителю округа, то-то похвалил бы!.. А город знает... Все, вероятно, знали — кроме меня... все.

Начальница сидела за письменным столом перед начкой кредитных билетов и щелкала на счетах. Увидев входящего Мамалыгу, она вдруг засуетилась и поспешно сунула деньги в ящик, — хоть и не ее — казенные деньги, внесенная за ученье плата, а все как будто неловко, что остановится на них посторонний взгляд, и Бог знает что может подумать человек о ней...

По лицу Мамалыги, всегда серому и недовольному, а теперь совсем свирепому, — так сердито круглились, словно брагой налитые, его щеки под редкой бородой, — она видела, что опять случилось что-то неприятное, и испугалась.

— Я вам должен доложить, Любовь Сергеевна, — еще на ходу начал Мамалыга. Плечом он резко задел листья пальмы и сердито бросил: — Виноват!

— Как это мне ни неприятно, но... вынужден доложить...

Начальница, приготовляясь к удару, склонила голову набок и слабым голосом сказала:

— Ради Бога, Егор Егорыч, что такое? Уж не пугайте...

— Видите ли, особенно страшного, может быть, вы ничего и не найдете, — это как кто смотрит... Тем не менее... Вот эти вещицы... бильедушки, так сказать... я нашел за подкладкой своей фуражки...

Мамалыга отчетливым, почти торжественным жестом выложил на стол записочки и уперся в лицо начальницы строго взыскательным взглядом. Начальница взяла боязливо один из аккуратно свернутых треугольничков, развернула, пробежала глазами.

— Billets doux?...¹

— Точно так-с...

Мамалыга сказал это особо язвительным тоном и сжал губы, ожидая, как отзовется на это начальница.

— Адресовано гимназистам, — это несомненно, хотя я пока еще не раскрыл этих псевдонимов. Но раскрою! — Мамалыга грозно постучал пальцами по столу. — Что касается того, кто писал, — устанавливать уже не мое дело... Несомненно одно: воспитанницы Мариинской женской гимназии... Это уж вне всяких сомнений... А я был избран, так сказать, почтовым ящиком... Если угодно, почтовой лошадкой... или чем-то в этом роде... да-с!..

Начальница растерянно перебирала дрожащими пальцами эти бумажки, принималась читать, роняла пенсне и вповь седлала им свой нос. Строки и буквы прыгали у ней в глазах.

— Конечно, это очень остроумно, — продолжал язвительно зудеть Мамалыга, — родители, общество ниче-

¹ Любовная записка (фр.).

го предосудительного здесь, разумеется, не усмотрят... Улыбнутся: ах, как наивно! как смешно и мило!.. Но мы с вами — как мы должны посмотреть на такие, например, невинные послания?..

Он взял наугад один из листков, развернул и, вертя головой, тонким голосом карикатурно продекламировал:

Сердце ловит, чуть дыша,
Призрак звуков милой речи,
И летит тебе навстречу
Окрыленная душа...

Зизи.

— Видите, как нежно — Зизи!.. Адрес — *Доде Максимальсту*. Где-то содрала чужие стишки и выдает за свое... Сойдет!

— Ужасно... Это ужасно!.. — простила начальница.

Она продолжала перебирать записки, и Мамалыга видел, что ей очень хочется поскорей спрятать их в тот же ящик, куда она сунула деньги.

— Они меня в гроб вгонят! — плачущим голосом воскликнула Любовь Сергеевна.

— Я очень вас прошу тщательно расследовать это дело...

Мамалыга постучал пальцем по столу.

— Непременно... непременно... Этого нельзя оставить!..

— Во-первых, очевидно, с ними в заговоре прислуга... Швейцара на месте нет...

— Я его отпустила... У него... прибавление в семье...

Начальница виноватым взглядом посмотрела на своего взыскательного собеседника, который был на особом положении, чем прочие преподаватели, и имел возможность независимо держаться даже по отношению к директору, а с ней, мягкой и беззащитной женщиной, и вовсе не церемонился.

— Ну, да... — утвердительно кивнул головой Мамалыга, иронически одобряя эту уважительную причину, — вот они множатся и наполняют землю, а за порядком никто не смотрит... Какая-то дева в гардеробной... Это непорядок, Любовь Сергеевна, я это... не знаю, как назвать, что это такое!..

— Они меня в гроб вгонят! — в отчаянии повторила начальница, слезливо моргая глазами, — что мне делать?

Она устремила умоляющий взгляд на Мамалыгу. Он насмешливо как-то искривился и вздернул плечами.

— Ваше дело... Мое дело — сторона, мое дело — доложить... А вы уж обязаны там... На меня, конечно, нарекания будут, как всегда... С меня вы же первая потребуете объяснений...

Начальница виновато вздохнула.

— Так вот вы поднесите им, господам родителям, этот плод свободного воспитания... Эту вот самую эротику!...

Мамалыга резко ткнул пальцем по направлению преступных почтовых листков.

— А что касается меня, я вас покорнейше прошу: в случае жалоб на меня — направляйте к попечителю, не стесняйтесь! Избавьте меня от этих самых предупреждений, предостережений и прочего, — не пужаюсь! Пусть жалуются, пусть какая-нибудь скверная газетка шпынует меня за черносотенство, за жидотрепание, за травлю инородцев, — мне начхать, — извините!.. С меня довольно сознания, что я, как русский и православный человек, стою твердо, действую по долгу присяги и совести! Я — не из тех педагогов, которые тишком подлаживаются к так называемому общественному мнению и пользуются сочувствием за то, что за уголком поплачут об угнетенных нациях...

Мамалыга едко усмехнулся. Начальница покраснела и принялась снова перебирать преступные бумажки: камень был предназначен в ее огород. Возражать у нее не хватало духу, да и опасно было спорить на эту тему с Мамалыгой.

— Пусть господин Борух Лазур пишет письмо в редакцию, что я грубо попрам национальные чувства тем, что сказал его дочери: «Почему вы шею не можете?» Французские каблучки, а на шее репу можно сеять... Омовение даже Моисеевым законом очень рекомендуется...

— Егор Егорыч!.. — простонала начальница.

— Ой-вай... как я смел?!.

Мамалыга растопырил пальцы и весь искривился.

— Я уверен, — понижая голос до таинственности и нагибаясь к начальнице, сказал он, — в числе этих кор-

респондирующих окажется и Розочка Лазур!.. Племя это чувственное, рано созревающее... Эротика в них не-удержимая!

— Ой, что вы говорите, Егор Егорыч! — испуганно воскликнула начальница и замахала руками.

— Говорю то, что думаю!

Тон был грубый, оскорбительный, и даже мягкая Любовь Сергеевна вспыхнула от обиды.

— Как же можно так говорить?.. И эти обвинения ваши, намеки... Лазур, Петрова, Иванова — разве я вправе входить в вопрос об их национальности, раз они приняты, поручены моему надзору и воспитанию... Они — дети...

— И вот — плоды свободного воспитания! — Мамалыга ткнул пухлым пальцем в бумажки.

Любовь Сергеевна остановилась. Что-то хотела сказать, но махнула рукой, встала и, заплакавши, поспешно отошла к окну.

Мамалыга вбок с недоумением смотрел несколько мгновений, как она сморкалась, как вздрагивал ее живот, словно студень.

«Баба, простая крестьянская баба!» — подумал он. Пожал плечами и, небрежно кивнув головой, вышел из гостиной.

III

Одеваясь, он заметил, что сверху, с лестницы, свесившись через перила, следят за ним несколько внимательных девичьих головок. А когда он был уже в дверях, до него донеслись сдавленные звуки заразительно-го фырканья...

На улице в первые минуты ему показалось, что все встречные должны глядеть на него насмешливыми глазами. Но равнодушно шли и ехали мимо люди — старые и молодые, нарядные и бедно одетые, хмурые и ясные, занятые своими мыслями и заботами, равнодушным взглядом скользили по кокарде его фуражки и светлым пуговицам шинели. Старший городской второй части Акимов почтительно откозырял ему, как домовладельцу. Без всякого ехидства раскланялся благообразный купец Подшибалов, подъехавший к банку...

И раздражение понемногу улеглось. Все было как

всегда — открыто, просто и обыденно. Легкий морозец подсушил осеннюю грязь. Пахло ржавыми листьями на бульваре. Мерно дышал, дымился и глухо ворчал город. Пестрые звуки его бессильно глохли под грустным небом без солнца, затканном неподвижными облаками.

Вагон трамвая, разогнавшись, прошел дальше сигнальной черты, и Мамалыга успел заметить на задней площадке гимназиста с папирсой в зубах. Вероятно, и гимназист увидел его, потому что Мамалыга, подходя к вагону, ясно расслышал слова:

— Неопалимая купина!..

Неопалимой купиной гимназисты прозвали его с той поры, когда он, во время большого пожара в городских торговых рядах, приехал на пожарище с иконой Божьей Матери — *Неопалимая купина* и торжественно три раза обошел вокруг охваченных огнем зданий. Об этом и о победоносном столкновении его с полицией из-за приостановки действий по тушению огня в свое время много говорили в городе.

Гимназист почтительно раскланялся, — папирсы в зубах у него уже не было.

«Желтухин, — отметил про себя Мамалыга, — курит, мерзавец, на улице и в урочное время шляется по городу... хорошо-с!..»

Толстый доктор Курдюмов, которого знал Мамалыга, хотя и не был с ним знаком, дымя папирсой, сказал гимназисту как будто именно для того, чтобы его услышал Мамалыга:

— Женья-то... застрелился!..

В рыхлом, кашляющем голосе доктора звучал печальный упрек.

— Я знаю, — сказал гимназист.

В вагоне мест не было. Мамалыга остался на площадке. Он повернулся спиной к гимназисту и доктору и стал глядеть на заречные мещанские окраины, над которыми висела тонкая пелена белого тумана. В матовом зеркале реки видно было опрокинутое стальное кружево моста, золотые главы Рождественской церкви и черные трубы старых бань.

— Что он — нарочно или нечаянно? — спросил молодой басок гимназиста.

— Нарочно!.. мертвый!.. — с упреком отвечал доктор.

Мамалыга знал, что речь идет о Покровском. За три месяца от каникул это было уже третье самоубийство в среде учащихся: в августе отравилась епархиалка, не выдержавшая переэкзаменовки, недавно бросился с моста маленький гимназистик Второй гимназии, наказанный за подчистку в балнике, и вот — Покровский... Обвиняют, конечно, учителей, школьный режим. И Мамалыга думал, что, наверно, толстый доктор и гимназист глядят ему в спину взглядом ненависти, — оба, конечно, считают виновным в смерти Покровского и его. А у него с Покровским и столкновений-то никогда не было. Учился он удовлетворительно, хотя возбуждал некоторые подозрения, — был всегда как-то замкнут и серьезен, — но замечен ни в чем не был.

— Говорят, его учитель какой-то доехал... — услышал опять Мамалыга. Говорил доктор.

«Ну, конечно! как же иначе?» — чуть не сказал было Мамалыга, но удержался, потому что гимназист ответил:

— Нет. Это неверно...

Обвинение было в порядке вещей, пора было привыкнуть к нему, но Мамалыга всякий раз чувствовал, как раздражение неудержимой волной заливают ему сердце и на язык просятся площадные ругательства. Ругаться он умел.

В годы революции его беспощадно травили ученики, травили родители, хотели выжить из гимназии. Но он не поддался, удержал позицию. Боевой ораторский пыл выдвинул его на видное место в местной патриотической организации — «Общество добровольной народной охраны». Он стал не только известен, но и близок к губернским властям, архиерей самолично сделал ему визит, и после этого даже директор стал у него заискивать. Мамалыга почувствовал свою силу, утвердился в мысли, что его призвание — стоять на страже исконных начал и порядка, и с тех пор беспрерывно кипел зудом обличительных схваток.

Теперь ему очень хотелось обернуться к этому толстому, пыхтящему доктору, отчитать его хорошенько и — пусть потом ходят анекдоты в городе о нем, Мамалыге!..

— Ну, прекрасно! Это мы доезжаем всех этих юнцов, — мысленно уже громил он доктора. — Мы угнетаем их бессердечием, бездушным формализмом, жесто-

костью, несправедливостью. Не какая-нибудь там егоза-вертихвостка, не благоприобретенная болезнь, а мы, бессердечные тираны и изверги, наносим раны юным сердцам... Сгущаем духоту воздуха, — нечем дышать молодому поколению: глухи к их порывам, надрываю, запросам, вопросам... Пусть мы... Но вот десятки горничных, швеек, чернорабочих, приказчиков ежедневно глотают уксусную эссенцию, бросаются под поезда, вешаются, режутся — их тоже мы посылаем на смерть? А вы, господа благополучные обыватели, тут ни при чем? Почему вы об этом молчите? Кто им издергал нервы, потушил свет, лишил веры в Бога, довел до отчаяния?..

Но он не обернулся и не сказал. Всю дорогу до гимназии он лишь чувствовал в своей спине пристальный взгляд ненависти.

— Вам что, милые люди, нужно? — глядя на знакомые, мелькавшие мимо вывески, едко спрашивал он неведомых оппонентов. — Вам документик нужен, бумажка, чтобы впоследствии потеплее устроиться. Все эти ваши разглагольствования о равенстве — тьфу, больше ничего! За ними бумажка, бумажка прежде всего!.. Не дают ее даром — у ваших детей неврастения, утеряна охота жить, интерес к жизни, как будто всю ее они уже обняли взором, изведали, испытали... Да, конечно, дети ваши осведомлены в разных тайнах не менее чем старики, но... почему тут школа, а не господа родители? Куда смотрели все эти комитеты? Бесконечные дебаты о горячих завтраках и — «нельзя ли отменить экзамены?»... Или: «Ах, моей дочери следует *три*, а учитель не так спрашивал и поставил двойку...», «Ах, моего сына лишили возможности наслаждаться искусством!». А его только и всего — вывели из кафешантана...

Мамалыга снял фуражку — проезжали мимо Спаса-Преображения — и несколько раз истово перекрестился. Осторожно оглянулся назад и поймал веселый, насмешливый взгляд гимназиста.

— А пожалуй, знает, мерзавец! — подумал он, вспомнив о найденных в фуражке записочках. Да весь город, разумеется, знает, какого я дурака валял... Зубы будут скалить, кричать будут вслед...

Коридоры гимназии были полны шумом,— перемена еще не кончилась. Толкались, бегали, катались по полу гимназистки-малыши. Визг прорезывал гулкую зыбь пестрых голосов, рассыпался звонкий смех. В пустом вестибюле, куда гимназистов не пускали, молодой шум отдавался, как летний буйный ливень, который бьет барабанную трель по железной крыше, шумит звонкими потоками из труб, плещет, шипит, стучит, звенит...

На лестнице, ведущей из нижнего этажа во второй, стоял и строго оглядывался по сторонам маленький, бородатый человек с выражением следопыта на лице,— инспектор. В руках у него была записная книжка, в вершине лысины торчал сердитый серый пушок. Вся фигура насторожилась, как бы приготовилась к прицелу...

— А вот кстати, Егор Егорыч! — воскликнул он, увидев Мамалыгу, — тут вот помощник классных наставников Птахин довел до моего сведения, что вы обратили его внимание на Новицкого, третьего класса, будто бы он вчера в церкви читал газету...

— Всю обедню, — подтвердил Мамалыга тоном упрека.

— Газету?!

— Газету.

— Как же это я не заметил?..

Мамалыга, как и вся гимназия, знал, что инспектор был близорук, беспамятен, плохо соображал, и все нарушители порядка с успехом изворачивались у него, доказывая свое *alibi*, выставляя лжесвидетелей. Но в глаза сказать ему это постеснялся и принудил себя ответить без насмешки:

— Очень просто, — вы становитесь не там, где надо. Вы становитесь впереди, а надо сзади и так, чтобы все видеть. Я стоял у окна, сбоку, — мне все было отлично видно... Всю обедню!

Инспектор с сокрушением покачал головой.

— Всю обедню... И где он, каналья, добыл газету?.. Я поймал Мурашкевича, первого класса. Он вырвал у Хаплинского конфетку и бросил ее к амвону — как раз в то время, как о. Илья выходил с возгласом...

— Это уж кошунство, — мрачно сказал Мамалыга.

— Скверный мальчишка!.. Давно бы перо ему вставить надо... Как же Новицкого записать? «За чтение газеты во время литургии?» Как будто неловко...

Мамалыга подумал и сказал:

— Да... неудобно...

— За дурное поведение? Слишком неопределенно...

Задумались оба.

— Запишите: «За неуместное поведение в церкви», — сказал Мамалыга.

— За неуместное поведение? Пожалуй, это лучше всего... Лучше и не придумать! Так и запишем! Благодарю вас...

В учительской за чайным столом вокруг самовара сидели о. Илья, квадратный, коротенький чех Пшеничка и кудлатый Коношевич в темных очках, старые латиписты; лысый, с вдавленными висками, естествовед Бабурин, сосредоточенно молчаливый человек, изобретатель знаменитого чернильного порошка, «сберегающего перо, как гласила рукописная этикетка, от разбедания в иглу, зарощения в пишку, обращения в мазилку, отстраняющего развитие близорукости, искривление позвоночника, боль в спине, заражение уколом, притупление обоняния, раздражительность духа от невозможности хорошо писать» и т. п. За письменным столом черкал ученические тетрадки словесник Глебов, картежник, любитель клубнички и мастер рассказывать прятные анекдоты. У окна читал газету молодой математик Соколов, робкий, застенчивый человек, боявшийся учеников. Мелкими шажками из угла в угол ходил поджарый, тонконогий Иван Иванович Сивый, учитель рисования и чистописания, немножко потертый, но с длинными кудрями и в галстук необычайных размеров, с развевающимися концами.

Мамалыга по первой же услышанной им фразе понял, что и здесь говорили о смерти Покровского.

— Пишет отцу: «Прощай... в смерти никого не виню...» — не спеша говорил о. Илья, держа блюдо с чаем против уха. «Жизнь, — говорит, — надоела... увидимся с тобой на том свете, если он есть...»

— А-а, Боже мой! — подавая руку Соколову, укоризненно покачал головой Мамалыга. — «Если он есть...» Как нынче молодежь-то!..

Соколов принял на свой счет укоризненный жест Мамалыги и не без смущения спросил:

— Что — молодежь?

— Молодежь-то какова! «Если он есть...» Да как же его нет-то? Что же тогда есть?

— С своей точки зрения он, может быть, и прав, — угрюмо отвечал Соколов, снова принимаясь за газету.

— Прав? Вы это утверждаете?

Мамалыга уперся строгим взглядом в молодое, безусое лицо Соколова.

— Если он не верит в существование загробного мира, — не совсем уверенно сказал Соколов и густо покраснел.

— Да какие же основания-то для этого? — строго, взыскательно крикнул Мамалыга.

Соколов совсем смутился и лишь пожал плечами. Толстенький Глебов, которому стало жаль молодого коллегу, отодвинул тетрадки в сторону и сказал веским, докторальным тоном:

— Он мог исходить из двух соображений... Во-первых, жизнь так сложилась, что в будущем здесь, на земле, он не ждал ничего хорошего... И, следовательно, как ни плохо или жутко где-то там, — Глебов махнул рукой за окно, — но хуже, чем здесь, быть не может...

— Ну-те-с? — ехидно подогнал о. Илья, когда Глебов остановился, как бы запутавшись в дебрях туманной аргументации.

О. Илья, иерей тощего, мало внушительного вида, с воробьиным носом и бородкой гвоздем, был весь какой-то заостренный, лукавоколющий, — смысленные, лукавые глазки его, как ни старался он порой придать им выражение степенности и благочестия, все подмигивали с веселым плутовством куда-то в сторону...

— Ну-те-с... во-вторых?

— А во-вторых... — Глебов потер лоб, соображая. — Раз здесь скверно, надо уничтожить это скверное... Уничтожить же можно вернее всего лишь уничтожением себя...

— А дальше-то что? — грубо спросил Мамалыга.

— Ничего... Нирвана, небытие...

— Да как же это так? — В голосе Мамалыги зазвучали враждебные, почти угрожающие ноты.

— Э, ну вас! что вы пристали, в самом деле! — сказал с досадой Глебов и снова принялся за тетрадки.

— А мне, признаться, жаль,— сказал Иван Иванович Сивый, поправляя свой большой галстук,— ушел из мира как-то так... загадочно... таинственно... скромный юноша, начитанный... Ни с кем не имел столкновений... Такое чувство, как будто зашибли маленького ребеночка... доверчиво бегал тут, между ногами взрослых, а его ушибли... Нечаянно, а больно... непоправимо... Жаль... ах как жаль!..

Никто не сказал на это ни слова. Мамалыга молча, сердито посмотрел на модный галстук Ивана Ивановича и отвернулся. Как будто то, что сказал Сивый, было совсем не к месту, ненужно и неприятно до раздражения... Правда, конечно: ушел тихий юноша и кроткий... Неожиданно, непонятно... Но что об этом говорить? При чем тут они?.. Он унес с собой тайну каких-то своих исканий, мучительных вопросов и... стал над ними, выше всех... Может быть, и к ним когда-нибудь были устремлены его вопрошающие глаза? Но сами ограниченные и мелкие — они бессильны подняться над обыденной суетой... И что они могли сказать ему? Проходили мимо, с равнодушной исправностью исполняя свою работу... И вот он ушел... Ушел сам, добровольно... Зачем? Может быть, хотел сказать им, что есть нечто важнее, глубже и повелительнее, чем подаваемые ими жалкие крохи познания и стертые сентенции? К чему?.. Вот лежит теперь и больше уже не встанет... И жалко — сжимается сердце от боли... И смутно чувствуется вина какая-то,— может быть, не такая бесспорная и грубая, как кричат, а есть... и будет всегда...

Упорно молчали все. Не вздыхали, не сожалели вслух,— молчали...

О. Илья схлебнул чай с блюдца, утерся, перекрестился. Потом громко вздохнул и печальным, заученным тоном соболезнования промолвил:

— Кому же не жаль... Жаль, конечно... Чайку стаканчик, Егор Егорыч?

Мамалыга сел к столу и тоже тяжело вздохнул.

— Что, нездоровится? — льстиво спросил о. Илья. Он очень заискивал у Мамалыги, который был близок с преосвященным.

У Мамалыги ничего не болело, но этот участливый вопрос как бы внушил ему мысль, что он болен.

— Скверно,— мрачным тоном отвечал он,— ах как скверно!

— Желудок?

Мамалыга подумал, не рассказать ли о том, какое открытие он сегодня сделал. Но побоялся, что истории с любовными записками вызовет смех и здесь. Может быть, слегка и посочувствуют, но потом непременно будут смеяться и всюду рассказывать. Нет, лучше умолчать.

Он взял нить, поданную о. Ильей,— о здоровье и сказал жалобным голосом, глядя на свой широкий живот:

— Общая слабость какая-то... Тошно... Разбит весь...

— А желудок как теперь?

— Желудок теперь ничего... Третьего дня у меня действительно распирало его... Пучило. Должно быть, от сыру,— сыру съел кусок... порядочный... а мне сыру нельзя...

Конашевич с сожалением покачал головой:

— Сыру вам нельзя, фруктов, скажете, нельзя, кореньев нельзя,— что же, наконец, можно? Так ведь и умрешь — не дорого возьмешь...

— Мало ли что! — мрачно вздохнул Мамалыга,— многое... мясо... индейку, тетерку... Гусь не годится, тяжел... Ростбиф... Цыпленка можно... Многое можно: яйца... Мало ли что!

Иван Иванович сострадательным голосом сказал:

— А вы попробовали бы вегетарианство, Егор Егорович...

— За кого вы меня принимаете? — сердито обернулся к нему Мамалыга.

Иван Иванович с недоумением остановился.

— Как за кого? За вас и принимаю... — сказал он, удивляясь и не понимая, чем он рассердил Мамалыгу. Но вдруг вспомнил, что гимназисты постоянно изводят его Толстым. Мамалыга в свое время, когда еще только что упрочивал свою патристическую карьеру, наряду с голодранцами-революционерами поносил с особым усердием и великого писателя земли русской, повторяя крепкую брань из проповеди местного архиерея. И с тех пор гимназисты неизменно перед каждым уроком истории старательно рисовали на доске величавого старца в блузе и перед ним коленопреклоненную фигуру с округлым задом, в форменной тужурке. И подписыва-

ли: «Великий учитель! очисти гнусную душу великого прохвоста...» Мамалыга при виде этого изображения приходил в бессильную ярость... Производились розыски виновных, подвергались изысканиям целые классы... Но это не ослабило упорства его врагов, — наоборот, освятило традицию опасной и веселой войны. Пришлось смириться... Но во всяком намеке, имевшем хоть отдаленное отношение к Толстому, Мамалыга неизменно видел скрытое злостное намерение уязвить его и закипал раздражением.

— После этого вы можете предложить, чтобы я сеном питался? — сказал он, злобно глядя на Сивого.

Иван Иванович уже спохватился и готов был извиниться, но боялся этим еще больше раздражить Мамалыгу. Он самым кротким, умиротворяющим тоном ответил:

— Что же тут такого? Вон пишут же в газетах, что отвар сена очень питательная вещь...

— Ну, так и идите сами на подножный корм... Тем более что и фамилия ваша как раз соответствует такому способу питания...

Эта грубость обидела Ивана Ивановича до глубины его кроткой и мягкой души. Он покраснел и сказал дрожащим голосом:

— Я желудком не страдаю...

— Ну, и я холопствовать перед Толстым никогда не холопствовал и не буду! — с возрастающим раздражением закричал Мамалыга. — А холопствующим советую на всех своих четырех ногах ходить!

— Я желудком не страдаю! — почти плачущим голосом повторил Иван Иванович. — А вам советую клистир поставить!..

— Это такие вещи, о которых в порядочном обществе не говорят!

— Я, к сожалению, в вашем обществе...

— Просто — ненормальный человек! — кричал Мамалыга, тыча рукой и обращаясь за сочувствием к окружающим.

О. Илья укоризненно покачал головой, не относя ни к кому особенно своего неодобрения. Конашевич грустно улыбался. Глебов уткнулся в тетрадки, весь багровый от смеха. Смущенный криком, Пшеничка звонко кричал и поправлял штаны. Перепалки в этом роде не были большой редкостью в нервной, издерганной учи-

тельской среде и почти не оставляли после себя следов. Но спорить с Мамалыгой избегали: побаивались... При этом и резок он был, и груб до наглости.

— Я понимаю, конечно: ненормальным можно сделаться после двенадцати лет нашей службы...

— К сожалению, вместе с вами! — отходя в угол, кричал Иван Иванович.

— Психика ваша, Иван Иванович, давно повреждена, — я видел это раньше...

— Я желудком не страдаю!

— Правда, вы Навуходоносором не были, но к травоядению обратиться с успехом можете... О чем сами своим поведением свидетельствуете!

— Клистир поставьте! — одновременно кричал Сивый.

Задребезжал звонок в коридоре и покрыл своим резким звуком крикливую перебранку. Надо было идти на уроки. О. Илья сладко потянулся, зевнул. Конашевич выхватил памятную книжку, справляясь, в какой класс идти. Иван Иванович открыл свой шкаф с моделями и бюстами и дрожащими еще от волнения руками вытаскивал голову Гомера. Встал и Мамалыга. Нехотя взял журнал шестого, параллельного класса и грузным, ленивым шагом пошел из учительской.

V

И доска, и кафедра были поставлены с строгим расчетом, чтобы даже при самом малом повороте головы в сторону Мамалыге прежде всего бросалось бы в глаза обычное изображение, старательно исполненное мелом: величавый старец в блузе и коленопреклоненная фигура с круглым задом и бородой Егора Егорыча.

Дежурный Аарон Зискинд с черными, влажно блестящими глазами, усиленно одергивая куртку, перехваченную широким, спортивным поясом без бляхи, почтительно доложил фамилии отсутствующих. Эта подчеркнутая почтительность, за которой Мамалыга хорошо видел трусливо прикрытое шутовство и издевательство, это синеватое, бескровное лицо с горбатым носом и обозначившимися усами, вытаращенные влажные глаза, в глубине которых, далеко-далеко, мгновенно мелькали и трусливо прятались дразнящие огоньки

насмешки, даже неформенный этот ремень — действовали на Мамалыгу, как медленный укол шилом, — так бы и смазал по этой наглой морде.

Он уже отметил неявившихся, а Зискинд все еще торчал у кафедры с выражением готовности к услугам.

— Ну? — мрачно буркнул Мамалыга, с ненавистью глядя на его усы.

— Стереть, Егор Егорыч? — Зискинд přátельски кивнул головой на доску.

— Что ж вы с такими вопросами лезете? Дежурный должен знать свои обязанности!..

— Сию мину-ту-с...

Зискинд с усиленной стремительностью ринулся к доске, несколько раз обернулся кругом, как бы разыскивая губку — хотя губка лежала на виду, — нашел, наконец, и, широко размахивая рукой в воздухе, стал стирать тщательно, медленно, по вершку. И опять стиснул Мамалыга зубы от нестерпимого зуда ярости, пронизавшего его судорожным током. Но сдержался и лишь шепнул себе: «Ну я ж тебе, пархатая тварь, покажу!» А вслух сказал:

— К следующему разу — Василий Шуйский, Московская смута до воцарения дома Романовых...

— Мно-о-го! — загудел кто-то на камчатке.

— Шестнадцать страниц! — добавил новый голос.

— Кому много — встань! — сердито закричал Мамалыга.

Никто не встал. Лишь на камчатке прежний голос пробасил: «*Неопалимая купина!*..» Мамалыга сделал вид, что не слышал, резко высморкался и стал рассказывать о Смутном времени. За спиной он чувствовал шутовское старание Зискинда, который гремел доской, шаркал ногами, кряхтел и кашлял — как будто от чрезвычайных усилий. Перед собой видел лукавые, внимательные следящие не за его рассказом, а за ним самим лица учеников. Тихменев и Сорокин — на первой парте — водили пальцами по строкам книжки, подмигивая друг другу. Это всегда обжигало Мамалыгу, как удар хлыста, — он в особую заслугу себе ставил, что в течение двадцати лет службы никогда не отступал от учебника, не погнулся ни разу под натиском модных течений, отрицавших хронологию, родословия и героическую фавулу.. Но люди, сами кругло невежественные,

даже плохие ученики кололи его тем, что, кроме учебника, он ничего не знает...

А он знал. И не раз показывал, что знал. И ныне, в заключение своего торопливого рассказа, он ясно, отдельно, в торжественно-приподнятом тоне произнес ту самую речь «о современной смуте», которую не так давно говорил на собрании «Русского монархического союза».

— Ныне мы тоже переживаем годы тяжелого испытания: когда до последней степени неурядицы и разнузданности дошла вся русская жизнь снизу доверху... когда дерзко попирается то первоначало, из которого создавалась русская государственность и в котором она всегда находила новые и неоскудеваемые силы, а именно святая православная церковь... когда пошатнулись в русском народе вера в правительство и руководящие сословия... когда надо спасти веру русскую православную, народное лицо русское, самую землю русскую...

Как и в собрании тогда, так и тут, в классе, при последних словах дрогнул его голос. И словно мгновенное дуновение прошелестело вдруг в молодой листве и упало, — прошел вдруг по классу шорох, встрепенулась аудитория и вдруг затихла в напряженном внимании. Мамалыга знал, что они — ученики — любили эти его отклонения в сторону современности, может быть, больше всего потому, что незаметно уходило на них время урока и меньше было риску быть вызванным к ответу. Иногда они сами старались отвлечь его в эту сторону подходящими, тонко придуманными вопросами. И хоть не всегда шел он на эту удочку, но экскурсии эти считал неотложной и важнейшей задачей национального воспитания. Как ни испорчены разными тлетворными веяниями юные души, но горячее здоровое слово непременно хоть в уголку где-нибудь уронит зерно и оно прорастет и даст в свое время плод. Пусть теперь смеются, дразнят, — потом вспомнят, — он верил в это...

— Померкла правда русская, — вдохновенно продолжал он, — пропала совесть в образованном так называемом классе, раздаются речи бесстыдные и подлые... Враги России пользуются распатанностью переживаемого нами времени, чтобы внести еще больше смуты несбыточными обещаниями, сгущением красок в некоторых недочетах... Русский народ — народ держав-

ный в пределах собственной империи — затоптан и по-
пран... Душен воздух, свинцовые, дымные тучи закры-
ли небо русской земли!.. Надвигается революционный
орда с ругательствами и богохульством, с проклятиями
на устах... И во главе ее отвратительные существа с
крючковатыми носами и наглыми хищными глазами...

— Это кто же, Егор Егорыч?

В тишине класса лукавой змейкой скользнул этот
вопрос, прозвучал ясно, четко, смешливо, а не узнать,
кто бросил его, кто неожиданно перебил плавное тече-
ние заученной речи.

— Инородцы и иноверцы, — коротко и мрачно бро-
сил в ответ Мамалыга.

— А у Дорна нос картошкой, — он не иноходец? —
вынырнул новый голос.

— И у вас не крючковатый...

Засмеялись. И сразу стало шумно...

— Тише там! — крикнул Мамалыга.

Но класс зажужжал веселым, легкомысленным
жужжанием. Перекрещивались остроты, смех вырывал-
ся. Пропало настроение слушать.

— А почему вы Толстого не любите, Егор Егорыч?

Опять прежний лукавый голос. Мамалыга бросил
взгляд исподлобья — хотелось угадать, кто вонзает эти
мгновенные уколы. Но уже нырнул и бесследно исчез
в жужжащем рое юркий голос, и с веселой наглостью
смотрят большие, влажно блестящие глаза Зискинда.

— А какой вы национальности, Егор Егорыч?..

Зискинд отвернулся к Белову, но голос его — не-
сомненно.

— Молдаванни? — раздалось с правой стороны.

— Куцый валах! — вынырнул голос слева, когда
Мамалыга повернул голову направо.

— Неопалимая купина! — пробубнил голос на
камчатке.

Как искры, вспыхивали и потухали, подымались и
падали эти короткие, едко-насмешливые, колющие вос-
кликания, и как ни был искушен в способах уловления
Мамалыга, они так быстро скользили и мгновенно пы-
ряли, прятались за одинаковым веселым, охотничьим
выражением сорока пар глаз, что он чувствовал себя
среди них, как пышнобровая сова, которую днем кто-то
выгнал из чащи леса на свет, а тут окружили воробьи,
ласточки и прочая мелкая птица...

— Н-ну... замолчать! — крикнул Мамалыга, усиленно сдерживаясь и подавляя закипающее раздражение. Он достал из бокового кармана записную книжку, — заканчивать речь о современной смуте этим разнузданным ишакам не стоило... Попробовать успокоить их другим — испытанным — способом.

Он пробежал глазами фамилии. «Зискинд? Нет. Зискинда погожу... после...» У него было достаточно выдержки и такта, чтобы подойти как бы невзначай, кротко и доброжелательно, не обнаруживая слишком явно мстительного чувства...

— Севрюгин! пожалуйста...

На камчатке медленно поднялся плотный, широкогрудый спортсмен Севрюгин, гулко откашлялся, провел рукой по коротко стриженной белокурой голове и солидным басом сказал:

— Я не могу, Егор Егорыч.

— По-че-му-у?.. — Мамалыга с грустным, почти нежным изумлением склонил голову набок.

— Я, знаете, по математике готовился — поправить надо было «пару», — не успел по истории...

— Не успели? — Мамалыга грустно усмехнулся и утвердительно качнул головой. — Садитесь...

Севрюгин вытянул шею, следя за движением руки учителя, не увидел, а угадал, что поставлена единица, пожал плечами:

— За что же единицу-то? Вы поставьте отказ...

Мамалыга печально вздохнул и кротким тоном проговорил:

— Садитесь....

Севрюгин с громом сел, хлопнул крышкой парты и глухо пробасил в сторону:

— Жидовская морда!..

Мамалыга сделал вид, что не слышит, и ясным, благожелательным голосом возгласил:

— Зискинд А-а-рон...

Зискинд стремительно вскочил с своего места, суетливо одернул куртку и выжидательно замер, уставившись своими большими глазами в Мамалыгу.

— Вы, пожалуйста, сюда, — вам здесь будет удобнее...

Мамалыга с любезным ехидством показал место у кафедры. Зискинд снова одернул куртку, с решитель-

ным видом тряхнул курчавой черной головой, как идущий на заклятие, и, громко стуча ногами, но делая короткие шажки, двинулся к кафедре.

— Боярское правление...

— Нам к нынешнему о Федоре Иоанновиче, — почтительно доложил Зискинд.

— Боярское правление!.. — повторил громко и раздельно Мамалыга, и в голосе его опытное ухо Зискинда уловило зловещую ноту, которая давала понять, что разговаривать бесполезно.

Зискинд скосил глаза в сторону Тихменева, сидевшего впереди, подавая этим знак о бедственном положении, громко несколько раз откашлялся и, дернув головой, начал уверенным голосом:

— Иван Грозный царствовал... кхе-кхм... от тысяча пятьсот... тридцать третьего до... тысяча пятьсот... кхм...

Тут Зискинд на одно мгновение замедлил, следя за сигнализацией на пальцах, которую подавал Тихменев.

— Так-с... пятьсот? — ласково понудил Мамалыга.

— Пятьсот восемьдесят четвертого! — радостно и быстро закончил Зискинд, прочитав сигнал.

— Дальше-с... Вы мне о боярском правлении и, кстати, о значении боярства...

Зискинд опять одернул куртку, глотнул воздуха и решительным тоном продолжал:

— Но... у... да... Когда Иван III умер, у него остался один сын — Иван IV...

— Очень хорошо! — воскликнул Мамалыга, и в голосе его было искреннее восхищение. — Садитесь, молодой человек...

Он потянулся рукой к перу.

— Позвольте, Егор Егорыч, я же знаю! — с отчаянием утопающего метнулся Зискинд и торопливо зажужжал, как муха, попавшая в паутину. — Когда Иоанн III умер, в Русской земле начались опять смуты, царство перешло к боярам, но они царством совсем не управляли, а принуждали народ...

— Ве-ли-ко-леп-но! — радостно играющим голосом воскликнул Мамалыга. Взял перо и нацелился в нужную ему клетку в журнале.

— ...и даже много людей осталось без куска хлеба и без крова... — еще выше тоном забрунчал в отчаянии Зискинд. — А Иоанн IV вел разгульный и веселый образ жизни и не обращал на это внимания, бросал с

высоты терема животных и усмехался над ними... За что же единицу-то, Егор Егорыч? — уже другим голосом воскликнул он.

— Садитесь!.. «Усмехался над ними...» Каков жаргон!..

— Это же немыслимо: и так по пятнадцати страниц задаете, да еще и старое спрашиваете!..

— Будьте любезны! — Мамалыга сделал приглашающий жест на место. — Свойственная вашему племени наглость тут не выручит!

Зискинд увидел, что толковать далее бесполезно, сразу успокоился и, повернувшись, чтобы уйти на свое место, отчетливо проговорил:

— А ты сам-то какой национальности?

Класс захохотал. Эта дерзость была последней каплей, от которой переплеснуло через край накопившееся чувство злобы. Мамалыга вдруг побледнел, потерял самообладание и ударил кулаком по кафедре.

— Что?! Вы что сказали? — закричал он, вскакивая со стула.

— Неопалимая купина! — ответил кто-то. И снова шумным валом прокатился хохот по классу, запрыгали, скрестились быстрые, колкие, язвительные восклицания, стук невидимых ног, какие-то утробные звуки, подвыванье, чиханье, кашель... Поднималась та стихийная, дружная демонстрация, которой — он по опыту знал — не остановить ни окриком, ни угрозами, ни мольбой. Одно: уйти из класса. Но уйти — значит обратиться в бегство, показать малодушие... Самолюбие не допускало: Мамалыга стоял уже на линии инспектора.

С злобным отчаянием он, ясно — как и всегда в таких случаях — понимая свое бессилие, — все-таки принял бой.

— Молчать! — закричал он, стуча кулаком по кафедре. — Что за безобразие! Какая-то сволочь свистит там!.. где вы? в кабаке?.. Х-ху-ли-ганы!..

— Сам хулиган!

— И жид!..

— Инородческая морда!..

— Я инородец?! — Мамалыга вскочил со стула и в негодовании швырнул свою записную книжку. — Я — русский более, чем вы все вместе взятые, даже с вашими родителями!.. — стуча себя в грудь толстым, волосатым кулаком, сказал он тихо, стиснув зубы, шипя-

щим и ненавидящим голосом — и класс опять замер в едином, насторожившемся, охотничьим внимании. — Да-с, я — верный сын России! И именно за это самое — я знаю — я так и ненавистен вам и вашим близким!.. Да! за это!.. за прямогу русских убеждений!.. Но... жгите меня, режьте, распинайте — я не изменю своих взглядов! Не отступлю! Был и буду до гроба верен началам русским... православным началам, возглавленным самодержавием!..

Он остановился, тяжело дыша, и горящими глазами впился в эти ненавистные юные лица, возбужденные опасной охотой и радостью травли.

— Гимн!.. Господа!..

И, как волшебная палочка чародея, брошенное слово магически подчинило себе толпу. Где-то низом, как будто под партами, сперва глухо и неуверенно, занялись и потекли звуки, нестройные, но торжественные, плавные, близко знакомые и новые в то же время. Мамалыга метнулся в их сторону... Пение тотчас же перекинулось за его спину, внезапно окрепло, развернулось, раздалось вширь... Через минуту оно стало похоже на рев, в котором, увлекаясь соревнованием, неистовствовали жидкие, старательные басы, заливались нелепые, пронзительные тенора...

Он опустил голову... Весь сразу осунулся, бессильный и жалкий... Вот он — предел современной распущенности!... Ничего святого, ничего чтимого... все оплевано!.. Дальше идти некуда!.. И ведь тут дети самых уважаемых, самых благонамеренных родителей — два сына прокурора Ергольского, сыновья директора, Алекторов, внук кафедрального протоиерея... Что же это такое? Революционный дух? Нет! Это — хуже: это — нигилизм, беспросветный, отчаянный, ужасающий... Стихийное оплевание всего святого, возвышенного, благолепного...

Недели три назад в восьмом классе он сказал горячую речь об одном из самых важных устоев русской державы — о православной церкви и ее исторической роли. А после урока — он был последним, — когда дежурный бормотал молитву, все стали на коленки, стучали лбами в пол и затем хором грянули: *исполни эти деспота!*.. Это — восьмой класс, завтрашние студенты!.. Ничего, ничего святого! Один оголтелый нигилизм, нигилизм в самом отвратительном смысле слова!

Мамалыга не выдержал, заплакал. Потом схватил журнал и почти бегом выскочил из класса. Нестройный рев долго колыхался за его спиной, гнался за ним по коридору и по актовому залу. Тяжкие волны его долетали даже в учительскую и звучали здесь, к удивлению, мягко и почти красиво.

VI

Обед показался Мамалыге невкусным, рябая старая Анна выглядела сверх обычной меры неряшливо, и в комнатах было грязно. Вдобавок от верхнего квартиранта, капитана Брокгаузена, не платившего уже третий месяц за квартиру, лежала записка, в которой он настойчиво требовал исправить кухонную плиту в его квартире. Новый расход. Мамалыга вспомнил свой сон: вереница огорчений тянется длинной лентой и не видать ей конца...

— Принеси воды, — угрюмо сказал он Анне.

— Мурзаву нет, барин, весь вышел...

— Мне не парзан нужен, — боржом. У меня избыток кислотности в желудке! — страдальческим и упрекающим голосом объяснил он бестолковой старухе.

— Нетути...

— Как нет? Где же третья бутылка?

— Лопнувши... На леднике лежала и кто ее знает с чего лопнула!..

— От неизвестной причины? Ну, уж тридцать две копейки я вычту из твоего жалованья... Чтобы этих неизвестных причин поменьше было...

— Ей-Богу, барин, лопнула!

— Хорошо! хорошо!..

Анна покрутила головой, вздохнула и, молча собрав тарелки, пошла в кухню. У дверей остановилась и обиженным голосом спросила:

— От Брынкауса письмо на столе — видали?

— Видел.

— Нимфодора Кондратьевна еще заходили...

— Ладно...

Мамалыга видел, что это Анна нарочно, в отместку, напомнила о неприятном письме Брокгаузена и о Нимфодоре Кондратьевне. Визит Нимфодоры тоже означал: готовься к расходам.

Он взял газету и лег на диван, покрыв живот свернутым пледом. Вверху, у Брокгаузена, играли на рояле гаммы. Мягкие звуки бежали неуверенной рысцой, избегали в горку и тихо падали, усталые и слабенькие. И снова вставали и бежали той же дорожкой, однообразные, наивные, умиротворяющие. В запотевшее окно глядел серый осенний вечер. Низкое небо, все в застывших белых облаках, посылало первый робкий снежок. Перепархивали редкие снежинки, медленно вились и кружились, падая на землю. Неподвижно чернели за окном голые ветки канадских тополей и черно печатались на белом полотне неба. Молчание и грусть немая витали над скучной землей...

Как и всегда, газета сразу усыпила Мамалыгу, но сон был мутный, беспокойный: пришел Покровский, выложил из его фуражки кипу конвертиков и записочек, запел гимн... поет и машет рукою, глаза печальные, большие, а в руке револьвер...

Страшно стало. Проснулся. В соседней церкви Михаила Архангела звонили к вечерне. И немой тоской сжалось от этих тягучих медных звуков сердце. Почему-то пришло в голову, что жизнь уже прошла-прокадилась, — ведь сорок шесть ему уже — и за порогом смерть... Ничего не осталось светлого, хорошего, ценного, к чему душе бы крепко прилепиться, а жизни жаль, и страшно умирать... Жаль жизни, даже такой серой, одинокой, не согретой ничьей лаской жизни жаль.

Друзей и близких нет, врагов и проклинающих много... Где-то дочь есть, — пожалуй, выросла теперь: четырнадцать лет назад он разошелся с женой, было два года девочке, смешно топала ножками и смешно торчала у ней верхняя губка над нижней... Ушли. Развода он не дал, думал этим удержать жену, — не удержал: ушла и девочку взяла... В краснянском земстве место дали... А он один остался, брошенный, озлобленный, нелюдимый, только и утешение было, что копил деньги, давал в рост и по закладной приобрел старый дом на Малой Мещанской. Считали его богатым человеком и, пожалуй, счастливым, а он порой думал: можно ли быть более его несчастным и обиженным судьбой!..

Резко звякнул колокольчик. «Нимфодора», — подумал с тоской Мамалыга и встал. Прислушался: да, она. Знакомый низкий голос в дверях еще спросил:

— Один?

— Одни... да к ним кто же? — всегда одни, — отвечала Анна все еще обиженным голосом.

«Опять за деньгами», — решил Мамалыга. Поднял воротник и застегнул пуговицы пиджака, чтобы не было видно ночной рубашки.

Она вошла, шелестя узкими юбками, в меховой кофточке и шляпе с белым пером. «Настоящая барыня», — подумал он иронически, оглядывая ее неприязненным взглядом. К ее тяжелой расплывшейся фигуре не шли эти модные узкие юбки и высокие каблучки, — он говорил ей много раз об этом и каждый раз встречал обиду и брань.

— Я на минутку... не раздеваюсь, — сказала она, садясь на диван.

— Слушаю-с...

Он сел поодаль, у стола, и минуты две они оба молчали, как враги. Он, насторожившись, выжидал, о чем она заговорит, хотя не сомневался, что о деньгах. Ей, видимо, тяжело было начать.

— Мне надо рублей тридцать, — проговорила наконец она глухо и трудно.

Он вздохнул и поглядел в потолок.

— Надо бы трудиться! Всем необходимо работать...

— Что же мне делать? — сердито отозвалась она.

— Мало ли что! Дела, слава Богу, сколько угодно... А нарядились-то вы вон как!..

Он с усмешкой поглядел на ее воротничок и золотые часики на груди, когда она расстегнула кофту.

— Что же тут особенного? Кофточке уже три года...

— Воротнички ажурные какие-то...

Она вспыхнула:

— Стало быть, мне как кухарке ходить?

— И кухарка — почтенное звание, — возразил Егор Егорыч кротко, но назидательно, — работа никого не унижает...

— Подлец! — Она резко встала и отвернулась к окну.

Он пожал плечами, но не оскорбился, — он этого ждал. Но, как ни свыкся он за последние годы с этой грубостью, резкостью и неблагодарностью, каждый раз охватывало его знакомое тоскливое чувство от сознания, что этот крикливый, вульгарный голос, это хам-

ство — неотвратимый и неизбывный его крест. И откуда явились у нее эти отвратительные навыки — стремление быть похожей на барыню, всякие претензии, отвлечение к труду, самолюбование, грубость с прислугой, с ним?..

Когда-то — лет шесть тому назад — это была скромная девица, портниха, очень миленькая и особенно привлекательная своею трезвою рассудительностью. Он познакомился с ней в церкви. Сам он любил молиться и любил людей богомольных. Летом, на каникулах, когда не было службы в гимназической церкви, ходил в приходскую, любил запах ладана, пение, возгласы, даже будничную пустоту храма и хозяйский капитель старого дьячка, гулко перекатывавшийся под сводами. Летом он и увидел ее у Михаила Архангела. Она бросилась ему в глаза своим свежим, чисто русским, широким и круглым обликом. При посредстве рябой Анны состоялось знакомство и устный договор — «на совесть»: выигрышный билет дворянского займа единовременно и по двадцати пяти рублей ежемесячно. Дороговато казалось Егору Егорычу, но согласился, больно уж аккуратная собой девушка, — так даже Анна о ней отзывалась...

Сперва она не бросала своего мастерства, работала. Держала себя с большим тактом, не забывалась. Потом объявила ему однажды, что чувствует себя беременной. Он встревожился, заметался, стал уговаривать ее избавиться от материнства и — как ни неприятно это ему было — дал сверх обычных выдач еще сто рублей на предмет избавления от ребенка. Она деньги взять взяла, но предлагаемые им меры едва ли приняла, потому что стала матерью. Работу пришлось уж оставить. Надо было увеличить выдачи... Как ни туго поддавался Мамалыга на это, как ни старался отделаться трехрублевками и пятирублевками, но, — к глубокому и неизбывному его огорчению, — норма с двадцати пяти рублей в последний год дошла уже до пятидесяти, — некуда было деваться... Из скромной, тихой девицы как-то незаметно Нимфодора преобразилась в грубую, крикливую особу, постоянно угрожающую ему скандалом. Он был бы рад освободиться от нее, но она держалась цепко. И привычка уже образовалась, — разорвать связь было не так-то легко.

Ему стало жалко себя, хотелось заплакать над собой, над своей стыдной, неудачной жизнью...

— В последнее время мы только и делаем, что ругаемся,— печально проговорил он.

— Нет, ты не ругаешься! Ты просто пакостишь! — крикнула она.

— Сколько раз я вам говорил, что в культурном общении обязателен известный минимум вежливости... Чтобы вы поняли, что значит минимум вежливости, я...

— Это с кем? — грубо спросила она.

— Со всеми вообще. А тем паче с человеком, на средства и труды которого живут, наряжаются, имеют возможность сидеть праздну, сложа руки...

— Ты — хам, больше ничего!

— Зачем же ты к хаму пришла? Ты — благородное существо?

Она вполупоборот оглянулась на него, и в сером свете надвигающегося осеннего вечера широкое, расплывшееся за последние годы лицо ее, горевшее сейчас ненавистью, с сверкающими зеленоватыми глазами, с багровыми пятнами на щеках, показалось очень молодым и красивым.

— Каким надо быть негодяем, чтобы учить меня вежливости! — закричала она со слезами в голосе, застегивая дрожащими руками кофту. — Какими-нибудь грошами бесперечь тычет в глаза!.. Да и от этого-то норовит улизнуть, над каждой копейкой трясется!.. А ребенок чей? А? Чей ребенок?..

Он зашипел и замахал руками:

— Зачем же так кричать?.. Кругом же люди...

— Пусть слышат,— мне какое дело! — режущим ухо голосом закричала она. — Пусть знают все, какой ты есть подлец! Ты идешь ко мне почему? Разве я для тебя человек, мать твоего ребенка?.. Идешь потому, что тебе нужно! Уверен, что будешь здоров... Удобно, скрытно... Думаешь, что за твои гроши ты можешь... Но я и без твоих грошей жила! И буду жить!.. Голодать с дитем буду, а к такому подлецу не пойду!

Она вдруг заплакала, слабо взвизгивая тонким, слабым и жалким голосом. Ему стало жаль ее. Он крикнул, достал из кошелька ключ и отомкнул средний ящик письменного стола. Стараясь прикрыть его собой так, чтобы она не могла видеть, что он будет делать,

он вынул из глубины несколько пакетов, пересмотрел их и заботливо уложил снова на прежнее место, оставив лишь один, на котором синим карандашом была начертана цифра 3. Помочил языком пальцы и медленно, осторожно стал вынимать из пакета кредитки. Раз... два... три... На десятой остановился и еще раз пересчитал, тщательно растирая пальцами каждую бумажку, чтобы не просчитать и не дать лишнего. Потом подумал и одну трехрублевку вложил назад в конверт: довольно и девяти, все равно — придет опять.

После этого тщательно спрятал пакет, замкнул ящик и, держа в руке свернутую пачку с девятью трехрублевками, осторожными шажками подошел сбоку к плачущей Нимфодоре.

— Уйди ты от меня! — закричала она, когда он несмело обнял ее стан. Но он уже слышал, что сердитые ноты в ее голосе слабы, и хотя она пытается как будто оттолкнуть его, однако делает это слишком нерешительно и почти нежно. И засмеялся коротким, дробным смешком, ласково-лукавым и примирительным.

— Уд-ди!.. Не трогай меня!..

— Ну, пора успокоиться... — отеческим тоном сказал он и сунул ей деньги за корсаж.

— П-под-длец!..

— Ну-ну-ну-ну!.. Слышал я уже это... не раз...

— Я больше не могу жить!.. Не могу! На меня все пальцами показывают... Я не могу!..

— Ну-ну-ну-ну... Ничего, ничего... Какнибудь... По-маленьку...

Сгустились сумерки, стало темно. Он обнял ее уже уверенным, хозяйским приемом. Щеки ее были мокры от слез, губы приторно-сладко пахли помадой. Этот запах всегда особенно дразнил его и томил желаниями.

Когда ушла Нимфодора и остался лишь приторный запах помады после нее, Мамалыга опять почувствовал скучную слякоть в душе. Пусто, темно, серые сумерки... И денег стало жаль, досада грызла за расход — такой большой и безрассудный...

Не зажигая огня, он лег на диван и отдался унылым мыслям. В минуты одинокого раздумья всегда всплывают в памяти огорчения, заботы и расчеты... травля и ругань... На людях, когда занят делами — какой-нибудь денежной операцией или даешь уроки, ловишь гимназистов, стараешься внушить им патриотические чув-

ства, борешься за порядок и исконные начала,— не слышно этого червяка, который в немой пустоте одиноких ночей точит сердце... Жизнь наполнена каким-то содержанием, суетой. Бывают огорчения, обиды, тайные уколы и открытые удары,— но есть и интересы, и радостные перспективы, порой гордое сознание успеха и торжества... Не очень давно еще он ходил с оплеванной, исписанной мелом спиной, презираемый, осмеянный, затравленный... И теперь его ненавидят, но и боятся, он может гордиться почтительным вниманием губернатора и архиерея, он на прекрасном счету у попечителя округа, и, может быть, не нынче завтра его двинут в директора...

Но порой охватывала холодная и мрачная тоска,— с беспощадной ясностью видел он тогда, что не к кому прилепиться сердцем, никому не нужен, никто не любит, чужой всем и одинокий кругом... И в эти часы не утешали ни деньги, которые он любил пересчитывать и раскладывать в порядке по конвертам, ни служебный успех, ни благоволение архиерея. И уже бесцельным ребяческим обманом казался ему и патриотический пыл его, и богомольческое усердие, и строгое наружное поведение. Закрадывалось сомнение не только в исконных началах, но в Боге, суровом и безучастном... И страшно было... Он гнал эти мысли, становился на колени, со слезами шептал:

— Верую, Господи!.. Но... помози моему неверию...

А червяк все глодал да глодал. И спрашивал кто-то, безмолвный и едко ухмыляющийся:

— Ну хорошо, а что дальше? Вперед?... Хлопочешь, вертишься, волнуешься, подвергаешь себя обидам,— но ради чего? Умрешь — кому все пойдет?..

И невольно саднило в душе от этой темной мысли об итоге, когда будет темно и пусто и ничего не надо... И, может быть, Нелицеприятный спросит: что сделал?..

Что сделал он? Жил смрадно... Смрадно умер...

...Встал, зажег лампу. Походил по комнате. Остановился перед комодом, на котором стоял граммофон. Побарабанил пальцами по рупору,— вздрогнул певучий звук, мягкий и жалостливый. Захотелось музыки...

Из картонного ящика, в котором лежали у него старые галстуки и граммофонные пластинки, достал верхнюю, поставил. Зашипела игла, грянули бравурные

звуки. Сперва ударили и испугали своими внезапными, резкими трубными руладами. Потом мягко закачались, стройно-зыбкие и легкие, запели, понеслись щеголеватым, отчетливым темпом, разливая кругом бодрый, ликующий шум, воодушевление, восторг... Марш — «Под двуглавым орлом»... Мамалыга одобрительно улыбнулся и стал качать в такт головой...

Потом, охваченный обаянием этих подмывающих звуков, махая руками, мелкими шажками пошел маршировать по комнате. Воображение, которому он иной раз любил давать простор в часы одиночества, заиграло и понесло его в светлую, героическую высь, окружило блеском и громкозвучной славой... Вот он — начальник дивизии... Эполеты и лента... Смотр войскам гарнизона... Стройные колонны, зыбкий блеск птыков и киверов... Плещут красные значки, и музыка гремит... «Спасибо, молодчики!..» — «Рад-страд-ваш-ство!..» Трам-там-там... трам-там-там... Там-ти-ти-ти-трам-там-там...

VII

На похороны Покровского самовольно ушла почти вся гимназия. Старшие классы на уроки совсем не явились, а из малышей большая часть убежала после общей молитвы. Это пахло уже бунтом. Директор созвал экстренный совет. Предложил на обсуждение вопрос: как поступить в данных обстоятельствах?

Долго молчали. Делали вид, что обдумывают, но ни у кого не было охоты высказываться: Бог знает, попадешь или нет в точку, — пусть уже само начальство предлагает меры... Один Мамалыга коротко сказал:

— Драть!.. Нагайками драть!..

Директор предложил резолюцию: не явившимся в гимназию сбавить два балла по поведению, а по отношению к зачинщикам и руководителям, — зачинщики должны быть, — принять особые меры — вплоть до исключения. Классные наставники и надзиратели должны немедленно отправиться на кладбище для наблюдения за поведением учеников...

Из классных наставников один только Мамалыга имел мужество не уклониться от исполнения служебного долга, — прочие не решились показаться на похоронах.

Мамалыга нагнал процессию уже недалеко от кладбища. Издали еще увидел крышку гроба в цветах, которую несли гимназисты. Протолкавшись ближе, обратил внимание на маленьких гимназистов, которые, с ранцами за плечами, несли подсвечники и крест. Было очень много народу, торжественно, необычно... И все встречные останавливались и долго провожали глазами процессию у ворот, у дверей грудились толпы рабочих в одних рубашках, полураздетые дети, женщины, выбежавшие посмотреть на редкое зрелище. Серые и черные шинели, синие фуражки с белыми кантами, черные с желтыми, синие, серые, зеленые платья, шляпы и шапочки гимназисток... Все пестро волновалось перед Мамалыгой, текло широким и ровным потоком сзади и впереди гроба. Все молодежь, зеленая и стадная, загадочно спаянная одним каким-то чувством — вызовом ли или печалью, жадной риска или смутной тоскою бессильных порывов и исканий. Что-то свое, особенное реяло над этой юной толпой, и трогательное, и горькое, умиляющее и досадное, — свое, отличавшее ее от всякой другой толпы, свой воздух, свой шум и шорох, весь слитный облик, в котором тонули все посторонние лица — простые и интеллигентные, нарядные дамы и убогие старушки в толстых старых платках...

Старик священник разбитым голосом бормотал слова Евангелия и ектений. Хор девочек из какого-то приюта не очень стройно пел вечную память, а далеко впереди большой хор из молодежи пел величественное, печальное *Святый Боже*. Жалующиеся звуки, занимаясь, медленно вырастали, ударялись в стены домов, неслись ввысь песнью печали и воздыхания, замирали... И печально плакал похоронный перезвон колоколов...

Мамалыга шел в сторонке. Иногда, обгоняя его, удивленным и враждебным взглядом смотрели на него совсем незнакомые ему молодые люди, барышни, какие-то интеллигенты в очках. Как будто присутствие его здесь, на похоронах своего ученика, было странно и неуместно... Никого из педагогов не было видно...

Единственный человек, раскланявшийся с ним почтительно, без чувства вражды и упрека, был дьячок из церкви Михаила Архангела, пожилой, сурового вида человек, прозванный *Авессаломом* за свои курчавые волосы. Они пошли рядом. Потом догнал их Иван Ива-

ныч Сивый. Он уже забыл вчерашнюю размолвку и с приятельским добродушием поздоровался с Мамалыгой.

— Плохо живется... впечатления все такие тяжелые...— вздыхая, сказал Сивый.

— Никому не сладко,— угрюмо отвечал Мамалыга.

— Ругают нас все... особенно судейские... Мы, дескать, не учим, а убиваем юношество...

— Тоже и они великолепны... Мы убиваем юношество, а они все возрасты, без разбора... если уж пошло на либеральные фразы.

Авессалом крикнул октавой и сказал:

— Совершенно справедливо... Такой молоденький юноша, зеленый, как лук, можно сказать...

— Жаль... юноша был хороший...— вздохнул Иван Иванович.

— Прекраснейший! — подтвердил Авессалом,— тихий, как самая тихая вода... Он мне племянником доводится...

— Развитой такой, начитанный...

— Голова!.. На редкость — голова!..

— Он был близок ко мне, интересовался искусством. По некоторым предметам — по астрономии, например, по естественным наукам замечательно был начитан...

— Ну, по истории никогда больше тройки не имел,— мрачным тоном сказал Мамалыга.

Иван Иванович виновато вздохнул.

— Труженик был! — печально проговорил Авессалом,— труда не стеснялся — ни чистого, ни черного... Это, бывало, и воды, и дров принесет... Прекраснейший юноша!.. И похороны-то ему такие хорошие — дай Бог всякому: все жалеют, все провожают, пение какое, звон...

В голосе Авессалома звучало грустное и гордое удовольствие. Иван Иванович сочувственно покивал головой,— он, сам эстет, любил красоту во всем, даже в выражении горя и печали. И был тоже доволен зрелищем юной толпы, пением, звоном, небом в белых облаках, сквозь разрывы которых порой виднелась нежная лазурь. Там, где было солнце, жидким золотом разливался свет в тонких тучках, ласково играл на парче гроба и подсвечниках, и, озаренные им, одевались в теплые тона, хорошели стены домов, церковь и верхушки берез, в которых бойко звенели синички... Была пе-

чаль красива и нарядна, как ясный вечер с тихо умирающей зарей...

— А что вообще означает этот звон? — задумчиво спросил Иван Иванович.

— Печальную песнь, — сказал Авессалом, подумав.

— А я иной раз услышу, — сейчас мысль: ну, еще один попал в тираж... А почему иногда в три колокола, иногда в пять? И большие, и малые...

— Это уж — от звонаря...

— Тут и капитал играет роль, должно быть... — упрямо сказал Мамалыга.

— Да и это, — тотчас же согласился Авессалом.

В узкой дорожке, среди чугунных решеток, деревянных и мраморных крестов, колонн, саркофагов и часовенок, плотно сжатая толпа оттерла Мамалыгу, как он ни усиливался пробиться вперед, сдвигала, прижала к старинному памятнику из какого-то серого камня. Иван Иванович и Авессалом потерялись где-то сзади. Впереди и позади длинным, узким, волнистым ковром виднелись обнаженные головы, русые, черные, белокурые, шляпки и шапочки с лентами и перьями. Замерло движение, и стало тихо-тихо. Лишь галки перекликивались в голых ветвях старых берез, расписанных зеленым мохом и черными пятнами застаревшей коры.

Безбрежным и мудрым молчанием молчали холмики, одетые еловыми ветками, кресты с засохшими веночками, памятники с плачущими ангелами, часовенки с тихо мигающими огоньками лампадок. И безотчетный страх сжал сердце Мамалыги. Вот он итог: вечное безмолвие, покой недвижимый и — ничего, ничего не надо, ни суеты, ни вражды... Все это земное кипение, борьба, усилия, жадность, мечты честолюбия — укроется навеки таким вот холмиком и камнем... И старые березы одни будут качать головами над неразумной суетой людской....

Молоток застучал по крышке гроба, чей-то плач истерический раздался. И недвижно стояла многоголовая юная толпа, замороженная этими звуками, зачарованная безбрежным молчанием могил. *Вечная память...* Широко растеклось, торжественно, печально... Смогло. И слышно стало, как, осыпаясь, шуршала сырая земля...

— Товарищи!..

Голос звонкий, незнакомый, и не видать, откуда он.

Мамалыга нащупал ногой каменный выступ, поднялся и укрепился на нем, обняв одной рукой колонку, на которой было написано: «Здесь до радостного утра воскресения покоится телом, а в Бозе духом и верою купеческого сына жена Пелагея Васильевна Козлова». Посмотрел вперед, откуда долетал голос оратора, увидел пестрые ряды голов, облепивших решетки ближайших могил, и две черных шпалеры городских. Голос оратора звучал ясно, молодо, но слова терялись среди деревьев и памятников, разбегались в разные стороны, и Мамалыга улавливал только отдельные, сердито подчеркнутые, порой страстные восклицания:

— *Бездушный эгоизм!.. Бездушные автоматы!.. Мертвая буква... Человеческие запросы!.. Шпионаж!..*

Вдруг там, впереди, откуда доносился голос оратора, зыбко прошел заглушенный расстоянием ропот голосов, всплеснули какие-то восклицания, всколыхнулись головы.

— А я вам говорю: пожалуйста-с! — закричал требовательный голос, похожий на шкворчанье горячего жира.

Вспыхнул яркий крик, вихрем закрутились пестрые молодые голоса, колыхнулась сильнее толпа, и волна движения докатилась до Мамалыги. В живой, пестрой лавине голов и возбужденных лиц он увидел испуганное, растерянное лицо надзирателя Семена Петровича Десницына.

— Семен Петрович! сюда! — крикнул он ему.

— И когда Семен Петрович радостно схватил руками колонку, за которую держался Мамалыга, из звонкого потока бурлящих голосов вдогонку ему долетело веселое восклицание:

— Прохвост!..

— Кто это там ораторствовал? — спросил Мамалыга.

— Это из реального один... еврейчик... — отдуваясь и отирая с лица рукавом пот, отвечал Десницын. — Переоделся, мерзавец, думает — не узнают... А я его как свой палец знаю: Анштандик...

— Ну, ну... о чем же?

— Вообще о всяких давлениях... Воздуху мало, дескать, задыхаемся...

— Воздуха захотел?

— Нету,— говорит,— воздуха. А когда помощник пристава Миловидов попросил его,— шум подняли... Вон видите: лезут. Им говорят: разойдитесь, а они нарочно прут...

Голоса бурлили, сплетались, сыпались дружным каскадом, разбивались и расплетались, когда топот многочисленных ног и порывистая давка давали сзади стоящим сигнал к отступлению; снова сливались и вырастали, шумя, как ветер по железной крыше, когда волна движения круто поворачивала обратно, повинуюсь звонкому, возбужденному крику:

— Товарищи! не расходитесь!..

— А я вам говорю: пожалуйста-с! — тотчас же вслед за этим призывом плескал над веселым шумом жирный голос Миловидова.

— Не расходитесь! Не имеете права!..

— Господа! будьте любезны!.. вас просят, вы должны понимать!

— Долой по-ли-цию!..— прогудел, словно в рупор, солидный бас из отдаленных каких-то мест, запрятавшийся среди могильных памятников.

По тесно сгрудившейся толпе побежал смех, и опять стало похоже, что ветер барабанит по железной крыше и звенят веселые ручейки весеннего дождя. Слугнута мудрая тишина кладбища, светлой зыбью играют голоса юной жизни, бестолковой, не вполне чинной, неупывающей, непобедимой...

— Па-трудитесь разойтись!

— Без тебя знаем! Оратор какой!..

— И больше ни-чи-во!.. Вас просят!..

— Не толкайтесь!.. Невежа!..

— Я сам больше вашего учился!..

— Видно!..

— И беспорядков не делал!.. Потрудитесь здесь не останавливаться! И больше ничиво!.. Вы не желаете? Не желаете?! Нет?! Марчуков! Сидоров! попросите!

И снова мимо Мамалыги и Десницына понеслась шумная лавина весело возбужденных юных лиц, синих и черных фуражек, меховых и вязаных шапочек, шляпок с перьями, шляпок с лентами,— понеслась с топотом, давкой, смехом, остроумными и сердитыми восклицаниями. Из ее живой, пестрой ленты с текучим, меняющимся узором, в котором слились в одно неуловимое лицо все лица — бойкие и испуганные, юношеские и

девичьи, далекие и близкие,— не было возможности, как ни присматривался Мамалыга, не только выхватить зачинщиков, но и просто отделить своего ученика от чужого. Чувство негодования на нарушителей порядка кричало в Мамалыге, но он понимал свое обидное бессилие. Он одобрительно кивал головой, увидев, как городовые, по команде Миловидова, сомкнутой колонной наперли на толпу и она, под их натиском, без сопротивления покатила от могилы к выходу. Боевое увлечение незаметно охватило и его самого.

— Молодцы! Так, так, так! — одобрительно улыбаясь, говорил он в воздух, — так их, негодяев, так! в шею!.. в загривок!..

И вдруг, словно вихрем, подхваченный этим боевым упоением, он неожиданно для самого себя закричал:

— Господа!.. Вы называетесь образованными людьми!.. считаете себя чуть ли не солью земли, а нас бездушными угнетателями, шпионами, убийцами и тому подобное! Но оглянитесь на себя: что вы такое сами?.. Что вы сейчас делаете?.. Что вы сейчас делаете?.. Подумайте: какое место!.. Место вечного успокоения, где надо держать себя чинно, благопристойно...

Толпа на минуту сгрудилась около памятника жены купеческого сына Пелагеи Козловой, образовала живой, качающийся затор, на мгновение смолкла. С веселым удивлением сотни глаз глядели на Мамалыгу, одной рукой обнимавшего серую колонну, другой, сжатой в кулак, махавшего над головой надзирателя Десницына.

— Вместо того чтобы благоговейно помолиться о грешной душе усопшего, неразумно наложившего на себя руку, попросить Господа, чтобы в безмерном своем милосердии он простил его тяжкий грех...

— Неопалимая купина!.. — раздался звонкий голос.

И стоявшая впереди других девочка с большими серыми глазами и милыми губками — верхняя слегка торчала над нижней, — в вязаной белой шапочке, с голубыми бантами в белокурых волосах, весело фыркнула и закрылась плюшевой муфтой. Это было неожиданно и обидно, — Мамалыга так ласково взглядывал на нее, вспоминая о своей дочке... Ему казалось, что в ее ясных глазах он видел такое внимание; — и вот... смех залихватский и беспощадный...

Он смолк, смущенный, — нить мыслей оборвалась... Но сейчас же, сделав над собой усилие, он оправился и вспыхнул прежним обличительным пылом.

— Товарищи!.. — с язвительной усмешкой закричал он. — Я желал бы знать, есть ли хоть что-нибудь в душах ваших чтимое, святое, неприкосновенное для глумления и заплевывания и зубоскальства?.. Я с ужасом вижу в последние годы, что мы катимся в пропасть, что за душой у вас ничего нет... Один пошлый, скверный нигилизм и — больше ничего...

— Неопалимая купина! — раздались опять веселые, приятельские голоса.

— Долой купину! — взмыл звонкий голос. И тотчас взвился над головами дружный свист, рассыпалось веселое улюлюканье.

— Господа учащиеся! — напягая голос, кричал Мамалыга. — Вашим поведением, вашим бесчинством вы сами себе выносите приговор!..

— Купина!..

Волна голов уже катилась дальше, сменяясь новой. А шарообразный Миловидов с толстыми рыжими усами с подусниками и сизым носом, пробираясь к оратору, кричал:

— Господин Мамалыга! прекратите, будьте любезны!.. Я не позволю!.. Вам-то уж совсем неприлично споспосовствовать беспорядкам!..

— Вы сначала вникните! — сердито закричал на него Мамалыга, который, по близости своей к вице-губернатору, председательствовавшему в «Обществе добровольной народной охраны», держался с полицией независимо.

Но и Миловидов был, очевидно, вооружен самыми широкими полномочиями на случай беспорядков, потому что отринул всякую деликатность и свирепо закричал:

— Я вас прошу со мной не пререкаться!.. Пожалуйте!.. Я вас не могу здесь оставить!.. Вы должны понимать... А то силой попрошу!..

— Если бы вы хоть немного были грамотны...

— Пожалуйста! Я не меньше вашего учился!.. Не желаете добровольно?.. Сидоров! попроси...

Широкоплечий, с короткой шеей Сидоров подался к Мамалыге и сказал сильным голосом:

— Пожалуйте, вашескродье! Помимо себя, прощу вас...

Мамалыга строго оглянулся. Скуластое, малиновое лицо Сидорова было твердо, как кирпич, и не допускало сомнений. Он вежливо взял Егора Егорыча за рукав и стянул с памятника жены купеческого сына Пелагеи Козловой, среди улюлюканья, смеха и свиста толпы. И так под руку пошли они оба в самом центре шумного потока к выходу. Их обгоняли, толкали, заглядывали в лица, осыпали пестрыми голосами, остротами, смехом. Мамалыга, оглядываясь, встречал иногда прекрасные, молодые девичьи глаза, и дрожал в них смех, порой горела юная, не знающая пощады ненависть... И колющими иглами кружились вокруг него едкие словечки, обидные восклицания, от которых кровь бросалась в лицо.

— Трогательный союз: педагог Мамалыга под руку с городовым Сидоровым!..

— Двойственный альянс!..

— Зачем явился? шпионить?..

— Плюнь ему в рожу!..

Когда выбрались наконец на простор, на площадку перед кладбищенской церковью, и Сидоров выпустил рукав Мамалыги из своей загребистой лапы, Егор Егорыч бросился в открытую церковную дверь, чтобы укрыться от сыпучего града этих враждебных, колких восклицаний.

— Прохвост! — звонко раздалось ему в спину.

В церкви было пусто и сумрачно, пахло ладаном, воском и деревянным маслом. За свечным ящиком плешивый старик с белой — клином — бородкой, в длинном полом сюртуке, пересчитывал деньги, звякая медными монетами. Рядом стоял, опустив взлохмаченную голову, мрачный черный человек в длинном, закапанном воском мундире с белыми пуговицами и красными кантами.

Мамалыга отошел в полутемный угол у правого клироса и вперил взор в лики святых, бесстрастно и недвижно смотревшие в гулкую пустоту и умиротворяющий сумрак храма. Никогда он, казалось ему, не испытывал такой горькой полноты несчастья и заброшенности, такой жгучести незаслуженных обид и глубокой печали... И никогда не чувствовал себя в большем праве возроптать на Бога, которого он чтил, которому все-

гда исправно и усердно молился о ниспослании успеха в делах своих, об избавлении от бед и напастей, об одолении врагов своих... И Бог покинул его... Вот, безоружный, он стоит перед врагами своими, и ядовитые стрелы их издевательств и ненависти огнем жгут его, ничем не защищенного...

— Доколе же, Господи, доколе? — прижимая к груди руки, страстно шептал он, потрясая головой. — Доколе буду пить глумление, как воду?

Он опустил на колени и заплакал скрупулезными слезами.

— Предаюсь печали моей... жалуюсь Тебе в стеснении духа моего... — говорил он Богу горькими словами Писания, которые часто приходили ему на память. — Дни мои прошли... думы мои — достояние сердца моего — разбиты...

Мрачный человек в мундире, закапанном воском, подошел к нему и, дыша ему в ухо запахом пива, сказал ласково-рычащим голосом:

— Господин... церкву сейчас закрывать будем... пожалуйте!..

Мамалыга не оглянулся на него. Стукнув себя ладонью в грудь, он проговорил вслух, тихо и горестно:

— Доколе же, Господи?.. Ни мира, ни покоя душе моей, ни отрады... Так и умру с душой огорченной, не вкусив добра?..

Мрачный человек в мундире покачал головой и, отходя, проговорил рычащей, снисходительной октавой:

— Выпимши, как видать...

Четверо

В снежную декабрьскую ночь, на Ольтинской дороге, обоз 789-й дружины сбился с указанного ему направления и наткнулся на расположение турецкой части.

Сперва приняли друг друга за своих. Оказалось — чужие. Кто-то, закутанный порошей и кизячным дымом, от ближайшего костра окликнул по-турецки. С переднего нашего фургона обозный солдат из армян отзывался — тоже по-турецки. И прошло несколько минут оцепенелого недоумения.

Потом раздался выстрел. И поднялась суматоха. Наши конвойные не все были на месте: уставши за день, некоторые солдатики забрались на фургоны и дремали. Но успели собраться и броситься раньше, чем турки опомнились среди гама, лома, треска и скачки испуганных лошадей.

Уласенков Семен, конвойный, сидел в голове обоза — на втором возу. Одним из первых он кинулся вперед на голос фельдфебеля. Кто-то лохматый и темный, пригнутый страхом к земле, бросился от него — чуть не из-под ног.

— Господи Иисусе Христе... — мысленно прошептал Уласенков и ткнул. Лохматый присел, как малец на кулачках, когда сила не берет и убежать некуда. Семен перепрыгнул через дышло турецкой арбы — и тут же его словно горстью гороха опрыснуло, — показалось ему, — в переносицу. Боли сгоряча не почувствовал, но в голове зазвенело. Чтобы не упасть, лег локтями и грудью на арбу.

Постоял, отдышался. Залпы отодвинулись, но все казалось, что ущелье и впереди и позади гремит и грохочет. Уласенков сперва шагом пошел, потом побежал рысью — вперед. У переносицы и над бровью заняла боль, а кровь текла, как будто, из носа.

Турецкий обоз — весь, какой тут был, — достался нам. Взяли двенадцать человек пленных — почти все армяне, — да убитых оказалось около двух десятков. Утром, когда оттаскивали их с дороги, Уласенков признал своего крестника — приземистого немолодого турка в чулках и лохматой папахе из старой, пожелтевшей овчины.

Фельдшер Киселев, сытый и важный человек, не терявший тела даже в походной обстановке, осмотрел Семенову рану на лбу и сказал:

— Левая соболя бровь... Пустяки! Скорей всего камешек какой-нибудь... рикошетом..

Помазал йодом и обмотал лоб бинтом.

— А у меня, как чутно, еще рана должна быть, — сказал Семен, когда фельдшер надорвал и завязал бинт, — гляньте, Алексей Петрович, правую штанину, — мокрая? И в голенищу натекло, чувствую...

Фельдшер отвернул полу, поглядел, пощупал ногу.

— Да, кровь. А ну, скидай... спусти-ка... вот так...

Прощупал пальцами, нашел входное отверстие. По-
моял. Выходного не нашел.

— Должно, свинцовая, старого образца,— пробормо-
тал фельдшер и слегка подавил под коленом.

— Больно?

— Препятствия не чувствую,— ответил Семен, не
ощущая особой боли.

— Ну и сподобил же тебя Господь! — с легкой иро-
нией сказал фельдшер, окинув взглядом могучую фи-
гуру Уласенкова.

Семен застыдился.

— Что же, костей лишь много, а мясом-то не разго-
веешься... Жилы да кости... да кожа... самое рабочее
естество...

По привычке он ждал, что Киселев, назовет его тем
шутливым, но ненавистным прозвищем, которым драз-
нили Уласенкова в роте. На смотре в Дербенте, в ав-
густе, бригадный генерал, обходя их дружину, назна-
ченную к отправке, остановился против правофланго-
вого — Семена Уласенкова,— посмотрел, пощупал его
грудь, ласково пошлепал по ней ладонью и сказал с
гордым восхищением:

— Монумент!

Это генеральское слово солдаты переделали в «ма-
намент» и вложили в него какой-то особый, свой, сол-
датский смысл,— очевидно, очень смешной и для Се-
мена обидный, потому что не было человека в дружи-
не, который бы не хрипел и не задыхался от смеха,
когда Семена кликали «манаментом». Может быть, он
и впрямь был смешон, когда застыл перед генералом в
напряженной позе фронтовика, большой, с бурым тол-
стогубым лицом, заросшим белой щетиной по подбород-
ку. Но ведь и другие, рядом с ним стоявшие, были не
писанные красавцы;— почему ж бы над одним сме-
яться? Но потешались только над ним, и порой он зве-
рел и гонялся за зубоскалами.

Фельдшер еще раз прошел пальцами по ноге, на-
хмурил брови, сжал губы с видом человека, напряжен-
но соображающего, и носом пустил долгое сопение.
Уласенков заробел и стал надевать штанину.

— Д-да... это, брат, в Мерденек надо, пожалуй, в
лазарет. А может, и подальше. Раскудрявилась, вынуть
не просто, поносишь. Пожалуй, к весеннему севу и
домой, может, попадешь...

— Ей-Богу?! — воскликнул Уласенков.

— Очень просто. Командир придет — доложим...
Раскудрявилась же, я ее слышу...

Уласенков с умилением, надевая сапог, повторил:

— Раскудрявилась...

И уже мысленно добавил:

— Слава тебе, Господи... Умолил Бога милый мой Яша... Авось теперь увидимся...

Под раненых дали два фургона. На них приказано было усадить не меньше как по восьми человек. Уласенкова сперва посадили, а потом велели слезть — много места занимал. Приказали дожидаться двуколок, когда придут. Он огорчился и заявил, что и пешком готов идти, лишь бы не держали. Держать не стали. И едва дождался он обеда, — так подмывало поскорей отправиться в путь...

Подробно расспросил молоканина Ивана Горина про дорогу, чтобы не сбиться в сторону. Дорога нехитрая: валяй прямо по шоссе вот на этот перевал и кроме никуда не попадешь, как в Мерденек. А дальше пойдет Демур-Капа, а за ней Родионовка. В Родионовке Горин просил зайти к его тестю, Ивану Назарычу, и передать, что жив, мол, и здоров Иван Горин. И дал Семену кусок соленого свиного сала и пшепа — для дороги вещь нужная: взгрустнется — сварил в котелке и поел, на животе потеплей станет и ноги повеселеют. Чаю на две заварки Семен выпросил у фельдшера Алексея Петровича, а в турецкой арбе, помогая снимать чувалы с ячменем, наткнулся на лаваш, свернутый в трубку. Позвал и его в вещевого мешок — дело доброе. А когда артельщик дал ему немного сухарей, то он хоть слабо, но попробовал отказаться:

— Это уж сверх комплекту...

— Бери, бери! — с ласковой грубостью сказал артельщик и не без зависти прибавил: — Пофортунило же тебе, раскоряка чертова, манамент!..

Рана немного горела. Но когда пошел, разошелся — боли никак не стало слышно, лишь бинт как будто ослаб, и это беспокоило. Шел легко, бодро, радостно. И все казалось ему, что вот-вот, как подымется на белую гору впереди, увидит — не Мерденек, а Расшиватку, и навстречу ему первым верней всего попадетсЯ Василек с сумкой через плечо — будет сейчас из школы идти и собак дразнить, — а там и Дуняха с Яшей

в поле — одеть не успеет — и Настютка. Афанасий, пожалуй, увидит — придет...

Но за белой горой выступала еще гора — тоже белая, повыше, — да и не одна: за ней еще что-то, похожее на далекие облака, — верпо, тоже горы. И Семел шагал да шагал, все так же легко, споро, молодо, порой печатал шаг, как в церемониальном марше. Простояв, наваливался лишь изредка — сигарку закурить.

Внизу беззвучно и ровно струилась молочная сеть тихой метели, белый пух устилал следы на дороге, белая кисея висела над горами и ложбиной. Около часу провожал Семел гомон голосов снизу, от селения Косоры, пестрая зыбь криков, шорох движения. Было что-то праздничное, веселое в этом оживлении среди немых снегов, похожее с горы на сельскую ярмарку смутным гулом, табором телег и крошечными дымками.

Выше — реже таяли снежинки на лице и за шеей, а через час метель осталась позади, внизу. Засияло голубое холодное небо. Серебром и золотом, словно ризы праздничные, засверкали снега в лучах невысокого солнца. Тонкий ветерок потянул навстречу, стало холодней. Желтая нитка дороги четко видна была по скатам далекой горы, упиравшейся белой шапкой в ровную синь неба.

На перевале встретился обоз двуколок с патрешными ящиками, два фургона с мешками и тюками, на которых сидели санитары. Когда вошел в ущелье и остались позади сверкающие снега, а на смену им легли кругом синие холодные тени, — никто уже не встречался, один шел, охваченный торжественным пустынным безмолвием. Но мысли были легкие и светлые, волнующие мысли о родном уголке.

Шоссе было прижато к отвесной каменной стене, рябой, морщинистой, как выростковая юфть. Справа, внизу, бурлила подо льдом горная речонка, а за ней — опять отвесные горы, скалы и каменные глыбы, разорванные темными щелями. Ничего хорошего, жуть одна. Лишь на редких золотистых пятнах, выхваченных вечерним солнцем на гребнях ущелья, отдыхал глаз Семел.

Перед закатом солнца нагнал солдатика 9-го стрелкового полка. Обрадовался, издали еще крикнул:

— Товарищ! эй! погоди-ка, милый!..

Солдатик шагал, как спутанная лошадь, частыми, мелкими, неспорыми шажками, весь подавшись вперед корпусом. Услышав голос, быстро повернулся, словно испугался. Остановился, лег локтем на винтовку, и была глубокая усталость в его склоненной к ружью невзрачной фигурке с узкой спиной, напоминавшей обломок старого обруча.

Семен Уласенков, подходя, высоко, по-приятельски поднял руку и весело закричал:

— Притомился, друг? Доброго здоровьица!

— Здравствуйте,— сказал стрелок. Он еще не отдышался. Внимательным, неморгающим взглядом смотрел на Уласенкова, и было в сосредоточенной серьезности его запавших черных глаз жалкое выражение застарелой боли и привычного страдания.

— Ай захворал? — спросил Семен.

— Одуше... Грудь в мене легка для такой службы...

Дыхание у него было шумное и трудное, и Семену казалось, что дышал он не грудью, а спиной.

— Ну, грудь — вопрос десятого сорта, а вот до чего дожить — свои ноги мешают... Отморозил. Ротный проводил: что ж, Перес, отправляйся себе куда-нибудь в тепленькое место, нам ты не годишься... С утра пошел, вот иду... съехать — не сажают, без меня много...

Уласенков сочувственно покрутил головой и, отвернувшись в сторону, высморгался пальцами.

— Да, брат,— сказал он, нагнувшись и вытирая нос полою шинели,— плохая война, коли шинель озябнет, сапоги озябнут, нос закалянеет...

Прибавил крепкое словцо и рассмеялся.

— Главное, руки не владеют...

— А ви ранены? — спросил Перес.

— Ранен.

— Тоже барыш с накладом. В голову?

— В левую соболью бровь! — гордо усмехнулся Семен.— Но это не суть важно, на живом все зарастет. А самая любезная сейчас моя рана — пониже этого места, откуда ноги растут... Пуля вошла, понимаешь, и по кости спустилась под коленку, а выйти не могла: раскудрявилась...

Опять засмеялся Семен, довольный и счастливый.

— Теперь я — вроде как заряжен, могу, брат, из коленки стрельнуть...

Перес без улыбки слушал, стоял, сутулый и угнетенный, смотрел, не моргая. Из-под серой шапки испуганно торчали у него большие уши, а черная подстриженная борода, как сажа, была щедро размазана по обожженному морозом коричневому лицу, резко начинаясь под самыми скулами. Семен смотрел на него сверху вниз — весело, ласково, с снисходительным вниманием.

— Тебя как звать-то?

— Арон... Арон Перес.

— А меня — Семен. Ты — Арон, а я — Семен, два сапога — пара. Ну, давай, стало быть, идтить, Арон. Двоим все — не как одному: повеселей, поспособней...

— Можно идтить, если угодно. Однако плохой я вам буду товарищ, Семен: носить мне себя нелегко, ей-Богу, знаете... А как вы себе думаете: не заночуем-таки мы ныне на свежем воздухе?

— Не-е! — уверенно сказал Семен, — должно быть тут селение, верный человек сказывал. А почевать — куда? — мороз...

Спустились сумерки — быстро и незаметно. Сперва тонким румянцем загорелись спега на гребне каменной стены слева и вершинки сосеп впереди, за речкой. Розовые отблески через боковые щели упали кое-где на скалы, на зелено-серый и желтый камень морщинистой стены, и в них, над бурливой речкой, тонкой кисеей повисло прозрачное кружево пара, нежно-бирюзовое в тени и золотое, как первый пух весенней зелени, в свете. И повеселело вдруг ущелье, стало похоже морщинистыми стенами и обошиплым камнем своим на старый храм, уединенный, хранящий седые тайны в вековом безмолвии своем и гигантских загадочных письмен. И как в родной расшиватской перковке, показался Семену голубой дым кадильный вверх, пронизанный светом тихим, светом вечерним умирающего деревенского дня. Дикая красота, чуждая его душе, доселе пугавшая лишь его, теперь вдруг подошла близко к сердцу, шепнула ласковое и родное...

— Ну и места тут крутые... скела! — сказал он, — одному — жуть идтить...

Арону Пересу на ходу было трудно говорить — задышался. И остановиться нельзя — совестно задерживать спутника, который ради него и без того умарял

шаг: Перес лотошил познобленными ногами, но ничего не выходило, отставал.

— Хорошего — мало: идешь — там лошадь дохлая, тут арба сломанная... Давеча спустился к речке — напиться, а из снега рука высунулась...

— Тут побитых есть... До весны, видно, останутся...

— Эх-хе-хех! — вздохнул Арон Перес и остановился перевести дух.

Погасли розовые отблески на гребне стены, бирюзовый дым позеленел, побледнел. Холодно стало. Чуть вздыхал порой ветерок и тонким-тонким, хрупким стеклом мороза царапал лицо. Сумеречное безмолвие ущелья опять стало чужим и жутким. Смутно докатились глухие звуки, точно где-то далеко-далеко оборвалось и упало что-то тяжелое и расшиблось. Смолкли. И снова заворчал, оборвалось и раскатилось.

— А ведь это стреляют, — сказал Семен, прислушиваясь, — а я давеча думал — котелок, мол, погромыхи-вает. Ан пальба далеко!.. У Ардагана, должно?..

— Ваша правда: стреляют, — сказал и Арон Перес, прислушавшись и задержав свое шумное дыхание.

В тихих сумерках, среди векового, мудрого молчания гор, эти далекие звуки людской вражды кровавой казались такими непостижимо ненужными, невероятными, нарушающими торжественную немую красоту и величавую гармонию мира Божьего, что Арон Перес судорожно вздохнул, покачал головой и горьким голосом неутешного Иеремии сказал:

— В прошлом году был всемирный процесс Бейлиса, теперь — всемирная война...

— Всемирная! — качнув головой, согласился Семен Уласенков и достал кисет с табаком. — Весь мир под гребло вымели, в деревнях, почитай, одни старичишки да бабы остались.

Он скрутил «собачью ножку» и передал кисет Арону Пересу. Арон сделал папиросу, хотя табак в ней плохо держался.

— Из торговых, видать? — спросил Семен, закуривая.

— Так точно. Прикащик.

— Откель?

— С Кутаиса.

— А по какой части?

— Что вгодно, специалист на всякий род коммерции... Я сразу от шести магазинов развиваю дело: стою в пассаже, приглашаю покупателей. Кому чего вгодно, пожалуйста: пальто? брукки? дамский приклад? ботинки? — пожалуйста: вот Финкельман — готовые платья, вот Мухарадзе — коньяк, вина, вот Файвишевич — «Взаимная польза». Кому чего вгодно. *Живая реклама* называюсь. Потому что у меня память — замечательная и глаз — без ошибки. Я сразу, как человека увидел, могу ценить, з какого места он приехал: з Ростова, з Варшавы или из Москвы, — будьте покойны. И любого господина, если мне посмотреть визитную карточку, я через десять лет вспомню имя-отчество... Ни за что не забуду — как самого себя, Арона Абрамовича Переса... Память — вне конкуренции!..

Арон Перес оживился. Он как будто вырос даже немножко и выпрямился, молодцевато отставив ногу в рыжем сапоге. Семен, пуская дымок выше его головы, посмотрел искоса на его шуплую фигурку, измятую шинелишку и облезшие докрасна сапоги. И не поверил, решил, что хвастает. Но вслух сомнения не высказал, а, заражаясь потребностью невинного хвастовства, на минутку поднимающего человека в собственных глазах, сказал:

— Во мне самом делов тоже, брат, немало: на счетах я горазд, хочь до тысячи наложу и скошу, никак не ошибусь. Какой угодно клин смекну, что твой арихметчик. И все это сам из себя, один домогся: учился-то ведь за меру картошки у плотника Семь Яклича. Вот человек был: не дюже писуч, а начетчик — таких по редкости!..

Докурили, постояли. Совсем стемнело, побелел туман над ущельем, звезды загорелись в небе.

— Пойдем, парень, а то свежо стало, — сказал Семен, — давече в гору шел, хотел мундир продавать — до того угрелся. А сейчас вот хочь бы тулуп волчий согласен надеть...

Пошли. По-прежнему торопливо сучил ногами, наклонившись вперед, Арон Перес, шумно и трудно дышал, не поспевал за своим спутником. Большой, тяжелый с виду Семен Уласенков в движении был свободен, легок, даже грациозен, как хорошо выкормленный верховой конь: ни усилия, ни напряжения, ни намек на возможность утомления. Речка направо, вниз, то бур-

ливо шумела, то смолкала. И тогда в сумеречном безмолвии ущелья сквозь хруст шагов, как звук далекой пилы, слышалось усиленное сопение Арона. Порой чудилось далекое грузное ворчание и замирающий гул,— и после него настороженный слух ловил лишь безбрежный звон в ушах, тонкий-тонкий и нежный, как слитный звон летнего дня, знойного, бездумного, дремотно-ленивого.

Задыхался и отставал Арон Перес. Участливо оглядываясь на него, Семен Уласенков как будто немножко стыдился, что он так здоров и счастлив, пробовал сказать товарищу что-нибудь утешительное и бодрое. И голос его — мягкий и тихий, не по его росту — звучал ласково, словно он с ребенком разговаривал.

— От поморозу я тебе скажу, парень, средство — лучше нет: квасовой гущей. Дело пробованое! Знаешь — квас? У вас делают житный квас?

— Почему не делать, ежели есть материал? Не из чего, материалу такого не имеется, — задыхаясь, мрачно отвечал Арон.

— Плохо же вы тут живете, коль п жита нет. Какая же это жизнь без квасу, — ты подумай!.. А про гущу заметь, потому что это дело пробованое. Ездили мы в степь за соломой, стало быть, — у нас ведь хлеб на загоне молотят и солому там кладут, а зимой домой возят. Ну, поехали. Годов мне было семнадцать тогда ай восемнадцать, не женатый еще был. Поехал в холодных сапогах, тепло показалось, да оно и было тепло, уж к вечеру кура поднялась со всего белого свету. Поднялась, братец мой, кура, ну подняла-ась... никак дороги не видать во-о, в двух шагах. Бились-бились, кружились-кружились, скотина стала, не везет, сами по пояс мокрые. Ну, давайте ночевать, мол, а то кабы в барак какой не сорваться, до весны не вылезем. Ночевали. Ночью метель перестала, вызвездило, да такой морозяка вдарил... невпроти мочи — мороз. Тут-то вот, брат, пока добились до хаты, я и застыл. Надо бы идтить, понимаешь, а мне идтить нельзя, сапоги тесны, от морозу повело их — смерть не наступишь на ногу. Сел на воз, а приехали домой — не слезу: ног по самы́е колени не чую, отморозил форменно. Пришел дедушка Афанасий Матвеевич, старенький старичок, глухой. «Вы, говорит, его в хату не водите, а то загубите. Вод-

ки, говорит, ему дайте да кадушку гущи принесите, пущай в гуще ноги у него отойдут. А в хате они, говорит, с пару сойдутся, без ног останется...»

Семен снял шапку и покрестился.

— Царство небесное, старичок был из себя невидный, ледащей тебя, пожалуй, а умственный старичок: слово, бывало, скажет — как врежет. Принесли, зпачит, мне гущи кадушку, я ноги — в нее... по самые колени! Что ж ты, брат, думаешь? Ледяшки пошли по гуще, ледяшками из ног мороз вышел! Тем и спасся... Ну, похворал недели две, правда, а с ногами остался... Так-то вот, милый Арон Абрамыч! заметь!..

— Благодарю, — печально отвечал Перес, — только, может, вы уж будете так добры, покажете, где гущу вашу взять?

— То-то вот... — вздохнул Семен, — живете вы тут не людьми... А в нашей стороне — в любом дворе гущи хочь залейся.

— Что ж, это очень приятно послушать, — не улыбаясь, грустно проговорил Арон Перес.

Из-за гребня в водянистой синеве неба выглянул месяц — еще не полный, молодой. Тонкой кисеей из голубого серебра висел под ним туман — впереди, а когда Уласенков и Перес приближались к нему, он отодвигался дальше и из него медленно выступали седые силуэты скал и острая частая чешуя стены. Порой кто-то как будто маячил на грани черных теней и белых пятен снега. Казалось, вот-вот догонят кого-то, придут к какому-нибудь приюту. Но шли и шли, а никого и ничего не было видно. Все те же гигантские стены тянулись, высывались седые камни из прозрачного серебра ночной мглы, а сверху глядел месяц и редкие звезды возле него.

На одном повороте Семен Уласенков вдруг сделал стойку, как охотничья собака. С готовностью остановился и Арон Перес, потому что совсем выбивался из сил.

— Есть! — многозначительно сказал Уласенков, — видишь, Абрамыч?

— Так точно! — уверенно отвечал Перес, хотя, всматриваясь вперед и ожидая огней селения, видел только привычные мглисто-черные контуры, которые и рабыше не раз обманывали ожидание.

— Вроде как стан, а людей не слышать, — сказал Уласенков.

Они ускорили шаги. Поперек дороги вырастал силуэт какого-то неуклюжего экипажа. Ближе — стало ясно: брошенная арба.

— Лом... — разочарованным голосом сказал Уласенков.

И вдруг оба разом — как по команде — остановились и замерли: от арбы донеслось невнятное, обрывающееся завывание, такое странное, невероятное и жуткое в эту позднюю пору в этом пустынном месте, в зыбкой морозной мгле ущелья, в колдовском переплете черных теней и зеленого лунного света. Потерянная, выбившаяся из сил собачонка так скулит на перекрестке дорог: тихо, жалобно, устало и горько...

Уласенков вопросительно поглядел на Арона Переса.

— Дите, ку-быть?

— Очень может быть, — прошептал Арон.

Осторожно подошли они к арбе. Уласенков, понатужившись, кашлянул коротко и зычно, эхо отозвалось в соснах за речкой, а из-под арбы, с другой стороны, от заднего колеса, бросился прочь — вперед по дороге — небольшой темный комок и испуганно завопил детским надорванным голосом.

— Постой, чадушка! погоди... чего ты, глупыш, мы не тронем! — закричал Семен. Ребенок остановился в нескольких шагах, но кричать не перестал.

Они обошли арбу. У правого заднего колеса ничком лежал человек в башлыке и старой солдатской шинели без хлястика, в вязаных джюрапках на ногах. На башлыке справа темнело большое намерзшее пятно, на дороге застыла такая же темная лужица — кровь.

— А ведь убитый, — сказал Семен Уласенков, нагибаясь к лежащему, — армян ли... кто ли... убили... Вот нехристи, сукины дети, ухлопали!..

— Ах-вах-вах-вах-вах!.. — тихо простонал Арон Перес.

— Прямо — креста нет на людях, ей-Богу! Чем кому мешал человек? Небось, на бычишков позавидовали — арба воловая, с ярмом. Бычишков угнали. И бабу, пожалуй, увели?

— Надо-таки так думать, — качая головой, прошептал Перес.

— Вещь понятная: заведут куда-нибудь, попользуются и ухайдакают... И гунышко, какое было, все за-

брали: в арбе ничего, сенишко лишь осталось, и все... Ну и нехристи! Прямо — нехристи, сукины дети! — с негодованием бестолково твердил Семен Уласенков.

Мальчик стоял на прежнем месте и выл обрывающимся голосом горько и отчаянно. Семен оглянулся на него, передвинул шапку с правого уха на левое.

— И Господь терпит таким злодеям! — с жалобным упреком воскликнул он, — хочь бы на дитя оглянулся... Чего же вот он теперь? Безо всякого предела остался, замерзнет, как щенок...

— Ах-вах-вах-вах-вах... — подавленно простонал Арон Перес.

Постояли с минутку молча. Плач ребенка не унимался, но стал тише. Тише и еще жалобней, — в самом деле, брошенный щенок так горько должен быть, дрожа и вибрируя: ву-ву-ву-ву-ву...

Обошел опять арбу Семен Уласенков, окинул хозяйственным глазом, пошатал ее без видимой надобности, по-мужицки испытывая, гожая ли вещь. Не отрываясь от исследования, спросил:

— Ну что будем делать, Арон, а?

— Не могу знать, — отвечал Перес унылым, зябким голосом. Засунув руки в рукава, весь сжавшись и съежившись, он тоже походил на бесприютную дворнягу, обреченную пинкам и невзгодам, но выработавшую в себе опытом замкнутое равнодушие к ударам судьбы.

— Главное, обнищал ты ногами, Абрамыч, а тут парнишка. Не бросать же его, Господь нам не попустит... Щенят когда выбрасываешь — и то до чего жалко, аж рубаха трусится... А тут — человечья душа...

— Совершенно это верно вы говорите, — уныло согласился Арон Перес, — а селение — вы думаете — не близко еще?

— Да такую штуку вряд ли близу селения сделают, — Уласенков шевельнул головой на труп, — а он, покойничек, тоже селения домогался, как видать... Что будем делать, придумывай, а? Ты человек торговый, смекалистый...

— Это ж не торговая совсем часть, — уныло возразил Арон Перес. Подумал и прибавил: — Будем себе шагать помаленьку дальше. А упадем, — если так Богу угодно, — будем замерзать...

— А мальчонка? Может, это и девчушка... Ку-быть, платок?..

— И мальчонка замерзнет. По коммерции это выражается, если хотите знать: Арон Перес и компания,— уныло пошутил Перес.

— А я думаю так, Абрамыч,— помолчав, сказал Уласенков,— заночуем-ка мы тут, во что Бог не хлыснет... Дрова у нас — во... видишь? — пошатал Уласенков арбу,— вещь, брат, все равно пропащая... кому ее? Мальчонку мы в шинель завернем, в отцовскую. И за милую душу до утра перебьемся округ огонька...

Арон вынул руки из рукавов, поглядел на товарища, как бы напряженно взвешивая предлагаемый план, и воскликнул:

— А если правду говорить, это не дурно-таки вы придумали... Около огня сидеть можно. И полежать-таки немножечко можно...

— То-то...

Семен обернулся к ребенку. Он продолжал однообразно подвывать и, должно быть, дрожал от холода и страха. Мягким голосом, в котором ласка и нежность зазвучали неожиданно выразительно, Семен заговорил:

— Поди сюды, чадушка, поди, болезный! поди, мы не тронем, не бойсь!

— Ву-ву-ву-ву... — монотонно продолжал плакать маленький живой комочек у отвесной каменной стены. А когда увидел, что большой человек отделился от арбы и направляется к нему, пустился бежать по дороге с криком животного страха и отчаяния. Эхо отдалось в соснах за речкой. Большой человек хлопнул руками о полы и побег вслед маленькому. Маленький упал, стал брыкаться ногами и завизжал дико и отчаянно, словно его резали. Большой, нагнувшись, взял его на руки и уговаривал ласковым голосом:

— Чего ты, дурачок! Говорю: не тронем. Ну, чего испужался! Батяшку злодеи устукали, а мы не тронем... Ах, злодеи они, злодеи... Ну буде, буде, чадушка, утотись, сыноч, ничего... все Господь...

— В платке, а мальчонка, видать: штанишки надеты,— сказал Уласенков, подходя к арбе с своим маленьким пленником,— ну, буде, родимый... мы сахарку дадим, не плачь, сыночек...

Голос ли теплый и ласковый подействовал, или серая шинель, напомнившая близкое — родную грудь, или усталость, или перейденная грань отчаяния и страха не принесла ничего ужасного. но мальчик стал стихать.

Маленькое тельце его содрогалось в руках у Семена, рыдания хлебали воздух, но звуки их были глуше и тише. Он бессильно уткнулся мокрым лицом в плечо большому человеку, державшему его на руках. Из-под старого шерстяного платка, которым был повязан этот маленький человек — на вид лет шести-семи, — торчали спутанные кудри. На нем была старенькая ватная кофта и две рубахи, — верхняя разорвана на животе. Голая коленка высовывалась в продранные штанишки. На ногах надеты были такие же вязаные туфли, как у убитого.

— Ну, вот видишь, — говорил у него над ухом ласковый голос большого человека, — а ты кричал, чудачок! Говорю: не тронем. Тебя как звать: Ваню? Васю?

Арон Перес, знавший хорошо по-грузински и немного по-армянски, заговорил с ним на обоих языках поочередно — об имени, об отце, о матери. Но мальчик не отрывал личика от плеча большого человека, и тельце его продолжало трепыхаться от рыданий. Арон достал из кармана кусок сахара и попробовал всунуть его в сжатый темный кулачок. Но детская рука сердито отбросила гостинец, и Арон, нагнувшись, долго шарил рукою в грязном снегу дороги, чтобы разыскать дорогой кусочек.

— Сымай, Арон, шинель с этого, — сказал Уласенков, — завернем героя-то, а то он дрожит.

Перес нерешительно кашлянул, поставил ружье к арбе, нагнулся к убитому, но сейчас опять выпрямился. Сказал виноватым голосом:

— Извиняйте меня, Семен, я боюсь покойников...

Семен посадил мальчика на арбу, положил винтовку с ним рядом и вещевой мешок и не торопясь, спокойно, обстоятельно осмотрел труп, потом снял с него шинель. Закутав в нее мальчика, он повернул арбу за дышло, которое называл воём, и повез вперед по дороге. Арон Перес в виде конвоя пошел сзади. Шагов через сотню Семен остановился. Ущелье слегка как будто раздалось в стороны, стало светлей, а гору слева рассекал короткий буерак.

— Затихек есть, тут и поночуем, — сказал Семен.

Прежде всего собрали сено, лежавшее в арбе, и сложили в кучку между камнями. Пересадили на кучку мальчика, закутанного в шинель, — он уже перестал рыдать, стих, но все прятал личико в шинель от чу-

жих людей. Семен вынул плетенку из хвороста, лежавшую на дне арбы, под сеном.

— Это у нас подмижки будут, Арон, понял?

— Так точно.

Потом камнем вышиб наклески и ребра из боков арбы, стал на дышло, подпрыгнул, давнул, издав звук «гек!», — дышло охнуло и переломилось.

— Недаром в человеке семь пудов с гаком, — засмеялся Семен.

— Таки можно думать: есть в вас здоровьице, Семен, дал вам Бог... — не без зависти вздохнул Арон Перес.

— Ну, вот тебе и дрова, запаливай!..

Огонек фурчал и мягко потрескивал, дрожал и метался беспокойными сине-червоными язычками по сторонам, пригибаясь и вытягиваясь. Теплый, живой свет трепетал на каменной чешуе горы, темной, желтой, зелено-серой; перебрасывался через дорогу, выхватывал колесо арбы, седой камень над спуском к речке. Ночь потемнела за его зыбкой чертой, но месяц глядел приветливо и ясно, а под ним быстро плыл за гребень горы тонкий белый пух разорванного облачка. Семен ломал на колене сухие колышки — ребра арбы — и похозяйственному складывал их в кучку. Арон Перес задумчиво глядел на огонек, свесив с колен усталым жестом худые, темные руки. Глядел на огонь и мальчик, завернутый в шинель. Он сидел на кучке сена, и из шинели торчала одна голова в красном клетчатом платке. Хорошенькое смугло-коричневое личико было в следах слез, черные-черные глазки с большими ресницами были застланы недетской, тяжелой и горькой думой...

— Накормлю я вас, братцы, кашей жидкой... польско́й, в поле у нас ее ворют, — сказал весело Семен, окончив заготовку дров, — ишено есть, сало есть...

— З свиньи? — осторожно спросил Арон Перес.

— Ну да, свиное. Соленое сало, кусковое, словом сказать. Добрая вещь, сытная, кто толк понимает. Не уважаешь, может, как ты человек городской, торговый?

— Э, нет! Почему ж бы не вважать? На войне закоп молчит, все идет, всякая вещь... У меня тоже, если хочете, коробочка консервы есть.

— Концерву побереги, утром годится. А зараз кулешом побалуемся, горяченьким... Чайку скипятим... Берика котелки, мотайся за водой!

Семен достал из вещевого мешка сумочку с пшеном и кусок сала, завернутый в портянку. Вынул лапаш, оглядел его внимательно, понюхал, обдул. Потом отломил кусок и протянул мальчику. Мальчик подозрительно покосился на большого человека черным глазом, большой человек подмигнул и улыбнулся. Прошло несколько мгновений колебания, потом маленькая темная детская ручка робко высунулась из-под шинели и взяла кусок. Арон засмеялся, взял котелки и пошел, прихрамывая, к речке.

Семен достал складной нож и стал крошить сало на кусочки тут же, на портянке. Вдруг от речки донеслось «ю-ух!» — крик короткий, пугающий, и голос как будто не Аронов, странный, как перхание овцы в зимнюю полночь. Семен вскочил, схватился за винтовку и кинулся от огня к арбе. Слышался частый топот снизу, и через минуту Арон выскочил на шоссе, словно невидимая сила подбросила его снизу.

— Семен, вы где? — прерывающимся, сдавленным голосом воскликнул он, кидаясь к огню и к арбе, — ружье при вас? Есть! — ткнул он винтовкой в сторону леса.

— Далеко?

Арон задыхался, винтовка прыгала у него в руках. Дрожали руки и у Семена, в голове мелькнуло на мгновение: «Милый Яша, сыночек, умоли Господа милосердного!...»

— У самой воды сидел, — прошептал Арон.

— Много? Один, что ль?

— Одного видал — вот как вас вижу. Других не видал.

Оба они, пригнувшись, спрятались за арбой и стали ждать. В первое мгновение Семен ясно различал частые, мерные, твердые шаги, потом понял, что это колотилось сердце в груди и отдавалось в ушах его бой. Из-за камней у края шоссе никто не показывался.

— Может, мирной? — спросил Уласенков.

— Зачем мирному по ночам ходить? — возразил шепотом Арон Перес, — заставляйте меня идти ночью в лес, так я сто тысяч не возьму за это...

Опять посидели. Стали зябнуть. Уласенков уже вслух спросил:

— Верно видал, Арон?

— Не верите, гуляйте сами...

— Схожу.

Он переполз через дорогу, к краю шоссе, прилег за камнями и с минуту лежал совсем так, как тот убитый, с которого он снимал шинель. Потом стал осторожно шевелить головой, потом совсем высунулся, и Арон Перес не выдержал, строго зашипел на него. Месяц стоял над лесом за речкой. Левая сторона ущелья, где прилепилось шоссе, была заткана зеленой кисеей, прозрачной и тонкой, а правая, за речкой, тонула в сине-черной тени. И в небо, прозрачное и холодное, уходили темные горы впереди и позади. Никогда еще Арону Пересу человек не казался таким маленьким, как среди этих таинственных, гигантских стен с их величавым молчанием и дикой красотой.

— И то правда: стоит какой-то статуи,— сказал неожиданно громко Уласенков, голосом совсем веселым, подрагивающим от смеха. И встал. Арон Перес тоже выпрямился — надоело стоять согнувшись.

— С дрючком,— прибавил Уласенков, когда Арон подошел к нему.

— Эй, что за человек? — закричал он громко.

Некто темный с длинной палкой в руках нерешительно сделал несколько шагов от речки к откосу шоссе.

— Говори — кто, а то вдарю! — крикнул Уласенков строгим голосом.

Арон Перес шелкнул затвором ружья. Таинственный незнакомец уронил палку и остановился. Что-то забормотал, делая знаки правой рукой вверх, к небу. Уласенков сбежал к нему по откосу, держа ружье на руку.

— Чего же молчишь, не отзываешься? — шутить, что ль, будем? — донесся до Арона незнакомо-сердитый голос товарища.

Таинственный пришелец опустился на колени, поднял руку вверх и заговорил хворым и слабым голосом, каким просят милостыню нищие. И опять голос Уласенкова уже весело, почти по-приятельски сказал:

— Э, да ты, брат, гость-то хорош, да угостить нечем. Пойдем-ка, брат... Арон! Хорош ершок попал в горшок... встречай!

У огня гость — обнесившийся, отошальный турок из редифа — оказался совсем нестрашным. Из-под ветхого башлыка, повязанного тюрбаном, глядело худое,

темное, голодное лицо, в котором некоторую основательность имел лишь один нос, — он шел сперва по одной линии с покатым лбом и затем крутым углом был нагнут к узкому щетинисто-черному подбородку. Вдавленные темные щеки, резкие скорбные морщины над широкими бровями и этот потянутый книзу нос придавали турку сходство с какой-то болотной птицей, серьезной, сосредоточенно размышляющей и упылой.

— Ну, брат, теперь ты — наш пленный, клади оружие!.. Ясырь! Понимаешь! — сказал Уласенков, шлепнув турка по плечу, и засмеялся.

Турок поднял на него глаза, черные, унылые, робко просящие. Потрогал рукой голову и слабым, хворым голосом пробормотал, показывая зубы:

— Башам... агрыпор...

Уласенков сразу понял — и по голосу, и по жесту. И перевел:

— Башкам? захворал?.. То-то вот, сукин кот! А кто тебя пхал воевать? Сидел бы себе дома да покуривал трубку. А то, небось, теперь добился — и табаку нет? Обыщи-ка его, Арон, нет ли оружия?

Арон с готовностью принялся ощупывать пленника. На плечах у него висела выцветшая рвань, которую по двум медным пуговицам можно было принять за шинель, но она была коротка для шинели. Темное, волосатое тело, похожее на чугуна, виднелось на груди, сквозь продранную желтую рубаху, сквозило на ногах в прорехи синих шаровар и обмерзших чулок. Единственное вооружение, которое оказалось на турке, был пояс с патронами старого образца, — даже ножа нигде не нащупал Арон, а он искал строго, старательно.

— Ну вот, Арон, видишь? — говорил торжествующим тоном Уласенков, — что ни делает Бог, все к лучшему. Не остановись мы тут — значит, не взяли бы этого дружка. Завтра с тобой представим его, может, награду дадут: пленный... Думаю, без последствия этого дела не должны оставить?

— По Георгию обязаны дать! — сказал Арон Перес, и так уверенно, что Уласенков, не очень первоначально рассчитывавший на возможность награды, вдруг укрепился в приятной надежде.

Единственный свидетель этой торжественной сцены — мальчик, завернутый в шинель, — большими черными глазами наблюдал за ними троем. А в глазах

его так и застыла та тяжелая, педетская боль, которую не вылил он своими слезами. Уласенков прпятельски подмигнул ему, встретившись с его удивленным, изучающим взглядом.

— Вот, Ванятка, заблестят Георгии и на наших грудях!..

И большим пальцем правой руки гордо постучал в свою широкую грудь.

— Ну, Арон, мотайся за водой. Обрадует, брат, и тебя вечность: крест — это такое дело, пенсийн огребешь — до гробовой доски кусок есть...

— Садись, друг! — обернулся опять к турку Семен и показал жестом место у огонька, — садись, гостем будешь, а водки купишь — и за хозяина почтем...

Огонек трепетал, фурчал, лизал пристроенные на камнях котелки. Тонкими голосами пела закипавшая вода. И молча сидели вокруг они — четверо, голодные, озябшие, усталые, борющиеся с дремотой. Каждый думал о чем-то своем, далеком, никому, кроме него, не понятном, никому не приболевшем. И это незабываемое свое казалось сейчас невероятным, улетевшим милым сном, а то диковинное, внезапное, сотканное из случайностей и неожиданностей, что сгрудилось здесь, перед глазами, было понятно, близко до осязательности, как дрожащие язычки огня и тонкое пение воды в котелках. Оттого всем было невыразимо грустно и холодно.

Уласенков один, отдаваясь во власть безмолвного раздумья, не забывал хозяйственной части. Подкладывал поленца в огонь — с расчетом, чтобы было ни много ни мало, хватило бы на ночь; два раза сходил к арбе и выломал из нее, что легче поддавалось разрушению, пополнил запас дровец. Арон Перес занят был помороженными своими ногами: держал их поочередно над огнем и отдергивал, боясь прожечь сапоги. А когда согрел, начал стонать и шипеть от боли, — ноги «сошлись с пару», как определил Уласенков. Турок сидел унылый, неподвижный, поджав ноги в худых обледеневших чулках и засунув руки в мохнатые рукава своей шинели. Все внимание свое, казалось, устремил он на кончик своего горбатого носа и теперь еще больше напоминал какую-то любящую уединение, склонную к созерцательности птицу. Мальчик ушел головой в шинель, — торчали лишь непокорные завитки его кудрей

из-под платка. Изредка он чуть-чуть шевелился, и лишь по этому можно было догадаться, что он еще не спит.

Когда Уласенков снял котелок с кулешом, все немножко оживились. Ели двумя ложками, поочередно. Показал Уласенков, как это надо делать: зачерпнул ложку горячего хлёбова — отправил в рот, зачерпнул другую, подул на нее, поднес к носу мальчика, которого называл Ваняткой.

— Ешь, чадушка, гляди не обожгись... Сопли-то утер бы...

Ванятка осторожно стал есть с ложки, изредка вскидывая на большого человека вопросительный, изучающий взгляд своих черных глаз.

Арон проглотил ложку и передал турку. Пленный изумленно вскинул на него глаза и не сразу протянул руку. Понял, взял ложку и, зачерпнув каши, проглотил ее быстро и жадно. Передавая ложку Арону, он быстро качнулся и поцеловал его руку. Арон вздрогнул от неожиданности, а Уласенков рассмеялся.

— То-то вот, друг, не надо бы лезть в драку, — сказал он, глядя на турка ласковыми глазами и поднося ложку мальчику, — а то вот и накормим тебя россейской свининкой... сверх твоего закону... А прокозыряет ваш султан свою земельку, проиграет ее нам на немецкой гармошке, — чего будешь кушать тогда?

Турок понял по-своему, осклабился с грустным умилением и, показывая черным пальцем на мальчика и на себя, забормотал что-то.

— Юч...юч... — повторял он, оттопыривая три пальца, — юч чуджюк.

Склонил голову набок и постучал рукой около сердца, печально улыбаясь.

— Трое? — перевел Уласенков, подняв ложку, — а-а.. так, так... У меня тоже трое: дочь-невеста, шестнадцатый год, а самый малый — меньше этого... Яшутка... Тоже, брат, вздумаешь о нем — тоска со всего белого света!.. А у тебя, Арон, есть?

— Парочка, — сказал Арон.

И, чередуясь ложкой с турком, стал рассказывать о своем маленьком Абрумчике: мальчишка — вне конкуренции, замечательная память, необыкновенные способности к счету, — на любое слово укажи, в уме разложит на числа, сложит, перемножит и через две мину-

ты — извольте — итог, хоть на счетах, хоть на бумаге проверяйте — без ошибки... Если учесть, это будет какой-нибудь замечательный человек!

Арон Перес увлекся, забыл про боль в ногах и стал излагать перед Уласенковым и турком подробно разработанные им планы обучения Абрумчика и Баси, по какой части они пойдут, какую карьеру могут сделать. Ничего нет невозможного, что им удастся выбиться наверх. Если его, Арона Переса, судьба сунула на мало-завидную позицию «живой рекламы», то он может указать и на другой пример: два его сверстника, такие же, как и он, бедные еврейчики, пробились в доктора и теперь имеют отличную практику в Кутаисе...

Поели кулеши, Арон продолжал рассказывать о докторах, об их доходах, костюмах, обстановке. Покурили. Принимая сигарку от Семена Уласенкова, турок пробормотал: «Эваля, эффенди!» — и облобызал ему руку.

— Ну-ну, валяй, валяй... — покровительственным голосом сказал Семен и широко зевнул. Стала одолевать дремота...

Надо бы вымыть котелок, а встать лень — пригрел место. Ванятка ушел с головой в шинель и скоро склонился на вещевого мешок, уснул. Семен облокотился на колено и старался слушать Арона. Он глядел ему в рот и удивлялся, как быстро и непрерывно вылетали из него слова, все складные такие, мудреные и гремучие, как тонкая бескепечная проволока. Тяжелели веки и наплывали на глаза. Голос Арона отходил в сторону, заходил в затылок и становился похожим на дребезжащее шуршание детской самодельной повозочки, которую он, Семен, смастерил весной Яшутке. Вот и он, милый Яша, бежит — шлепают босые ножки по твердому солонцу улицы, скрипит-гремит сзади повозочка, Авдотья гонит уток на пруд, а утки лопочут между собой такими же голосами, как у Арона Переса. У пруда коровье стадо; Перепелеска забрела по колени в воду и машет мокрым хвостом, отбиваясь от оводов. Из глубины пруда глядит солнце и седой курган, поросший полынком. Свое. Родные места. И так странно: голос Арона кружит оводом над ними.

Качнулся, открыл глаза: Арон и есть... блещут запавшие глаза, шапку сдвинул на одно ухо и все сып-

лет быстрыми, мудреными словами. Хвастает, должно быть.

Опять слипаются глаза. А совестно, не хочется, чтобы заметил Арон, что задремал его слушатель.

— Ты, Арон, может, когда мимо Расшиватки будешь ехать,— заезжай, пожалуйста... Вспомним, как страдали мы с тобой вместе. Авдотья самовар нам поставит... Баба, брат, из себя немудрящая, а орех! На язык — почище тебя будет: от семи кобелей отбрешется...

Хотел это сказать Семен и заленился. Голос Арона затрещал у самого уха, турок неожиданно проговорил: «Валяй, эфенди!» Открыл глаза опять, встряхнулся. Арон — на своем месте, турок сидит неподвижно, дремлет.

— У меня сестра есть в Батуме, свою зубную больницу имеет,— говорил Арон.

Семен поглядел на его смятую шинель, порыжевшие сапоги и сказал:

— Хвастаешь небось?

— Ей-Богу, есть! — жалобным голосом воскликнул Арон.

Уласенков посмотрел вверх, на звезды, хотел узнать, много ли ночи остается. Поискал Корец — не нашел, а те звезды, что мерцали над черным гребнем, были неприметные. Месяц зашел за лес, чуть светлей было небо в той стороне, где он скрылся. Черные гигантские стены холодно и немо глядели спереди, сзади, с боков.

Вздохнул Уласенков:

— Много еще ночи будет!

И опять закрыл глаза, чтобы вернуть полусонное видение с милыми лицами и родными местами. Но вместо седого кургана над прудом вырос гребень горы, похожий на гору у Карса. Вместо Расшиватки под горой, над замерзшей речкой, домики, в сумерках похожие на солдатские сундучки, а за речкой знакомые казармы, в которых прожили два месяца. Где-то далеко, должно быть, в Кабардинском полку, заиграли зорю, протяжно, мягко и грустно...

9—11 июля 1906 г.

Воспоминания

В одной из сатир Салтыкова есть коротенький, набросанный небрежными штрихами пейзаж: равнина, приведенная в запустение; посредине ее острог; вверху, вместо неба, арестантский халат...

Гениальное предвидение художника едва ли нуждается в доказательствах. Оглядываясь вокруг, как будто видишь нарисованную им картину во всей ее ужасающей реальности. Не видишь, — всем существом своим чувствуешь ее. И особенно остро чувствуется она теперь, когда мысль невольно обращается назад, к недавнему, но далекому прошлому, к тем светлым, лучезарным дням народных упований, когда в каждом темном, закутанном уголке чувствовались ярко и выпукло пятна солнечного света, когда не верилось в возможность возвращения стужи, морозов, царства оцепенения.

8 июля 1906 г. этим упованиям был положен конец.

Оглядываясь теперь мыслью назад, вспоминая дни: 9, 10 и 11 июля, я благодарю судьбу за то, что она дала мне возможность быть в среде своих товарищей, с высоким мужеством исполнивших, по мере разумения, свой долг перед родиной, отдавших ей правдивый отчет о своей работе в первой русской Государственной думе и указавших народу путь отставания нарушенных прав.

Воспоминания эти обвеяны грустью — светлой грустью, горечью скорби, но это — лучшие воспоминания моей жизни, врачующие язвы больной совести...

О роспуске Думы я узнал, как и большинство депутатов, утром 9 июля из газет.

Хотя перед этим и ходили упорные слухи о том, что есть заговор против Думы, хотя были несомненные признаки, что правительством готовится какой-то крупный шаг, для которого может потребоваться сила штыков, — Петербург наполнялся армейскими полками, — но трудно верилось или, точнее сказать, не хотелось верить, что роспуск возможен.

Я только что вернулся из поездки на родину. Не говорю о том, что видел на месте, в родном углу, — но то, что видел и слышал я всюду по пути, в вагонах, на станциях, в городах, где меня никто не знал и я никого

не знал, заставляло укрепляться в мысли, что народ едва ли примирится со смертью Думы. На нее были обращены все взоры. Ее моральный авторитет был выше всякого другого авторитета. Ей пели гимны. На ней были сосредоточены все надежды. Змеинное шипение против нее звучало едва слышно, трусливо, скрытно.

Это оказалось иллюзией. Не сразу поняли это. Еще немало времени прошло, когда убедились, что решетка в окне темницы еще очень толста и тяжел замок на ее дверях...

* * *

Петербург казался пустынным, когда я ехал к Таврическому дворцу утром 9-го. В летнее время он не особенно люден. Попадались редкие прохожие рабочего облика, прислуга, военные писаря, пестрые праздные группы, лениво бродившие по набережной Невы. Не было заметно, чтобы они думали, говорили о событии, несомненно касавшемся каждого из них. Да и знали ли они о нем? Газеты они читают, вероятно, в трактирах и портерных, а туда еще рано.

Пусто было также на Шпалерной и Потемкинской. Депутаты подъезжали, подходили поодиночке, иногда вдвоем, втроем. Прочитывали приклеенный на фонарном столбе указ. На воротах, ведущих к дворцу, висели замки, за ними стояла монументальная стража с холодным оружием. В ближайшее раскрытое окно смотрели с очень независимым видом два офицера. По улице стояло усиленное количество полиции. Среди нее с деланно-беззаботным видом прогуливались подозрительные штатские. Их лица уже примелькались нам за 70 дней и, несмотря на перемену костюмов и грима, легко узнавались нами.

Депутатские группы человек в пять-шесть тихо, с растерянным видом отходили и направлялись в кадетский клуб. Человек пятьдесят было там, когда я вошел. Беспорядочный, торопливый говор, ровный шум шагов колыхались в зале обычными звуками людской толпы. Но не было привычного оживления, бодрости. Грусть и недоумение висели над всем.

Никто, кажется, не знал, что будет дальше. Что делать? Какое у кого имеются наготове предположения, решения? Многим — и мне в том числе — несомненным

представлялось, что начнется кровавая революция. Как быть в этом случае? Может быть, не у меня одного — у многих в душе происходила борьба: не нырнуть ли куда-нибудь в подворотню, — на человека маленького, незаметного, ничем не успевшего себя заявить, никто не обратит внимания. Исчез, и больше ничего. Зато уцелеешь, поедешь домой; там — близкие лица, там безопасность, и — совсем порастет забвением твой тяжкий грех, что ты был депутатом крамольной Думы. Неужели это не соблазнительно?..

Но с другой стороны: как бы мал, как бы незначителен ты ни был, сделай так, чтобы не стыдно было избравшим тебя за то, что они избрали тебя, возложили на тебя свои надежды, и хоть не сказали прямо: «Умри», не сказали: «Стой за право народное, покуда жизни нить с твоим дыханием последним не порвется», — но в речах их ты чувствовал же этот смысл? И именно на этот подразумеваемый смысл ты отвечал: «Я приложу все свое разумение, все силы и, если потребуется, жизнь свою положу за свободу и благо народа...»

Колесание было недолгое.

Но стоял вопрос: что же делать? К чему я, маленький человек, способен? Что могу? Ведь начинается что-то страшно тяжелое, ответственное, важное... Требуется не только решимость, требуется глубокое понимание, правильное прозрение в будущее, твердая вера... Есть ли у меня это?

И как это нередко бывает, я затруднился со всей прямоотой ответить самому себе. И мысль, изворачиваясь, подсказывала: делай то, что решат другие, что решат лучшие, авторитетнейшие. Они ни разу не обманули твоей веры, они не раз заставляли гореть твое сердце огнем бодрости и пылом негодования против врагов народа. Они найдут выход, способный дать удовлетворение твоей совести...

Среди беспорядочного говора, переплетающихся слухов, разнообразных предположений явилось и известие — откуда, не знаю — о том, что предположено собраться к вечеру в Выборге.

— В Выборге? Почему там? Почему не здесь?

— Едва ли дадут... Конечно, через час разгонят. Необходимо все-таки предварительно обсудить.

— Ну, в Выборге — так в Выборге! С каким поездом?..

С товарищем-земляком зашли мы и в трудовую группу: нет ли там каких решений? Решение ехать в Выборг, казалось нам, носило как будто предположительный характер. Может быть, найдут иной исход. Но и у трудовиков, которых собралось не много, не было никакого готового решения. Они ждали, что решат кадеты.

— Слышно, будто в Выборг.

— В Выборг? Напрасно! Надо бы попробовать здесь собраться.

— Не дадут...

— Попробовать бы. А это — мысль неудачная: уезжать из России в такой момент...

Но, в конце концов, и здесь не придумали ничего иного, как собраться в Выборге.

Возвращался домой я на финляндском пароходике. Он был переполнен праздничной публикой, в большинстве простонародной. Шли разговоры о «прикрытии» Думы. Слышалось иногда бессильное, дрожащее слезами негодование. Слышалось холодно-резонерское суждение человека, достаточно полированного. Были вздыхающие посулы господней кары за содеянное — там, в загробном мире. Подвыпивший солдатик-пехотинец, с крестом в петличке летней рубахи, говорил громко и злобно:

— По-нашему так: слева и справа заходи, забрать бы этих господ, которые землю не дают... По-нашему, по-военному!..

— Боже мой, какое крушение наносят нашему брату, — уныло качал головой старичок-крестьянин. Начальству что? Ему и так хорошо. Ему поля не надо, у него деньги. И без дождю урожай идет. А нам чего остается делать? Не думают отвечать они на том свете...

— Это зрение точки сюда не соответствует. Они — как потаскуха какая: на том свете хоть тыны подпирать, абы тут было хорошо!

— А тут им — лафа, кашу молочную завсегда едят...

— Сказано: правду похоронили, ложь возвеличили... Смутилась вся Энропия злобой да ненавистью. Пропадать христьянству — больше ничего не остается...

Были и другие речи, более решительные. Но видно

было, что все они, эти случайно собравшиеся люди, едут сейчас по своим делам, разойдутся по своим квартирам, по знакомым, по трактирам, портерным, будут себе браниться, вздыхать, может быть, плакать и затем вернуться в свои конуры, чтобы завтра опять приняться за обычный, будничныи труд, который вытеснит мысль об общем народном деле. Его должен кто-то другой, помимо них, сделать, — это их не касается. Кто-то другой должен подумать о них, об их правах, о крестьянстве, о земле, о тяготе жизни. Им некогда. Им нельзя оторваться от собственной работы.

Эту обывательскую логику чувствовал и я в своей душе: кто-то должен подумать и сделать за меня, кто-то должен готовиться к тому тяжелому и страшному, чем покупается свобода, простор, правовая жизнь, кто-то пойдет, может быть, на штыки, под пули, на жерла пушек. А я?.. Не знаю. Может быть, и я пойду вслед за другими. Но пока — не знаю. Пока я хочу, в глубине души, чтобы кто-нибудь непременно подумал за меня, подготовил, пошел и сделал. А в свое время я явлюсь, чтобы получить готовое...

И эта мысль с досадным упорством продолжала сидеть где-то там, в темных уголках души, и даже тогда, когда гремел поезд Финляндской дороги, мелькали мимо вереницы вагонов, фабричные корпуса, дачи, лес, поляны с нескошенной травой, с узкими полосками овса, небольшие станции, вывески с русскими и финскими надписями.

* * *

Через три часа — вот он и Выборг. Слава Богу, какое-то новое чувство охватывает — чувство любопытства к незнакомому городу, новой стране. Я — в первый раз за рубежом родной земли.

Выходим толпой пилигримов, не зная, куда идти. Говорят: прямо! Называют разные отели.

Смотрим с некоторым удивлением на тихие, чистенькие улицы, на дома, в архитектуре которых много незнакомое, чужое, на городских в щегольской форме, кажущихся нам образцом полицейской благовоспитанности, на залив, на мягкие тоны воды, неба. Все: город, залив, небо, лодочки, большие и малые парохо-

ды, шаланды — все обвеяно какою-то странной, задумчивой тишиной, мечтательной мягкостью.

Почему мы не у себя дома? Грусть сжимает сердце. К родному краю обращается мысль. Не в Петербург — во все концы России бежит она. О милая, несчастная родина! Какою далекой кажешься ты сейчас, оставшись позади... И так стало жалко себя — оттого, что вот судьба забросила на чужбину, не нашлось приюта в родной стране, пришлось покинуть ее, и — покинуть затем, чтобы обсудить, как отстоять нарушенное право ее на свободную жизнь.

В «Бельведере» былолюдно, тесно. Встречались, кроме депутатских, другие знакомые лица: писателей, видных партийных деятелей, корреспондентов, стенографов, просто любопытствующих. Некуда было деться от тесноты. Все решительно — каждый номер, каждый уголок — было занято.

Трудовики разместились этажом выше кадетов. Там, в одном из номеров, несколько большем по размерам других, шли их фракционные совещания. По рукам ходил написанный карандашом черновик того воззвания, из которого потом суждено было с существенными изменениями и поправками выйти обращению народных представителей к народу. Шли разговоры и гадания о том, что будет. Для многих казалось несомненным, что воззвание не поспеет и народные массы примутся решать вопрос без нас.

— До сих пор шло «предисловие к учебнику Иловайского». Теперь начинается история...

— Пожалуй. Настроенне такое, что должно быть жарко.

— Кому жарко, — а нам придется озябнуть.

— Ну, это посмотрим!

— Придется ли нам глядеть-то? Вероятно, укромные места приготовлены.

— Ну вы, сударь мой, что думаете делать?

— Что делать? Попробую домой проехать.

— Едва ли удастся. Слышно, приказано вас, казачьих депутатов, в первую голову спрятать.

Кто-то пришел и сказал, что приехал Муромцев. Это обрадовало всех и влило бодрости. Пошли вниз.

В залу не так-то легко было пробраться. В коридорах сплошной стеной стояла любопытствующая публика. Тихий, сдержанный говор колыхался, как слабый

морской прибой, наполнял небольшую залу жужжащим плеском. Не было движения, — нигде было двигаться. Глубокоочтимый председатель наш сидел в углу, опираясь рукой на топкую тросточку и глядя перед собой своим обычным серьезным, спокойно-грустным взглядом. Рядом, молчаливые и задумчивые, сидели лидеры к.-д. партии.

Был вечер, поздний, светлый, мечтательно-грустный вечер севера, без звезд, с его бледными красками и задумчивостью. Из окон открывался вид на узкий заливчик, на застывшие суда, на всю пеструю панораму домов и леса вдаль.

И хотелось молча глядеть на тихие воды, тихо и грустно думать о родине, забыть кошмар прошедшего.

Старый, почтенный, одинаково всеми без различия партий уважаемый депутат, преданнейший деятель освободительного движения, открыл совещание небольшой речью. Стариковский голос, в котором трепетали горькие ноты разбитых заветных мечтаний, трогательно звучал в смолкшей, затихшей зале. Двумя-тремя чертами сделана яркая характеристика момента, положения народных представителей на перепутье и грядущей участи родной страны. В заключение — предложение выбрать председателя предстоящего совещания для обсуждения вопроса о дальнейшей линии поведения.

— Муромцев! Муромцев!

Гром аплодисментов. Долго не смолкал он. Точно в этих плещущих звуках мы хотели передать всю благодарную жалость, сочувствие преданных сердец дорогому нашему избраннику, до конца решившемуся испить с нами горькую чашу. У меня слезы подступили к горлу, и я не стыдился их.

Избраны были затем товарищи председателя, секретарь — весь думский президиум.

Началось обсуждение.

Наемники казенно-репентных изданий, прилагая старания, чтобы забрызгать грязью хрустальный курган, выросший на могиле первой Думы, с особым усердием распускали слух, будто бы Муромцев открыл заседание фразой: «Заседание Государственной думы продолжается». Это с особенным смакованием было повторено официальными лицами в официальных учреждениях. Не стану полемизировать с ними. Скажу только,

что не только такой точный, осмотрительный, осторожный, ученый юрист, как Муромцев, — никто из нас, рядовых людей, довольно беззаботных в смысле точности употребления юридических и государственных терминов, не думал считать себя в то время членами Государственной думы. Но представителями народа мы были. Народ не снимал с нас полномочий. Народ не заменил нас иными своими представителями. К народу мы и обращались, как уполномоченные им представители.

Первое заседание затянулось далеко за полночь. Определить линию дальнейшего поведения было нелегко. В речах левых депутатов мне не удалось уловить того, чтобы у них было какое-нибудь определенное, ясное решение, чтобы они точно указывали на какой-нибудь другой способ действий, кроме обращения к народу с воззванием. Было расхождение лишь в содержании этого воззвания.

Совещание окончилось поздно. Объявлен был перерыв до 9 часов следующего дня. Предстояло обсудить по пунктам проектированное обращение.

Нервы были издерганы. Хотелось покоя. Некуда было деться. Было несколько депутатских групп, которые не позаботились заранее о приискании себе помещения. В том числе были, между прочим, и мы, донские и кубанские депутаты. Толпой обошли мы все гостиницы города, но нигде ни одного свободного номера. Пошли на вокзал — заперт. Уселись на скамейках бульвара — холодно в летних пальто. Бледная северная ночь, беззвездная, тихая, глядит на нас белыми глазами молчаливо, загадочно. Спит город, чужой, незнакомый, равнодушный.

— Звери имеют жилища свои, а представителям народа русского негде головы преклонить, — перефразировал известное место из Евангелия один из нас.

Какой-то финн подошел к нам и на своем языке, припоминая все русские слова, какие он знал, помогая себе руками, ногами и головой, объяснил, что есть помещение, где мы можем заночевать.

Пошли за ним. Минуты через две ввел он нас в прекрасный подъезд, позвонил в первую квартиру. Открыли — и мы вошли в большую, почти темную комнату. Слабая полоска света, тянувшаяся из полуоткрытой двери другой комнаты, освещала ее. Тот же услужли-

вый человек разместил нас по диванам, на стульях, на полу, набросав гору тюфяков и подушек. Слышался из-за двери командующий женский голос. Один из депутатов, родом эстонец, заговорил по-эстонски с невидимой дамой и благодарил ее за оказанное гостеприимство. Ему отвечали по-фински. Не знаем, понимали ли друг друга говорившие, но наш товарищ уверял, что она выражает нам сочувствие. Мы, конечно, остались довольны.

Все казалось фантастическим сном: и эта большая, темная комната, и мы, расположившиеся в разных углах ее и на полу, в полной амуниции и даже в сапогах, и узкая полоска света, и финский говор, и роспуск Думы, и Выборг, и все, что случилось. Действительность сливалась с каким-то кошмаром, который наблюдался как будто со стороны, вызывал удивление; хотелось вырваться из него, и не было сил — все было парализовано. Я пролежал часа два в состоянии беспокойного полусна, встал с головной болью и вышел, оставив своих товарищей под гостеприимным кровом сочувствующей финской гражданки.

Обсуждение Воззвания возобновилось вместо 9 лишь в 11 часов. Были долгие споры по фракциям. Левые партии высказывались за более радикальный призыв. В к.-д. фракции, наоборот, было немало противников призыва не платить податей, не давать рекрут, представивших практическую непригодность этого средства. Вносилось предложение просто дать отчет и оставить вопрос о способах защиты права на решение самого народа.

Эти же споры и взгляды перешли и в общее совещание, отразились на обсуждении отдельных пунктов. Заседание грозило затянуться надолго. Для депутатов, не принимавших деятельного участия в прениях, эти споры казались утомительными и излишними. Воззвание в том виде, в каком оно было намечено накануне, казалось нам, среднему большинству, вполне подходящим, и длительные прения о деталях представлялись излишними.

Случай пришел на выручку нашим тайным желаниям. Сообщено было известие, что выборгский губернатор просил передать совещанию, что получено предписание из Гельсингфорса, в случае если наше собрание не разойдется, объявить Выборг на военном поло-

женни с передачей командования коменданту русской крепости. «Вы не допустите,— сказал губернатор,— такого оскорбления Финляндии».

Председатель, получив это сообщение, предложил собранию не злоупотреблять гостеприимством конституционной Финляндии, давшей нам приют, и подчиниться без замедления распоряжению власти.

В силу этого обстоятельства было внесено предложение — вторую часть Выборского воззвания, содержащую призыв к неплатежу налогов и к отказу дать рекрут, принять без прений. Подавляющим большинством предложение было принято. Возражавшие против этой части депутаты, в числе которых был М. Я. Герценштейн и некоторые другие, присоединились к нам из чувства товарищеской солидарности. Их заявление было встречено громом рукоплесканий.

* * *

В тот же вечер многочисленные корреспонденты разнесли содержание этого воззвания во все концы земного шара.

И, кажется, можно было и уехать в тот же день. По большинство решило ехать вместе, утром следующего дня. Ожидали арестов. А известно, что артелью не только весело батьку бить, но и в тюрьму веселей идти.

И опять мы группами ходили по городу, за городом, по берегу залива. Глядели на зеркально-дымчатую водную даль, на темно-зеленые пятна островов, на застывшие паруса над тихой гладью залива, задумчиво провожали взглядом уходившие пароходы и шаланды. А мысли все уносились туда, в родные края. Думалось: увидим ли мы их?

— На арбузы урожай у нас в нынешнем году,— говорил задумчиво мой земляк.— Вспомнишь об арбузах, и досадно станёт, что не попаду, может быть, домой...

— А я як вспомню жинку, як вспомню диток, аж сердце замре,— говорит другой товарищ, екатеринославец.

И было нам завидно смотреть на людей, которые уже имели то, о чем мечтали мы. Они гуляли по саду и слушали музыку, беззаботные, веселые, смешавшись

в шумной, пестрой, демократически равноправной толпе,— и нарядные, и бедно одетые, и чиновники, и рабочие, и знатные, и простые, и среди них губернатор в пиджачке, такой простенький, весело раскланивающийся с знакомыми. А у нас?..

На другой день, в 8 часов утра, мы выехали. На память с собою я взял два экземпляра Воззвания. Один «распространил», а другой у меня и сейчас... Но, в сущности, Воззвание уже опередило нас и было готово в С.-Петербурге к нашему приезду.

Встретил нас «почетный» караул жандармов в две шеренги. Многочисленная публика молча стояла, когда мы проходили мимо них. Кто-то крикнул: «Да здравствуют народные представители!» — и тотчас же попал в объятия полиции.

Ожидая очереди на пристави, я видел, как из двора рядом с вокзалом выехал попарно эскадрон какого-то полка. И люди, и лошади, казалось мне, имели скучающий вид, шли медленным шагом и понуро держали головы...

Наше намерение собраться еще раз в Петербурге не осуществилось. Клубы были закрыты. Приходилось уезжать. Куда?.. Домой? А что ждет нас там? Не многим из нас пришлось воспользоваться правом пребывания в родном углу. Горькая эпопея депутатских злоключений не окончилась и по сей день...

В эти мглистые, зимние дни, когда родная страна молчит в оцепенении, люди, у которых совесть замерзла, стараются уверить и делают вид, будто сами верят, что солнце спрятано, и спрятано на этот раз весьма основательно.

А солнце все-таки нет-нет да и проглянет, далекое и прекрасное... И нет возможности даже оробевшие сердца заставить забыть о нем. И придут дни, непременно придут, когда величавый свет его разольется широко и просторно, все оживит, наполнит теплом, озарит,— и устыдятся спрятавшие солнце.

Неискоренимы в душе человека, в русской душе эти надежды, что взойдет солнце свободы и права над родной землей. Пусть мы лично не доживем до этого времени. Пусть. Мы уже получили свою долю радостей. Мы извели огромное, редкое счастье быть в числе первых представителей родного народа. Теперь господа положения готовят нам другую, высокую позицию.

В длинный ряд подвижников родной земли, увенчанных терновым венцом страданий за счастье родного народа, славою борцов за свободу, они хотят поставить и нас, скромных работников. Мы благодарны им. Благодарны им за то, что они доставили нам радость товарищеского свидания на скамье подсудимых, и за то, что они позаботились об акустических условиях того места, в котором мы теперь даем свой последний отчет нашим избирателям.

*12—14 декабря 1907 г.
С.-Петербург*

Памяти П. Ф. Якубовича

Мне и сейчас представляется это, когда раздается звонок телефона: вот возьму я трубку и непременно услышу хорошо знакомый, ласковый больной голос:

— Что вас не видно, казак? Куда вы запропали?

Я, конечно, никуда не запропал и всегда, как редкому празднику, рад был возможности повидаться с ним, с милым, любимым Петром Филипповичем, но стесняло вполне понятное опасение, приятны ли, не обременительны ли больному человеку мои посещения.

— Приезжайте, поговорим... Ведь момент-то...

Долгий затяжной кашель, — слышу я в телефон, — обрывает речь П. Ф.

— Момент-то... интересный... — с трудом, прерывающимся от задыхания голосом заканчивает мой дорогой собеседник.

И было это грустно, до слез трогательно — этот прерывающийся, больной голос и неугасимое кипение «моментом», если он интересен; мучительное страдание им, если он удручал беспросветностью и торжеством «обагряющих руки в крови»... И не скоро мысль моя свыкнется с тем, что нет его, этого диковинного, особенного человека, который не жил, а горел безрасчетным пламенем.

Дня не запомню я, короткого мгновенья,
Когда б в душе не тлел огонь вражды и мщенья,
Когда бы я не ждал, что Божьей правды гнев
Проснется наконец, как разъяренный лев...

Не скоро отвыкну я ждать эти милые праздники, когда можно было заглянуть в его тихую квартиру,

повздыхать с ним, помечтать вслух, поспорить. Любил он это — помечтать, вздыхая и сокрушаясь:

Таит меня тревога ожидающа:

Что юность даст? Что завтра принесет?

Когда, бывало, вернешься из поездки в родной угол, — никто с такой нетерпеливой привязчивостью не расспрашивал о том, что делается там, «во глубине России», каково настроение, о чем толкует, о чем думает народ! Трепетное чаяние, неутолимая жажда хоть единой капли освежающей и ободряющей чувствовала в этих торопливых, наивно ждущих расспросах, и забывалось, что это человек, в которого нестерпимый недуг впился всеми когтями, человек, страдающий целой энциклопедией самых жгучих болей.

— И что вы это там с проблесками, с признаками, сдвигами и ожиданиями!.. Знаю, что это все будет, все придет, да когда? Вы вот сейчас-то мне что-нибудь хорошенькое подайте! А-а! То-то и есть-то!.. Вот и не можете хорошенького ничего рассказать...

И сердито вздыхал... И ужасно жаль бывало, если нет ничего для него любопытного, если нечем было вызвать его хорошую, светлую улыбку и радостное, несколько сомневающееся восклицание:

— Да-а... это интересно...

Всегда мне в этих случаях вспоминался старый глазуновский казак Лука Потапов, полчанин моего отца. Умирал он в дни свободы, кавказский воин, и спокойно говорил о приближающемся конце жизненного пути. Шутил:

— Гнет в дугу государева слугу.

Но и вздыхал тут же:

— Умирать-то не миновать когда-нибудь день теять, а погодил бы немного. Вот война была, боялся: умру, не узнаю, чем война кончится. А теперь вот Дума зачинается. Хоть бы одним глазом взглянуть, чья возьмет: господа или чернородье?..

Один тоскующий мотив, одна мечта: «мысль одну мы держим — про святую месть».

Мне душу истерзала

До ран кровавых жизнь, — живого места нет...

Но все ж я жизнь люблю, все верю, как бывало:

Он близок, он идет, спасительный рассвет!

.

Я не дождусь зари...
Взглянуть — и умереть!
...Я жду, упорно жду...

Я много раз жалел, что это безрасчетное горение о будущем родимого края, болезненно острое ощущение боли настоящего, — ведь не только ужасы нашего «птересного» момента, но даже обычное паскудство современных триумфаторов приводили всякий раз в безграничное отчаяние Петра Филипповича, — я жалел, что это закрывало от меня его богатое, героическое прошлое. Для меня он был образцом недосягаемого героизма, и не раз неудержимое желание испытывать я спросить его о битвах минувших. Но я робел, я не решался, ибо не был настолько близок к нему, чтобы иметь смелость прикасаться к старым ранам отважного бсйца. Правда, для меня, человека глубоко провинциального, нового в Петербурге и всегда невольно теряющегося, чувствующего себя чужим в журнальных и общественных кругах столицы, П. Ф. был, может быть, более всех близок, менее всех страшен, но это уже был секрет его личного обаяния, его теплой ласки и трогательной заботливости. Своим попечением и участием о моей судьбе он с первого же раза взял меня в плен, — из состава редакции «Русского богатства» с ним первым мне пришлось познакомиться.

По заботливости о писателях, да еще о начинающих, П. Ф. был, вероятно, единственный в своем роде человек. Письма его к авторам присылаемых на его просмотр произведений были чем-то вроде диссертаций: по четыре, по пяти страниц мелкого убористого почерка. И всегда он пуще огня боялся обидеть кого-нибудь недостаточным вниманием и, пожалуй, не менее самого автора огорчался, если приходилось возвращать рукопись. Вздыхал не раз все-таки:

— Сердитый нынче пошел молодой писатель! Пришлет пару стихков... и стихи-то не Бог весть какие важные. Возвратить бы... Нет, ты ему не просто возврати, а еще и объясни, — да объясни обстоятельно, — почему, да как, да на каком основании того-то печатаете, а меня нет?.. Объясняешь-объясняешь, а в конце концов он все-таки возьмет да и обругает тебя... Да еще стихами, злодей, обругает!.. Вот ведь канальство!.. А в наше-то время! Попробовали бы мы с Салтыковым, например, так поговорить...

В последнее мое посещение П. Ф., между прочим, и рассказал о своем первом знакомстве с Салтыковым, о первых шагах своих в литературу.

— Приехал я в Питер, в первый раз. Записался в университет и на другой же день засел стихи свои переписывать, самые лучшие, конечно, выбрал. Переписал с тщательностью необыкновенной и понес... Салтыкову, самому Салтыкову, не в редакцию, а на квартиру. Помню, на лестнице даму встретил, очень изящную, и решил, что это, должно быть, жена его. Ну, а минуты через две, стоя в передней, услышал шарканье туфель: Салтыков. В халате. «Это что? Стихи, конечно?» — «Стихи...» — «Через две недели зайдите за ответом. В редакцию. В одиннадцать...»

Ну, конечно, я уже с 8 часов был возле редакции. Хожу взад и вперед, жду. Серенький день, помню, был, характерный петербургский. Помню, два молодых человека прошли мимо, поглядели на меня. Один был замечательно красив: брюнет, тонкие черты такие. Я решил, что непременно это должен быть террорист, — я тогда уже мечтал о террористах...

Ровно, минута в минуту, в одиннадцать вошел я в редакцию «Отечественных записок». Сел, жду. Никого еще не было. Потом стали появляться посетители. Один, помню, с длинными такими волосами. «Это, думаю, непременно какой-нибудь писатель известный... настоящий писатель...» Потом басистый голос еще с лестницы услышал и вижу, все как-то зашевелились. Вот и он, Салтыков. Я думал, что он не узнает меня, а он как глянул: «А-а, стихи! — говорит, — сейчас...» Пошел из приемной в следующую комнату, через минуту возвращается, подает мою изящную тетрадочку: «Нате!..» И повернул назад. Но со мной тоже не так-то легко можно было разделаться. «Позвольте, — говорю, — Михаил Евграфович, что же, мне продолжать дальше или нет?» А он этак через плечо, вполуборот: «Продолжайте», — говорит. И ушел...

— Вот какое крещение в наше время давали! — благодушно закончил П. Ф. — Вы, нынешние, пуга!..

Не знаю, как других «нынешних», а меня сам П. Ф. избаловал своей безграничной заботливостью. И по собственным писаниям знаю и свидетельствую, какую массу труда приходилось ему иногда затрачивать над принятыми рукописями, чтобы привести их в возможно

безупречный вид или со стороны цензурной или, чаще, со стороны литературной стройности, сжатости и выразительности.

— А я у вас тут, голубчик, двух героинь уничтожил...

— Это много, П. Ф. Вы кровожадны.

— Да вы погодите ругаться, вы посмотрите: без них лучше.

Посмотришь: точно лучше...

Что бы там ни думали самолюбивые авторы, а я с особенной благодарностью вспоминаю эту сторону редакторской работы П. Ф.: он учил писать, и учил неплохо. Писатель он был старой веры и до конца дней своих остался ей неизменно верен. И мотивы поэзии его для массового современного читателя казались устарелыми: «устал» ведь он, этот современный читатель, и в поисках отдохновения в какие только закоулки не заходил, какие только «дерзания» не познавал... П. Ф. Якубович ко всем этим отечественным искривлениям на новейшие фасыны относился отрицательно. Иной раз я пускался с ним в спор, становился против него в защиту поэзии модернизма и... довольно легко был уличаем в невежестве. Новую поэзию П. Ф. очень неплохо знал и как переводчик Бодлера первый познакомил русскую широкую публику с символистами.

— Ну, вы скажите мне какие-нибудь стихи... великопепные, на ваш взгляд...

Я хотя и храбро вступал в бой с приверженцем старины, а оборудован был весьма легковесно, особенно со стороны образцовых новейших стихов.

— Стихи? Что ж, извольте. Чем, например, это не шедевр:

Ты зачем далеко?
Темный воздух пуст.
Губы одипоко
Ищут милых уст.
Почему на ложе
Нет тебя со мной?..

П. Ф. махал руками, стонал, бранился. И у того же поэта, которого цитировал я, указывал стихи действительно хорошие. Но находил их не много. Все отмеченное искрою Божией он знал и признавал в новейшей поэзии, но от восхищения ею был весьма далек.

К числу невинных слабостей П. Ф. и отчасти всего

«Русского богатства» в читающей публике — мне приходилось это слышать — относили (и относят) особое тяготение к литературным изображениям тюрьмы, ссылки, каторги. Над П. Ф. даже в тесном товарищеском кругу немножко подсмеивались за это пристрастие к каталажке. Незадолго до его болезни как раз об этом зашел у нас разговор с ним. Он смешно оправдывался, я смешно нападал. Даже вспомнил один фельетон из какого-то «Понедельника» и передал его содержание. П. Ф. В фельетоне этом рассказывалось, как один предприимчивый молодой автор переписал рассказ Толстого «Хозяин и работник», поставил под ним свою фамилию и понес по редакциям наших ежемесячников. Сначала — в «Вестник Европы». Стасюлевич посмотрел и вернул: «Недостаточно грамотно, молодой человек, поучитесь...» Тогда автор направился в «Русское богатство», где встретил его Якубович ласковой улыбкой и вопросом: «Вы в какой каторге отбывали наказание? В карийской?..» Автор, нигде не отбывавший никакого наказания, был смущен и молчал. «Неужели в Акатуе?» И далее целый ряд вопросов: «Ну, по крайней мере, в ссылке были? Или в Крестах сидели?» Когда же автор сознался, что он даже в участке ни разу не заночевал, Якубович тотчас же вернул ему рукопись, прибавив укоризненным тоном: «Поучитесь, молодой человек! Жигана от братана отличить не умеете, а беретесь еще о женской любви рассуждать...»

П. Ф. добродушно смеялся.

— Наступит время, когда в русской жизни тюрьма и каторга будут меньше места занимать, тогда и в «Русском богатстве» поменьше будем писать о них, — говорил он, — а пока... пока еще слишком мало отдаем мы им внимания...

Он прав, конечно. Больше, может быть, чем кто-либо другой, он чувствовал ту боль, то опустошение, которое сеют эти отечественные учреждения в родной земле, — он, музой которого был сумрак каземата, «цепь с веревкой были лиры струны». И о пустынях дальних, о цепях льдистых гор, «где лучшие друзья в чужих снегах зарыты», неизбывной скорбью болела его душа.

Страна полночных вьюг, моей весны могила, —
Угрюмых сыновей неласковая мать, —
Язык клянет тебя, а сердце полюбило...

И до последнего дня он считал самыми современными, самыми животрепещущими мотивы «страданий, скорби, уз»...

Ах! в жизни сумрачной я не припомню дня,
Когда б на Божий мир взглянул я вольно, ясно.
Когда бы злая мысль покинула меня,
Что родина — раба, что родина несчастна...

.

И вот нет его, скорбного мечтателя, славного знаменосца святого мятежа.

С трепетным вниманием следили мы, его товарищи, за борьбой его надломленного организма со смертью, — не верилось в то, во что не хотелось верить — в возможность непременно рокового исхода.

Помню: была полночь. В узенькой, безлюдной Ижорской улице, сжатой каменными домами, стояла тишина морозной мартовской ночи, и вверху роились звезды. И сыпался кругом, широко и далеко, смутный шелест и шум глухой ночного города.

Я стоял перед знакомым домом и смотрел на освещенные окна в третьем этаже. Тихий свет, опущены шторы. Сколько раз, бывало, проходишь или идешь между спящих каменных громад, темных и неприветливых, — и вот блеснет оконце тихим светом: кто-то сидит, работает, и у него тепло, уютно... может быть, веселые, счастливые собрались люди. Завидно станет... А тут смотрел я на свет в знакомых окнах и знал, что там, в этих стенах, идет сейчас мучительная борьба угасающей жизни с бесстрастной смертью, там — горе и отчаяние близких...

Я знал, что сердце, усталое, изнуренное болями и муками, израненное сердце, отбивает последние свои удары. Но не верилось, не в силах был я верить, что вот — последний вздох и навеки угаснет трепет этого бунтующего и любящего сердца, которое кипело, горело ярко, и неутомимо, и непримиримо, изумляя и заражая пламенной верой и неугасимой тоской своей, — весь он был всегда, со своею мыслью и мечтой, с томительным ожиданием своим, — все впереди:

...на миг не выпуская
Хоругви мятежа из напряженных рук...

Глухим, ночным шумом шелестел город, сумрачный, любимый им город...

Как колодник оковы свои,
Я люблю этот город великий,
В неповиной омытый крови...

Вспомнились стихи, и точно голос услышал любимого поэта. И как хотелось мне подняться туда, к нему, в третий этаж, позвонить в знакомый звонок и еще в передней, издали, услышать его ласковый, хворый голос:

— Это кто? Казак? По голосу узнал...

И сесть возле, и слушать знакомые, нетерпеливые вопросы, вздыхать на них:

— Ну, что новенького на свете? Что слышно? Хорошенького чего нет ли?..

Слушаешь его, бывало, говоришь с ним, — светлая грусть и тихая радость в одно время нисходят в душу: вот сердце мятежное, непримиримое, сердце бесстрашного бойца, а сколько в нем удивительной мягкости, а какая детская нежность, и ясность, и чувствительная привязчивость в нем, в этом сердце, сколько трогательной сентиментальности уживается рядом с стальной непоколебимостью веры и верности своему «святая святых»...

— Валенки мои хочет Роза Федоровна в сарай выкинуть, а мне жалко: ведь я в них всю Сибирь прошел, сколько этапов они помнят...

— Да ведь грязи-то на них сколько...

— Да, грязи они видели немало, — сибирской грязи... А глянешь на них, и сколько воспоминаний всплывает...

Милый, светлый Петр Филиппович... Это сочетание нежной привязанности детской и стойкости беззаветной так характерно для него, так чудесно выражено им в стихотворении, которое ныне в самых глухих углах его родного края знают наизусть, ибо особенно близок стал его мотив, его глубокий драматический смысл сердцу многих, многих матерей и сестер русских:

Мне снилось сегодня, в безвестном краю,
В слезах я родимую видел свою:
— Скажи, мой желанный, скажи, дорогой,
Дождусь ли тебя я, соколик, домой?..

.....

...И вот уж нет его, певца в венце терновом, певца святого мятежа...

Жизнь мелькнула волшебным, сверкающим
спом...
Ни о чем не жалею, друзья, ни о чем!..

Крест над могилой его, — крест, символ страдания за братьев, самый близкий ему символ, ибо подлинно крестный путь прошел он. Всю жизнь боролся за волю родного народа, за счастье родимого края, всю жизнь ждал рассвета и солнца родимой земли... «Взглянуть — и умереть...» Дождаться, когда «дрогнет наконец испуганная тьма», и сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...» И звал, и ждал соратников, бойцов могучих, чуда ждал...

Я жду, кого-то жду со страхом и любовью,
Кого-то, чья рука чудесное свершит...

Не дождался. Ушел... Родная страна, которой он оставил цветы лазоревые — свои песни, так и не озарила конца его жизненного пути улыбкой счастья своего, — страна родная, которой пел он:

...Каждое дыхание,
Мой каждый помысел, все силы бытия —
Тебе посвящены, тебе до издыханья!
Любовь моя и жизнь — твои, о мать моя!..

Памяти Н. Ф. Анненского

Помню такую сцену. Около телефонной трубки робко и застенчиво толпятся передо мной маленькие ребятки — Богдановичи. Скарлатина заставила их перекочевать из своей квартиры на сторону, а дедушка скучает в разлуке, и вот раз в день приходится им заходить в квартиру малознакомых людей и по телефону обмениваться с дедушкой несколькими словами. Дедушка этот — Николай Федорович Анненский...

Мы просим номер 144-66, и вот начинается беседа...

До меня долетают лишь отрывки, но я уже догадываюсь, когда мои маленькие гости говорят именно с дедушкой, а не с кем-либо другим из семьи. Тогда начинается особое оживление и веселье, слышатся взрывы смеха, изумленные восклицания, нетерпеливая толкотня около трубки и счеты из-за очереди. Это с несомненностью указывает, что у телефона — дедушка и по обыкновению рассказывает что-то ужасно интересное и веселое.

— Что?.. кошка?.. родила?! Сколько котенят?..

По многообразным восклицаниям, любопытствующим вопросам и озабоченным просьбам моих гостей даже я, человек посторонний, составляю себе отчетливую характеристику каждого котенка, остроумно изображенную дедушкой, и заражаюсь общим весельем. С котят неутомимый и неистощимый дедушка, всегда, казалось бы, так заваленный серьезной работой, переходит на другие предметы, и все у него трепещет жизнью, весельем, все полно захватывающего интереса. В заключение — какие-то стихи на бабушку, производящие необычайную сенсацию...

Я как теперь слышу это радостное детское оживление, ясный смех, легкое междоусобие из-за трубки телефона и думаю о том, что не только дети, но и все взрослые, молодые, пожилые люди, которых мне пришлось видеть и знать, — все в беседе с Николаем Федоровичем как-то невольно, неприметно для себя, светлели, оживлялись и смеялись тем же ясным смехом, как его маленькие внучата. Всем и всегда он был интересен, всех легко, без всяких усилий с своей стороны брал в плен, очаровывал своим блестящим остроумием, согревал неизменным радушием, заражал и выпрямлял унылых и пасмурных своим веселым, бодрым, мило-шутливым настроением. В непогожий, холодный и ветреный день поздней осени иногда глянет солнце сквозь разорванные облака, на минутку осветит ласковым светом унылую землю, — и проясneют вдруг знакомые дали, заблестит зеркальными осколками вода в колеях дороги, среди побуревшего жнивья зелеными пучками весело ошетинится молодая травка, — улыбнется и просветлеет добрым и радостным светом лик природы. Таким милым светом вечерним был и Н. Ф. в последние годы невеселой русской жизни...

Силу обаяния Николая Федоровича мне приходилось наблюдать на людях, по политическим симпатиям очень далеких от тех взглядов, каких держался сам Н. Ф. Помню, на юбилейное заседание, посвященное 50-летию Литературного фонда, я затащил своего приятеля профессора, человека беззаботного касательно политики и литературы, но для порядка поругивавшего не только «товарищей», но даже и кадетов. На заседании в числе других ораторов выступал и Н. Ф. Анненский. Речь его была посвящена памяти Н. К. Михайловского. Это было выступление чисто академическое,

не боевое, где обыкновенно с особым блеском развешивался Н. Ф., — но и эта, на мой взгляд, спокойная и розная речь изумила и зажгла моего правого приятеля огнем своей искренней веры в торжество великой борьбы за свободу и благо народа, пленила своим юношеским энтузиазмом.

— Ведь вот... старик... Много ли и жить-то ему осталось? Все равно ничего не увидит осуществленным из того, о чем волнуется. А горит, как юноша.

Обаяние же его в обыденной жизни — на людей, имевших счастье близко соприкасаться с ним, было положительно безгранично. Его искрометное остроумие, никогда не покидавшая его бодрость, озаренная ясность, удивительная чуткость сочетались с особой душевной деликатностью, участливостью и умением подойти к человеку. Даже в объяснениях с полицией, столь часто выпадавших на долю Н. Ф., он способен был сохранить благодушную мягкость, и эта его выдержка, благородная, спокойная, отменно любезная манера беседы, прикрытая флером легкой, почти незаметной, невольной иронии, очаровывала даже гг. приставов и полицеймейстеров...

Мне, провинциалу, не пришлось быть свидетелем наиболее видных общественных выступлений Н. Ф. — ча, которые совпали с годами освободительного движения. Я познакомился и получил возможность часто видеться с ним уже позже, в годы общественной депрессии, в пору «успокоения», и видел его большею частью в тесном кружке единомышленников — на партийных собраниях и на четвергах в «Русском богатстве».

Был он нашим неизменным и несравненным председателем. В заседания наши он вносил всегда особенное оживление своим искрометным остроумием, богатством и разнообразием своих жизненных воспоминаний и блеском суждений. Его частые эпизодические отклонения в сторону от обсуждаемого вопроса прямо зачаровывали слушателей. И к прерванному обсуждению возвращало их лишь шутливое напоминание его самого, председателя:

— Ну-с, государи мои, вернемся к нашим баранам... Столь же обаятельным и многообразным был он и в роли хозяина на четверговых собраниях в редакции «Русского богатства». Много раз возникала у меня мысль — и не у меня одного — записывать за Н. Ф.

его богатые воспоминания, рассказы о прошлом, которые он передавал с изумительным мастерством, его блестящие mots¹, реплики, изящные анекдоты... Сам он писал мало. В последние годы уже не мог писать — ни времени, ни здоровья не было. И я очень жалею теперь, что не занес хоть части щедро расточаемого им богатства памяти и остроумия на бумагу. Так и унес он его с собой в вечность... Мы, его слушатели, были как дети на морском берегу, полном нарядных раковин и многоцветных камешков: кругом — красота, блеск, диковинная игра цветов и красок... И так много, так щедро рассыпано все, что не знаешь, что взять на память, и стоишь очарованный и растерянный...

Я должен признаться откровенно и покаяться в собственном невежестве: из писаний Н. Ф. мне знакомо немного. Знаю, что и статистические, и экономические его исследования считаются ценными работами в своей области, но тем большим человеком, тою значительной, центральной фигурой в русской общественной жизни, каким я видел и чувствовал его, сделали его, конечно, нелитературные его труды и заслуги. Рядом с ним приходилось видеть людей с очень громкими политическими, учеными, литературными именами, но их соседство никогда не затмевало Н. Ф. своим блеском, не умаляло его роста, — на всяком месте, при всяких условиях в нем чувствовался особенный человек, к которому невольно тянулся взор, за которого цеплялась мысль как за лучшего и надежнейшего общественного представителя, судью, защитника, авторитетнейшего руководителя и вождя.

Человек он был — в самом возвышенном и благородном смысле этого широкого слова. Редкостно и счастливо сочетались в нем острота ума и чуткость совести, мужественное сердце и гуманная отзывчивость, доблесть стойкого гражданина и мудрая терпимость отважного борца, много пережившего, передумавшего, перечувствовавшего... Живой и труднодостижимый образец того, какими надо быть всем нам...

И каждый раз думалось, глядя на него: вот человек, которому я без тени сомнения верю свой путь, и он не обманет моей веры... за ним пойду всюду, куда он поведет, куда укажет, и я знаю, что благородное

¹ Словечки (фр.).

слово его ни на йоту не разойдется с делом, что бесстрашно умрет он под завещанным ему знаменем, и легко, и радостно, и славно умереть под этим знаменем за ним и рядом с ним...

Памяти кн. Варлама Геловани

Князя Варлама Геловани встретил я впервые в ноябре минувшего года¹ — в Тифлисе. До личного знакомства имя его мне не много говорило, не более, чем имена других уполномоченных 3-го лазарета Государственной думы — депутатов Николаева, Джафарова и Пападьянова. Надо полагать, что и Россия знала о кн. Геловани едва ли больше, чем о Джафарове и его товарищах. Но судьба судила кн. Варламу запечатлеть молодую жизнь подвигом высокого самоотвержения и славной смертью, — и родина не забудет его.

Говорить о кн. В. Л. Геловани — значит говорить о Третьем думском лазарете. В состав этого санитарного отряда, предназначенного для работы на Кавказском фронте, входило около ста человек. В подавляющем большинстве это были студенты, курсистки, молодые врачи и лица, недавно сошедшие с студенческой скамьи, — хорошая русская интеллигенция, горевшая неугасимой жаждой подвига. Не очень еще давно, в поло-су общественного уныния, пережитого русским обществом, в части нашей печати мрачно — а ипде и не без злорадства — гудели голоса, заявлявшие о банкротстве русской интеллигенции, сводившие к нулю ее неиссякавшее стремление к самопожертвованию. Если бы стоило, можно было бы пожалеть, что громогласные эти люди не стоят близко к нынешней работе интеллигенции на полях сражений, в частности — к работе 3-го этапного лазарета Государственной думы. Тут представилось бы возможным посмотреть и посравнить: рядом работали и чиновники, и простые, нанятые люди, достаточно, казалось бы, закаленные в мускульной работе, в нужде и физических лишениях, — и хрупкие интеллигентные девушки, неокрепшие юноши, вступившие в ряды работников добровольцами. Усердно работал и серый человек, но никакого сравнения не мог

¹ 1914-го.

выдержать он рядом с «жидкими» студентами и курсистками: не за всякую работу брался он охотно, он не мог, например, забыть о времени обеда, не прочь был посчитаться из-за очереди и нередко нуждался в уговорах и поощрении. Впоследствии, впрочем, все это сравнялось — пример молодежи, преисполненной неутолимой жаждой работы, увлек и людей, тративших — поначалу — свои силы экономно и расчетливо. Работали всею одинаково, работали буквально до упаду, работали в условиях невероятной тесноты, грязи, обилия насекомых и непередаваемых лишений. Вместе с кавказскими войсками летучие отряды думского лазарета совершали переходы через перевалы 3-верстной высоты, в 30-градусные морозы и вьюги, ночевали и работали на унавоженном полу курдских саклей, работали без сна и отдыха, таскали на своих плечах раненых и познобленных, отдавали последний кусок голодной детворе беженцев...

Чрезмерное напряжение сил не прошло отряду даром. Турки занесли в стан своих победителей разнообразный ассортимент болезней, в том числе и сыпной тиф. И первой жертвой самоотверженной заботливости о несчастном враге России пала сестра Софья Олышвангер, еврейка, которой, чтобы найти славную смерть в горах далекого Закавказья, пришлось преодолеть целый ряд рогаток, не допускавших ее как еврейку к поступлению в учреждения со знаком Красного Креста. С энергией, столь свойственной ее несчастному племени, она преодолела все-таки препятствия и на далекой чужбине отдала свою жизнь в жертву родине, не согревшей ее ни разу лаской и приветом. За сестрой Олышвангер ушел в могилу студент Николай Томасовский, юноша редкой душевной красоты и деликатности, всегда светлый, всегда добрый, в трудные часы своим неиссякаемым, искрометным остроумием разгонявший наше уныние, — самый яркий цветок в дорогом венке самопожертвования, сплетенном погибшими нашими героями в мирных доспехах...

К этим дорогим могилам прибавились еще пять могил. Вслед за лучшими своими сотрудниками ушел и кн. Варлам Геловани.

Среди кавказских войск санитарный отряд Государственной думы был более известен под именем отряда кн. Геловани, его главноуполномоченного. Если бы

сравнить роль кн. Геловани в отряде с ролью его работников, я сказал бы, что кн. Варлам был не столько головой, сколько сердцем отряда, сердцем кипучим, неутомимым, порывистым, не экономившим своих сил, чуждым хладнокровных расчетов, взвешивания и колебаний. Организационная часть в отряде не всегда была свободна от недосмотров и дефектов. И порой казалось, что отряд не может удовлетворить всей той нужды, которая вопияла к нему отовсюду и на которую без колебаний отзывался главноуполномоченный отряда. В общающихся его чувствовалась как бы некоторая опрометчивость и самонадеянность. Но отряд все-таки шел в самые опасные и трудные места и выходил из них с честью, преодолевая непреодолимые, казалось бы, задания. И тут-то сказывался неиссякаемый огонь подвижничества, который одинаково пылал и в коллективном сердце думского отряда, и в неутомимом сердце его уполномоченного, с которым едва ли кто мог бы сравниться в способности неустанно хлопотать, метаться, неожиданно находить как раз то, в чем чувствовалась нужда в данный момент.

Лично во мне эта неутомимость и неутомимость, это неунимавшееся кипение возбуждали всегда нескрываемую зависть и изумление. И невольно рождался вопрос: неужели это тот — лермонтовский — «сонный» грузин, который в тени чинары льет пену сладких вин на узорные пальвары?

А между тем кн. Варлам был истинным сыном своей прекрасной родины — Грузии. Печать ее красоты и изящества лежала на его внешнем облике. Ее рыцарское благородство, мужество, широта размаха отразились в его духовном складе. Он любил свою живописную отчизну не только той «странной», не побеждаемой рассудком любовью, для которой дорого, близко, понятно, полно очарования все *свое*, родное, начиная от живописных гор и кончая бедным духаном с пьяненьким крестьянином около него. В его любви заметнее всего звучала нота романтической скорби, вздохи воспоминания о былой славе и тоска по солнцу свободы, которое еще не озарило его малой Грузии. Но он мечтал, и ждал, и верил в пришествие лучших дней. И как политический деятель не только ждал и мечтал, но в меру сил своих — действовал, вел борьбу во имя этого светлого будущего...

Представитель трудовой группы в Думе, он пошел на служение отчизне в переживаемую ею великую и тяжкую годину вместе с миллионами ее сынов. На поле кровавой брани он вышел не в бранных доспехах, а в скромном виде трудника, несшего свои силы и свою незаурядную энергию на облегчение страданий окровавленных, поверженных, голодных и изнемогающих, не разбирая, свой ли был перед ним или чужой, брат родной или сын враждебной страны, всем равно отдавая неиссякаемый запас сердечного тепла и внимания. Он не боялся глядеть в глаза смерти и благородную жизнь запечатлел подвигом величайшей любви и самоотвержения, умер славной смертью. Вечная да будет ему память...

О пастыре добром

Памяти о. Филиппа Петровича Горбаневского

В веренище ежедневных длинных списков, несущих вести о жертвах войны, проскользнул недавно один до страпности короткий. В нем собраны были исключительно имена священнослужителей — убитых, раненых и пропавших без вести. Обычно торопливо пробегаешь глазами длинный ряд фамилий с темной тревогой предчувствия и ожидания, что вот-вот непременно наткнешься на знакомое имя — бывшего ученика, или товарища, или родственника, — за десять месяцев войны газетный лист приучил к горьким этим встречам. Но к списку военных священников приступил я без этого тревожного чувства, — ни друзей, ни родства в этой среде как будто не имелось. Однако уже во второй строке нашел имя, дорогое мне по воспоминаниям, имя человека, в широких кругах неизвестного, но замечательного и редкостного, любимого всюду, где его знали, — о. Филиппа Горбаневского.

Может быть, нигде так остро не чувствуется, не режет так глаз противоречие между идеей и ее практическим воплощением, между высотой задачи и долга — и житейской приверженностью к мамоне, как в сани перейском, и нигде в то же время жажда подвига любви и самопожертвования не натывается на более колю-

чие преграды... Почему-нибудь редок *пастырь добрый*, душу свою за овцы полагающий... Встречается пастырь смиренный, пастырь благодушный, пастырь робкий и уничиженный, но пастырь беспокойный, ищущий, непрестанно влекомый от обыденного церковного требоисправления к делу подлинного служения пастырского, — как малый огонек в сыром осеннем поле, редок и одинок...

Воистину пастырем добрым был о. Филипп. Я помню первые шаги его на поприще священнослужительства, — в мою родную Глазуновскую станицу он приехал с не отросшими еще волосами, молодым семинаристом могучего сложения и неистребимой жизнерадостности. Это было в самом начале девяностых годов. Станица переживала тяжелый неурожайный год. У молодого иерея, кроме свежих долгов, ничего не было, из наследственного — лишь старуха мать, вдовая дьячиха, да малые братья на попечении. Приход — правда, не бедный — в переживаемый год не сулил достаточного материального обеспечения: большая часть прихожан сама ходатайствовала у Войска о хлебной ссуде. Старый причт имел старые — и нескучные — запасы, а перед новым переем стояла перспектива неминуемого спартанского самоограничения.

О. Филипп нисколько не приуныл. Знакомство свое с приходом он начал не с тех сильных прихожан, которые уважают особое внимание к себе и, сообразуясь с мерою оного, воздают собственной мерой усердия к духовенству, жертвуя барана или ярку или мешок другой пшеницы, — он пошел к бедноте и мелкоте, труднее всего переживавшей надвинувшуюся нужду. Знакомился, расспрашивал, беседовал, утешал, кое-где умудрялся даже помогать из личных грошей. И сразу прослыл «простым» батюшкой. Даже старообрядцы, всегда косо взиравшие на иереев господствующей церкви, потянулись к нему — сперва с проверяющим любопытством, а потом с самым душевным расположением, — в беседах и словопрениях с ними ни разу не прозвучало у него ни одной ноты, похожей на обычный тон миссионерских состязаний с бесплодными пререканиями и — порой — перебранкой. Но особенно «простота» нового священника сказалась в необычайном дотоле отношении к плате за требы: никакой торговли, — что дадут, то и благо. Конечно, прихожане — правду

сказать, и ранее не обремененные чрезмерностью таксы за требоисправление — широко использовали новое обстоятельство в ущерб клиру, а так как церковь была двухштатная, то разница отношений в плате не могла не породить некоторой смуты в умах паствы и прискорбных трений внутри клира...

Это была очень неприятная сторона духовного быта. Больших усилий стоило о. Филиппу не замечать ее и идти своей намеченной тропой. Он продолжал суетиться, лечить, помогать и взывать о помощи там, где она особенно настоятельно требовалась. Был полон планов, пытался устроить «что-нибудь просветительное». Для общественной деятельности в глухих уголках и теперь невелик простор, а тогда даже мысль о самых благонамеренных чтениях с волшебным фонарем или о библиотечке для народа казалась покушением на потрясение основ. Препоны ставились почти непреодолимые. Помню, участковый заседатель (становой) на первых же шагах нашей общественной станичной библиотеки подсек нам крылья, изъяв из обращения книжку *«О разведении тмина»* — на том основании, что она не значилась в каталоге разрешенных книг...

Ко мне о. Филипп заходил частенько — почитать «Русские ведомости» и что-нибудь «от Толстого». В те времена лишь в литографированных списках ходили религиозные и философские творения великого писателя земли русской. У меня, только что оставившего студепеческую скамью, они имелись и для местной нашей интеллигенции составляли предмет некоторого притяжения. Сам я в то время стоял на распутье. Хотелось чем-нибудь послужить родному краю, пойти в народ, и именно в свой народ, среди которого протекло детство. Но с филологическим дипломом не за что было уцепиться; подступов к этому народу ни с какой стороны не открывалось. Была даже кратковременная полоса, когда я подумывал, нельзя ли будет надеть иерейскую рясу и этим способом стать поближе к народу. Сделал шаги в этом направлении, пошел к донскому архиепископу Макарию. Покойный старичок, в скромном монашеском подряснике, благодушный и словоохотливый, выслушал мою спутанную просьбу, немпожко подивился, окинул критическим оком мое безусое лицо и студенческую тужурку, в которой я явился, и, очевидно,

ничего не нашел во мне соответствующего просимому сану.

— Нет, брат, не годишься, — сказал ласково владыка, — и что это тебе вздумалось?

Бывший при этом законоучитель Новочеркасской гимназии о. Кириллов — теперь, если не ошибаюсь, полтавский архиепископ Назарий — прибавил:

— Что за охота вам, в самом деле, — поповская стезя зело терниста...

— Да, брат, верно! — подхватил владыка, — я сам был попом, собирал халтуру, и все такое... горе! Иди лучше своей дорогой. Не хочешь в учителя, подавайся в артиллерию: парень крепкий, плечи у тебя здоровые, орудия ворочать можешь, — казаку самое подходящее дело...

Каюсь: ушел я от архиерея теми же легкомысленно-веселыми ногами, какими и пришел, не огорчившись отказом. Неудачная эта попытка моя надолго послужила предметом юмористических упражнений надо мной моих друзей и приятелей. Немало потешался и о. Филипп — в нем была сильная юмористическая жилка...

Но вскоре и ему самому пришлось предстать перед тем же благодушным архиереем и беседа с ним закончилась не столь безобидно, как со мной. Владыка держал в руках рукописное сочинение автора, оставшегося для нас неизвестным, и стал задавать вопросы, касавшиеся и просветительной суеты о. Филиппа, и смуты приходских умов, и по поводу неодинакового отношения к таксе за требоисправление, и почитывания сочинений Толстого.

— И яички вкушал в Петров пост? — под конец в упор задал вопрос архиерей.

О. Филипп, не раз участвовавший в рыболовных походах на речку Медведицу и разделявший с молодой компанией греховные трапезы, не стал запираться.

— Грешен, вкушал.

— То-то вот... начитался Толстого-то!..

Вернулся из этой поездки к архиерею о. Филипп лишь затем, чтобы забрать семью и распрощаться с станицей. Архиерей за вольнодумство и в видах охлаждения его просветительного пыла перевел его в бедный хохладский приход слободы Степановки. Проводили его прихожане и старообрядцы со слезами. И доныне глазуновцы, вспоминая о нем, говорят, что такого слав-

ного, «простого» батюшки никогда у них не было и не будет...

В Степановке епархиальное начальство круто пресекло всякие попытки общественных начинаний о. Филиппа. Тут же вскоре умерла его жена Анна Ивановна. Остался один о. Филипп, и тяжкое время настало для него. Рясу снимать не хотелось — был слишком сердцем привязан к церкви, верил в возможность — и дорожил ею — служить с пользой народу в сане духовно-пастырском. Но стезя, подлинно, была зело терниста... После долгих размышлений и колебаний решил поискать укрепления сил в науке, поехал в Московскую духовную академию. Но наука открыла ему лишь дебри догматики, апологетики, гомилетики, патристики и духовного алкания не утолила. Пришлось, учась в академии, искать знаний путями окольными. «Тоскует душа в этой каменной пустыне, — писал он мне в то время, — хотелось бы назад, к своим хохликам и казакам, — легче дышать там. Понимаю теперь апостола Павла, который, где бы ни был, все своих родных жидков в сердце держал...»

После академии он остался, однако, в Москве — законоучителем Елизаветинской гимназии. Педагог вышел из него хороший, — мне приходилось от учениц его слышать восторженные о нем отзывы. Но, судя по его письмам, педагогическая деятельность все-таки не давала ему надлежащего удовлетворения, — хотелось найти «настоящее» дело. Уже потом, в московских газетах 1905 года, я встретил имя о. Филиппа.

Встретились мы весной 1906 года. Розовыми упованиями были преисполнены оба, говорили о возрождении России. О. Филипп с восторгом распространялся о тогдашнем движении в среде духовенства и о близком очищении церкви от мусора и нечистот... Вспомнили молодые наши годы со всей их теснотой, и даже не верилось, что до такого чудесного времени дожили... Было нам по 35 лет. Однако черная борода о. Филиппа уже заметно была переплетена серебряными нитями...

Не знаю, сколько серебра прибавилось в ней после, когда прахом рассыпались неумеренные наши упования... За последние десять лет не пришлось нам встречаться, лишь изредка переписывались...

И вот встретил я его в списке убитых в бою... Строгательной простотой описал последние часы его жизни

церковник N-ского полка Захар Селиванов: «Начался бой, батюшка пошли в рядах солдат, с крестом в руках, присутствуя с криком *ура* в атаке, в передних рядах...»

Перед глазами моими встал этот славный человек, всегда горевший огнем самопожертвования, болевший болью родной страны, скромный, простой, чуждавшийся эффекта. Законоучитель женской гимназии, он в наши трудные дни оказался в рядах бойцов, умирающих за честь родины. Мягкий, исключительно сердечный, чуждый вражды и крови, пастырь духовный, он, воодушевляя на бой, умер смертью героя рядом с неизвестными героями, добровольно приняв на себя часть великого скорбного бремени, несомого родной землей...

Сестра Олышвангер

Из закавказских впечатлений

Расставаясь со своими товарищами по 3-му лазарету Государственной думы, я не без грусти думал, что со многими из них, может быть, никогда уже не встречу в жизни: судьба разбросает нас по разным углам и закоулкам обширного отечества, и постепенно сотрется в памяти, потускнеет, что было светлого, душевно-трогательного в нашей совместной походной жизни, — тесная близость и братская простота обихода в условиях неведомых раньше лишений и исключительного рабочего напряжения.

Одно я знал: что не потускнеет самое ценное, самое дорогое, вынесенное из этой кратковременной близости с русской молодежью, — радостно укрепленная вера в русскую интеллигенцию, в русскую душу, неугасимо горящую огнем подвига и самопожертвования...

Но никак бы я не мог тогда допустить мысли, что многих моих юных друзей, тепло и ласково меня провожавших, таких веселых, остроумных, жизнерадостных, я не увижу потому, что через какой-нибудь месяц оборвется их молодая жизнь в разгаре самоотверженной работы, что покинут они этот лучший из миров, исполняя завет величайшей любви — «положить душу за други»...

Вышло же так.

Был такой период в ходе военных действий на Кавказском фронте после декабрьского разгрома турецкой армии, когда огромная часть черной медицинской работы и заботы лежала исключительно на думском отряде. В приказе по Кавказской действующей армии от 5 февраля 1915 г. за № 47-м об этом рассказано подробно и обстоятельно. Теперь нельзя и не время касаться некоторых деталей войны. Между прочим и того, до каких пределов может притупиться в обстановке массовых смертей и потоков крови чувство сострадания к человеку, как чудовищно вырастет равнодушие даже там, где ему никак не должно быть места, и как много надо горения в сердце, чтобы не поддаться стихийному одеревенению, не дать «замерзнуть» совести.

Заслуга думского отряда — в том, что среди непередаваемых человеческих страданий он отверг практически успокоительное «ничего не поделаешь» и ринулся на борьбу со страданием, не задаваясь вопросом, хватит ли у него сил и средств. Самоотверженные борцы сделали огромное дело, но не одна жизнь сгорела в этой исключительной по трудности борьбе.

А работа была во всех смыслах черная, — и по обстановке, и по тягости даже физической, и главным образом по состоянию той массы, которая явилась объектом попечения думского отряда. Это — наш воистину темный и несчастный враг, голодный, оборванный, обмороженный, невообразимо грязный, обовшивевший, с запущенными ранами и язвами. Неудержимым потоком он сдавался в плен, и едва ли были более потрясающие картины, как пришедшие в стан победителей турки у котла горячей пищи. Толпа бросалась к солдату, державшему чашку, сваливала более слабых, топтала, тянулась руками, умоляла, толкала, бранилась, а из-под ног слышались раздирающие стоны. Рассказывала мне сестра: когда одного такого истоптанного, кричавшего, облитого похлебкой она попыталась было оттащить как-нибудь в сторону, — а он лежал у самого котла, — турок замотал головой и глазами умолял не трогать его, оставить возле котла, надеялся, что тут вернее получить глоток горячего...

В лазаретах, брошенных бежавшими турецкими войсками, напоминающих грязью и вонью что угодно, только не лазареты, вперемежку с живыми, еле слышно от истощения стонавшими людьми лежали уже разло-

жившиеся трупы, которых некому было убирать. «Су!» (пить) — единственное слово выговаривали запекшиеся уста умирающих в тифозном огне...

Не все, на ком лежал долг, могли и не все, может быть, хотели победить чувство брезгливости и страха перед заражением, найти в себе достаточно мужества, чтобы не забыть, что это — люди, несчастные и непонинно страдающие, подойти к ним и омыть их раны...

Пришел думский отряд. Хрупкие с виду студенты-санитары, юные сестры-студентки без колебаний принялись перетаскивать на своих плечах этих несчастных, остро пахнувших, кишащих насекомыми людей, обмыли, перевязали, накормили. «Эффенди-доктор!» — со слезами благодарности, умиленно бормотали турки и украдкой ловили руку санитары или сестры и прижимались к ней воспаленными губами.

А эффенди-доктора по вечерам усердно занимались охотой на насекомых, которые перекочевывали на них с пациентов. И как ни наметался глаз, как ни научился отличать вошь турецкую, — гигантских размеров и необыкновенной плодовитости вошь, — от русской, а турецкая сделала свое дело: после двух недель работы некоторые нашли безвременную могилу рядом с братскими могилами героев, живот свой на поле брани положивших...

Первой сошла в могилу сестра Софья Ольшвангер.

За время вынужденного безделья в Карсе, где я присоединился к думскому отряду, в среде веселой, шумной, остроумной молодежи Софья Ольшвангер, немолодая, некрасивая, тихая девушка, ничем не вызывала к себе внимания: в меру общительная, не всегда сдержанная в атмосфере тех товарищески фамильярных отношений, которые вошли в обиход в тесноте и скуке бивуачной праздности, она держалась как-то в стороне, в тени. Но когда наступила страдная пора, — бессонные ночи, дни безотрывной работы в тесноте, холоде и грязи курдских саклей, когда начались переходы по горам в метели, по пояс в снегу, ночевки под открытым небом в 30-градусные морозы, — тут тихая девушка со скорбной складкой между бровями выделилась своей исключительной энергией, неутомимостью и безотказностью в работе, как прекрасный голос большого артиста выделяется в хоре менее сильных голосов. Отдать последний свой кусок голодному, взять на себя

вне очереди добровольно самую черную, самую тяжелую работу,— прежде сестры Сони этого никто не мог сделать. Помню, на одной ночевке, когда мне досталось лечь в дверях, в самом коротком соседстве с наружным холодом, сестра Ольшвангер подошла ко мне и стала уговаривать взять ее шубу, чтобы укрыться от холода. «Право же, у меня шаль теплая, мне шуба совсем ни к чему...» Было это смешно и трогательно. Неизменно верна себе была сестра Соня везде и всюду: вся мысль — о других, менее всего заботы — о себе....

Чтобы принести жизнь свою в жертву родине в годину тяжких испытаний, Софье Ольшвангер пришлось пройти через ряд рогаток и препятствий, которыми так обилен тернистый путь сынов и дочерей ее племени. Еврейка. Общины, носящие Красный Крест, не зачисляются в свои кадры евреев. А не зачислившись в такую общину, нельзя получить доступ к работе милосердия. Только настойчивое ходатайство покойного кн. Варлама Геловани помогло Софье Ольшвангер, опытной земской фельдшерице, войти сестрой милосердия в комплект 3-го лазарета Государственной думы. Едппствепное, может быть, счастье, которым подарила ее родина, скупая на ласку и привет к ней, дочери обделенного правами народа! И зато она, родина, должна была принять чистую жертву бедной падчерицы своей — ее прекрасную жизнь: и маленький холмик каменистой земли среди величавых гор, за Мерденеком, — в Ольтинском направлении, — будет в ряду славных русских могил — скромная могила сестры Софьи Ольшвангер...

Рядом с ней выросло потом еще шесть товарищеских могил.

Край родной

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов ее над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок над лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошке месяц молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных моих могил, и над левадой дым княжичный, и пятна белых куреней в зеленой раме роиз вербовых, гумно с буреющей соломой, и журавец, за-

стывший в думе,— волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый, милый Дон — не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это, родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой.... Вскипит, взволнуется и кликнет клич — клич чести и свободы...

И взволновался тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит, и плачет, и зовет. То край родной восстал за честь Отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и утол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон,— родимый край!..

КОММЕНТАРИИ

Творчество Ф. Д. Крюкова охватывает период более чем в четверть века (1892—1920). Подсчитано, что за это время он написал и напечатал (главным образом в периодической печати) около двухсот пятидесяти повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, рецензий, корреспонденций, сценок, стихотворений в прозе. Отдельными изданиями вышли только два сборника его произведений: Казацкие мотивы. Очерки и рассказы. Издательство журнала «Русское богатство». СПб., 1907 («Казачка», «В родных местах», «Станичники», «Из дневника учителя Васюхина», «Клад», «Картинки школьной жизни», «К источнику исцелений», «Встреча»), и «Рассказы». Т. I. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1914 («Мать», «Сеть мирская», «У окна», «Мечты», «Зыбь»). Еще на родине, в Ростове-на-Дону, в 1905 году в знаменитом на юге издательстве Н. Е. Парамонова «Донская речь» появился рассказ «В родных местах». Другие издания произведений донского беллетриста библиографами не зафиксированы.

По-видимому, подавляющее большинство из написанного Крюков опубликовал в раннюю и зрелую пору творчества — в столичной прессе: газетах «Сын отечества», «Петербургская газета», журналах «Исторический вестник», «Северный вестник», «Бодрое слово»... Но своим, по духу близким всегда считал демократический передовой журнал Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко «Русское богатство» (здесь напечатал все лучшие свои произведения с 1896 г. по время его закрытия в середине 1918 г.). В 1910-х годах печатался в столичной газете конституционалистов-демократов «Речь», в газете либерально-демократического направления «профессорских» «Русских ведомостях» (Москва), и тоже вплоть до их запрещения в том же восемнадцатом.

Дооктябрьская критика не очень баловала Крюкова своим вниманием, но отнюдь и не замалчивала (как это случилось после его гибели). В литературу он вошел спокойно, спокойно в ней пребывал, передовая критика в целом благожелательно встречала его вещи и однотомники, ретроградная старалась не замечать (причины ясны: о якобы до конца верном режиму «всевеликом Войске Донском» полагалось писать только патриотически или вовсе не писать).

На родине при жизни писателя вышел единственный юбилейный сборник — «Родимый край» (книгоиздательство «Север Дона», Усть-Медведицкая, Донская область, 1918), надо полагать, уже в момент появления в свет ставший библиографической редкостью для культурных центров страны, раздираемой междоусобицей. Весь доход с книги издатели предназначали «на образование стипендии имени Ф. Д. Крюкова при Усть-Медведицких средних учебных заведениях». Сборник включал отрывки из произведений писателя, письма его к В. Г. Короленко, критические работы и воспоминания о Крюкове.

Всего около ста материалов о нем увидело свет к нашей поре (включая и прессу русского зарубежья).

В последние десятилетия наконец-то стали появляться работы, посвященные Крюкову или под разными углами зрения рассматривающие его жизненный и творческий путь в связи с проблемой авторства «Тихого Дона», публикации его писем и переписки с коллегами литераторами. Начало дала первая оттепель, затем после «заморозков» — вторая. Подавляющее большинство работ носят объективный, позитивный характер. Робко, редко (сказалась инерция) появляются и публикации произведений писателя, затерянные в старых журналах, отысканные в архивах.

Архив Ф. Д. Крюкова находится в Отделе рукописей Ленинской библиотеки (ф. 654), какие-то материалы хранятся в рукописных отделах институтов Мировой литературы (ИМЛИ, Москва), Русской литературы (ИРЛИ, Пушкинский дом, Санкт-Петербург) и Центральном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Составитель этой книги воспользовался также материалами государственных архивов Ростовской, Орловской, Нижегородской (Горьковской) областей, Тургеневского музея в г. Орле, фондами ранее недоступными специальных хранений.

Рассказ опубликован в «Русском богатстве», 1896, № 10, под псевдонимом А. Березинцев. Это первое художественное произведение Крюкова.

Судьба русской женщины — матери, жены — всегда волновала писателя и нашла отражение в ряде произведений начиная с «Казачки». Более всего его интересовал социально-нравственный аспект темы. С идеей рассказа связан вопрос, два года спустя затронутый в очерках «На тихом Дону». С детства, отмечает в них автор, казачка привыкает к свободе обращения с женщиной и к некоторой равноправности. Этому способствовал весь общественный казачий уклад, в особенности дом и улица; замуж шла в 16—18 лет, а в 20 уже почиталась «перестарком». Уходя на 3—4-летнюю службу, казак оставлял на своих «стариков» молодую жену. И если раньше свекор и свекровь при сварах молодых одергивали обоих («дети, не купоросьтесь между собой!»), то теперь для юной женщины, оказавшейся в чужом доме одинокой, эти люди невольно становились ее тюремщиками, а безмужняя «волюшка» дорого обходилась молодой «жалмерке», если она осмелится подумать о воле. Крюков, беллетрист, автор «Казачки», повести «Офицерша» (1912) и др., говорит о ненормальностях такого жизненного уклада, когда условия быта нередко приводят людей к трагедии: замаранные дегтем ворота, избавление с помощью темной бабки от «нагулянного» ребенка, не всегда «старики пересопят», муж «побьет год-другой и бросит», иной раз в новочеркасском воспитательном доме прибавка (автор упомянутых очерков подсчитал: «накотных» младенцев на свет является шестая часть «законных», и по этому показателю область вдвое перекрыла нормы Западной Европы...). Для героинь Крюкова «кончился милый праздник молодости... пришли будни» («Офицерша». — Русское богатство, 1912, № 4).

Один из критиков сумел четко схватить важное своеобразие творческой индивидуальности писателя: «Любовь к быту, особенно к казачьему, выливается у Крюкова в форме строжайшего реализма, лишенного всяких нажимов, всякого шаржа... Правдивейший из бытопочклонников, Крюков не позволяет себе никаких уклонений от жизни, никакого творческого преобразования действительности. Среди современных беллетристов трудно указать ему равного по безусловной правде изображения. И особая, одному только

ему свойственная художественность заключается в поразительном его умении достигать высокого без всякого полета фантазии и захватывать глубины жизни почти без всякой психологии. В этом отношении можно сравнить только со старым Аксаковым.

Простые одежды его повествований поражают скромностью и незаметностью. Его рассказы — ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без всяких ухищрений в костюмах, но за этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья» (Пинус С. А. Бытописатель Дона. Родимый край).

В родных местах

Рассказ появился в сентябрьской книжке «Русского богатства» за 1903 год, подписан псевдонимом тех лет — А. Березинцев.

В копировальных (редакторских) книгах Короленко (№ 2) есть об этой рукописи Крюкова помета: «В родных местах», очень хороший рассказ... Фигура казака — вора, конокрада, героя и поэта — нарисована замечательно хорошо». И итоговый вывод: «Принято» (Короленко В. Г. Письма к молодым литераторам. — Вопросы литературы, 1962, № 4, с. 151).

Картинки школьной жизни

Рассказ появился в июньской книжке «Русского богатства» за 1904 год, псевдоним автору понадобился в последний раз.

Причиной этого стал конфликт преподавателя истории и географии Орловской мужской гимназии надворного советника Ф. Д. Крюкова с директором, инспектором и частью педагогов: в городе был разгадан псевдоним писателя — слишком многие узнали себя в персонажах рассказа. Сохранились воспоминания ученика писателя Н. А. Александрова: «При Крюкове директором был Петрученко, инспектором Недбалъ. Человек Крюков был замечательный, хорошо относился к учащимся. Когда ученик не знал урока, он не ставил двойки, а только кружочек. Но преподаватель — никудышный. Любил читать. По просьбе учеников. Читал полгода «Забутую крепость» Василия Ивановича

Немировича-Данченко. Появление очерков вызвало переполох. Узнали себя Недбалъ, Петрученко, Горшечников. Добрый Горшечников ставил единицы беспокойным ученикам» (фонды Тургеневского музея в г. Орле)¹. Директор О. А. Петрученко под давлением руководства Министерства народного просвещения и Московского учебного округа стал преследовать Крюкова мелочными придирами. Автор воспоминаний критик «Русского богатства» А. Г. Горнфельд, имея в виду вольномыслие коллеги, писал: «Для Министерства народного просвещения его направление в связи с неизменной задушевностью по отношению к ученикам было совершенно неприемлемо» (Вестник литературы, 1920, № 6). Сохранились записи Крюкова, связанные с орловской историей, они ярко высвечивают личность писателя, его взгляды. «Боюсь ли я их? Или мне жаль, что они враждебно смотрят на меня и не кланяются? Или я чувствую обиду от общности их озлобления против меня, оставшись одиноким? Не знаю, как пойдет дальше, но теперь это меня волнует, эти неприязненные и сочувственные взгляды.

В сердце занимается что-то, это не страх, это — ожидание... И смех зарождается в моей груди, и волна любопытства и готовности к бою, к игре подымается, и некоторое замешательство от незнания, где ждать, как ждать» (Крюков Ф. Д. Записная книжка с литературными и другими пометками. ОР ГБЛ, ф. 654, к. 1, ед. хр. 15). На упреки, что написал пасквиль, писатель нашел ответ: «Если все пасквили таковы, то это не дурной род литературы». Неожиданными сторонниками попавшего в опалу наставника выступили старшеклассники: прочли даже те, кто по программе ничего не читал, всем понравилось; заезжий студент обрадовал: у них в Брянске очередь на журнал до конца лета; отозвались даже родные Глазуны, спрашивали, не могут ли чем помочь в настигшей земляка беде.

Следы орловского «литературного прегрешения» сказались в позднейшем творчестве Крюкова. В 1911 году в «Русском богатстве» он напечатает интересный рассказ «Спутники», фабула которого будет построена на контрастном раскрытии двух в чем-то схожих, в чем-то полярных

¹ Одна оговорка: многочисленные свидетельства — Крюков и человек, и педагог замечательный, ученики любили за гуманное к себе отношение, за верность истории, литературе. Чтение «Забытой крепости» — своеобразный протест против казенных программ, давящей атмосферы оторванной от живой жизни гимназии, «мертвого дома», как писал Крюков.

образов педагога и офицера. Последний из тех, кто хотя и пил за конституцию предостаточно, но у которого «революционная окраска» молодости к поре знакомства с учителем «без следа сползла»; учитель же отнюдь не революционер (у Крюкова вообще нет героев с крайними леворадикальными взглядами), но демократизм его прочен, незыблем. Он двух станов не боец, но единомыслия с начальством не высказывает, верноподданническими чувствами не заражен, «гимназических сосулек» презирает, хотя за вольномыслие бит, однако ничему не научился: «времена нищеты, и холуйства, и жестокости — не новость в родной стране»; все эти качества не прилипли к учителю «из простых»: в этом персонаже немало автобиографического, именно того, чем всегда наделял любимых героев Крюков.

Встреча

Очерк появился в ноябрьском номере «Русского богатства» за 1906 год.

Гражданская энергия Крюкова в первую революцию проявилась в публицистической и политической деятельности. Противниками писателя стали ретрограды, ставшие на пути к обновлению: «коричневые» генералы, прославившиеся в позорной войне с японцами *неодолением*, и генералы, стяжавшие «победные» лавры в борьбе с собственным народом, носители *безграмотного патриотического красноречия* и сторонники *нагаечной* политики... Крюков оказался одним из оппонентов ортодоксального писателя-монархиста (будущего донского атамана, казненного в 1947 г. генерала — сподвижника фашистов) П. Н. Краснова. В корреспонденциях его с войны черное упорно представлено белым, и недостатков он не признает, хотя бы их последствием стали национальный позор, сотни тысяч человеческих жизней, такое же количество сирот, вдов и миллиарды потраченных народных денег. Г-н Краснов пишет, отмечал Крюков, что никогда не видал «коренного офицера, бегущего от врага». Кто «коренной» и кто не «коренной» офицер, г-н Краснов не сказал, замечает писатель. Как и отказал «серому» мужику в солдатской шинели судить здраво о войне. Этих мужиков г-н Краснов называет «ползающими рабами», но они, напоминает Крюков, «сошлись с народом, у которого все построено прежде всего на чести и честности», с народом, который считает, что «у войны за гуманность

и право нет врагов», «каждый сын которого есть и гражданин своего отечества в обширном смысле этого слова». И если «мужик» начинает осуждать «барина» — последний это заслужил (ОР ГБЛ, ф. 654, к. 2, ед. хр. 35). В этом единоборстве Крюков всегда на стороне народа, его демократизм самой чистой пробы. В очерках «О казаках» им подведен своеобразный итог своей борьбе в пору революции; даже *дух умеренной строптивости*, с которым выступили казачьи депутаты в Думе, разделил их на людей типа героя очерка «Встреча» и тех, кто пробуждал общественное казачье мнение, *пробуждал и оживлял мысль*, выступал против внесения позорной *полицейщины* в народную среду, ее покорного подчинения начальственному воздействию, казарменно-нагаечной кастовой спайки. Во всем этом Крюков видел цели российской интеллигенции, в том числе и казачьей: «война за гуманность и право».

Сеть мирская

Рассказ появился в последнем номере «Русского богатства» за 1912 год.

Один из критиков отметил характерные черты этого проникнутого гуманистическими, общечеловеческими тенденциями произведения: «Реализм Крюкова положительно бесстрашен, — не только тем, что он нередко решается касаться всех страшных и грубых низин жизни, но и тем, что часто, наоборот, обрабатывает он темы, в которых нет ничего страшного, ничего поразительного или исключительного, нет, казалось бы, вообще никакого материала для художества, но из этого житейского ничего автор создает нечто, создает непререкаемо прекрасный мир, и притом средствами изумительно простыми... Таковы, например, его рассказы «Мирская сеть», «У окна», «Мечты» (Пинус С. Бытописатель Дона. — Родимый край, с. 12).

Шульгинская расправа

Исторический очерк, напечатан в столичном журнале «Исторический вестник», 1894, № 9 (том 57), под псевдонимом А. Березинцев.

Одной из наиболее приметных черт душевного облика Ф. Д. Крюкова было его совершенно удивительное, благо-

госейное отношение к отчему краю. Позднее он признавался: «Самые заветные, самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос. Я так был горд его прошлым, которое мне представлялось в романтическом освещении вольнолюбивым и героическим, немножко идеализируя серое зипунное рыцарство старины, отгулявшее в истории шумный и головокружительный праздник, безалаберную, удалую вольницу и голытьбу. И горел я стыдом за настоящее, за ту роль, которая в годы тяжелой борьбы выпала на долю потомков славных казаков, моих станичников. Недоумевал и... бессильно сетовал...» (Первые выборы.— Русские записки, 1916, № 4, то же в кн.: «К 10-летию 1-й Государственной думы. 27 апреля 1906—27 апреля 1916». Сборник статей перводумцев. Пг., изд-во «Огни», 1916. Здесь статья названа «Выборы на Дону»). Уже в пору мировой войны на Кавказском фронте, встретив проходящие через турецкий город идущие в бой казачьи сотни, писатель задумается: «Как и встарь, вы поражаетесь чертами выносливости, невероятными переходами, нечувствительностью к холоду, грязи, морозам и всяким иным лишениям» (очерк «Около войны». — Русские записки, 1915, № 3). Крюков всю жизнь стремился подчеркивать в казачестве лучшие его черты, унаследованные от предков, и не жалел сил для развенчания пороков, которые связывал с влиянием режима. Его выступление в 1-й Думе как депутата от Области войска донского 13.06.1906 г. пронизано желанием опереться на «отдаленные, но не угасшие традиции», которые входили в сознание несмышленища «с молоком матери, с дедовскими преданиями, со словами и грустным напевом старинной казачьей песни». Крюков считал, что самодержавие губит казачество, рушит его традиции, развращает верхушку, а низы хочет сделать послушным орудием в борьбе с революцией: поэтому в своих исторических вещах, в общественных выступлениях писатель стремится на первое место поставить свободолюбие казачества, человеческие, гуманные начала в родном народе — в противовес кастовой изолированности, бездумному повиновению монархическому начальству. «Отдаленный предок казака, — отмечал думец Крюков, — бежал когда-то по широкой дороге на Дон, бежал от панской неволи, от жестоких воевод и неправедных судей, которые кнутом писали расправу на его спине. Он бежал бесправный от бесправной жизни. Он борьбой отстоял самое дорогое, самое высокое, самое свет-

лое — человеческую личность, человеческое достоинство, ее человеческие права и завещал своим потомкам свой боевой дух, ненависть к угнетателям, завет отстаивать борьбой права не только свои, но и всех угнетенных» (цит. по кн.: Родимый край).

Кондратий Афанасьевич Булавин (около 1660—1708) — руководитель восстания (1707—1708) против социальных и экономических притеснений, жестокой линии Петра I на централизацию, которую вело в ущерб окраинам петербургское правительство. Происходил он из донских казаков, был уроженцем станицы Трехизбянской, сыном станичного атамана. Ядро восставших составили донские казаки, в основном беднота, «голутвенные», мелкие посадские русские люди и татары, мордва, башкиры, вотяки, а также раскольники, беглые крепостные. Булавин принял булаву войскового атамана. Восстание охватило огромную территорию — от Запорожской Сечи до Донского и Волжского Левобережий. Казацья верхушка в трудный момент откачнулась от восстания, ее заговор оказался успешным, скорее всего Булавин был схвачен и убит старшинами. Волнения и после его гибели не сразу спали. В итоге движения формально вольный до этого Дон утратил свою независимость. Крюков в рассказе не отступил от правды документов, верно расценил главные черты восстания — его антифеодальный характер и вольнолюбие.

На речке лазеровой

Рассказ напечатан в «Русском богатстве» за 1911 год, книга 12-я.

Критик отмечал: «Крюков завораживает своей простотой и еще больше своей добротой, любвеобильным прониканием к жизни, глубокой незлобивостью к своим и нашим общим обидчикам, которых так много в жизни в лице тупозлых людей, жестоко-суровых учреждений или печальных обстоятельств.

Дурные люди, отрицательные типы есть, но он защищает их, хотя в защиту вроде ни слова. Эта защита идет из глубин любви и незлобия... Это незлобие автора к своим героям подобно незлобию некоторых его героев и исходит из одного трудноопределимого общего источника высокообъективного свойства» (П и н у с С. Бытописатель Дона. — Родимый край, с. 12).

Угловые жильцы

Социально-бытовой очерк, помещен в январской книжке «Русского богатства» за 1911 год.

Это одно из немногих произведений Крюкова о столице. Писатели-демократы создали известную традицию в отражении периодических массовых переписей (например, очерк С. Я. Елпатьевского «На переписи», напечатанный в том же «Русском богатстве» в 1899 г.); Крюков продолжил эту линию. Демократические и социалистические тенденции в его творчестве нашли дальнейшее развитие и претворение в очерке. В качестве примера приведем его слова о боязни «уверенный об одичании, хулиганстве, пьяном оскотении народа»; и он порадовался за «милых угловых обитателей, ибо... больше одичания, хамства, некультурности проявили все-таки бельэтажи, а не подвалы, не чердаки, не угловые клетки «Васиной деревни», она же «Пропартур». По-прежнему симпатии народного социалиста Крюкова принадлежат людям любых национальностей и сословий — дворянского, мещанского «и кончая всезатопляющим крестьянским морем».

Без огня

Путевой очерк, опубликован в декабрьском номере «Русского богатства» за 1912 год.

В. И. Ленина заинтересовала работа Крюкова, он откликнулся заметкой в журнале «Просвещение, 1913, № 2, в которой счел возможным противопоставить *народнический социализм* (*гнилая и смердящая мертвечина*) и крестьянскую демократию (*живая сила*); священник — думающий, ищущий, сочувствующий деревенскому трудному бытию (и мужика, и низшего иерея), — почему-то назван у автора заметки *сладеньким попиком* (ПСС, т. 22, с. 368).

Неопалимая купина

Повесть напечатана в журнале «Русское богатство», 1912, № 2. По-видимому, город, изображенный в повести, уже не Орел, выведенный в других предшествующих «учительских» произведениях («Из дневника учителя Васюхина», «Картинки школьной жизни»), или «Казачка» (где действие происходит в станице), а Нижний Новгород. Далее — сплошные загадки: почему эта очень яркая, сильно

написанная повесть не включена автором в его второй од-
нотомник? Ничего не известно о прототипах произведения;
ни строчки у автора, воспоминателей, в переписке Крюкова,
Короленко, Горнфельда, Дермана, Пешехонова, Мякотина
и др. о повести. Все эти вопросы предстоит осветить иссле-
дователям.

Критик Антон Крайний (З. Н. Гиппиус) (1869—1945)
выступил в модернистском журнале с откликом на повесть
в привычной ернической манере. В заметке «Журнальная
беллетристика» Гиппиус писала о Крюкове: «чем меньше он
претендует на «искусство», чем дальше от «повести», тем
он милее, проще, тем значительнее небольшие, но всегда
верные мысли его очерков. И тогда я его даже люблю...
на страницах «Русского богатства». В «Неопалимой купи-
не» Крюков — увы! — слишком принялся «рисовать» своего
учителя гимназии; и вышло худо» (Русская мысль», 1913,
№ 4, с. 24 2-й пагинации). Короленко признал такую кри-
тику со стороны «декадентской мадонны» (как называли
Зинаиду Гиппиус) необъективной и несправедливой.

Четверо

Рассказ увидел свет в «Русских записках», 1915, № 5.

О своем участии в войне и возможности писать о ней
поведал Крюков в послании к редактору «Русских ведомос-
тей» так: «Условились мы в ноябре, сколько помнится,
что я еду прибить щит ко воротам Цареграда. Но — как
тоже небезызвестно — щита я не прибил и проболтался на
Юго-Западном фронте. Пробовал кое-что послать, выбирал
впечатления наиболее мягкие и доброкачественные и, уже
возвращаясь в тыл, увидел свои статейки в печати. Должен
сказать, что вид их (особенно первых двух) изумил меня
убожеством внешности и содержания.

...Очень хотелось бы сказать хоть малую крупичу прав-
ды, но если неизбывна ситуация в том же размере, в каком
подверглись ей предыдущие статьи, то ни о чем, кроме га-
лицийских малороссов и сестер милосердия, пожалуй, и
нельзя будет написать... Может быть, лучше вообще не
писать...» (Письмо к В. А. Розенбергу от 10.III.1916 г.
ЦГАЛИ, ф. 1701, оп. 2, ед. хр. 239).

Сказанное с крюковской откровенностью и прямоотой
(а его рукописи испещрены строками и абзацами отточий,
заменивших снятое цензурой) вовсе не отменяло тех идей-
но-этических принципов, по которым было создано много

произведений, таких, как «Четверо», «О пастыре добром» и др. Понять главное у Крюкова,— автора буквально пронизанного духом гуманизма, братства людей и народов, верой в родной народ рассказа «Четверо»,— невозможно без тех произведений, которые (поклевавшие цензурой или нет) связывают у писателя настоящее и грядущее. «Даже в глухих, первобытных уголках,— писал в разгар войны автор очерков с символическим названием «Около войны»,— в умах самых девственных и элементарных свое, кровное, близкое, переплетаясь с вопросами, поставленными войной, оказалось вдруг рядом, в непосредственной и ясно ощутимой связи с чужим, невообразимо далеким, свои семейные деревенские тревоги, печали и чаяния спаялись с тревогами и надеждами каких-то народов, мнения которых раньше как будто и до слуха не доходили... И деревенское внимание вышло из тесной околицы, чтобы приковаться к более широкому и далекому — к участи родной земли и судьбам чужих народов и — может быть — к судьбе всего человечества» (Русские записки, 1915, № 2, с. 196). «...Чувствовалось,— напишет далее Крюков,— как вырос народ за четыре десятилетия — после барщины — и как изменился солдат».

В рассказе «Четверо» тема «народ на войне» стала продолжением темы всего крюковского творчества — жизни народа, в частности,— труженика, казака-хлебороба, несбывшихся его надежд на власть, напрасных чаяний о лучшей доле.

Чуткий наблюдатель жизни народа, Крюков еще в предвоенные годы отмечал своеобразие настроений в этой среде: делился с Горнфельдом в 1912-м, за два года до германской, в пору выборов в 4-ю Думу: «Здесь, в степной глуши, представление об унынии и бодрости в общественном смысле трудноуловимо. Люди хлопочут, работают, собирают в житницы... Уныние почти каждодневно чередуется с бодростью, правда искусственно вызванной при помощи казенных речей... К тому вопросу, который сейчас все-таки интересует всех,— к выборам в Г. думу,— в моей станице относятся бойкотистски: на 14-е был назначен сход для выбора выборщиков, предложили баллотироваться мне; я сказал, что нельзя¹. «А нельзя, так мы и никого не будем выбирать». Так и не дали никого баллотировать. Мелкий

¹ Как следствие нахождения под судом за Выборгское воззвание.

«городской» избиратель тоже совершенно равнодушен. Никаких надежд на Думу не возлагают и надеются лишь на Господа Бога да на будущую войну...

Писал я летом фельетоны в «Речи», и это дало мне возможность проехаться по некоторым местам, поглядеть Россию. Интересна она очень...» (Письмо от 16.IX.1912. ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 356).

Это наводное настроение предгрозя и желательности военной бури, которая принесет освобождение, передалось Крюкову очень своеобразно. «Я патриот и оптимист», — скажет он на втором году войны. Как запасной, не будет рваться в военный строй, но на фронты станет корреспондентом ездить охотно. Короленко чутко уловил настроение товарища: в журнале ему тяжело — когда на дворе военная буря, когда хочется держать руку на пульсе народной жизни, народных настроений. «Крюкова не удручайте», — пишет Короленко Горнфельду в канун войны. А в войну: «Ясно, что Крюков, «с пикой или без пики», теперь не редактор» (Письмо от 9.II.1916 г.). И еще — о снова вырвавшемся на фронт писателе: «Да, воображаю теперь Крюкова. У нас тут есть только щепки из порубленного галицийского леса, и то... Воображаю, каково на месте» (Короленко В. Г. Письма к А. Г. Горнфельду. Л., Сеятель, 1924, с. 95, 124, 125).

Крюков — оборонец, и именно потому, что верит, как один из его персонажей в очерках «Около войны»: «Одолеем ли мы немца? Думаю: одолеем. Страна, народ с нами — вот в чем наша сила». И это — искренне, не из казенного «ура-патриотизма» (его Крюков всегда был лишен). Искренне потому, что верил в народ, в его здравый разум, в интеллигенцию, умеющую вести народ за собой. Настоящая тревога возникла после Февраля, который писатель встретил восторженно. Уже в апреле семнадцатого пишет с Дона Горнфельду в редакцию: «Оторвался я от Петрограда, и никаких вестей до меня не доходит теперь от товарищей по журналу. В разъездах и встречах даже газеты прочитал на ходу... Нахожусь в Усть-Медведицкой, а послезавтра еду в Новочеркасск на областной съезд делегатов от станицы. Тревога моя за Россию, начавшаяся в Питере, не улегается, растет вширь. По сравнению с другими местами те углы, где я метался в эти дни, можно еще почитать спокойными (по сравнению!), но тем не менее и здесь «свобода» выразилась в озорном отношении к представителям политической власти («старый режим»), хотя они далеко не все были

плохи (и плохие-то извернулись, стали левее левых, повели демагогическую линию) [...] ¹, а хорошие, добросовестные — изгнаны с оскорблениями. На гребне волн почти всюду сказывается хулиган, бывший стражник ², уголовный, подпольный адвокатишка, какой-нибудь местный кляузник. Организуются быстрее, чем добропорядочные граждане, захватывают власть, обыскивают, арестовывают, сводят личные счеты, обворовывают. Материал — красочный, записал изрядное количество, но сесть писать статью не могу: и волнуюсь, и беспрестанно отрываю. Отовсюду слухи — самые беспорядочные: аграрное озорство, полное исчезновение неприкосновенности личности, голодная алчность — «поравнять» все, что имеется в наличности, демагогическая распушенность, натравливанье, трусость, зверства... А с фронта количество дезертиров растет не по дням, не по часам, а по минутам. Отчаяние охватывает душу: не справится мать-Россия с этим обвалом» (Письмо от 14.IV.1917. ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 356).

И это не в войну, на которой народ казался писателю сплоченным; и через все очерки, зарисовки, письма этой поры — одна тревожная мысль: нельзя нам еще из германской да в гражданскую войну, вся муть всплывет сильнее, гуще. Последние строки этого душераздирающего исповедального письма о том, что «не хочется уже ставить кандидатуру в Учредительное собрание: ничего не сделаешь». И вместе с тем желание сильного, забывающего о себе гражданина, патриота, борца за народные интересы: «надо бороться». «Меня даже называли и провокатором, и охранником, и опричником». Но не намерен подлаживаться: «Пока еще не убили. Возможно — дойдет и до этого». Но все же — главный аккорд: борюсь» (там же). И вскоре, в письме от 26.IV : «Соскучился по литературе. Материалом переполнен до чрезвычайности. Попробую записать». В очерках 1917 года («Новое», весна — лето. — Русское богатство) та же проблема народа — уже в революцию.

9—11 июля 1906 г.

Воспоминания вошли в сборник «Выборгский процесс». СПб., 1908.

¹ Одно слово неразборчиво.

² Вспомним провидчески нарисованного Крюковым «героя» «На речке лазоревой».

Выборгское воззвание, которое в числе других депутатов Думы подписал и распространял «отставной статский советник Крюков», было принято в Выборге в гостинице «Бельведер», оно заключало в себе следующее: «Народу от народных представителей:

Граждане всей России.

Мы составляли законы для обеспечения народу свободы, удаления безответственных министров, которые подавляли свободу, тот закон о наделении крестьян землей за счет казенных, кабинетских, монастырских, церковных земель.

Граждане! Стойте крепко за поправленные права народного представительства, стойте за Государственную думу.

Вы вправе не дать правительству ни солдат, ни денег.

Стойте за свои права все, как один человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая сила устоять не сможет. Граждане! В этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами» (Дело о Выборгском возвании. Стенографический отчет о заседании особого присутствия Санкт-Петербургской судебной палаты 12—18 декабря 1907 г. СПб., 1908, с. 6).

Находясь в Крестах, Крюков очень интенсивно и плодотворно работал как литератор (написал повесть «Зыбь»), вел дневниковые записи.

Памяти П. Ф. Якубовича

Воспоминания вошли в апрельскую книжку «Русского богатства» за 1911 год.

П. Ф. Якубович (1860—1911) в числе других «стариков» «Русского богатства» (Н. Ф. Анненский, С. Я. Елпатьевский, А. И. Иванчин-Писарев, С. Н. Южаков и — в первую очередь — Короленко) оказал огромное нравственное воздействие на Крюкова — своим исторически значимым прошлым (участием в «молодой» «Народной воле», дружбой с легендарным Германом Лопатиным, процессом «21-го», своей каторжной эпопеей). «Петербургские» годы Крюкова — студенческие, потом «русскобогатческие» — от знакомства с неповторимой поэзией Якубовича в Институте до личного знакомства и дружбы вплоть до кончины поэта, которого Крюков заместил в редакционном комитете литературной редакции. До конца жизни Якубович был юношески влюблен в литературу, и молодые писатели видели в нем

пример того, как не прерывается связь поколений. «Лучшая наша молодежь,— не усталая повторять он,— всегда из Петербурга выходила. Все лучшие идеи, какими может гордиться Россия, здесь имели колыбель!.. здесь были: Салтыков, Успенский, Шелгунов, Новодворский, Гаршин, Надсон и множество других людей, чистых душой, как хрусталь, и ярких, как небесные звезды! ...Я и теперь вижу здесь людей — правда, меньшего калибра, в большинстве (в отношении таланта, но не менее искренно преданных интересам родины и литературы)» (Письмо к М. Горькому от 15.01.1900.— Горький М. Материалы и исследования, т. II. М.— Л., 1936, с. 364—365).

Якубович вместе с Короленко настойчиво учил своего молодого друга трудному искусству редактирования, ежедневной черновой журнальной работы; зная «горячий» нрав «казака», требовал сугубой осторожности в отношении «сокращений и переделок», сознавался, что «немножко их побаивается» (Письмо к А. Г. Горнфельду от 28.05.1908 г. ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 543); сам же являл для него образцы бережного отношения к его работам.

Разделяло Крюкова и Якубовича полное неприятие последним марксизма,— молодой писатель к «ученикам» относился без предубеждений, как ко всякому новому, заслуживающему внимания учению (тут он солидаризировался с Короленко и Анненским: они, в отличие от Н. К. Михайловского (умершего в 1904 г.) и Якубовича, составляли в редакции «оттенок, стоящий ближе к марксизму»).

В письме к украинскому поэту, революционеру П. А. Грабовскому (1864—1902) Якубович отразил свою позицию: ...Вы «всегда тяготели к экономическому материализму»,— писал он в 1896 году,— это огромная новость и для меня, и для всех Ваших друзей. О «неумном» герое Боборыкина¹, раз он такой неумный, и говорить, конечно, нечего,— нечего и тыкать их противников. Что касается Ваших восторгов тому, что марксисты разбили иллюзии народников, то... ей-Богу же, сомнительная это победа! Кого разуместь, впрочем, под «народниками», которых они разбили будто бы? Они всех своих противников так окрестили, но... разбили ли они, например, народников «Русского богатства»? И когда это «Русское богатство» восхищалось

¹ Повесть П. Д. Боборыкина (1836—1921) «Поумнел» (1899) отразила настроение части современной интеллигенции: «поумневшие» изменяли своим былым народолюбческим убеждениям; выражение с той поры стало «крылатым».

«народными устоями», «подоплеками» и т. п. По-моему, именно в марксизме-то Вашем и сидит бездна всякой ортодоксальности, да еще какой-то нетерпимой, самодовольной, нахальной (см. произведения Бельтова¹, Каменского и др.). ...Ваш П. Я.» (Из переписки П. Ф. Якубовича.— Русское богатство, 1912, № 5, с. 41). Свое неприятие марксизма Якубович демонстрировал постоянно и в самой резкой форме, что не импонировало деликатному Крюкову.

Памяти Н. Ф. Анненского

Воспоминания помещены в сентябрьском номере «Русского богатства» за 1912 год.

Н. Ф. Анненский,— блестящий статистик, общественник, публицист (1843—1912),— являл собою живую легенду освободительной борьбы и связанного с нею литературного процесса (знакомство и начало дружбы с Короленко в камере Вышневолоцкой политической тюрьмы, годы ссылки и совместной борьбы с голодом, самодержавным засильем, национализмом, черносотенством, работа в «Русском богатстве» с первых шагов новой редакции во главе с Михайловским и Короленко, статьи, очерки). «Государственная власть,— говорил Анненский,— оказалась в положении волшебника, который умел вызывать духа, но не в состоянии заклясть его» (Русское богатство, 1906, № 6, с. 165).

Доброе отношение к Крюкову в редакции начиналось с Короленко и Анненского. Его вещей ждали с нетерпением; если в очередном номере шел Крюков, об этом говорили с радостью на редакционных «четвергах», в редакционных комнатах на Басковой улице, 9. Когда Крюков надолго замолчит в своих Глазунах, Короленко из Полтавы станет обстреливать Анненского и редакцию: «Вернулся ли Крюков и привез ли что-нибудь беллетристическое?» Смерть Анненского опечалила всех; в журнале, скорбно писал Крюков товарищу по редакции, стало «плохо». Потеря Николая Федоровича надолго придавила к земле все «Русское богатство». И ничего неожиданного как будто нет в его смерти, а все кажется невероятным, что его нет, что он смолк навеки, что кресло его пусто... Невероятно, что голо-

¹ Литературный псевдоним Г. В. Плеханова (1856—1918) — публициста, философа, критика, революционера.

са его милого, всегда доброго такого, не услышим,— бывают, должно быть, такие люди, с которыми представление о смерти никак не вяжется» (письмо к А. Г. Горнфельду от 16.09.1912 г. ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 356). Тому же адресату написал после кончины друга Короленко: «Будьте здоровы. Это, кажется, теперь самое «русскобогатское» пожелание» (письмо от 02.08.1912, указ. фонд, ед. хр. 342). Из Новочеркасска отозвался на печальное событие Серафимович: «Николай-то Федорович помер. Жалко. Редает стариками «Русское богатство». Какой чудесный народ» (Переписка между Ф. Д. Крюковым и А. С. Серафимовичем.— Волга, 1988, № 2, с. 157). Отвечая на письмо коллеги (возможно, он спрашивал о последних днях и часах Анненского), писательница М. Н. Коломенкина сообщала о нем: «В этой столовой в эти вечера по-прежнему непрерывно звучали его остроты, и шутки, и стихи, и постоянно раздавался вокруг него смех.

В этот вечер— 26 августа — при свете той же лампы, за тем же столом с кипящим на нем самоваром, В[ладимир] Г[алактионович] читал вслух письма, полученные по поводу его смерти... Среди этих писем было и Ваше, Федор Дмитриевич... и ум снова отказывался вместить эту мысль «его нет», и снова звучал в голове его голос, его смех, и казалось, что видишь это лицо с синими глазами, и — эти милые нервные руки — в этот час я чувствовала Вас одним из самых близких и дорогих людей, и именно Вам почему-то захотелось написать обо всем этом» (Письмо от 08.11.1912 г. ЦГАЛИ, ф. 654, к. 3, ед. хр. 124).

Когда ставился вопрос об «анненскиане», в ней принял участие и Крюков, благоговевший перед Николаем Федоровичем.

Памяти князя Варлама Геловани

Воспоминания появились в мартовской книжке «Русских записок» за 1915 год.

В. Л. Геловани (1878—1915) — трудовик, член 4-й Государственной думы, один из уполномоченных ее в 3-м думском лазарете на Кавказском фронте, при котором состоял Крюков, ценивший в фронтовом товарище личную отвагу и преданность воинскому долгу, культуру, интеллигентность.

О пастыре добром

Очерк-воспоминание, напечатан в июньском номере «Русских записок» за 1915 год.

Сестра Ольшвангер

Очерк-воспоминание, помещен автором в литературном сборнике «Щит» (М., 1915), вышедшем под редакцией Леонида Андреева, Максима Горького, Федора Сологуба. Рис. Л. Пастернака.

Край родной

Стихотворение в прозе, появилось в литературном сборнике «Родимый край», издательство «Север Дона», Усть-Медведицкая, 1918.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Георгий Миронов. «Я любил Россию — великую, могучую и бессильную, любил казака-хлебороба»</i>	5
--	---

ПОВЕСТЬ. РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

Из книги «Казацкие мотивы»

Казачка	32
В родных местах	75
Картинки школьной жизни	106
Встреча	156

Из книги «Рассказы. Том I»

Сеть мирская	168
------------------------	-----

Из журналов

Шульгинская расправа	204
На речке лазеревой	232
Угловые жильцы	269
Без огня	294
Неопалимая купина	322
Четверо	368
9—11 июля 1906 г.	391
Памяти П. Ф. Якубовича	402
Памяти Н. Ф. Анненского	410
Памяти кн. В. Геловани	414
О пастыре добром	417
Сестра Ольшвангер	422
Край родной	425
Комментарии	427

Крюков Ф. Д.

- К 85 Казацкие мотивы: Повесть, рассказы; очерки; воспоминания; стихотворение в прозе / Вступ. статья, сост. с подгот. текста, коммент. Г. М. Миронова.— М.: Худож. лит., 1993.— 446 с. (Забывтая книга).

ISBN 5-280-02217-9

Федор Дмитриевич Крюков (1870—1920) — незаслуженно забытый талантливейший русский писатель-демократ школы Короленко, блестящий публицист, очеркист, мемуарист.

Издавался в основном до революции. Помещенные в книге произведения дают представление о ярком и своеобразном донском быте, в них колоритно отображена жизнь казачьих станиц, российской глубинки.

К 4702010101-087
028(01)-93 КБ-3-50-1991

ББК 84Р1



ЗАБЫТАЯ КНИГА

Федор Дмитриевич Крюков

КАЗАЦКИЕ МОТИВЫ

Зав. редакцией *Г. Иванов*

Редактор *Ю. Розенблюм*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *М. Миримская, Л. Овчинникова*

ИБ № 6419

Сдано в набор 15.04.91. Подписано в печать 28.01.93.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52.
Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 24,62. Тираж 50 000
экз. Изд. № 1-3960. Заказ 1—160. «С»-159.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература». 107882, ГСП, Москва,
Б-78, Ново-Басманная, 19.

Матрицы изготовлены на полиграфкомбинате «Мо-
лодь». 254119, Киев, ул. Пархоменко, 38—44.

Отпечатано на издательско-полиграфическом пред-
приятии «Правда Севера». 163002, Архангельск,
пр. Новгородский, 32.